

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 2 / 2 0 1 4



АННА
АНДРОНОВА
Нижний Новгород

4



АНДРЕЙ
КОРОВИН
Москва

59



ВЛАДИМИР
ГОФМАН
Нижний Новгород

65



ОЛЕГ
РЯБОВ
Нижний Новгород

69



ЕЛЕНА
КРЮКОВА
Нижний Новгород

86



АЛЕКСАНДР
БОБРОВ
Москва

113



ИГОРЬ
КАРАУЛОВ
Москва

120



АНДРЕЙ
ИУДИН
Нижний Новгород

127



АЛЕКСЕЙ
КОЛОБРОДОВ
Саратов

136



НИНА
ПРИБУТКОВСКАЯ
Нижний Новгород

157



ВАСИЛИЙ
АВЧЕНКО
Владивосток

184



НИКОЛАЙ
ФОРТУНАТОВ
Нижний Новгород

195



СЕРГЕЙ
ЧУЯНОВ
Нижний Новгород

232



НИКОЛАЙ
СИМОНОВ
Нижний Новгород

279



ВИКТОР
ЛИСТОВ
Москва

285

В НОМЕРЕ

Проза

Анна АНДРОНОВА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА	4
--	---

Поэзия

Наталья УВАРОВА НЕТ В ОТЕЧЕСТВЕ ПОЭТА...	54
Андрей КОРОВИН МЫ ЖИЛИ НА РОДИНЕ МИРА...	59
Владимир ГОФМАН БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ	65

Проза

Олег РЯБОВ ДИЛИЖАНС	69
СТРАННАЯ БИБЛИОТЕКА	73
ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ	77
КАРАТ, СЫН КАЯРА	81
Елена КРЮКОВА МАТРОСЫ	86

Поэзия

Александр БОБРОВ СЛАВЯНСКАЯ ДУША	113
Игорь КАРАУЛОВ А ПРОШЛОЕ КАЖЕТСЯ СЛОН...	120
Ганна ШЕВЧЕНКО Я ЭТОТ ДЕНЬ ПРЕДВИДЕЛА КОГДА-ТО...	123

Проза

Андрей ИУДИН НЕЗАБЫТЫЙ	127
Алексей КОЛОБРОДОВ АНТОШКА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ	136
Анастасия ШТАЙЕР ОБЪЯВЛЕНИЕ	151
ГОЛУБЬ	153

Театр

Нина ПРИБУТКОВСКАЯ АБОНЕНТ БЕЗУМНО СЧАСТЛИВ	157
--	-----

Публицистика

Николай БЕНЕДИКТОВ ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ. 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского	173
---	-----

Василий АВЧЕНКО НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (Два полковника)	184
---	-----

Non-fiction

Николай ФОРТУНАТОВ НЕЧАЯННАЯ СЛАВА. Жизнь и труды Павла Ивановича Мельникова – Андрея Печерского	195
Валентина ЧИРИКОВА «Я – КАК ЩЕПКА В МОРЕ, В ЭТОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ...» К 150-летию со дня рождения русского писателя Евгения Чирикова	213
Сергей ЧУЯНОВ ДИВНАЯ РОЗА БАЛЕТА. Майя Плисецкая в фокусе времени	232

Литпроцесс

Кирилл АНКУДИНОВ ПОЭТ И ТОЛПА	265
Андрей РУДАЛЁВ АННА АХМАТОВА: ЯВЛЕНИЕ ЧУДА	273

Переводы

Николай СИМОНОВ Гильем IX, Герцог Аквитанский, граф де Пуатье	279
Генрих Гейне	280
Георг Веерг	281
Франсуа Вийон	282
Шарль Бодлер	282
Поль Верлен	284

Вехи памяти

Виктор ЛИСТОВ ГРОЗА 14-ГО ГОДА	285
Елена ВЕСЕЛОВА РУССКИЙ АНТАРКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ	294

Стихи по кругу

Юрий МАТВЕЕВ	303
Валентина КОРОСТЕЛЁВА	304
Юрий ПРЯДИЛОВ.	306
Ирина УСОВА	308
Сергей УТКИН	309
Лариса БУХВАЛОВА	310

Проза

Анна АНДРОНОВА

Родилась 27 июля 1972 года в г. Горьком. В 1995 году окончила Нижегородскую медицинскую академию им. С.М. Кирова и с того времени работает по специальности (врач-кардиолог).

Прозаик. Член Союза писателей России с 2005 г. лауреат премии «Автор года» журнала «Огонек». Живет и работает в Нижнем Новгороде.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

— Я не сомневаюсь, конечно, что делать. Тут и думать нечего. Ничего не делать. Просто боюсь, честно говоря, — жаловалась вечером Оксана задушевной подруге Гале, доставая из верхнего шкафчика «парадный» цветочный чай.

— Ты подожди чай, у тебя пиво вон ещё стынет! — Галья только свои жалобы к рассмотрению принимает, не то настроение.

— Не надо бы мне пива-то, Галь. Я глоток отпила, и даже не хочется вроде.

— Да ладно! Я и водочку, бывало, чуток могла пригубить, а ты пивос простой. Он и полезный, вон говорят. Витаминов много.

— Галь, ну какие витамины?

Неприятно было, что Галка пришла уже хорошо навеселе. И пива принесла с собой, как на компанию. А раньше всё с пирожными друг к другу ходили. Последний год из-за Оксаниного переезда дома встречались редко, только на работе. Эти посиделки были, можно сказать, первыми на новой квартире, не считая новоселья. Оксана задумалась над чайником. Он начал уже потихоньку шипеть и булькать, готовясь вот-вот закипеть, шелкнув кнопкой. Эта привычка Оксане досталась от матери. Та тоже вот так всегда стояла над чайником, в ожидании кипятка. Только тогда плита была газовая, а чайник эмалированный, трёхлитровый, с маками на боку и куском винной пробки, вставленным под петельку крышки, чтобы не жечь руки. Мама чай очень любила и воды кипятила всегда много, с запасом. Здесь, в кирпичной новостройке газа не было. Заслуженный чайник с маковым боком отправился теперь на шкаф, его электрический сменщик — глянцево оранжевый, с вздернутым носом и подсвеченной подошвой, был подарен на новую кухню коллегами и должен был, наверное, олицетворять начало новой жизни. Вот она, пожалуйста, теперь и наступила.

— Давай, Оксан, успеешь ещё попоститься, — уговаривала Галка. Она уже вошла в ту стадию, которую Оксана у подруги очень не любила. Бурно-настойчивую. Сейчас легче выпить, чем отказаться. Хуже всего то, что подруга, видимо, регулярно принимает. Все рассказы на работе по понедельникам, после проведённых в семье выходных, как они с Вадимкой «взяли

полтораху пивоса и душевно её усидели». Или, ещё хлестче, «накатали водовки по шесть грамм». С Оксаниной точки зрения, Галкин нынешний муж вообще мог «идти» только под алкоголь, иначе его не переварить. Страшный, глупый, да к тому же ещё и самоуверенный донельзя. Но поди скажи это Галке! Та ж уверена, что вообще счастливый билет вытянула с этим «Вадимкой». Разведенка с мальчишкой-третьеклассником. Кому нужна? А этот муженёк ещё и радуется, что пасынок достался «подрощенный». Так про него всегда, как про щенка, и рассуждает. Повезло — ни тебе пелёнок, ни криков. Иди, уроки делай. Или — пожрал? Дверь закрой! И все разговоры. А Серёжку жалко. А Галку — когда как. Сейчас вот нет, сейчас бы с удовольствием её выставила. Но Галка так просто не уйдёт, она пришла помогать. Посоветовать, обсудить Оксанину ситуацию. Надо перетерпеть.

— Оксан, ты садись, не мельтеши. Вот скажи, он тебе помогать деньгами будет? На ребёнка будет давать? — Галка приготовилась слушать, забралась на диван с ногами. Диван этот, мамин, из старой спальни переехал и здесь на кухне как раз пришёлся по размеру. Тут целых пятнадцать метров, танцевать можно! Старый буфет, оклеенный плёнкой под мрамор, при переезде развалился. Две тумбочки приткнулись в углу, шкафчик над раковиной да ещё полки. Стол-стул. Особый табурет для кошки Изауры. Кошка ещё мамина, ей тринадцать лет, пожилая. Белоснежная грудка, живот, лапки, полосатая спина, пушистый хвост-перо и рыжие лохматые шаровары. Классическая такая «киса», как с картинки. Мама её звала «девушка с характером», Оксана теперь вместо Изочки и Изольды называет просто старухой Изергиль. Кошка хозяйкины упражнения в остроумии игнорирует, характер её с годами только закалился, на кривой козе не подъедешь. Держится высокомерно, смотрит в сторону, ласкается только в очень хорошем расположении духа, что бывает крайне редко. Большую часть дня она проводит у батареи или на подоконнике, лениво провожая глазами пролетающих мимо ворон и чаек. Понятно же, что за стеклом! Подоконники здесь широченные, полуметровые, хоть лежанку устраивай. Несколько жалких фиалок на таком подиуме не смотрятся. А раньше, на старой кухне, всё окно было в цветах. Зато здесь вид — весь город, как на ладони. Этаж у неё седьмой, не так уж высоко, но сам новый микрорайон выстроен на холмах. Вправо почти окраина, ряды серых «панелек» с полосками тополиных аллей. Прямо — рощица-перелесок, поле, через овраг опять поле со стайкой разномастных коттеджей, и дальше — вереница свеженьких многоэтажек на горизонте. Слева — местный «Нью-Йорк», восемь одинаковых одноподъездных высоток. Весёлых и праздничных, бело-зелёных с оранжевыми балкончиками. От них даже в дождь настроение повышается. А вниз посмотреть — уютный двор. Стоянка автомобилей с охраной, клумбы. Чуть дальше — огороженная детская площадка с горкой, качелями, лесенками, вертящимся кругом и, конечно, большой песочницей. Всё яркое, заботливо выкрашенное цветными полосками. Куча малышей. После работы, стоя в одиночестве у окна, Оксана многих научилась различать. Вон, синий комбинезончик, всегда с мамой и бабушкой вместе. А эта мама совсем юная, одета, как на банкет, — каблуки, юбочка коротенькая. У неё не коляска, а велосипед с ручкой, девочка как картинка, вся в розовом. В будние-то дни здесь утром только мамы развлекаются, после обеда дети постарше самостоятельно играют, а по субботам — одни папаши, с раннего утра. Некоторые уже с «пивосом». Одной рукой качели качают, в другой бутылка. В этом смысле особых отличий от старого двора не наблюдается. Вся страна, кажется, вот так живёт субботними утрами: мужики качают и отхлёбывают, а хозяйки дома пол моют и обед на выходные стряпают.

– Окса-ан, ку-ку! Ты куда там отъехала, эй!
Оксана поболтала кипятком в чайнике, вздохнула.
– Да будет, Галь. Не много, но будет давать. Обещает, по крайней мере.
– А насчёт того, ну чтоб ты аборт сделала, не предлагал? – Галка ожи-
вилась. Беседа, наконец, потекла в желаемом направлении.
– Не предлагал. Ну, понятно же всё про меня. Последний поезд, послед-
ний вагон. Он же не зверь. Только, не знаю я, Галь...
– Н-да, подруга. А может, он разведётся, а? К тебе переедет. У тебя жил-
площадь – позавидуешь. Работа есть. Приготовить, прибрать, это у тебя на
самом высоком уровне. Чем ты плоха? Молодая...
– Это я-то?
– Ну для него – точно. А ты бы хоть познакомила, что ли, как следует, а
то мельком всё. Не по-человечески. Как его, Александр?
– Анатолий Павлович.
– Ну. Толик. Вот бы и прикинули вместе, его способности, а то чего в
слепую-то гадать. Посидели как люди. А хочешь, я с ним отдельно пого-
ворю насчёт развода, а? Распишу тебя, как положено, пристыжу, где надо.
Думаешь, не смогу? – Галка энергично взмахнула чашкой, расплёскивая
пиво.
– А хочешь, Вадимка с ним по мужски поговорит, а? Он его за жабры
быстренько, а? Шас позвоним ему, да? И вызовем.
Вадима действительно надо было вызывать. А то Галка, пожалуй, да-
леко может отсюда заехать. Или спать её укладывать? Не ляжет. «Вот по-
говорили!» – с досадой подумала Оксана. Все проблемы обсудили. Надо
было Танюху позвать, той хоть и некогда всегда, но на серьёзный разговор
нашла бы время и не несла бы околесицу, как Галка. В этот момент раздался
почему-то звонок в дверь. Вадим?
– О! – многозначительно погрозила пальцем Галка, – Эт-т твой, да?
Лёгко на помине!
Мгновенно прицелившись, она поставила бокал на край стола и доволь-
но резво, хотя и не слишком твёрдо, встала с дивана. Качнулась, собра-
лась, потрясла головой, цапнула кусок колбасы с тарелки, зажмурилась,
проглатывая, помахала ладонью у рта, отгоняя отрыжку и сделав предо-
стерегающий жест, мол, всё сейчас будет в ажуре, устремилась в коридор.
– Шас, мы его встретим...
Оксана только рукой махнула. Она понятия не имела, кому там она по-
надобилась. Соседи, что ли? Уж во всяком случае, не тот, на кого Галка
подумала. Ну и пусть открывает! Никаких особых знакомых в этом доме
Оксана не завела, репутацию свою не блюла. Хозяев соседней по тамбуру
квартиры, пожилых мужа с женой, всего пару раз за всё время в лифте
встречала. Сейчас Галина их с распростёртыми объятиями, это она уме-
ет. Да наплевать, кто бы это ни был! Вот в старом доме соседи были, как
родственники, даже хуже. Шаг вправо, шаг влево – всем уже известно до
подробностей.
Особенно Марья Семённа, ближайшая по площадке. С матерью покой-
ной почтительно раскланивалась, пикнуть не смела, а как не стало её – к
Оксане, как к себе домой чуть не каждый день стала заходить. И не звони-
ла даже, а в дверь по-деревенски колотила. Открывай, соседка, баба Маня
идёт. Это одно название, что бабушка. Хоть и на пенсии, но на «бабушку»
она никак не тянула. Коренастая и плотная, но не толстая с коричневыми
кудельками «химии» вокруг головы. Этакая торговая атаманша. С обяза-
тельным золотом во рту и в ушах, алой помадой и массивными перстнями,
вросшими в набухшие артритом пальцы. Довершал картину глубоко въев-

шийся, обветренный рыночный загар и взгляд-буравчик. Глазки малень-
кие, цепкие. Одна минута и вся ты у неё сфотографирована, переработана
и съедена с потрохами. Раньше, в далёком прошлом она работала где-то
на складе, но полжизни уже жила с огорода, на рынке торговала ранней
зеленью, редиской, огурцами. Потом шли помидоры, морковь, кабачки. К
началу осени на прилавок выкладывалось всё, что растёт, от укропных
зонтиков на маринад, до сентябрьских астр. Дочь с зятем на выходные за-
ряжались в лес за грибами-ягодами, муж не вылезал с грядок. Его вообще
дома видели редко. В зимний сезон он работал ночным сторожем в двух
или трёх местах. Едва ли раз в неделю ночевал в собственной постели. Ред-
кие свои выходные проводил в гараже, если жена отпускала. Там он слегка
снимался с тормоза и мог даже уйти в лёгкий запой, о чём Марья Семённа
не без гордости сообщала всем соседям. Видимо, чтобы они не забывали
о существовании мужа как такового. Всё должно было быть у неё как по-
ложено. Как у людей. И муж, и ковры на стенах, и хрусталь в «стенке». С
Оксаниной матерью, Верой, они не ладили. Матери тоже принципов было
не занимать. Она на заводе двадцать лет председателем профкома отрабо-
тала и лидерские позиции свои за здорово живёшь соседке-торгашке усту-
пать не желала. Пусть у Семённых полон сервант хрустальных салатников,
зато Верины два, да, два бокала – сверкают чистотой, как бриллиантовые.
Но это «зато» обходилось без скандалов, соблюдался холодный нейтралит-
ет. Марья Семённа даже нет-нет, заносила трикотаж на продажу. К своим
огурцам она стала брать на реализацию с местной фабрики. Труссы-носки,
халаты, ночнушки. Потом китайское пошло. Сама всегда была одета в эти
ядовито-цветастые, кое-как скроенные кофты и штаны. Особенно уважала
она прочно вошедшие в рыночную моду «брыджи», домашние комплекты-
пижамы и велюровые халаты на молнии. Торговля у Семённых шла бойко,
бывало, что прямо у подъезда на лавочке. Весь дом был у неё одет, разве
что не насильно. И мать в таком халате померла – зелёные ветки, синие
бутоны и розовые цветы на чёрном фоне. Лежала на диване, как королева.

На следующий день после похорон Марья Семённа заколотила в дверь
по-соседски. Вошла на кухню, огляделась придиричливо. На поминках-то
народу было не протолкнуться, что там разглядишь.

– Ну чё, ты как сама-то? Сидишь?

– Сижу, – ответила Оксана, которая действительно сидела, не в силах
сдвинуть день хоть на шаг вперёд.

Всё вокруг было мамино, все слова в голове были мамины и мысли
тоже. Начинать свои движения у этого стола, у плиты, брать кастрюльки
и чашки, помнящие мамины твёрдые руки, казалось кошунством. Все на-
выки, годами доведённые матерью до автоматизма, от ежедневного мытья
чайных чашек содой до чистки ржавчины на раковине горячим уксусом,
от крахмаления скатертей водой, слитой с макарон, до ведения домашней
бухгалтерии в толстой коленкоровой тетради – всё выветрилось, освобо-
див пустоту и гулкость, в которую, однако, ничего нового не желало засе-
ляться. Оксане было двадцать восемь лет.

– Ну ты чё, загуляешь теперь? Без матери-то. Глянь, какая у тебя кварти-
ра, хоть всемером гуляй.

И как ни странно, Оксана действительно, в скором времени стронулась
со стула и «загуляла». Хотя первое время она и правда гуляла по улицам, а
подруги Галя с Танюхой строили у неё дома личную жизнь. Танюха, надо
сказать, преуспела, вышла замуж и до сих пор, слава богу. Детей двое. А
Галка тоже сначала вышла и забеременела Серёжкой, но быстро развелась
по причине регулярного пьянства будущего отца, ещё до родов. Оксана же

долго собиралась, а потом тоже познакомилась с одним. Была слабая надежда, что не пьющий. Он даже починил кое-какие антресоли, кран на кухне и в ванной, проводку поменял.

— Ну ты чё, Оксан, — поинтересовалась однажды вечером Марья Семёновна, сочувственно рассматривая порядком захламлённую после мамы Веры кухню, — выгоняешь его уже, или обженитесь?

Заявление в загс подали, но Оксана всё-таки передумала. С тех пор на протяжении нескольких лет Марья Семёновна выполняла роль если не помощника и советчика, то оракула, на которого можно положиться в сложных спорных случаях. Просто сделать так, как она говорит, не задумываясь. Приходила она регулярно со своим «ну ты чё», любые вопросы задавала, не тормозя. Могла и под крышки кастрюль заглянуть, и в спальню мимо проходя, дверь открыть. Бывали дни, когда Оксану она бесила своей бесцеремонностью и наглостью. Бывали дни такой одинокой тоски, что ждала соседку чуть не со слезами на глазах. И помогала она, конечно, не раз, надо признать. На денежную подработку в частную лабораторию устроила? Устроила. И из больницы отсоветовала уходить. В тяжёлые времена на Оксанину лаборантскую зарплату можно было одни макароны только да чай пустой покупать. Галка вон соблазнилась, три года в торговом центре на платьях простояла. Ничего хорошего, кроме проблем, не заработала. «Менеджер торгового зала». И «зал» размером с лестничную площадку. Стой, улыбайся. «Могу я вам помочь?» А на самом деле, следить надо было, чтобы не порвали, не испачкали и одновременно купили что-нибудь. Галка еле выкарабкалась оттуда, ещё долг целый год отдавала. А Оксана тогда начмедом порадовалась, что смогла не поддаться, на прежнем месте оставалась.

— Ну ты чё, Оксан? — предупредила Марья Семёновна. — Дурить-то брось. Ты к торговле не способная.

— Это почему же? — вяло возразила Оксана, испытывая при этом огромное облегчение.

— Не способна, и точка. Глаза больно честные, как у Верки.

И Оксане хотелось тогда по всей кухне запрыгать на одной ножке: не способна, не способна! Просто гора с плеч. Так они с Галкой и оказались опять вместе в лаборатории. Галка на полторы, а Оксана почти на две ставки, ещё и бактериологию на себя взяла. А как больницу их переделали в скорую помощь, и дежурств набрала. Что одной-то дома делать? Одних отпусков за несколько лет месяца на четыре накопилось. Вот теперь и использует. Все в лаборантской на неё уже рукой махнули, перестали подначивать, когда замуж да когда в декрет. Решили, наверное, что уже никогда. А она вот только теперь засобиралась. Или нет? И опять в голове: да или нет? И Марья Семёновна тут, на новом месте нет. Сейчас бы пришла, вместо пьяненькой Галки, и в два счета всё на места поставила. Где, кстати, эта Галка запропала. С кем это она там беседует в коридоре? Действительно, что ли, Вадим приехал? Скандала только ещё не хватало для полноты счастья! В этот момент как раз дверь на кухню открыла и явилась Галка с незнакомым мужичком на поводу. Мужичонка, такой, за шестьдесят, дед — не дед. Седой и серый какой-то весь. Кривоногий, плешивый, невысокий, но чистенький. В бабьей шерстяной кофте на пуговицах и отглаженных брючках. Кто это?

— Здравсте, — машинально поздоровалась Оксана.

А мужичонка, как увидел её, прямо остолбенел и вместо приветствия выдохнул «Ве-ера». А потом ещё и глаза прикрыл да по стеночке на пол съехал.

Михаил Степанович, конечно, подозревал, что похожа. Но чтобы так? Пока ехал с двумя пересадками сюда, в новый микрорайон, сто раз пересчитал, сколько ей должно быть сейчас. Не видел он дочь с её двух лет. С того самого дня, когда отвёл в ясли последний раз и вместо остановки автобуса вернулся обратно домой собирать вещи. Вернулся вором, оглядывался, когда дверь отпирал, будто действительно воровать пришёл. Фотографии дочери у него сохранились только младенческие. Парадную, снятую в ателье — с большим бантом-пропеллером на фоне панно «Утро в сосновом бору», он тогда из рамки достать не решился. Боялся парткома, профкома и милиции. Алименты аккуратно присылал на прежний адрес, и алименты приличные. Но лично не бывал, а с похорон его Веркина сестра выгнала. Сама позвонила накануне, и сама же во дворе подкараулила. Чтoб ноги его здесь и так далее. Не доводить же до скандала? Бывшие соседки с лавочки пялились, как они препирались. Ну ушёл, ладно уж. Вере всё равно, и сам себя уговаривал, что да, мол, что за рвение такое, хоть на мертвую взглянуть. Раньше надо было. Жалел только, что на дочь не посмотрел, какая выросла. Да ей не до сбежавшего папаши небось. Вот и не знал он до этого дня, что точно молодую Веру опять увидит. Жена его бывшая была женщина склада монументального. Высокая, крупная и статная, как Нона Мордюкова. Плечи развёрнуты, грудь, как полочка буфетная, хоть стаканы ставь. Тяжёлые волосы носила узлом на затылке, и они как будто дополнительно ещё голову оттягивали назад, приподнимая подбородок. Основательная женщина. Она и старше его была почти на десять лет, и по должности на заводе далеко ушла. Он на работе первое время глаза на неё боялся поднять. И вообще, наверное, бояться не переставал. Поэтому, как увидел теперь Оксану — те же крупные светлые губы, круглые брови, глаза чуть на выкате, вперед смотрящий подбородок, — совершенно ослабел. Все приготовленные заранее слова и фразы из головы вылетели. Михаил Степанович на всякий случай глаза прикрыл и присел аккуратненько на пол, вроде плохо ему. Передохнуть и собраться.

— Гал, кто это? Ему что, плохо?

— Это ведь не Толик?

— Какой Толик? Господи, нет, конечно, нет! Мужчина, вам плохо? Эй? — Оксана наклонилась и потрясла мужичонку за плечи.

— Вроде дышит. Мужчина! Вам может валидолу? Галь?

— Так это, того, Оксан, самого. Вроде отец твой, папашка.

— Какой папашка, — оторопела Оксана.

— Ну как, какой? — затараторила Галка. — Я, такая, открываю, а там этот стоит. Ну, я сразу поняла, что он не Толик. Спрашиваю, такая, вы кто? Уходите отсюда, — тут Галка слишком сильно махнула рукой, изображая, как она гнала, поэтому ей пришлось ухватиться за край стола. Оксана тоже на всякий случай ухватилась.

— Ну?

— Ну, ты, говорит, Михайловна, а я, говорит, Михаил. То есть он решил, что ты — это я. То есть, наоборот, я — это ты. Ну, я говорю, да, типа. А он — ты, говорит, Бокарёва, и я Бокарёва. Ну, в смысле, ты, а он тоже. Я, говорит, доча, твой отец. Папа. Михаил. Эй, дядя, — повернулась она к лежащему, затаив дыхание, Михаилу Степановичу, — давай, приходи в себя, дурака не валяй!

Не очень она, конечно, близко к тексту пересказала их разговор, но в общем правильно. Михаил Степанович подумал, что с этой вот дамочкой, окажись она действительно Оксаной, договориться было бы проще. Знал он такую породу — вертлявая, чернявая, мелкая и болтливая, как собачонка.

Он ещё в дверях приметил, что она хорошо навеселе. И сейчас глазёнки таращила от любопытства и предвкушения спектакля. Оксана же, как осторожно разглядел Михаил Степанович прищуренными своими глазами, лицом не сморщилась и голосом не дрогнула. Стояла прямо, как скала (чисто мать!) и на него старалась не смотреть. «Признала, значит», – подумал Михаил Степанович с некоторым облегчением, но и с тоской. Страшно было, как в былые времена при Вере, когда надо было ей признаться в чём-то или отчитаться. Всё оказывалось, что не то и не так.

– Нет у меня никакого отца и не было.

– Как не было? Сама ж говорила, что бросил вас, ушёл.

– Вот именно.

– Ну вот, тогда ушёл, а сейчас вернулся. Имя-то совпадает?

– Ну, мало ли Бокарёвых. Откуда я знаю, я его не видела никогда.

Мужичок у стены открыл глаза и подтянул под себя тощие ноги в сиротских брючатах. Он суетливо похлопал себя по карманам, как курильщик, разыскивающий привычным жестом спички в кармане.

– Вот у меня, это, документы имеются. Паспорт я принёс...

– А-а, принёс, – злобещим голосом откликнулась Оксана. – Готовился, значит! Ну, и что тебе надо от меня, папаша?

Готовился, конечно. Все сложил аккуратно в прозрачную тонкую папку, у сына попросил для документов. Пенсионное, паспорт, полис, справку об инвалидности по общему заболеванию, свадебную фотографию их с Верой. На всякий случай. Он уже предварительно побывал по месту бывшего их проживания. Приперся на старый адрес со своей присказкой «ты Бокарёва – я Бокарёва». Там ему открыла высокая крашеная блондинка в очках, которая могла вполне бы оказаться Оксаной, но через минуту его сбивчивого лепета твердо пообещала вызвать милицию. Спасло его то, что из недр квартиры вышла бывшая их соседка Мария, с мужем которой, Иван Иванычем, Михаил Степанович отработал несколько лет в одном цеху. Было это в прошлой жизни, когда он был молод, женат на Вере, и по этой вот лесенке таскал во двор красную Оксанкину коляску. И Маша была совершенно узнаваемая, и даже как будто не изменилась – те же цыганские серьги из дутого золота и кудельки вокруг загорелого лица. Соседка увела его к себе, в дверь напротив, отпоила валидолом и чаем с сухарями. Всё обстоятельно и многословно доложила. И про то, что на Оксанкиной жилплощади теперь проживает семья её, Машиной, дочери, а Оксана, наоборот, уехала в новые хоромы. И не преминула заметить, что таким обменом они вроде как свою соседку благодетельствовали, даже продешевили. «Но что не сделаешь, чтоб рядом-то быть, да, Миш?» И про то сообщила, как Оксанка тут без матери одна десять лет прожила, мол, вначале гульба, конечно, была, но стерпели, а потом – всё, как отрезала. На работу – с работы. Ни мужа, ни детей. Одинокая. Хоромы тоже были описаны с подробностями, вплоть до метража раздельного санузла и упоминания о двух лифтах. «Иди, Миш, не выгонит она тебя, – наставляла на прощанье Маша, – и Верку она тебе простит, дело прошлое, потому что одна на белом свете. Гордая больно. Выбирала-выбирала, провыбиралась. Сороковник скоро. Моя вон на пять лет младше, а у ней двое, старший в школу ходит». И вот она теперь «не выгонит». Стоит, уперев руки в боки.

– Я, это, Оксана, вот пришёл, по-родственному, а то мы с тобой, ну... Я же отец, в смысле папа твой. Вот. А мы-то и не виделись...

– И что это ты вдруг?

– Ну... время-то идёт, а мы и не знакомы, вроде бы... А?

– Ты паспорт-то покажи, – вмешалась чернявая Галя, – встать-то помочь тебе? Пиво будешь?

– Галь, какое пиво, – рассердилась Оксана, но паспорт посмотрела и со стула не выгнала.

Михаил Степанович перебирал свои бумажки, суетился. В матерчатой сумке у него имелась четвертинка водки «Москвичка», банка шпрот и три апельсина. Приглашение к пиву можно было бы как раз использовать для предъявления гостинцев, но он боялся поторопиться и навредить себе же.

– Вот, смотри, я на пенсии давно, инвалидную дали. Паспорт, прописка. Всё как у людей. А вот, гляди, мамка твоя, узнаёшь?

Голос у него дрожал неподдельно, на глазах выступили слёзы. Жалкий, жалкий старикашка! Галя засуетилась, пододвигая ему тарелку и стакан. Оксана опять машинально нажала на кнопку чайника, замерла, положив руку на крышку. За окном сильно стемнело, заморосил дождь. Опустела детская площадка, которая хоть и освещалась специальным фонарём по вечерам, но в дождь там было мокро. На ярких лавочках лежали распластанные мокрые листья. На стоянку бесшумно въехала большая серебристая машина, припарковалась и разом открыла все свои четыре двери, выпуская целую семью: мужа с женой и двоих детишек – маленькую девочку лет трёх и мальчишку постарше. Дети забегали вокруг машины, мальчик всё норовил протопать по ближайшей луже. Сестра его вредничала, мама волновалась, папа выгружал из багажника многочисленные пакеты. Последним номером программы с заднего сиденья вытащили толстого серого кота. Видимо, вернулись откуда-то с выходных. Оксана представила их с Анатолий Палычем, вылезавшими из его бордовой «Нивы». Нормально. И кошку бы тоже возили в сумке-переноске...

На слове «кошка» Оксана покосилась на табурет у батареи, где обычно возлежала Изаура. Табурет был пуст, кошка перед гостями появлялась редко, не снисходила. Оксана скосила глаза на главного гостя. Как она должна с ним разговаривать, с отцом этим? И как надо было бы его встретить? На шею броситься? Заголосить? Наверное, если бы не Галка, вообще бы дверь захлопнула. Не было и не надо. Она так и не поняла, из-за чего он ушёл. Мама подробности никогда не расписывала, не говорила «бросил», «предал», злости не было. Просто уехал. Но все-таки не понятно было, любила она и страдала или же отпустила с лёгкостью? Оксана повидать его не стремилась и даже не удивилась, что он на похороны не явился. Да был ли вообще? Но фотографию, вот эту, предъявленную сейчас в доказательство подлинности, она знала, видела у матери. И ещё другие с участием невысокого усатого мужчины незначительной наружности. У забора, у стола. В профиль с ребёнком на руках. С ней? Эти карточки она нашла у дальней стены маминого шкафа перед переездом. После смерти матери Оксана к ней в комнату почти не ходила, и хотя гостям там на диване стелила, больше ничего просила не трогать. Во время сборов на новую квартиру стало понятно, что так просто всё перевезти, не разбираясь, не получится. Тахта на ладан дышала ещё с маминых времён и могла находиться только в разложенном состоянии, заело механизм. Галка после очередного свидания попросилась в следующий раз в другую комнату. «Упадёшь и убьёшься с этого саркофага, ноги-руки переломаешь!» Тахту Оксана решила выкинуть. Сняла gobеленовое покрывало, ватное одеяло, шерстяное «солдатское» с какой-то печатью, свалявшуюся пуховую перину, поролон, обшитый линиялым ситцем, потом ещё одно ватное одеяло в разноцветном чехле, лоскутки которого смутно напоминали какие-то одежды давних лет. Под ним в дырках проваленного временем основного тюфяка

сплющились две подушки. Мамина жизнь от начала до конца. Слой за слоем, Оксана стаскивала старые одеяла, готовясь в конце получить пустоту. Куда их было теперь, эти тряпки? На помойку? Хорошо, что тахта, не пережив обнажения в тот же день развалилась, стоило усталой Оксане на неё присесть. Хуже дела обстояли со шкафом. Это основательное и неподъемное трёхстворчатое строение из темного дерева мама называла ГУ-Мом, а Оксана теперь – Мавзолеем. В идеальном, почти патологическом, порядке, отстиранные, отглаженные и вычищенные мамиными руками, здесь лежали ненужные никому вещи. Истёртые до паутинной прозрачности пожелтевшие простыни, пододеяльники и наволочки, тщательно отсортированные друг от друга. Проложенные бумагой и завернутые в марлю кружевные подзоры и накидушки на подушки. Чулки и носки разных сортов в отдельных полотняных мешочках. Мужские подтяжки тоже в мешочке. Пояса для чулок и атласные лифчики парашютных размеров с рассыпающимися резинками. Коробки с квартирными квитанциями за много лет. Хохломской бочонок, набитый запасными пуговицами от несуществующих одежд. В большом отделении висели на штанге укутанные в простыни старые пальто, искусственная шуба леопардовой расцветки, её, Оксанина цигейковая черная шубейка, надставленная к первому классу светло-коричневой овчиной по подолу. Обувь в коробках, валенки, остро пахнущие «Антимолью». Затерявшийся под подолами пальто пылесос «Ракета» без хобота. В самом углу обнаружился тёмно-синий мужской костюм и, как доказательства наличия отца в далёком прошлом, – тючок с сатиновыми трусами, носками, трико, вытянутыми майками-безрукавками и нейлоновой узкой рубашкой. Зачем хранила мама эти вещи? В память? В надежде на его возвращение? По въевшейся привычке ничего не выкидывать? Там же лежал толстенный альбом в бархатной обложке, полный полужнакомых черно-белых лиц и мелких групповых фотографий. Это был ужас, кошмар. Выкинуть не было сил. Всё это тряпье, помнящее мамины руки, пребывающее в дубовом склепе много лет в идеальном порядке. Как было это нести на глазах у всего двора? Пальто, зашитые в саваны, кримпленовые жакеты, желтый тюль и одревесневшие от старости лаковые туфли на тяжёлых каблуках. Оксана, конечно, отобрала кое-что, но потом на шкаф напустила Марию Семёнову. И она, кстати, и тряпье как-то пристроила, и выкинуть помогла. Даже сам шкаф-ГУМ-Мавзолей муж её на ГАЗели вывез на дачу в разобранном виде и использовал на строительстве туалетной будки. Теперь у них на участке санузел на завысшем – благородного тёмного дерева с двухстворчатой дверкой.

Что это вдруг её потянуло на воспоминания? Отвлёклась. А Галя тем временем с папашкой новоявленным вполне освоилась. Подливала ему пивка, картошки положила. Щебечет. Спелись. Беседовали тихонько, ждали, что она скажет. «Я, можно сказать, один, и она – одинокая. Я же не то что ... я о ней всю жизнь помнил. Жизнь вот такая сложилась, это ж осудить легко, а ты проживи...» – вещал мужичонка. И Галя ему вторила: «Да, дядя, как снег на голову...» В груди медленно, но верно закипало бешенство, хотелось швырнуть что-нибудь на пол, можно даже чайник, чтобы кипятком полился им под ноги. Пусть бы повскакали со своих стульев. И Галка, дура пьяная! Пришла, называется, подругу поддержать, поговорить. Поддержала! Из комнаты по стеночке пробралась Изаура. Коротко потёрлась об ноги, задрал вверх хвост кочергой. Для неё наступало священное время ужина, и разные посторонние личности на кухне её внутренний будильник сбить не могли. Оксана несколько раз вдохнула и выдохнула, обычные слова не шли через пелену ярости.

– Давайте-ка, гости дорогие, вот что. По домам, а то я устала что-то.
– Понятно, устала, – почему-то легко согласилась Галка, – в твоём-то положении...

– Это в каком положении? – встрепенулся Михаил Степаныч.

– Галя!

– В таком. Ты, дядя, думал, что сироту тут навестил? А Оксана не одна, не думай. У неё ребёнок скоро будет. И муж будет. Замуж она выходит, дядя, так что вас тут не стояло.

Галка быстро долила остатки пива к себе в стакан, залпом выпила и встала. Видимо, доза у неё как раз дошла до нужного уровня и можно было домой собираться. Сделала своё дело, влезла! За язык тянули её. Подруга лучшая... И какой, ещё не хватало теперь, отец! Мужичок растерянно молчал, только глазками хлопал. У Оксаны зацепило в носу, силы кончились. Вообще-то, они давно кончились, но теперь уже последняя капля.

– Идите вы все на фиг, – всхлипнула она, – слышите! И ты, Галя! Давайте! Достали! Что вы лезете ко мне! Не будет никакого мужа! И ребёнка не будет! Советнички! Расселись, папаша, нашёлся, как же! Уходите сейчас же!

Она, наконец, разрыдалась, швырнула полотенце в центр неопрятного стола и выскочила из кухни, хлопнув дверью.

Маршрутка подошла почти сразу, повезло. И удачно подошла та, что без пересадки, редкая. Михаил Степанович слегка задохнулся, пока шёл под дождём от Оксаниного подъезда до остановки. Мысленно он уже называл дочь Ксанкой и вообще встречей был доволен. На душе как-то стало легко и весело, как будто что-то новое впереди ждало. И действительно, ждало. Внук очередной или внучка. Да и дочь – незнакомый почти человек вся была впереди. Бог послал эту развесёлую дамочку, Галю. Так она всё объяснила, рассказала. Про мужика этого её, женатика, про будущего ребёнка, про работу. Эти выкрики нервные и хлопанье дверями он, конечно, всерьёз не принял. Известное дело, женское. Нервы и прочие глупости. Пройдёт. Опять же, думал Михаил Степанович, устраиваясь у окошка на заднем сиденье, эта вспыльчивость так не похожа на Верино ледяное молчание. Любая ссора – губы поджаты, подбородок вверх, презрительная усмешка. И он всегда как пёс побитый. Сразу ясно, кто прав, кто виноват. Это и к лучшему, легче поладить. Внешность-то она, может, и мамкина, а вот внутренность – другая. С женатиком её разобраться надо, по-мужски поговорить. Так и так. Как раз крепкий и авторитетный разговор для Михаила Степаныча был всю жизнь невозможен. Не его амплуа, и он это прекрасно за собой знал. Но теперь можно было и помечтать и приукрасить. Жалко, квартиру он посмотреть не успел, в уборную только у Галины отпросился, пока они со стола прибирали. Удобства убогонькие, плитка только на полу, трубы не закрыты. В ванной чисто, под раковиной кошачья плошка. Дверь в комнату была закрыта, коридор большой, и между кухней и ванной такой закуток приличный. Вот бы и комнатка там выкроилась как раз, диванчик да стул, что ещё надо? Когда уходили, обратил внимание на подъезд. Прибрано, мусором не воняет, лифт исправный, просторный тамбур на две квартиры и у соседей шкафчик организован под цвет стен. Для хозяйственных нужд.

По части квартир Михаил Степанович был дока. Недавно только сменялись на новую трёхкомнатную, увеличили жилплощадь. Старая квартира была совсем маленькая, бывшая коммуналка на две семьи. Там всю жизнь прожила в меньшей комнате мать Михаила Степановича, туда он вернулся

из Салехарда со второй женой Сонечкой и сыном Костиком. Жили целый год друг у друга на головах, пока не померла соседка. И жена тогда всё радовалась, что успели приехать, а то бы вообще не понятно, где бы жили. «Северных» денег, на которые так надеялись, ни на какой кооператив не хватило. Вторая комната в квартире, хоть и была большая, но очень тёмная, вытянутая, несуразная с одним окном. Отгороженная Костику часть за шкафом днём и вечером освещалась сильной лампой.

После смерти матери на её место болеть и умирать переехала Соня. На высокую кровать, насквозь пропитанную запахом лекарств и боли. Соня вообще была слабенькая, болезненная. То у неё желудок, то почки, то простуды одолевали. Работала она учителем начальных классов и постоянно жаловалась на сопливых детей, которые «пришли школу больные и заразили». Она и с виду была маленькая, беленькая, бледненькая и слабенькая. До свадьбы, правда, полна была решимости хозяйничать в большом доме, детей не меньше трёх завести. Да только негде им было хозяйничать. Сначала в одном общежитии, потом в другом. Вода горячая с перебоями, вместо ванной – баня на соседней улице. Костика купали в тазу прямо в комнате. Рожала Соня так тяжело и так много потом болела, что казалось, до самой смерти так от родов и не оправилась. А мечтали, что ещё денег подзаработают и на юг. Домик мечтали и садик, чтобы тепло и фрукты для ребёнка. Ростов, например, хороший город, южный, большой. Устроиться на работу с его-то квалификацией, с его-то специальностями, которые он в Салехарде на судоремонтном во множестве освоил! И всё казалось, что вот ещё годик тут перекантуются и соберутся. И собрались, действительно, в одночасье, когда Соне сделали первую операцию по женским делам. Сначала сказали, что опухоль доброкачественная, потом что-то там перепутали, доделали ещё анализы. Оказалось, что надо повторно оперировать, потом с больничного никак не отпускали, всё проверяли что-то. Как только Соня вышла на работу, её в первый же день вызвала директриса и сама лично посоветовала увольняться и уезжать куда-нибудь, где больницы получше. Может быть, даже в Москву. Так и оказались они опять в Горьком, в маминой коммуналке, куда зарёкся возвращаться. На свой завод, конечно, не вернулся, а устроился тоже на судоремонтный. Соня же больше не работала. За первой опухолью была вторая, в другом месте, потом ещё, потом лечение. Мать померла как-то незаметно, хотя тоже болела. Михаил Степанович разрывался между двумя больницами. Да ещё Костик. Последний год перед смертью Соню в больницу уже не брали, только ходила медсестра из поликлиники два раза в день делать обезболивающие уколы. Иногда он ещё и ночью ей звонил, чтоб пришла дополнить. Святая женщина, если б не она... И всё это была такая тоска и мука! Смертная тоска. Когда жена умерла, он с ужасом понял, что испытывает облегчение...

Костик кое-как окончил школу, в политехнический не пошёл, как собирался, поступил в автомеханический техникум, а в девятнадцать лет пришлось ему жениться. Что называется, по залёту. Познакомились в трамвае. Она родом из деревни, училась в педучилище, жила в общежитии. Ей вообще восемнадцать едва исполнилось. Свадьбу играли на родине невесты, два дня гуляли, как положено с гармонью и самогоном, который разливали из чайников. В июле отгуляли, а в октябре уже двойняшки родились. Еле успели обои поклеить, да потолок побелить. Невестка ходила вся скрюченная после кесарева сечения, полведра воды не могла поднять. Вовка и Лёшка лежали в кровати валетом и орали денно и нощно. Михаил Степанович так был благодарен сыну за этот детский крик! За этот дым коромы-

слом. За то, что надо было всё время куда-то бежать, торопиться и вертеться как белка в колесе, помимо работы. Те несколько лет после Сониной смерти до женитьбы Кости были самыми одинокими и печальными в его жизни. Пустыми. С появлением здоровой весёлой и беременной Светки и, уж конечно, с рождением внуков, жизнь завертелась по-новому. Даже тёмная комната стала светлее. Всё, что по хозяйству Михаил Степанович не освоил за короткую совместную жизнь с чистюлей-аккуратисткой Верой, всё, чем не овладел, ухаживая за матерью и Соней, далось теперь легко и просто. Стирки-пелёнки, молочная кухня и поликлиника, кашки-малашки, глажка ползунков и распашонок. Уборка и готовка. Даже пироги с пельменями у него получались и коронный номер – холодец. Первые полгода невестка успевала только кормить и сцеживать. Костя учился и подрабатывал, утром ему давали выспаться в большой комнате на диване. Михаил Степанович вставал на смену в половине шестого по привычке, хотя завод уже умирал, заказов не было и можно было вообще хоть неделями не ходить. Тихо, как мышь, пробирался на кухню. В шесть утра у него уже была готова каша всем на завтрак, бульон для обеда стоял на плите. «Папа, – кричала из спальни невестка, – возьмите же его покачать!» Он уже был наготове, в ожидании этого зова. Забирал у Светки одного сытого, пока она не докормит второго. И каждый день гадал за дверью, которого? Вовка был посветлее и поупитаннее, быстро засыпал на руках, уютно пристроив круглую голову на плече у деда. Лёшка – потемнее и повертливее, пошустрее. И сейчас во всём обгоняет брата-тугодума. С этим приходилось повозиться – может, песенку петь, а может, и в коляске катать по коридору, как пойдёт. Жили они тогда очень бедно. Сваты усиленно растили картошку у себя в деревне, были у них и куры и корова, каждый год брали поросёнка, а то и двоих на откорм. Раз недели в две приезжал сват с котомкой продуктов. И всегда в придачу привозил бутылку самогона, которую сам же и выпивал. Жизнерадостный крупный мужик, краснощёкий и громогласный. После положенной «козы» каждому внуку и возгласов восхищения крепко усаживался на кухне. Михаил Степанович, суетясь для дорогого гостя, соображал закуску. Подтягивался Костик, уложив мальчишек, подсаживалась Светка. На кухне становилось шумно, тесно и многолюдно. Сидели долго – пили, ели, потом заваривали чай. Разговаривали. После определённой дозы сват иногда пел хорошим густым голосом разные песни, от «Красных кавалеристов» до «Сормовской лирической». И двойняшки почему-то не просыпались. Такого счастья, как в те нищие годы, когда мальчишки были маленькие, Михаил Степанович в своей жизни больше не помнил.

«Да, – размышлял он, переезжая мост в маршрутке, – чего только не было после, а такой радости – нет». Ушёл он всё-таки на пенсию с завода, по выслуге, дотянул. Где только потом не работал и кем. И лифтёром, и вахтёром, и дворником, и сантехником в местном ЖЭКе. Выучил детей совместными усилиями со сватами. Светка даже несколько лет по специальности проработала в детском саду, куда пацанов устроили. Потом в цветочный магазин ушла. И Костя техникум закончил по автомобилям, а продаёт теперь телефоны. Оба по торговле, хотя одна называется «флорист», а другой «менеджер по продажам». И вот что странно, хорошо, конечно, но странно: знакомы дети были всего ничего, несколько месяцев до свадьбы, а живут – дай бог каждому. Душа в душу. И по профессии, и по общей направленности жизни. А направленность у них такая, что надо обязательно из рабочей слободки, от завода, в хороший район переехать, центральный и престижный, на ту сторону реки, но чтобы и по площади не прогадать.

Вкалывали как сумасшедшие. Костик из командировок не вылезал. Бывало, в девять только домой придёт с работы, а то и в десять. У Светки в праздники страда, как на сенокосе. Числа третьего марта уйдёт в магазин, и кажется, что до десятого дома-то не бывает. Руки ножницами чуть не до крови стёрты – букеты резала. Михаил Степанович на детях, только с годами детям всё меньше и меньше становился нужен. Вначале – ясли, сад. Коляски, велосипеды, пюре, котлетки, сказки на ночь. Сказки и стихи Михаил Степанович очень любил, и мальчишки тоже много лет перед сном просили: «Деда, почитай!». Это пока маленькие были, а сейчас – не заставишь. «Тараса Бульбу» по программе – Костик чуть не с ремнём за ними гонялся. Наушниками заткнутся и улыбаются, каждый своему чему-то. Родительские квартирные амбиции им до лампочки. Они в Турцию хотят, один раз целый скандал вышел. Старшие дети (это Михаил Степанович так про себя Костика со Светой называл) как раз без отпуска пахали, а мальчишкам планировали два лагеря подряд, да месяц дома болтаться. На квартирную доплату совсем чуть-чуть оставалось, уже начали приглядываться, прицениваться. По всему дому газеты с объявлениями раскиданы, а Вовке с Алёшей вынь да положь Турцию эту! Все в классе были, а они – нет. Михаил Степанович тоже не был, на море только в Анапе один разок, на премиальные, ещё до Веры. Но ему вроде и не надо, не тянет. Скандалить он с роду не любил, да и вмешиваться не стал, закрылся в комнате своей и собаку забрал, чтоб на крики не лаяла, и так нервная.

Собака – отдельная история. Это Светка придумала, как ещё денег заработать. Свит Вэлли Голд Даяна, язык сломаешь, еле выучил. Сам звал её по-простому – Динкой, как нормальных собак дворовых называют. Родословная у этой Динки, как у Михаил Степановича трудовая книжка, если не длиннее. Свит Вэлли – это фамилия такая, название частного питомника. Питомник – это значит Светка и загородка под столом, когда щенки. Светка вечно на работе, поэтому Михаил Степанович вроде тоже в питомнике принимал участие в качестве рабочей силы. Прибирал да подкармливал. Их кормить-то, чертей мелких, замучаешься по науке, то творог им, то морковку три. Подрастут – вообще только держись. За первые несколько лет ножки у кухонного стола почти начисто съели. Ещё приходилось их будущим хозяевам показывать да расписывать, документы всякие предъявлять, тогда и пришлось имя сложное полностью без запятой выучить и на всякие вопросы уметь отвечать. Первое время такой породы, шарпей, в городе было очень мало, только в моду входила. Это уж потом Михаил Степанович понял, что на собачье племя тоже мода бывает. Первые несколько лет щенки быстро расходились, даже по записи брали. Ещё ни одного кутёнка нет, а они уже, можно сказать, проданы. И дорого продавали! Собака, конечно, очень уж несуразная: морда утюжком тупым, и выражение такое же – тупое, покорное. И попробуй его, пойми, выражение это, за складками. Молоденькая была она и бегала, конечно, играла. Такая была смешная, неуклюжая. А потом бегать перестала, ходила только, морду опустив, глаз не поднимала. Да и гуляли с ней всё по заведённому кругу во дворе. Михаил Степанович даже ругался, что водят, мол, её, как мельничную лошадь, так и с ума сойти не долго. Она и без поводка от маршрута не отступала. Михаил Степанович, когда сам с ней выходил, старался то до рынка, то до школы, а то и до сберкассы добрести. Только она не любила, приходилась её насильно на поводке волочить. Таскал, таскал, потом плюнул – пусть как хочет. А она во дворе привыкла – выйдет и стоит, три шага прошла, присела, потом опять стоит. Думает чего-то. А чего думает, известно – рожать устала. И вид у неё с годами

очень стал усталый, потасканный вид, просто тоска брала. Все её плюшевые складочки, которые в юном возрасте были тёмно-рыжего цвета и на ощупь приятные, мягонькие, – облезли и выпцвели. Раньше на выставках первые призы брала, красовалась, шкура переливалась как дорогой бархат. А теперь стала какая-то блеклая, морда седая, обросла родинками и шишками. Живот розовый и женские всякие причиндалы повисли. На новой квартире её уже не «женили», тем более что гарнитур купили новый на кухню и диван. Решили, что хватит пока щенков, и так всё, что могли, уже сгрызли и загадили. Да и Динка сама уже не молодуха, восемь лет. Чтобы щенков хороших дорого продать, надо мамашу крепкую. А здоровье не то, и главное, характер испортился. Ну ничегошеньки ей не надо! Голос повысишь – залает сипло, а потом опять – на матрасик ляжет и тоскует. И Михаил Степанович тоже с ней затосковал, хоть волком вой! Хоть из дому беги. Весь день нет никого. Только они, два старика, по квартире новой медленно ходят. Ждут, не дождутся, когда кто-нибудь домой придёт. Михаил Степанович часов до десяти утра все дела уже переделал, обед сготовил и пол пропылесосил. В магазин к открытию сбегал. Всё, можно сидеть, как Динка на коврике, только что не выть. Единственное, когда собака оживлялась, это когда Костик приходил. Очень его любила. Смешно и жалко, по-бабьи. Трусил на его звонок к двери, точно знала, что это он. Повизгивала тихонько, будто сдерживается, подпрыгивала, вилась и виляла всем своим шишковатым потёртым телом. Бедная-бедная. Светка уже новую породу присмотрела, ещё дороже, но мелкую. На пике моды, только надо за границей заказывать. Решили сразу и кобелька и сучку брать. Решили – и на работу скорей, деньги зарабатывать. А эту куда старуху? А помирать начнёт? Опять он, Михаил Степанович, будет за ней подтирать и ухаживать, а потом хоронить пойдёт? Тоска, тоска...

Такая навалилась тоска, смертная. То ли старый стал, то ли что... Тут и пришла вдруг мысль о дочери. Как там она? Не проведать ли? Может, помощь нужна? Может, и вовсе к ней? И так он уже представил, что к Оксане переедет, что в дверь звонил, как с делом решённым. А теперь и подавно. Выходило, что по всему должен он с ней жить. Одинокая. Забеременела, вишь, одна. Сколько уж ей, не сорок ли? Нет, вроде, нет ещё. Квартирка – картинка. Маленько мужского уменья приложить – загляденье. И закуток очень кстати. Кухня большая. Подружка Галя сказала, что и комната чуть не двадцать метров, и лоджия есть. Магазины все под боком. Садик детский. Да и зачем садик? Рано не надо отдавать, так перед школой, чтоб привыкла... И подумав о девочке, представил почему-то тоненькую, светленькую, чем-то похожую на Соню. С синими глазами. Остановку свою Михаил Степанович проехал, надо было возвращаться. Дождь пошёл уже не шуточный, кофта промокла, пришлось поторапливаться пешком в обратную сторону. Уже подходя к знакомому повороту, он обнаружил, что пришёл к старому дому. Совсем задумался, замечтался! И оказалось, не зря. Тут у них, на старой квартире, осталась половина сарайки во дворе. Давно было освободить надо, да за три года всё недосуг. Там и кровать детская разобранная стоит (две даже), и коляска одинарная, ни разу не пользованная. Хорошая такая, красная, весёлая. Крепкая. За пятнадцать лет ничего кроме пыли с ней не случилось, ну, может, ржавчина кой-где завелась, так почистить можно! Это Светкины родственники какие-то по случаю купили да подарили заранее. А у них вот что – двойня получилась. Так за двойной-то коляской потом весь город обегали.

Ключа от сарайки, конечно, у него с собой не было. Михаил Степанович вымок, замерз, но впервые за много последних лет чувствовал себя на

большом душевном подъёме, даже счастливым, и более того, счастливым с перспективой...

Утро начинается с мягкого толчка кошачьих лап. Изаура прыгает на кровать, медленно и аккуратно проходит вдоль стены и молча садится в изголовье. Пора, хозяйка. Оксана вставать ненавидит! Вечером у неё нет сил закончить день. Смотрит допоздна разную ерунду по телеку, чай пьёт и просто сидит на кухне без мыслей. А утром нет сил новый день начать. Вчера вроде и легла почти сразу, как гости убралась, а заснула под утро. Всё думала, да или нет. И опять: да или нет? А что делать, если сроки всё равно пропустила, себя только обманывать. И сомнения – это только страх, неуверенность в собственных силах... Оксана потрясла головой на всякий случай, стряхивая ночные переживания. Всё, встали! Здесь, на новой квартире, она больше всего полюбила смотреть в окно. Раньше утром всегда первым делом щёлкала пультом телевизора, что бы ни показывали – пусть бормочет, а теперь – в окошко. Можно лечь грудью на подоконник, потянуться ногами, выгнуть спину, как Изаура. Утро в окне показывали чистое и хрусткое, как отстиранная и висевшая на морозе простыня. Вчерашний дождь замёрз в лужах, цветастые листья клёнов и лип поседели в одночасье, стали одинаково белыми, поседело далеко видимое поле, крыши коттеджного посёлка и забор стоянки. Далеко на горизонте ярко, как огнём, горели несколько окон высотного офисного центра – это вставало солнце. Ещё неделя, и по утрам будет темно и тоскливо, надо пережить очередной ноябрь и дотянуть до Нового года. Изаура коротко потёрлась лбом о плечо, повернулась, провела пушистым хвостом по щеке. Молча. Потом отвернулась и сделала вид, что сидит здесь просто так, сама по себе. Мизантропка. На голодный желудок она всегда хмурая, если поднимает глаза, то смотрит укоризненно и сердито. Глаза у неё, как два драгоценных камня, редкого для кошек сине-зелёного цвета морской волны. По коридору к завтраку она идёт не торопясь, не теряя собственного достоинства. Ну, завтрак, а как иначе?

– Вот будет у нас ребёнок, Иза, так и узнаешь, как иначе! Будешь голодная.

Кошка ест молча, подробно и старательно разгрызая каждый комочек сухого корма.

– Ну-ну, давай, не обращай на меня внимания! А подрастёт ребёнок, будет тебя за хвост таскать, как тебе такое понравится?

Кошка, кажется, пожалала плечами, но головы не повернула.

Как относиться к тому, что отец объявился, Оксана ещё не решила. Два решения разом – это уж слишком. Вчера она слегка вспылила, прямо скажем, накричала на ни в чём не повинную Галку и на папашу этого. Утро вечера мудренее не стало. «И вообще, – думала Оксана, спеша к той самой остановке, где вчера так удачно успел на маршрутку Михаил Степанович, – почему обязательно надо этого папу приветить и полюбить? Кто сказал, что она ему на шею броситься должна? Ничего не должна. И почему все говорят, что тошнить должно утром? Её не тошнит нисколько...» На старой квартире остановка автобуса была прямо под окнами, но ехать дольше. А теперь – идти минут десять, даже пятнадцать, если не торопясь, а ехать быстрее – пять остановок. При горячем желании можно пешком дойти. Лаборатория в больнице на третьем этаже в переходе между корпусами. Направо пойдёшь – в хирургию попадёшь, налево – в терапию. Этажом ниже две реанимации, туда ходит свой лифт. Всё удобно, под рукой. Просторный кабинет биохимии из трёх смежных помещений

Оксана делит ещё с двумя лаборантами – Галкой и Ниной Кондратьевой, и врачом Еленой Давыдовной, она же – заместитель заведующей. Оксана – старший лаборант. Отвечает за график дежурств. Обычно это заключается в том, что все возможные смены она ставит себе. А теперь как? Беременные, небось, не дежурят столько? Надо признаваться и как-то перестраивать весь график. Катастрофа. Заведующая так и скажет – катастрофа. Нина Кондратьевна – пенсионерка, давно не дежурит, каждый год всё грозит уйти, в отпуске по два месяца с внуками на даче живёт. Галку муж раз в две недели со скандалом отпускает, хоть разводишься опять. Из других кабинетов девочки тоже, у кого дети маленькие, у кого чего. Больше положенной ставки никто не берёт. Надо что-то придумывать. Только что? Оксана как всегда пришла самая первая, переоделась и разложила на столе разлинованный лист. Срок четырнадцать недель, живот не торчит, а пуговица на рабочих брюках застегнулась еле-еле. Что она дальше будет носить, откуда возьмёт? Мысли уходят от графика далеко-далеко, никак не сосредоточиться. В мыслях полный раздрай, а вот стол Оксанин самый аккуратный. Всё на местах, рассортировано и разложено: бланки, штативы, журналы. В ящиках идеальный порядок. Столешницу она сама лично в прошлом году два раза покрасила белой краской, и тумбочку со всех сторон. У них вообще вся комната бело-голубая, светлая и уютная. Трубы над раковиной местами порыжели от ржавчины, надо бы тоже подмазать. К крану приделан кусок прозрачного шланга цвета Изауриных глаз. Всё здесь привычное и своё. Оксана встала и прошлась по комнате. На сколько ей придётся уйти? На два года как минимум, а если в ясли не попадут? Несмотря на отсутствие ремонта и сиротскую обстановку, в больнице Оксане всё милей, чем в той частной лаборатории, куда она ходит по субботам. Вот старый анализатор, вот новый. Сломанная центрифуга и рабочая. Галкин стол – под стеклом Серёжкина фотография «Первый раз в первый класс», а у Елены Давыдовны фотография кота. Вешалка, вытяжной шкаф и шкаф обычный, набитый всякой всячиной, нижняя дверка закрывается на гвоздик. Стол под компьютер, можно сказать, стащили из учебной аудитории, и ничего, стоит. «Это всё, что есть у меня, – подумала Оксана, – вот эта комната, люди, которые здесь работают, Галка. Что там ещё будет, не понятно. Но это потерять нельзя.» Защицало в носу, захотелось плакать, плакать... Сейчас все придут, а она рыдает над графиком.

Оксана взяла лейку из-под раковины и на всякий случай занялась цветами, к двери спиной. Подоконник облупился, зато растения шикарные, все цветут. У Елены Давыдовны сортовые фиалки в одинаковых горшочках, раскидистый декабрист, орхидея – подарок реанимации на восьмое марта. За цветами виден внутренний двор хирургического корпуса, угол больничной кухни, трансформаторную будку на повороте в поликлинику и деревянный синий забор. Раньше за этим забором виднелись обшарпанные крыши «народной стройки». Теперь на их месте возвели четырёхэтажный элитный дом с лоджиями во всю стену и закруглёнными башенками. Какое им, бедным, целыми днями упираться взглядом в нашу унылую больничную изнанку? Оксана решила, что это дань новой привычке – в любом помещении смотреть теперь в окно. И вообще, вид из окна влияет на психику, это доказанный научный факт. Что было на старой квартире со всех сторон? Липа, липа и берёза, площадка с мусорными баками. Летом темно от листьев, поздней осенью грустно от голых веток. С такими картинками получается психология норного жителя, крота. Или птицы из дупла. Хочется законопатиться, утеплиться, натаскать слоёв побольше, как на мамином диване, накрыться с головой и сидеть. А теперь можно на детишек смо-

треть, как они с горки съезжают или на качелях раскачиваются. Или просто вдаль смотреть, в перспективу. Может быть, даже окно открыть и дышать специально глубоко. И пусть будет прохладно. Ничего, наконец-то, не заклеивать на зиму, тем более что окна здесь пластиковые, нечего клеить.

Давно когда-то, за год или два до маминой смерти, они были вместе в Крыму дикарями. Маме порекомендовали одну хозяйку в Орджоникидзе. И хорошо съездили тогда. Хозяйка действительно замечательная женщина, Дворик чистенький, маленький, над ним шапкой виноград и абрикосовое дерево, глухой забор. Рядом такие же домики и сарайчики прилеплены. Везде живут, как в муравейнике, копошатся. А потом выйдешь с этой улочки извилистой, узкой, вывернешь на пляж – как будто крышку люка откроешь. Оксане тогда казалось, что она мимо открыток ходит. Не верилось, что всё здесь настоящее – море, камни, горы. Перед самым возвращением они с соседями по двору поехали в какую-то деревню за дешёвыми персиками, домой везти. Добирались на сумасшедшем автобусе, гнал, как в последний раз. В горку, с горки. Пыль, духота, приехали наконец, выгрузились и ахнули. Деревенька располагалась в горной чаше, одна часть которой была зелёная, поросшая лесом (оказалось потом, что это персиковые сады), а другая часть состояла из огромных каменных глыб, хаотично наваленных одна на другую, как будто хулиганил великан. Играл в кубики и не убрал за собой. У автобусной остановки росло черешневое дерево, на котором ещё оставались ягоды, и корявый разлапистый грецкий орех. К ореху был привязан ослик с бархатными ушами-локаторами и грустнейшими карими глазами. Видеть это всё наяву казалось непостижимым. Оксане не верилось, что здесь могут жить обычные люди, реальные деревенские жители. Какими они должны быть, если каждый день, проснувшись, могут увидеть эти глыбы древнего камня, утёсы, синейшее небо, зелёный склон, орех и ослика с глазами, полными человеческой тоски? Как отличаться от них должен какой-нибудь средний крестьянин их средней полосы, который утром видит стог сена, бурую тучу над головой и бурое поле до самой тучи? Или унылые ветки липы с третьего этажа? Вид из окна, безусловно, всё меняет.

Вот на лоджии элитного дома открылось стеклянная створка, и полная женщина в белой футболке стала трясти половичок. Значит, восемь. Она каждый день так выходит и трясёт. Оксана давно про себя решила, что это горничная, не хозяйка квартиры. У неё, наверное, в это время начинается рабочий день. Пункт первый в нём – половичок. Даже интересно, что именно один. Может быть, другие ковры слишком большие, и их надо чистить пылесосом? Оксана, ещё учась в школе, могла бы работать горничной при любых требованиях. Мамина выучка. Все уборочные навыки доведены до автоматизма. Оттереть, отскрести, отчистить. Пройтись мокрой тряпкой, потом сухой, потом полировкой. Рамы с нашатырём, краны с уксусом. Лестничную площадку с хлоркой. Окна раз в месяц, летом – раз в неделю. Мыльной водой, чистой водой, насухо, газетой до блеска. Пока не сведёт руки, чтобы не было разводов. Стеклоочистителям мама не доверяла. Пол с порошком, плитуса в коридоре – щёткой. Кафель губкой, дно сковородки – железной мочалкой, эмалированный поддон плиты на ночь засыпать кальцинированной содой. Бельё крахмалить, полотенца кипятить. Гладить с двух сторон и складывать стопкой. Полоскать в трёх водах. После каждой еды клеёнку вымыть до блеска и расстелить скатерть. Сверху плетёную салфетку и вазу с искусственными фруктами. Если через полчаса захочется чая – всё убрать до клеенки в обратном порядке. После маминой смерти Оксана первым делом убрала скатерть, потом перестала

крахмалить простыни, а окна не мыла года два. Отдыхала. Она никогда не сопротивлялась маминой патологической аккуратности и педантичной чистоплотности. Не возражала и выполняла всё вполне добросовестно. И продолжала бы дальше, просто тогда, сразу, не было сил совершать действия слишком мамы. И даже только мамы. Вот она, эта пресловутая кухонная скатерть с вышивкой по углам, вот она банка с крахмалом, мерная рюмочка внутри. Так тяжело было этим пользоваться. Всеми тряпочками, сложенными в идеальном порядке в шкафчике за унитазом. Каждая тряпочка – для своей цели. Сода и чистящий порошок «Санитарный», единственный, так и быть, признанный для уборки. Щётки отдельно. Пятилитровая кастрюля для кипячения под столом в кухне. Первые месяцы Оксана просто сидела и смотрела, как копится пыль по углам, пылятся полки, обрастают белёсым налётом краны. И времени было так много, так долго оно тянулось между возвращением с работы и сном, что казалось, каждый час удивительным образом удвоился или даже утроился. Конечно, потом пришла Мария Семённа и походя бросила своё роковое: «Ну ты чё, запускаешь квартиру-то потихоньку?» Вывела из спячки. Но Оксана за это время поняла, что вся эта мамина подробная чистоплотность – не что иное, как способ провести время. Заполнить дни, придумать себе дела, чтобы не чувствовать пустоты. Метод борьбы с одиночеством. Оксана тогда решила, что сама она так не будет никогда и ни за что. Мама всё-таки была норный житель, или птица из дупла. Она не видела ослика и каменные отвалы, она просто покупала персики, торговалась и прикидывала, как их упаковывать и везти. Только через десять лет Оксане удалось вылезти из той норы, освободиться от многослойной шелухи гнезда и вдохнуть полной грудью.

В коридоре затопали, дверь распахнулась. Рабочий день по-настоящему начался. Вошла как всегда утром радостная и сияющая Елена Давыдовна и как всегда мрачная Нина Кондратьевна. Слегка припозднилась Галка, вбежала помятая, но весёлая, с ворохом лабораторных журналов, и тут же их на стол грохнула. Зубами у неё было зажато восхитительно пахнущее красно-полосатое яблоко с живыми листиками на черенке. «Иж нашего шادا», – весело прошамкала она и ещё одно такое яблоко вынула из кармана халата для Оксаны. Подруга.

– Ты как себя чувствуешь? – Общий обед они пропустили, и остались теперь, наконец-то одни в лаборантской.

– Да я-то что? Это ты. После вчерашнего.

– Господи, это с пива-то? Ерунда. Вадимка только руга-ался... Я пришла, он Серёгу без ужина уложил, прикинь? И даже ему простынь не дал, хотя знает, где бельё-то лежит. И Серёга у меня прям на матрасе заснул, на голом.

– А куда бельё-то делось, Галь?

– Так я постирала утром, а новое не постелила...

– Ну и ты ему что? Сказала что-нибудь?

– Я-то сказала, а он в ответ мне тоже. Я, говорю, у Оксанки отец родной объявился, не могла же я вот так просто взять и уйти, а он мне... Ладно, – она махнула рукой.

Понятно, что значит это «ладно». Галка такая жалкая, как нахохленная птица, действительно. В коротких чёрных как смоль волосах угадывается русский пробор. Лицо с чуть припухшими веками и круглыми щеками, такое детское, и вся фигурка субтильная, вертлявая – девчачья. А присмотришься – морщинки, горестные складки возле крыльев носа, кисти рук

в ручейках вен. Яркий маникюр, это она обожает, но на больших пальцах ногти обкусаны. Жалко Галку.

– Галь, ты бы его как-нибудь, это, ну... Серёжка-то в чём виноват?

– А как, кстати, действительно, ты с отцом-то решила? Он мне телефон свой оставил вчера. Ну, для тебя, конечно, а я ему твой дала. Ты чего думаешь? – понятно, Галка о себе говорить уже не хочет. Что там говорить, всё сказано уже.

– Не надо мне телефон его, Галь. Пусть подавится. На что он мне? Ещё мне папы не хватало! Он алкоголик, небось. Инвалид. И вообще, дурак какой-то. Приперся....

– Почему дурак?

– Нипочему. А ты чего его защищаешь?

– А что, нормальный мужик. Родная кровь. У тебя что, куча родственников, кроме него?

– Раз он такой замечательный и ты так чудесно с ним вчера время проводила, отлично познакомилась, так и забирай его себе! – Хорошо хоть дверь в коридор была закрыта, а то обе они уже кричали друг на друга.

– А мне он зачем? Мне твоего добра не надо! У меня свой папаша есть. Если от водки не околел, то жив где-то!

– И ты сама, Галь, зачем выпиваешь, а? Галь, ведь каждые выходные! – это вырвалось, конечно. Оксана нисколько не собиралась об этом говорить и вообще – поучать. Ляпнула и почувствовала, что сейчас расплачется. Вот дура!

– А ты ребёнка оставишь, или как? – не снижая тона выкрикнула Галя.

– Да! Представь себе!

И добавила тише уже:

– У меня срок четырнадцать недель, поздно решать.

Помолчала.

– И нечего решать было, это так я...

Галка подошла, обняла, уткнулась шмыгающим носом куда-то подмышку. Вот так всю дорогу они: крупная высокая Оксана и маленькая Галка. С училища.

– Только ты давай девочку, ладно? – дёрнула носом Галка. – Невесту. Хорошо?

– Хорошо...

Таких вот шмыгающих в обнимку их застала Елена Давыдовна. Оксана окончательно расплакалась и всё, конечно, рассказала. Не выдержала. Остаток рабочего дня пришлось-таки посвятить графику.

Папаша, Оксана и не сомневалась, не преминул позвонить. И раз, и два. Надо бы повидаться, доча, дорогая, давай встречаться и общаться. Ещё не хватало! На третий раз она с ним немного поговорила, потому что не было сил сопротивляться. Как, мол, дела. Пока не родила. Голова была совершенно другим забита. Оксана позвонила, наконец, в женскую консультацию и записалась на приём. Суровая женщина на том конце провода сначала отругала на чём свет стоит, поздно, мол, аборт в таком сроке, да и на учёт не вовремя, и где была, и чем думала, и так далее. Довела до слёз. Когда Оксана совершенно перестала оправдываться, а только молча всхлипывала, регистраторша слегка смягчилась и предложила кроме приёма записать сразу на и анализы, и на УЗИ, потому что уже пора. А когда Оксана, всё ещё шмыгая, призналась, что работает в больнице, и кровь будет сдавать там, тётка совсем растрогалась и пообещала так подобрать время, что УЗИ совпадёт с приёмом врача. И вот, в следующий понедель-

ник Оксана по десятому разу пересчитала и перебрала все свои анализы, кстати, вполне нормальные, отпросилась с работы пораньше и поехала в консультацию. Фамилия доктора была Ускова. Их с Галкой третья подруга Татьяна тоже была по мужу Ускова. И свекровь у неё, вроде, врач, только какой специальности? Пока Оксана ехала в консультацию, совсем уверилась, что в кабинете будет её ждать именно Танюхина свекровь, и пыталась теперь вспомнить, как она выглядит. В очереди на приём сидели три сильно беременные, совсем молодые девчонки. Первая белобрысая с косой, вторая с распущенными тёмными волосами, в специальном джинсовом комбинезоне, красивая. Третья – нарядная, сильно накрашенная блондинка. Все они были такие хорошенькие, изящные, с аккуратненькими круглыми животиками, выставленными напоказ! Оксане сразу захотелось такой же. Она ни за что не стала бы его прятать за балахоны и широкие платья. Она надела бы такую же водолазку в обтяжку и узкие брючки со вставкой спереди. И ходила бы вразвалочку, выпятив пузо. Вот, смотрите! Если бы она была такая же юная и красивая. Четвёртой на лавке сидела пожилая тощая женщина с хмурым лицом. Оксана тяжело опустилась на стул у противоположной стены. Человек-гора. Сейчас особенно она чувствовала себя большой и толстой. Крупная голова, волосы густой шапкой. С детства была проблема купить головной убор впору. Большие руки на широких коленях. «Ну и пусть, – подумала Оксана, – пусть я в два раза старше, да. Толстая, глупая, старая тётка. Ну и что, всё равно у меня тоже будет ребёнок, не хуже, чем у них...» Тут в коридор из кабинета выкатилась молодая круглая бабёнка в тугом белом костюме. Черноволосая, густо чернобровая и усатая. Доктор Ускова.

– Ну, девушки, кто тут у нас по плану?

«Девушки» разом вскочили, как по команде. По плану были все, оказывается, даже Оксана, которая сразу заволновалась, что её нет в каком-нибудь важном списке. Но вне списка оказалась пожилая.

– Жди, Карпова, – предупредила её врач, – как приму беременных, так с тобой.

– Ты тоже беременная? – повернулась она к Оксане.

– Да-да, – засуетилась та. И уже увереннее добавила, – да, беременная, на учёт вставать.

– Ну вот, – легко согласилась Ускова, – а ты жди, Карпова, или записывайся.

Таким образом, Оксана переместилась на четвёртую позицию и очень скоро попала в кабинет. Все манипуляции оказались не такими уж страшными. Круглая Ускова оживлённо обсуждала что-то с медсестрой, сидящей за соседним столом, громко смеялась и вообще казалась человеком очень жизнерадостным. Оксану она называла «моя». «Давай, моя, раздевайся. Давай, моя, ложись.» Раз-раз, через пятнадцать минут осмотры-расспросы закончились, анализы были подклеены в карточку, и, потыкав ручкой в специальный календарь, врач написала крупно на титульном листе срок родов: 12 апреля. «День космонавтики», – машинально отметила Оксана. На прощанье Ускова посоветовала колготки не надевать, потому что в ультразвуковом кабинете всё равно снимать придётся. В дверях с Оксаной столкнулась торопливая Карпова, спешащая попасть к врачу, пока не убежал ещё народ.

Больше всего Оксана переживала за свои анкетные данные, возраст, отсутствие мужа, и вообще отсутствие чего-либо. Всё впервые. Но доктор Ускова вообще отнеслась к этому равнодушно: «Моя, замужем? Нет? А отец ребёночка к нам сюда будет приходить, кровь сдавать? Нет? Моя,

аборты были?...» Никого ничего уже не волновало, не прошлый век. Оксана подумала о маме. В гробу, наверное, переворачивается. Мама мечтала, как Оксана выйдет замуж. Складывала приданое – пододеяльники с вышивкой, немецкий домашний халат, льняные полотенца для кухни, набор столовых приборов в подбитой бархатом коробке, хрустальное блюдо для торта. Да. Мама была строгих правил, профсоюзный деятель и коммунист. Правильная мама. Бедная мама... Галку, например, не любила. «Разбитная девочка. Ты посмотри, как она себя ведёт, как говорит. Нет, Оксана, близко с ней не стоит дружить, вот Танечка...» Танечка тоже, на самом деле, была очень даже свободного поведения. На их с Галкой фоне Оксана была просто монашкой. Наверное, все проблемы с её редкими и кратковременными мужиками, происходили оттого, что Оксана прямо из монашек шагнула в ногу с подругами. Если бы мама знала хотя бы половину...

А ведь этот будущий ребёнок, несмотря ни на что, появится именно благодаря маме. Благодаря её кошке Изауре, против которой когда-то Оксана возражала. Прости, Изаура! Оксана хотела кошку породистую, голубых кровей. Такая была у одной медсестры на работе. Оксана случайно пришла со своими пробирками в тот момент, когда хозяйка с гордостью демонстрировала фотографии. Длинноногая, изящная, с узкой высокомерной мордой, кошка была похожа на египетскую статуэтку. Похоже, ей нравилось позировать. Котята стоили дорого, но поскольку вопрос о кошке в доме с мамой уже был решён, Оксана размышляла, где бы занять, пока всех не разобрали. Пока думала, мама сама притащила с работы котёнка. Оказалось, обещала сослуживице. Простая из простых: белая грудка, полосатая спина. Таких пруд пруди. Ну не тащить же обратно! И имя мама придумала дурацкое, но упёрлась. Изаура и точка. И вот эта самая кошка, спустя годы, захандрила. Прямо после Оксаниного переезда. Плохо ела, утром брезгливо нюхала с детства уважаемую кильку, а потом с отвращением зарывала лапами миску. Ходила медленно и спала не на любимом табурете, а под кроватью. Потом у неё стала облезать морда, шерсть выпадала крупными клочьями и лежала по всему полу. Оксана испугалась, в очередной раз лихорадочно сосчитала кошачьи годы и поволокла её в ветлечебницу. Аллергия, что ли, на что-нибудь, или отравилась? Если новая квартира должна была стать причиной кошачьей гибели, то зачем она вообще? Всё, что осталось от мамы недовольно урчало в старой спортивной сумке. Ветеринарка удачно обнаружилась рядом, минут десять от остановки вглубь микрорайона. А кошка-старушка оказалась тяжеленная, еле дотащила. Посмотришь – пушинка-пушинкой, прыгает и ходит бесшумно, а в сумке как кирпич. Ничего серьёзного у неё не обнаружили, ушной клещ, экзема и старость. Две немногословные барышни ловко спеленали Изауру в плотную простынку, оставив только гневную оскаленную морду. Она плевалась и шипела, рычала хриплым басом, сверкала глазами и напрягала все четыре лапы внутри кокона. Барышни-ветеринарши на это особого внимания не обращали, мастерски обработали оба уха, повыщиповали клочками вылезающую шерсть вокруг, намазали прозрачной жидкостью, а напоследок ещё зелёнкой. Кошка при этом, клацая зубами, пыталась ухватить пастью пинцет с ваткой. Напоследок её грубо развернули, усадили, совершенно ошалевшую, на стол, дунули в нос и вкололи в пушистую попу укол.

«Сами сможете колоть и обрабатывать?» Конечно, Оксана не могла. Кошка с фантастической голой тёмно-зелёной мордой, смотрела угрюмо и мрачно, но когти не выпускала и бежать не пыталась. Представить, что дома её можно будет так унижить, было невероятно. Выражением лица она напоминала маму. В тот день, который Оксане не забыть, мама снимала

бельё на балконе и что-то выговаривала насчёт простыней Оксане. Что-то белое, вроде, она повесила близко к бортику и испачкала, надо перестирать, сколько можно говорить об этом, надо следить, как вешаешь, зачем тогда стирать, стараться, надо просто приложить усилие, а не думать в этот момент о другом... Говорила, говорила. Оксана мыла пол в коридоре и все усилия прилагала к тому, чтобы не ответить. Наконец, сердитая проповедь прервалась, звякнул таз и воцарилась тишина. Видимо, мама складывала простыни и пододеяльники перед гладкой. На гладильной доске всё тоже должно было лежать идеальной стопкой. Оксана спокойно домывала пол, вылила и ополоснула ведро, повесила тряпку. Мама сидела на диване, навалившись грудью на собственные колени, чёрно-фиолетовые руки были протянуты к стоящему на полу тазу, такое же тёмно-синее страшное лицо склонилось над лежащей сверху идеально белой наволочкой с кружевными прошвами. Остановившиеся мёртвые глаза смотрели сердито, брови были нахмурены и все черты искажены гневом. Был май. Тихий и по-летнему тёплый городской вечер. В распахнутой балконной двери полоскались занавески, пахло свежестью и сиренью, на чистом гладко крашеном полу квадратами лежало закатное солнце. Мама умерла. И первая мысль, которая в тот момент пришла Оксане в голову, была о белье. «Если бы я знала, что так будет, никогда бы не повесила белое рядом с перильцами, чтобы мама не рассердилась...»

– Бокарёва! Бокарёва есть на исследование?

Перед кабинетом УЗИ тоже ждали несколько женщин, но очереди здесь не было, вызывала медсестра по списку.

– Ой, да, я!

Средних лет женщина в очках и с огромными серьгами из бирюзы, видимо, врач, сидела спиной к двери и двумя пальцами сосредоточенно что-то выстукивала на клавиатуре компьютера. Везде было темно, только на столе горела настольная лампа и мигал огоньками ультразвуковой прибор, похожий на космический корабль.

«Сейчас я посмотрю на своего ребёнка, – подумала Оксана, – вот сейчас».

– Тряпку взяла? – спиной спросила врач.

– Что?

– Пелёнку, говорю, взяла?

– А? Да.

– Легла?

Оксана быстренько улеглась на топчан.

– Юбку и трусы, – также спиной скомандовала врач.

– Что?

Врач повернулась и посмотрела на Оксану поверх маленьких прямоугольных очков. Мол, кто тут такой непонятливый?

– Фамилия?

– Бокарёва, – поспешно назвалась Оксана, лихорадочно стягивая юбку через ноги.

– Ну?

Геля было слишком много, он попал на свитер, датчик был холодный и противный, зато он был, как окошко в живот. Можно было посмотреть на экране, кто там внутри. Экран докторша повернула к себе и на робкую Оксанину просьбу просто промолчала. Несколько раз она нахмурилась, покашляла и что-то несколько раз перемерила и пересчитала.

– Ну что там? Всё нормально?

– Угу. У тебя дома-то кто?

– Как понять, кто? – Оксана приподнялась на топчане. – Никого...

Докторша опять повернулась и удостоила её ещё одним скупающим взглядом поверх очков.

– Первый, что ли? – и, заглянув в карточку, вздохнула. – Пол ребёнка говорить?

– А что, уже видно?

– Девочка.

Консультация в этом районе располагалась очень удобно. От работы одна остановка, прямой автобус до дома. Кра-со-та. «Елена? – думала Оксана. – Алёнка. Галя, нет, не Галя, конечно. И не Вера, нет. Даша, Оля, Екатерина, Света. Света – дочка Анатолий Палыча.»

Анатолий Павлович – владелец зоомагазина и ветполиклиники, в которой лечили Изауру. Сам в прошлом ветеринарный врач, а теперь у него такой бизнес. Магазинов даже целая сеть. Ему пятьдесят пять лет, три семьи с детьми, мама – садовод. В самой последней семье доченьке Светочке восемь лет, жена младше на десять лет, красивая. Оксана видела фотографию у него в бумажнике. Да он и не скрывал от Оксаны. «Погорю я на вас, на бабах», – и улыбался. Весёлый такой, всё время её смешил. Он постоянно в клинике вертелся, то с лекарствами, то писал чего-то, то в операционной помогал. А Оксана ждала кошку с обработки, сидела в коридоре на стуле. Хохотали до слёз, и он сам же над теми анекдотами, которые рассказывал. Оксана от смеха не в состоянии была даже пококетничать. Изауру Анатолий Палыч называл «мадам», предложил подвезти как-то раз. Поскольку кошка была тяжёлая, Оксана легко согласилась. Он был такой забавный, щекотал её усами, но одновременно нежный, трогательный. Невысокого роста, плотный, голова седая. Очки в тонкой золотой оправе. Снимет – заводской работяга, наденет – профессор. Дома два кота, а у мамы собака такса. Все жёны животных не очень любили, зачем же замуж за ветеринара выходили? Он Оксану по голове всегда гладил на прощанье. Добрый. «Ага, добряк, – комментировала Галка, – вон сколько добра наделал!» Ну и что! Разве она много хотела? Замуж, там, вместе жить и так далее? Мужчину в доме? Хотела когда-то, чтобы был отец, давно. Не быть одной. Да она и не одна теперь. Ну вот, сбылись мечты...

Он не был рад, но и не был против. «Боже мой, Оксана! Я понимаю, как это для тебя... Я не могу тебя заставить, даже попросить... Я много не смогу тебе помогать, ты знаешь. Я... поверь, если бы не Светка...»

«Настя? Все теперь Насти. Татьяна, Полина, Женя. Валерия. Варвара. Варя, Варенька». В маршрутке она выпятила живот, которого ещё и в помине нет, но девочка с портфелем уступила ей место. Видимо, здесь, на этой остановке, всегда садятся беременные из консультации.

Недели через две папашка опять позвонил. Привет-привет. Как самочувствие. Вот соскучился. Это он-то? Не успел повидаться, уже соскучился. Смешно! Была суббота, утро, накануне выпал первый снег. Он сразу растаял, но выпал же! Утро субботы всегда поднимало у Оксаны настроение. Прошло по крайней мере пять лет после маминой смерти, пока Оксана не поняла, что по субботам она может не убираться так, как раньше. Плинтуса – щёткой, пол – сначала мыльной водой, потом смыть... И главное, что этим нельзя уже обидеть мать. И можно даже вообще не убираться, а просто смотреть телевизор. Болтать по телефону. Бедный папа, тоже один, что ей, трудно с ним поговорить?

– А у меня дочка будет!

– Да? Ой, как здорово! А то у меня мальчишки одни! Внучка, вот радость-то!

– Какие мальчишки...

И трубку положила. Да. Бедненький папочка, совсем один.

– Яу! Вя-у! – сказала Изаура. Давай завтракать. Морда у неё после болезни обросла новой шерстью. Седой. Совсем старушечья. Зато после ветеринарных манипуляций она слегка присмирела. Даже взгляд подобрел чуть-чуть. Видимо, теперь она впервые почувствовала силу Человека, который может, если что, запеленать в вонючую тряпку, дающую полную власть. И когти не помогут.

– То-то, старуха моя, рыбку ещё варить надо. Сиди, жди.

Изаура аккуратно села посреди коридора, обернулась хвостом и зевнула во всю пасть, обнажив внушительные жёлтые клыки. Левый верхний сломан, ещё в детстве.

– Сейчас, сейчас.

Килька закипала медленно и жутко воняла. Кажется, раньше у неё не было такого противного запаха. На детской площадке в окне было по-субботному многолюдно. Куча малышей с визгом носилась вокруг горок и лесенок. Два папы сосредоточенно курили у входа, пришёл и папа двойняшек из соседнего подъезда, они ещё плохо ходили сами, поэтому родители водили их на двух поводках-шлейках. По случаю похолодания близнецы были одеты в тёплые комбинезончики – синий и коричневый. «Значит, мальчишки», – подумала Оксана. А девочки – вон, почти все в розовом. Одна такая красotka лет трёх в малиновом расклешённом пальтишке забралась на самую верхушку горки и прыгала там. Полная пожилая женщина в норковом полушубке подпрыгивала внизу, волновалась. А вон та, постарше, в жёлтой курточке, из-под шерстяного берета с двух сторон выглядывали крупные многоярусные банты-розы. У Оксаны были в школе такие. Мама делала сама. Теперь что – любой можно купить уже готовый, а тогда нужно было найти в галантерее подходящую ленту и её особым образом насборить. В начальной школе у Оксаны были косы баранками с двух сторон, ежедневно туго заплетённые атласными коричневыми лентами. И сшитый мамой, не покупной скучный, а крылатый, из блестящего искусственного шелка чёрный фартук. А белый с бантом на спине и отделкой из кружев – батистовый. Воротнички с манжетами на форменное платье надо было перешивать дважды в неделю. Ленты тоже стирать и гладить тёплым утюгом через бумагу. А что, если они бы переехали сюда с мамой? И с папой? Невероятно... Девочку с бантами на качелях катал дедушка. Она сидела на одном конце цветной доски, болтая ногами, и вопила от восторга, а дед нажимал на другой конец, поднимая малышку вверх, потом, придерживая, отпускал и в конце совсем отпускал руку. Девчушка плюхалась о землю сиденьем доски, и видимо, этот самый последний и самый рискованный момент и приводил их обоих в такой восторг.

– Яу? – уточнила Изаура, вспрыгивая на подоконник.

«Мама ни за что бы не переехала», – думала Оксана, сливая килечную воду в раковину.

– Сейчас, сейчас, дорогая, остынет твой завтрак.

Мама даже представить себе не могла, что ту самую квартиру, которую она считала главной ценностью, по метражу, по расположению и по престижности, можно на что-то там поменять. Десять-пятнадцать лет назад, здесь, в новом районе, были выселки. А теперь – мечта. Вон, самый распрестижный коттеджный посёлок построился. Полчаса – и в центре. Куча транспорта ходит. Дома как грибы растут. Старая квартира была выменена мамой на какие-то комнаты. «Сталинка» – три с половиной метра потолок, балкон, удачный третий этаж, крыша не будет течь, в подъезде лестница

с чугунными перилами. У Оксаны всегда была своя комната, вторая, с балконом – мамина. Уютный двор, отгороженный от соседнего двумя рядами двухэтажных деревянных сараев. Сгорели все, конечно, сараи эти, ещё при маме. Осталось только несколько кирпичных гаражей. Идея с переездом родилась в предприимчивой голове Марьи Семённой. Её дочь с мужем и сыном много лет жили со свекровью в маленькой двухкомнатной квартире. Жизнь эта, как Оксана поняла из бурных излияний соседки, была совершенно невыносима. Молодые, затянув пояса, построили однокомнатную «хорошу нову» квартиру, вот эту. Им бы и переехать, но случился неожиданный, негаданный форсмажор. Родился ещё один ребёнок. Во-первых, как теперь уместиться в одной комнате, во-вторых, кто помогать будет? Свекровь то ли больная, то ли просто отношения плохие, Оксана не поняла. Поняла, что с ребёнком надо нянчиться, дочь отпускать на работу. Каждый день ездить с неудобной пересадкой час туда, час обратно. «А огород?» – риторически и истерически вопрошала Мария Семённая. Здесь-то огород и рынок-кормилец от дома были в одной остановке троллейбуса. И вот теперь перед Семённой стояла нешуточная задача: соединить козла, капусту и волка, то есть внука, рынок и огород.

Решение пришло в виде Оксаниной квартиры. Соседней! Как удобно. Не надо ездить, время тратить. Все рядом, к тому же комнат две, ремонт Веркин собственноручный, хоть и двадцатилетней давности, но добротный, и квартирка содержалась чисто – загляденье! Окна во двор. Кухня семь, унитаз чешский. Плитка. Линолеум постели (зять – на все руки мастер) и живи. Радуйся. Счастью препятствовала только Оксана, которая отказалась наотрез.

Как было уехать отсюда? Здесь везде ещё жила мама, и забрать её не представлялось возможным. Дом, созданный руками мамы. Свитое гнездо. Всё, что было у Оксаны – самое ценное. Рядышком – Галка, рукой подать. Универсам. Да что там говорить! Каждый человек в подъезде с детства знаком. Никто не менялся. Стены как прозрачные, всё слышно. Разговоры, ссоры, телевизоры, пианино из соседнего подъезда. На лето бабушки вылезают на балконы, из распахнутых окон пахнет борщом и жареной картошкой. Сосед дядя Петя с четвёртого этажа чистит на лестнице ботинки. Другой сосед, напротив, выходит за газетой. Иллюзия семьи. Муравейник. А там знает Оксана – каменные джунгли! Татьяна к мужу переехала в спальня район. Все чужие. Двор – стадион. На лестничной площадке курят и выпивают совершенно чужие подростки. Нет, нет и нет!

Марья Семённая ввела осадное положение. Обложила со всех сторон – не продохнуть. По полчаса простаивала на лестничной площадке с орущим внуком в коляске. Ребёнок якобы страшно замучен ездой в транспорте. И якобы без этой езды никак теперь не обойтись. Сама она никак не выглядела измученной, наоборот, полной сил для борьбы. Вечером трезвонила в дверь. Подтянутая, энергичная, в леопардовых бриджах и ядовито жёлтой футболке. Приходила и усаживалась плотно, улыбаясь золотозубой улыбкой. «Для разговору».

– Ну и чё, отдыхашь? А там, знаешь, как будешь отдыхать? О как! Лоджа – три метра. Хошь пляши, хошь – телевизор гляди. И застеклена уже, понимаешь?

– А мне лоджия не нужна, мне балкон нужен, – в отчаянии капризничала Оксана.

– Ну и чё? Створку-ту откроешь и всё. Тебе и балкон.

Мария Семённая уговаривала, а сама рукой уже по-хозяйски поглаживала косяки, оклеенные лично мамой. И ногой пробовала плинтус на проч-

ность. И случайно просилась в туалет, как будто не дотерпеть, а на самом деле – проверить кафель. Соседкина дочка, которую Оксана в детстве частенько забирала из садика, теперь при встрече в подъезде не здоровалась.

– Там это, дом рядом военный. Офицеров поселяли. Познакомишься хоть, может, с кем, замуж выйдешь. А то чё здесь сидеть-то? Да ты хоть съезди туда!

Оксана продержалась месяц. Она понимала, что если сейчас уйдёт в глухую оборону и упрётся, всё равно жизни здесь уже никакой не будет. Семённая приведёт всю дочкину семью, и они встанут табором под дверью, пока она не сдастся.

Галя и Татьяна почему-то были единогласно «за». «Вырвешься наконец-то! А то так всю жизнь и просидишь с тётками и бабками. Я же знаю! У нас такой же базар-вокзал! И у Вадимки – уже примелькалась. Соседка к нам покурить ходит, ей муж запрещает. Прётся, как к себе. А Вадимка не против. Я делами занимаюсь, а они сидят, дымят. Я, говорит, её с детства знаю, не подумай чего...» – Галка как обычно переключилась с Оксаниных проблем на свои. Татьяна поддакивала. «Глотнёшь свободной самостоятельной жизни!» Она любили так, с пафосом, как Ленин на броневике. Никогда Оксана не рассматривала свою жизнь как заточение. Глупость какая! А они обе хором: «Да ты съезди, посмотри!» И Галка просто приплясывала в нетерпении – сейчас же собираться и ехать всем вместе. «А платить-то, девчонки, за новостройку...» Думала, думала. И тут её повысили до старшего лаборанта с улучшением зарплаты, потому что Нина Кондратьевна в очередной раз серьёзно засобиралась на пенсию. Всё шло в масть, и Оксана поехала смотреть. Посмотрела и переехала. Наверное, сыграло роль, что тогда был май. Всё проснулось и расцвело, и Оксана тоже захотела расцвести. Вид из окна – это раз. Гулкая пустая кухня действительно была огромной. Очень светлая комната, гладкие обои в полоску. Светло-серый линолеум. Муниципальный ремонт. В подъезде не пахло ни супом, ни кошками, а пахло дорогой парфюмерией. В лифте было приделано зеркало. Дому был год от роду, и в каждой квартире шёл ремонт – стучали, сверлили и колотили с утра и до вечера. Это было даже весело.

Перед грузчиками, втащившими на седьмой этаж её узлы, тазы и коробки, Оксана выпустила Изауру, как положено по примете. Кошка недовольно встряхнулась после неудобной сумки. Посидела. Потом изобразила бурную деятельность – почесала за ухом, полизала одну лапу, другую, потом придиричиво проверила задние. Обернулась исследовать левый бок, не запылится ли в пути, и столкнулась взглядом с Оксаной. Тут она как будто вспомнила, зачем пришла. Потянулась и отправилась по пустому коридору, пригнув голову и поводя усами. Она, не отвлекаясь, добралась до комнаты, легко вспрыгнула на широкий подоконник и посмотрела в окно. Обернулась, прищурила свои фантастические глаза и вроде как плечами пожала. А что, хозяйка, жить можно. Так и стали жить, теперь уже окончательно без мамы. Наверное, если б действительно квартиру она впервые посмотрела осенью или зимой, сто раз подумала, ехать – не ехать. А тут – погода, природа. В роще за детской площадкой пели соловьи. Оксанин дом шоколадный с жёлтыми полосками стоял на краю оврага на горке, весь облитый солнцем. Панельные дома в округе, чуть постарше, все были разных цветов. Голубой, зелёный, синий, ярко-фиолетовый. По пути к дому от остановки в два ряда стояли ларьки и магазинчики. Весело. Вечером, когда Оксана возвращалась с работы, здесь было многолюдно. Из открытых дверей павильонов лился шансон, толпился народ. Красивые девушки на каблуках и в коротких ярких платьях стояли в обнимку

с красивыми юношами в светлых джинсах. Касалось, стоит обуть такие же высокие лёгкие туфельки, и найдётся подходящий молодой человек. Просто пойдёт рядом.

Сразу идти домой Оксане не хотелось, она старалась погулять подольше, заодно разведать окрестности, где тут и что. Иногда она покупала у бабулек букетик нарциссов, шла медленно, как собака, принюхиваясь к запахам нового района. Больше всего ей нравилась улица вдоль коттеджного посёлка. Слева за невысоким забором можно было рассмотреть симпатичные домики. Въезд в массив был закрыт шлагбаумом, рядом с будкой охранника дремал устрашающих размеров пес. Когда Оксана проходила мимо, он поднимал лохматые брови и провожал её взглядом. Глаза у него были не страшные. По правую руку от дорожки, за рядом молоденьких берёзок стоял тот самый «военный» дом. Бордовый с бежевыми лоджиями, длинный-длинный, с углом-поворотом, огибающим огромный двор. Как, интересно, Мария Семённа планировала из него извлекать женихов-офицеров? В подъезде на лестнице сидеть? Оксана могла часами бродить вдоль берёзок, прислушиваясь к жизни дома. Множество окон было открыто, из каждого доносились разнообразные звуки будничных вечеров – телевизор, телефонные звонки, звон посуды, голоса, смех и крики ссор, собачий лай, тихая музыка и громкая, детский плач. Вот они люди! Множество людей. Они были так близко, всего лишь за панельной стеной, или за стеклом лоджии, или просто за тонким слоем тюля. Совершалась разнообразная вечерняя жизнь – плакали дети, собаки получали вечернюю миску корма, сытые кошки выходила на карниз наблюдать пролетающих мимо голубей, усталые мужья приземлялись на свои привычные места за кухонным столом и переключали каналы телевизора в ожидании ужина, жёны гремели кастрюлями и сердились. Или не сердились, а наоборот, смеялись. Вся эта жизнь вертелась вокруг Оксаны, как карусель, создавая иллюзию участия. Она не одна, вон сколько здесь народу, не протолкнись...

Обогнув дом, Оксана проходила мимо винного магазина, закрытой аптеки и Сбербанка, обходила баскетбольную площадку, где обычно играли до темноты, и попадала, наконец, к себе во двор. У подъездов стояли лавочки, так же, как на старой квартире, здесь днём сидели бабушки с колясками, а вечером молодежь с пивом. Оксана поднималась в зеркальном лифте, входила в квартиру и, запечатывая железную дверь, оказывалась в полном одиночестве. В тишине и темноте. «Яу!» – выглядывала из-за двери комнаты Изаура. – «Вяу! Ты что, хозяйка, в темноте? Я же здесь!» Оксана включала свет, ставила нарциссы в литровую банку, выкладывала из холодильника кильку и включала чайник. Дожидаясь кипятка, она ложилась грудью на подоконник и наблюдала окончание дня во дворе. Годину по маме той весной она справить забыла. Точнее, она помнила число, конечно, но потом как-то пропустила. И тётке в Москву не позвонила.

– Галь, ты как думаешь, что ему от меня нужно?

– Как понять, что нужно? Он отец твой, того и нужно. Внучку вот ждать хочет.

– У него же семья есть какая-то, он не одинокий. Чего не хватает-то?

– Значит, не хватает. Видишь, тебя стал искать. Вот нашёл. Прогнать-то легче лёгкого. Ты меня, конечно, извини, но я бы на твоём месте родственниками не разбрасывалась. Их у тебя не толпа. А он не с улицы мужик – папа родной.

И Анатолий Палыч в ту же дуду дудел:

– Я, конечно, с ним не виделся, но если он не аферист какой-нибудь, то

в чём же его вина? Он к тебе с добром пришёл. В их делах с матерью тебе не разобраться, это их дело. А ты, кстати, документы у него посмотрела?

В документы она, конечно, подробно не заглядывала, но фотография-то была та. Та самая. Интересно только, как это он Оксану смог отыскать на новой квартире? И осенило – Мария Семённа! Конечно! Он туда пошёл сначала, в старый дом. Больше он никакие адреса знать не мог. На старом месте кто живёт? Дочка, а у неё кто есть – мама. Мария Семёновна. И язык у неё без костей. Позвонила. Ах-ах, как дела, работает ли лифт, как кухня, как «лоджа», как сама. После всех охов и ахов Оксана, наконец, завела разговор, о чём собственно хотела.

– Тут, представляете, папа мой родной объявился. Пришёл и в дверь позвонил. Это вы ему адрес-то дали?

– Ну дала, он...

Оксана не дала Марии Семённой особо развернуться и перебила следующим вопросом.

– А чего ему надо-то, а? Он звонит мне чуть не каждый день. Вроде столько лет не проявлялся, не нужна была. Даже к мамке на похороны не приходил. А тут зандобилась?

По прошествии времени, Марья Семённа стала склоняться к тому, что в обмене продешевила. И как-то уже ей казалось, что это не она, а именно Оксана её сама умоляла смениться. Её редкое теперь общение с Оксаной имело налёт этакое снисходительного великодушия: мол, уступили тебе много, конечно, но ничего, перетерпим. Дело было в том, что близость к дочери особого счастья не принесла. Не получалось теперь вламываться в соседнюю квартиру с привычным «ну ты чё?» и сидеть, сколько душе угодно. Дочь оказалась посуровей, чем вялая безответная Оксана. Зять – сложный человек. Вечером стремится отдохнуть, может быть, даже вздремнуть. Марья Семённа за своим мужем такого не помнила, он вообще почти всегда был где-то на дежурстве или на работе, а отдыхал тоже вне дома – в гараже. Собственно, даже представить, что он, например, вечером не захочет её слушать, а захочет закрыть дверь и «отдохнуть», она представить не могла. А зять вечером закрывался в спальне, чтоб его не беспокоили. Дочь стояла у плиты и одновременно смотрела телевизор, повешенный на стену, дети – в другой комнате. Младшего укладывали в восемь, чтоб не мешал. Марья Семённа, которая полдня проводила с внуками, конечно, стремилась подробно доложить, что и как. Желания же дочери сводились к тому, чтобы мама, сдав ей мальчишек, отбыла через лестничную площадку по месту прописки и больше не доставала. Дочь ужасно уставала на работе, младшему ещё не исполнилось два года, муж за закрытой дверью. Она буквально разрывалась на части, не зная, за что первое хвататься. Мамины советы и увещевания и вообще весь этот её непрерывный, громкий и настырный монолог выводил из себя. Казалось, и голос у неё визгливый, и вопросы дурацкие, и рассуждения... Дочь раздражалась, мать обижалась. Преимущество близкого проживания оказались неожиданно очень сомнительными. Мария Семённа чувствовала себя почти мученицей и одновременно упивалась собственным великодушием. Это какой же подарок шикарный сделала одинокой соседке! Какие хоромы уступили за просто так, можно сказать... Как будто не сама же и уговорила смениться. Обидно. Марья Семённа, в любом случае, церемониться с Оксаной больше не собиралась.

Могла бы и раньше позвонить, не сахарная. То месяцами не появляется, а то вон – понадобилась Марья Семённа, как же!

– Так чё, Оксан, подселиться к тебе хочет, известно. Раньше-то он чё – нормально жил-поживал. Жена у его была жива, сын. Тётка погнала твоя,

он и ушёл. А теперь, чё – друг у друга на головах, внуки подросли. А у тебя – вон, метраж, дай бог каждому.

– Куда прогнала?

– Ну куда-куда? Не знаю. Он на похороны-то, на Верины, явился, а она ему от ворот. Ругалась на весь двор. Вот. А теперь он по адресу тоже явился, Вера-то, царствие небесное. Тебя искал.

– Ну?

– Баранки гну. Поговорили. Всё я ему объяснила. Так, мол, метраж там поменьше, но зато лоджа как комната. Про тебя тоже...

– А что про меня?

– Ну как что? Одна живёшь, работаешь. Ни детей, ни мужа. Или ты завела кого? Ты звонишь-то редко, я откуда знаю? Что знала – сказала, а врать не стала.

Оксана все обидные шпильки мимо ушей пропустила. Устала уже обижаться. Привычная Марь Семёнина бесцеремонность даже умиляла. Соскучилась!

– А про то, что подселиться хочет, он что, так прямо и сказал?

– Ну не прямо в лоб. Он всё вокруг да около ходил, но меня-то, Оксан, не проведёшь. Как стал он на своё, значит, житьё жалиться, вот, мол, внуки-оболтусы, на голову сели ... Невестка злая, слова, говорит, лишнего не скажет, всё о работе. И моя тоже. «Спасибо, мама, спокойной ночи!» А я за день-то с младшим, ох, ты бы знала, Оксан, это ж каторжный труд...

Сухой остаток разговора получался такой, что папашка тогда, давно на похоронах, тётку замечательно послушался и десять лет носа не казал. А теперь, видимо, в семье у него трения. Он, хоть и проживает на законной территории, но места у них в квартире мало, тут и пришла в голову светлая мысль – перекинуться к дочери. Уж не в одной ли комнате с ней он жить хочет? Инвалид. Обслуживай его – готовь, стирай. У неё и так теперь будет, чем заняться. Куда здесь подселиться можно? Оксана уже так обжилась на своей просторной территории, что пускать никого не хотела. Дочка будет. Ей тоже надо и кровать, и шкафчик какой-нибудь. Потом уроки делать, стол письменный, трюмо. Мамино трюмо она перевезла, тумбу тяжеленную с ящиками. Зачем пёрла? Надо будет просто зеркало обычное и комодик... Тут Оксана в задумчивости побрела в комнату. Тут стол уберётся и стул. У окна. А другое окно – выход на лоджию. Можно шкафом отгородить. А на той квартире комнат было две, зачем только меняться согласилась? В маминой бывшей сама бы поселилась, а девочке поменьше комнатку, уютную. Теперь придётся что-то придумывать, отгораживать. И не понятно ещё, кто это будет всё делать. Шкаф. И стол к окну, и полочки – учебники класть. Оксана задумалась, мысленно примеряя так и эдак. На полу лежали квадраты вялого осеннего солнца, ветер из форточки слегка шевелил занавеску. Оксана вдруг представила себя на лоджии в халате и фартуке, ясно увидела подкатанные цветастые рукава и свои руки с длинными пальцами и коротко стриженными ногтями. Увидела протраченный голос: «Варя! Как тебе в голову пришло сюда повесить белое? Всё ж перестирывать!» Так стало страшно, что комок встал в горле и не давал дышать.

– Ау-яу! – напонила о себе Изаура и потёрлась об ногу. Прошла ту-да-сюда мимо, загнув кончик хвоста набок.

Врач в морге Оксане объяснил, что такая эмболия мгновенная и смертельная бывает очень редко. Секунда – и всё. Когда мама, взобравшись на скамеечку, открепляла пластмассовые прищепки, злополучный тромб

уже оторвался и летел в лёгкое из тёмного узелка под коленкой. Оксана подошла к зеркалу в коридоре, приподняла полы халата и стала смотреть через плечо на свои подколенки. Сначала с одной стороны – чисто, потом с другой. Там тоже ничего не было видно, зато оказалось, что заметно вырос живот. Кругленький и аккуратненький. Оксана привыкла думать про свою беременность отвлечённо, мельком, чтобы не сглазить. Может быть, это неправильно? Повернулась боком – и так хорошо. Можно уже надевать кофточку в обтяжку, будет всем понятно, что это не просто Оксана так разъелась, а что животик беременный. Настоящий. Солнце зашло, и сразу почти стало темнеть. Даже снег, недавно выпавший, не прибавлял света. На детской площадке было слякотно и пусто. Ветер гонял между скамейками забытый кем-то полиэтиленовый пакет. В будке охранника на стоянке загорелся свет в окне, и в соседнем доме тоже одно за другим стали загораться уютные вечерние окна. Множество людей рядом, Оксанино окошко – одно из многих, тоже светится, чайник кипит, кошка, плотно свернувшись и накрыв розовый нос хвостом, спит на табурете. К холодам, к зиме. Зима всегда тянется долго, а проходит быстро. И эта тоже останется позади.

– Оксан, это ты?

Ну кто же ещё может трубку брать у неё дома? Анатолий Палыч всегда как-то чувствует Оксанину тоску, такой человек – звонит в подходящий момент.

– Я-я.

– Я тебе сейчас корм кошачий завезу. Что-нибудь купить по дороге?

– Купи вкусенького чего-нибудь...

Через день по вечерам звонил Михаил Степанович. Как часы. Папой его назвать, конечно, язык не поворачивался. На «вы» и по имени-отчеству. Он на это ничего возразить не мог, но обижался, это по телефону даже было понятно. А чего хотел? Что б она вот так сразу? Она, может, никогда и не привыкнет! И не простит! Хотя чего прощать-то?

– Мне бы, Оксан, того... Чего мы с тобой, как эти... Мне бы повидаться, да. Повидались бы как люди. А то что...

– Ну и зачем?

– Ну как, дочь, зачем?

– Какая же это я тебе «доча»?

– Ну как «какая»? Я и говорю, повидались бы, вот. Поговорили, что и как...

– Нечего нам видаться...

Папашку привечать – только зря время тратить. Мамы нет. Той жизни тоже нет. Старый дом, старый двор и даже старые мысли все остались в прошлом. Оксана решила, что ни о чём больше по телефону с ним беседовать не будет. Много чести. И в гости не позовёт, а если он будет напрашиваться, отбреет. Раньше надо было звонить. Вот так. Теперь поздно уже знакомиться и новых родственников приобретать. Вот Анатолий Палыч – добрый человек, посориться с ним совершенно невозможно. А жизнь совместную представить всё равно сложновато. Оксана уже забыла, как это бывает – жить с кем-то. Проснёшься утром, выйдешь на кухню, а там – чужой человек... Как ни крути, а чужой. И Бокарёв этот, хоть и родной отец, получается, что чужой совсем. Лишний. И без него справится. Можно было бы, конечно, его порасспрашивать, почему они с мамой разошлись, ну и про новую семью любопытно, но и без этого обойтись можно. С мамой жить – не сахар, это Оксана на своей шкуре знала. Но ведь они

или сын. Пожалуй, всё-таки муж. И она пришла сюда ночью, не смогла быть дома одна...» «Тебе там холодно без меня-я», – стон разносился по пустынной ночной улице. Решетчатые ворота во двор больницы на ночь запирались на замок, дежурные врачи ставили здесь машины. Морг располагался в глубине двора за хозяйственными постройками. К нему, наверное, и пробиралась плачущая, но ближе подойти не могла. Оксана лежала в ступоре, надо было или встать посмотреть, или положить подушку на голову, чтобы не слышать. Но она лежала и слушала. «Не-ет... – продолжала женщина, – только не ты-ы... я не смогу одна-а... без тебя-я... не-ет...» Голос у неё был низкий и страшный. У Оксаны сами собой потекли слёзы, она наконец нашла силы встать, забралась на стол, открыла всё окно целиком и выглянула. В темноте был виден только чёрный куль у ворот. Женщина, видимо, стояла на коленях, вот она подняла руки, качнула железные створки ворот: «Где-е ты?...» Оксана бросилась обратно к топчану, захлопнув окно, зажав уши руками. «Мама, мама, где ты, мама? – она плакала в голос. – Мамочка моя, где ты, я не могу больше одна... я не могу...» На улице завизжали тормоза, хлопнула дверка, два голоса, мужской и женский высокий, забубнили, уговаривая. Опять хлопнула дверка, другая, взревел мотор и всё стихло. Женщину забрали, а Оксана всё плакала – мама, мама... И вдруг что-то булькнуло и колыхнулось в животе. И опять, как будто перевернулось: р-раз. И ещё – р-раз. Оксана замерла, затаила дыхание. Да, вот ещё разок. Это ребёнок зашевелился, да! Это малышка испугалась и проснулась. Крики, слёзы. Ужас! Тише... Оксана повернулась на бок, баюкая живот. «Тише-тише, маленькая, мама здесь, мама с тобой...»

Телефон она спросила у Галки. Папашка ещё тогда, в первый раз, ей записал на всякий случай. На следующий день после дежурства отоспалась и уже хотела номер набрать, да он сам позвонил.

– Здравствуй, Оксан. Это, ну, э-э – Михал Степаныч.

– Привет.

– Как ты, ну, это..

– А?

– Я говорю, как чувствуешь себя, ...доча.

Она давно так не радовалась ни чьему звонку. Может, и хорошо, что он объявился, папашка-то этот?

– Я тут подумала... у меня кран на кухне..

– А? – теперь была его очередь.

– Я говорю, кран у меня течёт на кухне, может, зайдёте посмотреть, если не трудно?

Ему-то было не трудно. И дело не в том, что он, конечно, любую неполадку в пределах квартиры умел сам до ума довести, а что позвала. И не ругалась больше, мол, зачем это всё. Поменял прокладку, затянул. Плёвое дело – две минуты. Но кран плохой, так и будет течь, не наменяешься. Надо бы новый, тем более, что он, Михаил Степаныч, как раз знает магазин недорогой. Вот и хорошо. Давайте теперь чаю. Можно и чаю, пожалуй. В окно дует, холодно здесь будет, зима долгая. Надо утеплять. Окна эти – не окна, а «пакеты» пластиковые. Дома невестка вызывала бригаду, чтобы сняли обтачку, прошлись пеной по всем щелям. Надо бы найти телефон да вызвать, а? Надо. И оба рады, что тема нашлась для разговора. Вот кошка, мамина ещё. Невероятно, что Вера гладила её когда-то, брала на руки. А у меня собака, у сына... Вера-Вера. Больше всего Михаил Степанович боялся, конечно, что Оксана спросит его, почему бросил мать.

Как ответить? Он готовился, прикидывал так и эдак. Мол, молодой был, горячий, поссорились, он завербовался счастья искать, да не нашёл... Слова были всё плоские, лживые, как из кино или из книги. Как же счастья не нашёл, если дома семья. Зато вдовец. И сам подумал: за что? Получается, что дважды судьба распорядилась. И надо сказать, что любил, да, обязательно. Любил, но бросил вместе с дочкой, то есть с Оксаной. Из песни слова, как говорится, не выкинешь. А она про другое.

– А мама какая молодая была? Весёлая?

– Да, какая, – он растерялся, – вот, как ты примерно, похожа. Красивая.

– Это я-то красивая?

– А как же...

Его бросила повариха семнадцатой столовой Лялька Киржакова. Обидно было до соплей. Он-то с серьёзными намерениями, прямо-таки жениться хотел. С сынком её пятилетним, Ванькой, подружился – это во-первых. Во-вторых, с мужем Лялькиным бывшим, алкашом, водку собирался пить, чтобы честь по чести всё обговорить про сынишку и так далее. А в-третьих, какие ему бои пришлось с корешами заводскими выдержать! Лялька была не то, чтобы гулящая, но так – разведёнка. Неустроенная и несчастная, по сути, баба, но внешних данных таких, что мало кто устоит. Такой тип, который Михаил Степанычу, тогда, конечно, просто Мишане, в душу накрепко западал. Высокая, налитая. Лебедь. Кожа белая. Спереди – во, как корабль в двери всплывала, сзади – руками не обхватишь. Губы яркие, как малина, а волосы – коса с руку толщиной, на голове сверху кренделем уложены. Да ещё когда она на эту красоту белый крахмальный колпак надевала, а халат белый туго фартуком подпоясывала, прямо Мишку в дрожь кидало и пот по спине тёк. Он-то губищи раскатил, а она полгода промаяла его и всё. «Иди, – говорит, – и дорогу забудь. Не рви душу. Не пара ты мне, смотри – люди смеются! Ты мало, что на полголовы ниже, да ещё уже в два раза. Хороший ты мужик, Мишаня, душевный. Добрый мужик. Но тела в тебе мало. Мелковат ты для меня. Мне муж нужен высокий и широкий, чтоб, как обнимет, косточки хрустели...» Расстроился он тогда очень, напился, понятное дело. Скажите пожалуйста! Тела ей мало! Он, конечно, ростом не с каланчу, и вес, прямо сказать, бараний. Но так, чтоб косточки хрустнули, вполне может. В школе ещё на все соревнования его посылали, бег, там, прыжки, плавание. Он не высокий, но жилистый, выносливый. Да и откуда ему взяться, телу этому, если его мамка в животе из-под немцев чудом вывезла и в полной нищете растила. И малярия была, и рахит, и дифтерит, и свинка. Затемнение в правом лёгком. Ладно – выжил, а мясото нарастить можно. Расстроился. Целый месяц регулярно после работы тоску заливал у товарища одного в гараже. Часам к восьми вечера там у него ежедневно теплая компания собиралась, все свои да наши, заводские. И вот один раз сменщик Мишанин возьми да и ляпни, что есть, мол, похожая бабёнка у него на примете. Можно и попробовать, чем так убиваться. Слово за слово. Мишаня раздухарился, и поспорили они, как положено, на бутылку. Что он, значит, охомукает. И не кого-нибудь, а саму Веру Ивановну, бригадиршу из сборочного цеха и профсоюзную начальницу. «Да она ж старая!» – «Да какая уж старая, Миш, если только маленько! Молодая баба, кровь с молоком, волосищи – хоть канаты плети, Глазищи, как у коровы». Вперёд, мол, Мишаня.

Вот так, на спор, он с Верой и познакомился. И полюбился, и поженился потом. Обводами сверху она до Лялькиных статей чуток не дотягивала, а в нижней части – в самый раз. Женщина она основательная и строгая, но во многом наивная как девочка, хоть и на десять лет старше. И вообще –

девушка нетронутая в тридцать шесть-то лет! Чем в самое сердце его поразила. А ещё хотелось ему уже дома. Уютного и тёплого. Он, конечно, помыкался по общагам да коммуналкам, пока они с матерью здесь закрепились в городе, но и погулял порядочно. Раза три чуть не обженили, да всё не то, не то было. А с Верой, видимо, зацепило. А главное, именно что комнатка её, тогда ещё в коммуналке, уютная, аккуратнейшая и вылизанная до блеска, очень Мишане по душе пришлась.

Мать его, настоящего собственного угла долгое время не имея, хозяйство вела неряшливо. Вещи вечно лежали у неё кучей, грязная посуда стояла целый день до вечера на тумбочке у двери, мусор она сметала кучкой в углу, а с мокрой-то тряпкой вообще к полу приступала крайне редко. У Мишани же откуда-то взялась невиданная потребность в чистоте и аккуратности. Может быть, от отца-немца, которого он слыхом не слыхивал, да и мать знакома была не больше нескольких часов. Один раз товарищ пригласил на рыбалку. Тётка у него жила в деревне на высоком берегу Волги. Добротный и просторный дом стоял над обрывом, как будто промытый дождём и просушенный ветром. Внутри царила чистота и порядок, как в музее. Ровные брёвна стен, ничем не отделанные, были светлого янтарного цвета, будто только что срубленные. Между ними одинаковыми идеальными жгутами виднелись серые полоски пакли. С некрашеного дощатого пола можно было есть, а половиками вытирать лицо, как полотенцами. Скатерть на столе топорщилась от крахмала и сияла белизной, на высоких койках симметрично стояли остроухие тугие подушки, укрытые вышитыми накидушками. Стёкол в окнах можно было и не заметить, такие прозрачные они были, нехитрая посуда скрипела под пальцами. Тётка раз в год к Пасхе весь дом, стены, потолок и крыльцо отмывала битым стеклом на рукавице. Пол терла кирпичом и смывала щёткой и мылом. По двору у неё ходили белоснежные куры, рыжая Бурёнка блестела на солнце, а козы пахли земляничным мылом. Нигде, никогда и ни у кого он не видел больше такой чистоты. Только у Веры. Что из этого можно было рассказать Оксане?

— Познакомились на заводе...

— Это я знаю, она рассказывала. А свадьба была?

Была, как не быть. В семнадцатой столовой и гуляли. Лялька выходной взяла. Может, уже локти кусала, да поздно. Мать Мишанина сидела в углу, поджав губы, недовольная была. Нет, конечно, бабу Мишка выбрал правильную, не козу деревенскую и не сиротку из общаги. С приданым, с жилплощадью, да только старую и партийную. Ей под сорок, детей не нарожает, даст бог, одного. Будет по заседаниям заседать, а ты, дурачок, костюмы ейные таскать на побегушках. Не по себе сук срубил, Мишка! Лучше б, может, и из деревни, но без гонора. Не полюбила невестку. Четыре года почти они с Верой прожили, дочку родили — вот, мама, порадуйся, а ты боялась. Не помягчала. И в гости почти не ходила, и к себе не звала. И потом ни разу у Веры не объявилась, как он слинял. Бабушка... Надо сказать, что и Соню она не полюбила. Приволок, Мишка, опять, чёрт знает кого! Мошь северную. И мальчишка-то вялый, белесый, весь в неё — твой ли? Вот так вот...

— А она вас... тебя... любила?

— И я её. Да. А уж ты родилась, так радовались вместе! Я помню, отпуск выпросил на неделю, когда вы из роддома приехали. Смотрел, как ты дышишь, маленькая такая...

— А что ж уехал тогда? Или это она так придумала — уехал...

Нет, не придумала. А жили хорошо первый год. По крайней мере, так казалось. Он ещё насмотреться не мог на свою Веру, нагордиться. И с

заседаний встречал, было дело, с ноги на ногу в коридоре переминался, потом на улице стал ждать, а потом уж и дома. Сама дойдёт. Картошку чистил, кашу варил. Как Оксана родилась, чуть спустя, соседи кооператив построили, и заняли Бокарёвы всю квартиру. Вот радость-то! На ту квартиру, как на жену, Мишаня поначалу тоже насмотреться не мог. И ничего поначалу он в Вере не замечал. Ни строгости её, ни суровости, ни требовательности. К супружескому делу она оказалась равнодушная, стеснялась и стыдилась, а потом и сердиться начала, после Оксаны. Только посмотрит вечером мельком. У него и перегорит всё. Друзья-приятели Мишанины опять смеялись над ним да подначивали, а потом смеяться перестали. А потом и вовсе пропали. Вера отвалила. Этот — пьёт многовато, у этого носки воняют. У этого брат за воровство сидит. Ну, других-то не накопил Мишаня за жизнь, какие есть. К себе не звал больше, боялся только, как бы они звать не перестали. Строго по часам Вера отпускала. А если опаздывал — и поругать могла. Что, мол, не наговорился со своими? О чём столько говорить...

И не дай бог выпить! Страшно подумать, что будет. Иногда и не кричала, а страшно. А по матери вообще никогда не выражалась, ногами не топала и посуду не била. Тихо говорила, но весомо. Боялся он её, вот что. И боялся, наверное, с самого начала. Мероприятий её. У Веры ведь как: если надо постирать что-то — это Стирка. В субботу с пяти утра — Уборка. Суп сготовит и вкусно, и быстро, и на кухне не напачкает, но это тоже у неё — Суп, Готовка. Она в президиуме, а Мишаня в зале с аплодисментами. И попробуй, соскочи, не участвуй! Или что-нибудь забудь. Не ту тряпку не в той воде выполоскал. Он к товарищу на день рождения собирается (это к тому, у которого брат полтора года по дурости отсидел) и Веру, естественно, не зовёт — не пойдёт. А у неё как раз полотенца кипятить пора пришла. Бачок надо будет на плиту поставить, а кому снимать? И смотрит так, как будто он уже на ковёр к высокому начальству вызванный (к ней, значит), а не муж вовсе. Тьфу! И не плюнуть нигде дома-то. Соседи доложили, что у ларька разливного с коляской он стоял. Это Марья, змея. За своим, небось, так не следила. Ну, стоял. Не Оксанке же он пива наливал? Бойкот. Обед на стол поставит, хлеб нарежет и молчит. Лучше б тарелку разбила. А в постели ночью так ляжет, что ни то что обнять жену-то законную, повернуться не смел. Тоска его какая-то стала мужская брать и слабость. Так и уехал. Оксанку за ручку в садик отвёл и отчалил...

— Ну а меня-то что? Не хотел повидать?

— Да как не хотел? Хотел! И деньги слал. Да ведь и забросило не близко...

— А здесь-то не мог остаться? Встречались бы.

— Не мог. Да и не дала б он встречаться, Вера то есть. Она и письма мои тебе не передавала. Но деньги брала.

— А ты писал?

— Я-то писал...

И ничего этого Михаил Степанович не говорил, а Оксана не спрашивала. Чего спрашивать-то? Жить надо дальше...

Татьяна подарила сушилку-раскладушку для белья, чтобы ставить к батарее. Так быстрее высохнет, и верёвок не надо на лоджии. Приезжали всем семейством. Старшему уже девять будет, а маленькой пять. «Вот подружка будет», — покивала Оксана на свой живот. Без комментариев. Татьяна теперь дама серьёзная, и муж ба-альшой человек, в администрации работает. Бывший инженер с «Водоканала». Там же на мамы Вериним диване и познакомились, на старой квартире, серьёзные-то люди! Но молчат об этом давно. Муж походил по комнатам, оценил ремонт муниципальный.

Спросил строго, почём за квадратный метр тут берут в новых домах. Ну и ладно. Видятся они редко, раньше на праздники собирались, первого января всегда к Татьяне на остатки салатов ездили, а теперь как-то перестали. На Новый год папашка позвал, по-семейному. Это его, получается, семья: сын с невесткой, два внука и Оксанка с животом. Дудки! Она, как обычно, к Галке.

— Я уж договорилась давно.

— Ну так и что, может, всё-таки к нам?

— Нет, спасибо.

Вежливо так. И он обиделся, но виду не подал. Даже смешно стало, как будто она ухажёру в кино идти отказала. Нет уж, будет у неё своё, дочка будет, вместе и в гости пойдут. Она просто испугалась, а зря, наверное. Новый год вышел дурацкий. Как всегда у Гали. Полдня обе у плиты и у стола простояли. Галка заранее устала — утром пол мыла в комнатах, накануне целый день за продуктами бегали. Зачем, кому это? Вадим начупурился, галстук завязал, одеколоном набрызгался и часов в шесть отбыл «приятеля поздравить». Они с Галкой с прошлого вечера почти не разговаривали. Серёжка с бабушкой ушёл куда-то на детский праздник, вернулись тоже недовольные: он что-то там просил, а она не разрешила. Надулись, сели перед телевизором. Галя плакала: жизнь никчёмная, первый муж пил, это гуляет. Почему я такая невезучая, хорошо тебе, Оксанка — одна живёшь. Старая песня. Вадим пришёл пьянуший ближе к десяти вечера, плюхнулся за накрытый стол. Ели молча, орал телевизор. Серёга минут пятнадцать не дотерпел до речи президента и заснул. Чокнулись шампанским, Оксана тоже себе налила. Галкина мать произнесла речь, мол, Новый год семейный праздник и мы тут как раз всей семьёй собрались, близкие люди (Вадим усмехнулся криво), и пусть в Новом году в нашей семье всё будет хорошо. Ну, и у Оксаны всё чтоб тоже — спохватилась. В час ночи Оксана вымыла тарелки и уехала домой. Хватит.

Во дворе стреляли и взрывали фейерверки, за автостоянкой жарили шашлыки. Пахло дымком и праздником. Решётку подвальной двери кто-то украсил мишурой. Везде бегали дети, играла музыка, гуляли и плясали люди с пластиковыми стаканчиками в руках. Оксана закружилась, как в водовороте, улыбаясь то одним, то другим незнакомым людям. Её пропустили к скамейке, усадили, на плече уже взялся откуда-то переливчатый дождь. Нет-нет, не надо шампанского... Было так весело! Первый раз за много лет. И казалось почему-то, что дома у неё тоже полно народу, свет, музыка, праздник и бенгальские огни.

«Надо было пойти к отцу, — думала Оксана в лифте, — познакомиться. А то что как дикая». Отец, конечно, был виноват, что бросил её. Не писал, не приезжал. Но думать теперь об этом не хотелось. Права Галка, у Оксаны не так много родственников, чтобы ими разбрасываться. Вот тётка, например, годами не звонит. Двоюродных братьев Оксана последний раз в детстве видела. А папашка звонит, беспокоится, спрашивает, как она себя чувствует. Радует, что внучка будет. Подумаешь, «подселиться» хочет, ну и что? И сразу представила себе вместо нарядной толпы в квартире одного уютного Михаила Степановича в неизменной шерстяной кофте и очках. Бормочет телевизор. В центре стола салат, накрытый тарелкой, сковорода с картошкой и курицей завернута в толстое полотенце. Ну как, дочка, справили? Садись-садись, я сейчас рюмочку, а тебе чайку, да?

— Ау. Ау-яу, — Изаура вышла, потягиваясь, из темноты. Недовольна, что разбудили. Оксана, не обращая на неё внимания, прямо в сапогах прошла в комнату. Ну да, вот если закуток этот загородить как-нибудь, то впол-

не получится поставить там диван. И даже тумбочку с телевизором, чтоб было, где прикорнуть. Девочка Варя будет бегать и шуметь, ночью плакать, обязательно нужен отдельный уголок! А для начала можно и в кухне нормальный диван поставить. Пусть приходит с диваном и живёт. По субботам будет с Варенькой гулять на площадке, носить за ней совочек и ведёрко...

Первого января утром Оксана, конечно, о своём порыве забыла. Она с удовольствием провалялась в постели часов до двух, потом не спеша под телевизор пожарила картошки с луком, сварила бульончик. Ходила по квартире целый день в ночной рубашке, только халат набросила сверху. Даже умываться было лень. Не успеешь оглянуться — стемнеет, а там и спать. Что там она вчера собиралась двигать и отгораживать? Помутнение, видать, у неё в мозгу вышло от Галкиного шампанского. Ей и так хорошо, одной. Никому здесь места нет, да, Изаура? А вчера, надо же, едва не позвонила — живи, мол, папа, приходи и живи...

Это «папа» никак у неё не получалось. Так и звала его с трудом по имени-отчеству и на «вы». То жалела, приближала, а то опять злилась. Может, это от беременности? Бывают же перепады настроения? Сегодня всё хорошо, а завтра всё раздражает. И он тоже. А потом опять — жалко, он же с добром к ней... Если он звонил старалась поласковее, в гости звала, но радости не было. Скорее бы ушёл, говорить не о чем. Здравсте, проходите, садитесь. Чайку? Один раз они совпали с Анатолий Палычем. И сидели чинно, как два ухажёра, причём неудачливых. Оба виноваты. Один бросил давно, а другой вообще женат. Разговор шёл туго и натянуто, то о погоде, то о животных. Изаура как раз крутилась под столом, она Анатолий Палыча почитала за своего, кокетничала. А ноги Михал Степановича, пахнущие собакой, настороженно обходила стороной. Оксане было смешно, она заваривала чай и резала бутерброды, спиной к столу, и посмеивалась. Пусть-пусть поговорят!

— А вы, это, как, Анатолий...ну, насчёт Оксаны? — Решил, значит, проявить отцовскую строгость. Также мне. Оксана фыркнула, но вмешиваться не стала. Разберутся. Даже интересно, уж не жениться ли сейчас будет заставлять? Она ведь ничего не объясняла. Это Анатолий, это Михаил Степанович, мой отец. Познакомила.

— Я думаю, надо бы лоджию деревом отделать к весне. И сетку. Каждый раз по улице не нагуляешься с коляской, а тут ребёнок будет спать спокойно.

— Девочка будет спать.

Уточняет! Смех, да и только. Но Толя-то выкрутился. Его про Фому, а он про Ерёму. Хорош...

Михаил Степанович сидел и мучительно размышлял, как ему начать разговор. Он сразу понял, конечно, что это за кадр. Отец ребёнка. Не больно молодой, выглядит солидно — гладкий, чистый такой мужик, очки дорогие, усы причёсанные. Ему бы уже внуков иметь по возрасту, а не новорожденную. И похоже, что женат. А Оксана-то, видно, и не переживает особо. Не поймёшь их, современную молодёжь, чего им надо? Оксана-то ведь не девочка пятнадцать лет, уже под сорок, своей матерью воспитана. Уж кому-кому, а ей ли не переживать за то, что без мужа в роддом поедет? Ничего. Весёлая, спокойная. С чайником возится, на них даже внимания не обращает, мол, разберётся. Разговоры по-мужски у Михаила Степановича не то, что не получались, а как-то не приходилось давно. Он всё больше на кухне по хозяйству привык да в магазин. А поговорить

бы надо, точно. Что это девчонке-то без отца расти? Но как спросишь-то? Неудобно. Был бы мальчишка молодой, а то ведь солидный мужчина. И так прикидывал, и эдак. А тот – про ремонт разговор завёл, бригада у него знакомая, лоджию он устроит. С одной стороны Михаил Степанович, конечно, некоторое облегчение испытал. Себя теперь не в чем упрекнуть, сделал, что называется, всё что мог. Пусть этот Анатолий знает на всякий пожарный, что у Оксаны заступа есть. Но и разборки никаких не произошло. Хорошо, спокойно посидели. Чай у Оксаны вкусный, чашки красивые. Батареи тёплые. Плита и раковина блестят, на полу ни соринки, в комнате покрывало на кровати в струнку.

Дома-то за пацанами не наубираешься. Пришли и рюкзаки под вешалку бросили, ботинки поперек прохода оставили. В комнате у них на полу вперемешку валяются носки и учебники, насос велосипедный, скомканная бумага, трусы, диски, семечки рассыпью. С ума сойдёшь. Светка не велит за ними убирать, ругает, воспитывает. В субботу у них трудовая повинность: взяли пылесос и швабру, наводят чистоту. Это слёзы одни, конечно, а не уборка. У Михаила Степановича просто сердце надывается смотреть. Лучше б самому не спеша всё разобрать, но невестке он не перечит. Правильно она старается, приучает, только приучит ли? На зимние каникулы сделали внукам в комнате ремонт. Сын бригаду нанимал – две приличных женщины на обоях и армянин Гамлет шпаклевал и выравнивал. Старательный. Сделали быстро, обои поклеили и покрасили светло-синим. На полу линолеум серый, занавески-жалюзи, как в присутственном месте. Вместо кресла – куль из чёрной рогожи, так модно теперь. Комната большая, Михаил Степанович думал, что два дивана поставят напротив, как на старой квартире. А Светка купила им двухэтажные шконки железные, чисто нары, а вдоль другой стены длинный стол пристроили и стулья на колёсиках. Неуютная комната стала, а парни довольные. Ты, мол, дед, ничего не понимаешь.

Конечно, куда ему. У них с Динкой на двоих меньше восьми квадратных метров, но чище в два раза и приятней. Тут и столик, и диван. Телевизор маленький, чтоб не мешать никому. Собачья постелька. Динка в эту зиму что-то совсем обессилела, и артрит замучил. Еле-еле стала ходить. Грустная, щёки обвислые, спина плешивая. Не собака, а развалина. А сын с невесткой уже двух новых привезли. Кобелёк из Москвы, а сучка прямо из Финляндии. Маленькие, весёлые, прыгают и тявкают потешно, тонкими голосами. Динка растерялась. Они её в первый же день в оборот взяли, и скакали вокруг и покусывали, и играть приглашали. Тявкали, гавкали, визжали. А она и так никогда не играла, а тут совсем духом пала, мол, что же это, хозяин, чем я тебе не угодила, если ты ещё двух в дом тащишь? Обиделась и Костика больше в коридор встречать не выбегала. Легла на подстилку свою и морду на лапы опустила. Хоть рядом ложись! На спине загноилась шишка, вызвали ветеринара, он гной выпустил, но надо было обрабатывать. Вот ещё напасть! Светка качала головой, зараза, мол, одна, тех маленьких может заразить. И ещё сказала, что если собака так лежит и не встает, то у неё откажут лапы очень скоро и придётся усыпить. Динка даже головы не подняла, ухом не повела, хоть и умная, все слова понимает. Ей уже было всё равно, так обиделась. А Михаилу Степановичу не всё равно! Как это усыпить, позвольте? Это надо же, когда всё так стало с Оксаной слаживаться, когда он впервые seriously подумал, что, может быть, вскоре у неё поселится, пришлось возиться с собакой. А она и это поняла. Отвернулась к стене. Лежит-лежит и вздохнёт, просто сердце рвёт! Или взглянет из-под морщинистых своих век – невыносимо. Михаил Степано-

вич испугался, стал её тормошить. Миску в комнату перенёс, чуть не с ложечки кормил, поднимал под брюхо, вытаскивал на улицу гулять, толкал вперед, иди, мол, дура, а то ноги откажут! Ну не мог он её бросить, никак не мог! И Оксану тоже теперь не мог...

Рос живот, спина болела, отекали ноги. Пришлось уволиться из частной лаборатории, в субботу подняться не могла, так уставала. И уже не дежурила, конечно. Анатолий Палыч привёз Изауре на пробу новый корм для кошек-старушек. Она сначала нос воротила, а потом вошла во вкус, да так, что будила в пять утра и требовала еды. Оксана вставала, брела на кухню, не включая света. За окном было темно и пусто. То ветер, то порядком надоевший уже снег. Правый фонарь на стоянке перегорел, и его долго не могли заменить. Далёкий домик замело по самую крышу. Малышка тоже проспалась в животе и толкалась, желая доброго утра. Но Оксане было так грустно, что хотелось плакать и плакать. Изаура, эгоистка, поев, уходила спать на диван, а Оксана уже не ложилась. Думала. Как будет, что будет. Так и эдак выходило не в её пользу. Одна, всё равно одна. Вот, например, надо будет в магазин идти за продуктами или в аптеку, а на улице будет дождь проливной. Как она коляску возьмёт? Или на руках, под зонтиком? А если далеко, тяжело идти? Дома не оставишь одну. Она всю жизнь мучается и ещё одну такую же родит. Выходит, Татьяна права? «Ты о себе-то подумала, да. А о ребёнке? Каково ему будет? Аферистка ты, Оксанка! Ты и представить себе не можешь, что значит ребёнка растить, а уж одной...» Всё так, только исправить уже не получится. Оксана стояла у подоконника, уронив голову на руки, и всхлипывала...

В конце этого тоскливого и тяжёлого февраля жизнерадостная доктор Ускова отправила Оксану в больницу. Отругала основательно. Полчаса стыдила и выговаривала. Опять до слёз довела.

– На весы вставай, моя... Так, ты чего жрёшь-то, моя? Огурцы солёные? Сало копчёное?

– Н-нет..

– Ты ноги-то видела свои, а?

– Ви-и-идела...

Ноги были как тумбы, давление тоже врачу не понравилось.

– Зато моча, а? Как слеза! Ну-ну, не расстраивайся, моя! Подлечат сейчас немножко, покапают. В роддоме будешь лежать, познакомишься там с акушерами на всякий пожарный. Вот увидишь, понравится тебе!

И Оксане, как ни странно, понравилось. Она так волновалась дома, собираясь и суется, боялась что-то забыть из вещей, не доделать. Сто раз звонила Галке – что брать с собой, сто – Анатолий Палычу – чтоб не забывал кормить Изауру. Поминутно подходила к зеркалу, рассматривая свои отёкшие ноги и живот с отпечатавшимся следом пояса. То ей казалось, что малышка мало двигается там внутри, то – наоборот, слишком часто поворачивается. Вдруг с ней что-то не так? Утром в автобусе опять и опять перебирала в голове по пунктам: воду перекрыла, форточки, холодильник, телевизор из розетки... А полис? А сотовый? В больнице же почему-то пришлось умиротворение. Ничего плохого врач приёмного покоя у неё не нашёл. Ну отёки, ну вес. Часто бывает, но проходит. Всё поправимо. В отделении наверху палатный врач оказался другой – молодая полная женщина с очень короткой стрижкой, весёлая и нестрашная. Она сразу отвела Оксану в процедурную комнату, где ей на живот надели пояс с датчиком. Оксана сидела, замерев на топчане, и слушала, как громко и ровно бьётся сердечко её девочки. Отлично бьётся, – подтвердила врач. Отлично!

И палата светлая, на четверых. Хорошо. Её место у окна. Очень удачно! Кровать удобная, Оксана постелила домашнее цветное бельё, поставила на подоконник косметичку и кружку. Уютно. Душ-туалет на две смежные палаты работал, правда, слив плохой и раковина очень небрежно почищена. Ну и что! Сразу после обхода все беременные потянулись обедать в столовую. Оксана сразу нашла свободное место за столиком, сходилась за тарелками. Супчик куриный – объедение! Как она, оказывается, давно не ела супа, ленилась варить! А котлету пришлось отложить, очень солёная показалась. Доктор велела соблюдать диету почти без соли, чтобы быстрее согнать отёки. Ну и ладно, зато кисель розовый. Кисель! Это мама, наверное, последний раз такой варила для Оксаны. Густой. Оксана попросила в окошке у раздатчицы ещё стакан и выпила со ржаной горбушкой, как в детстве. После еды девочки из палаты отправились к холодильнику в коридоре за своими пакетами. У кого кефирчик, у кого пирожок, у кого яблоко. У Оксаны ничего с собой не было, только мятная конфета завалилась в кармане халата. Тоже, вроде, домашняя еда...

– Ну что, музыку включаю?

– Давай...

Напротив Оксаны у другого окна лежит Нина в толстых очках. Ей обследуют глаза. Оказывается с сильной близорукостью опасно рожать. Окулист приходит по средам, теперь пятница, значит, решение примут только на следующей неделе, а пока ещё что-то там обследуют и берут анализы. У Нины очень красивая пижама в вишнёвую крапинку по серому фону и халат в тон. Ещё у неё маленький компьютер, на котором она заводит музыку в тихий час. Классику и лёгкий джаз. Говорят, детям в животах это очень полезно – развивает, успокаивает и вообще. Нина вытягивается на койке, откладывает очки на тумбочку и под музыку сразу засыпает. Во сне она храпит, свистит и посапывает. И ночью тоже. Попробуй, засни под такую музыку! И панцири у коек скрипят истошно, стоит только повернуться-шевелиться. А Оксана спала как убитая, ничего не слышала. Никакие шорохи и звуки её не беспокоили.

Соседка справа, Маша, лежит давно, больше месяца, приехала из другого города. У неё больные почки и сердце, кажется. Маша переживает, уже сорок первая неделя пошла.

– Ну что, схватывает? – каждое утро на обходе спрашивает её врач.

– Не-а...

Маша вышивает. Узор красивый и сложный: разноцветные загогулины на чёрном фоне. Остался только центральный завиток.

– Вот вышью и рожу, – уверенно говорит она. Машин муж – лётчик гражданской авиации, хочет сына. Пока не понятно, кто у неё в животе.

– А у тебя кто?

– У меня – девочка.

– А муж кого хочет?

– А у меня не муж, – подумав, Оксана ответила правду, – но он девчонку и хочет.

Маша вышивает быстро и ловко, кажется, что это очень легко: раз стежок, два. Один к одному, потом другим цветом, закрепить. Оксане даже завидно стало и очень захотелось что-нибудь тоже руками поделать. Она раньше вязала с удовольствием, шила. Можно малышке что-нибудь соорудить, носочки, там, шапочку.

– А я попрошу, пожалуй, чтобы мне шерсть принесли. У меня там завалилась где-то светло-жёлтая. Для девочки как раз подойдёт. Надо только ещё журнал какой-нибудь купить, где малышовые выкройки.

– И не боишься ты? – это Ира, третья соседка, которая у двери.

– В смысле?

– Ну, заранее готовить? Я со старшей дочерью, когда ходила, ничего не позволяла покупать, пока не родила. И первый день, как из роддома выписали, сидела пелёнки строчила. Не-ет. Я точно ничего не буду приготавливать.

– А как же? – забеспокоилась Оксана.

– Ну, как? Рожу, и начнут всё готовить. Сейчас за те пять дней, что не выпишут после родов, всё можно купить да постирать. Проще простого. Кроватку, пелёнки, ползунки. Всё в магазинах есть.

– Я тоже, – проснулась Нина, – ничего ещё не покупала. Мне там что-то свекровь приготовила, так я говорю, не приносите и не говорите мне, пусть у вас лежит. Тьфу-тьфу.

И сплонули обе. Оксана задумалась. Если она сама ничего не купит, кто это у неё будет по магазинам бегать? Уж не Анатолий же? Бросит семью и вперед! Так и так придётся всё самой, против правил. И для выписки сложить – одеялко, пелёнки, чепчик. Она список видела в приёмном покое, надо бы сходить переписать. Кто ей чего приготовит? Никто...

– И что, прямо-таки ничего нельзя, даже кроватку? – уточнила Маша.

– Ну, это как получится, вот у меня одна знакомая девочка... – тут Ире позвонили и остро интересный разговор пришлось прервать.

Ира вообще, кажется, всё время проводит с телефоном. И ещё у неё самый большой живот, просто огромный, а сама она вполне среднего телосложения и невысокая. Она готовилась к операции кесарева, не хотела рисковать. Ей по ультразвуку рассчитали вес плода около пяти килограммов. Врачи в отделении поделились на два лагеря – те, что верили в УЗИ и соглашались с операцией, и те, кто больше доверял своим рукам и считал, что Ире можно и самой попробовать. Каждый день шли дебаты. Её вызывали смотреть, слушать, беседовать. Отпускали в слезах, пугали, уговаривали, то в одну, то в другую сторону. Все подробности она с утра и до вечера обсуждала по телефону. С мужем, с мамой, с сестрой, со свекровью и дальше по подругам. Одно и то же по десять раз. Только она нажимала последний отбой, как в дверь снова заглядывала медсестра и вызывала в очередной раз в смотровую. Вернувшись, Ира обзванивала всех по второму кругу. Волновалась, что не все узнают новости.

– Алло, мам? Ну что, смотрела меня заведующая сейчас...

Дни текли спокойно и размеренно, и, как ни странно, Оксане не было грустно. Устойчивый круговорот событий, наоборот, вселял уверенность. Стабильность какую-то. Оксана втянулась в распорядок дня, несмотря на ранний подъём и взвешивание в шесть утра. В семь анализы. Завтрак, обед, ужин, процедуры, неспешные разговоры, обход. Каждый день теперь врачи, приставляя смешную айболитовскую трубку к животу, слушали, как там малыш. «Хорошо, довольная с утра», – комментировала заведующая. Палатная поддакивала: «Ага, сытая...» Ничего страшного не происходило, ничего плохого и болезненного не делали. Кололи мочегонные и капали капельницы, давали какие-то таблетки. Оксана послушно пила, даже не спрашивала, от чего они. Отёки потихоньку уменьшались. Настроение было на редкость хорошим. Вся тоска, печаль и скука последних недель ушла без следа. Всего за несколько дней Оксана замечательно сдружилась с девочками в палате, уже обменялись телефонами. Оказалось даже, что Ира живёт через два дома. Можно будет потом увидеться и с колясками вместе гулять. Столик у них в столовой теперь был свой, на четверых. Очередь друг другу занимали в процедурный кабинет или

в душ. Маша от окошка в раздатке, куда прибегала самая первая, весело кричала:

– Девчонки, кому сколько хлеба?

Маша поправила на двадцать пять килограммов, непонятно было только, где они у неё расположились?

– Меня свекровь ругала, – рассказывала она с гордостью, – мать тоже приходила специально ругать. В женской консультации костерили на чём свет стоит, обещали, что отеку вся и ходить не смогу. Ничего, хожу.

Оксана со своими десятью кило, за которые доктор Ускова на все лады распекала, и со своим гренадерским ростом, чувствовала себя просто Дюймовочкой.

– Так ты бы перетерпела! Потом, знаешь, худеть – с ума сойдёшь!

– Да не могла я терпеть! Я с кухни не могла уйти! Сварю макароны на всех и съем. Ем, а сама уже в другой кастрюле заново воду ставлю. На меня муж наорёт, всё спрячет, за телевизор прогонит в комнату, а я в туалет у него отпущусь, потихоньку батон стащу и в туалете ем. Ела-ела, а теперь не могу, не лезет.

– Теперь тебе уже рожать надо!

– Ну, ещё такого никогда не было, чтобы кто-нибудь не родил. Как-то и я...

Так потихоньку за разговорами проходило утреннее время, а потом – завтрак, часы побегут быстро один за другим. Только Маша устроится со своим вышиванием, подложит подушку под спину, Нина заведёт музыку у себя в уголке – уже обход, капельницы. Глядишь – обед подоспел, после обеда тихий час. Раньше Оксана и представить не могла, что днём заснёт, после дежурства всегда дотягивала до вечера. А нет-нет, да и сморит на часик. Проснутся – полдник. Сок и булочка. Полдничают всегда в палате, Ира кипятила воду в маленьком чайнике, заваривала в отдельной кружке на всех.

– Я когда с первой поехала, у меня воды дома отошли ночью...

Из всей палаты только у Иры уже есть ребёнок – дочка десяти лет, остальные в первый раз. Разговор про роды – самое интересное. Раньше дома одна Оксана боялась, как это будет, все рассказы Татьянины и Галкины почему-то именно пугали. Боялась боли, своего незнания, а самое главное, пугала возможность сделать что-то не так с ребёнком. Здесь же, в больнице, а собственно уже в роддоме, потому, что этажом ниже располагалось родильное отделение, всё как-то встало на свои места. «Никогда такого не было, чтобы кто-нибудь не родил».

– А больно, Ир?

– Ну да, конечно. Но знаешь, боль пройдёт, а у тебя будет ребёнок. Это, знаешь, как здорово!

«Боль пройдёт, а у меня будет ребёнок».

– А я на курсы ходила в консультации, – Нина как всегда должна немножко на себя перетянуть инициативу, – там учили дышать правильно. Как собака, быстро-быстро. Говорят, помогает.

– Ну, не знаю, – возражает Маша, – надо акушерку слушаться.

– А если плохая акушерка?

– Как плохая? – забеспокоилась Оксана.

– Да ладно, девчонки, всё сами поймёте, когда рожать поедете! – У Иры решился вопрос об операции, и она взялась за телефон, потеряв интерес к дискуссии, – да, мам, меня кесарят в четверг...

– Конечно, ей хорошо, – вступает Нина, – её усыпят, разбудят и ребёнка дадут, а нам мучиться...

– А ты не настраивайся на мучение, – возражает Маша, – да, Ир?

Ира кивает, у неё теперь муж на проводе.

– Аллё, Саш? Кесарят меня в четверг, сказали. Да. Да.

«Не настраивайся на мучение...»

После полдника все выходят в холл на диваны, в полшестого начинается милицейский сериал про овчарку, потом ток-шоу на другом канале, потом мелодрама по второму. Разрешают смотреть до десяти. Уютно, в глубине коридора на посту горит свет. В раздатке гремят тарелки – скоро ужин. Диваны глубокие, удобные, мягче даже, чем матрасы на койках в палате. Цветов много, все подоконники заставлены, и ещё большие фикусы в кадках, пальма. И чисто везде – красота! В рекламную паузу можно смотреть в окно. Оксана уже привыкла дома во двор глядеть и тут сразу стала искать вид получше. Из палаты не интересно, там просто двор пустой, деревья, переход между корпусами больницы, в котором окна до середины замазаны белой краской. Ничего не видно. Из холла и коридора видна оживлённая улица – остановка автобуса, несколько магазинов, работающих до позднего часа, маленькое кафе. У входа всегда курит охранник в костюме, входят и выходят посетители. Однажды вечером у кого-то был банкет, Оксана из-за занавески долго рассматривала нарядных весёлых людей. Девушки выходили проветриться прямо в платьях, без шуб и пальто. Всё было видно с третьего этажа, бусы, сумочки, взбитые парикмахерские причёски. Люди были непривычно близко, не то, что из Оксаниной кухни. Там на улице было шумно и весело, подъезжали автобусы и маршрутки, хлопали двери магазинов, разговаривали и смеялись люди. Даже немножко обидно было за тот одинокий домик в снегах, оставшийся в Оксанином окне. И по детской площадке она соскучилась. Кому сказать! Часто звонила Галка, тоже скучала одна на работе:

– Как я тут буду, пока ты в декрете? Кондратьевна все время бухтит, Елена молчит. И я как дура болтаю без умолку...

– А ты плеер купи, – советовала Оксана, – классику будешь слушать. Или пусть тебе Вадим разных песенок запишет веселых. Так и работать веселее будет.

– Он, пожалуй, запишет!

– Ну что, опять?

– Не опять, а снова. Мама, видите ли, слишком часто приходит...

– Это я, ага, – забубнила над ухом Ира, – кесарят меня в четверг, уже решили...

– Подожди, Галь, – Оксана не сразу выбралась от мягкой диванной спинки, – сейчас я на лестницу выйду. А то не слышно ничего.

На лестнице было прохладно и пахло табаком. Кто же это здесь курит, роженицы?

– Что ты говоришь, Галь?

Внизу в родильном отделении приоткрылась дверь на площадку, выпустив тяжёлый глубокий стон: «О-о-о», а потом на одной высокой ноте неестественный животный крик: «А-а-а...» И успокаивающий, баюкающий голос, спокойный, как мамин: «Продыши, продыши, давай. Не трать силы, не кричи, продыши!» Оксана замерла, рука телефоном застыла у лица. Первый голос всхлипнул и затих, а второй подбодрил: «Во-от, во-от, а теперь давай... Давай!» Дверь хлопнула, и всё стихло. Дрожали ноги, и в животе стало как-то тяжело.

– Оксан, Оксан! – кричала Галка в трубку, – Куда ты пропала?

– А? Да здесь я. Ну и что, маме уже нельзя прийти?

Оксана слушала Галкины обычные жалобы, ничего принципиально нового, а сама думала: «Вот оно как, и у меня так будет. Буду терпеть,

и слушаться, и дышать буду, а кто-то добрый, домашний будет меня утешать, мол, потерпи, не страшно. Страшно». Внизу опять хлопнула дверь, щёлкнула зажигалка. Оксана подошла к краю лестницы и заглянула в щель между перилами. Белый рукав халата и тонкая женская кисть. Врач?

– Эй, кто там? – спросил такой похожий на мамин голос. – Патология что ли?

Это их отделение патологии беременности.

– Да, патология, – откликнулась Оксана и нерешительно спустилась на несколько ступенек вниз, – а вы врач?

– Ну да, врач, – немолодая усталая женщина в хирургическом чепчике курила, быстро затягиваясь и выдыхая дым вниз, в лестничный пролёт, чтобы не шел на Оксану. – Иди наверх, я дымлю, да и холодно здесь!

– А можно с вами на роды договориться, – вдруг выпалила Оксана.

Почти все выходные Оксана проспала. Теперь, когда она так внезапно договорилась с гинекологом, ей уже не было так страшно. До завтрака она дрыхла как убитая и еле-еле успела, после еды опять улеглась и продремала до обеда. Потом тихий час – опять заснула, но вечером всё-таки вышла со всеми в холл. По телеку, видимо, ничего интересного не было, потому что девочки сидели просто так в зыбких сумерках, не включая света. «Сидим, как кошки, – подумала Оксана, – как Изаура на подоконнике. Щуримся и моргаем, ни о чём не думая. Просто ждём...» С шести до восьми по отделению с топотом и шумом, как толпа, бегала санитарка приёмного покоя. Разносила передачи. Она издали уже начинала выкликать фамилии и пакеты не в платы заносила, а ставила у двери.

– Бокарёва! Бо-ка-рёва? Есть такая?

– Да! Да! Сюда несите, – завопили Маша с Ниной, – Оксан, тебе приволокли! Смотри, какой пакетище!

Странно, от кого бы это? Оксана вообще никому не велела продукты таскать – меньше соблазнов. Кормили здесь вкусно, на ночь давали кефир. Что ещё на девятом месяце нужно? Вафельку или конфету на полдник. Два дня назад Анатолий Палыч принёс груши и бананов связку, так пришлось уже вчера девчонок угощать – испортится всё, пока одна съест. Нет, он не мог. В плотном черном пакете друг на друге аккуратной стопочкой стояли пластиковые судки, сбоку плотно убралась двухлитровая банка бульона с плавающими внутри крупными кусками мяса. Галка сроду так не готовила, да у неё и плошек таких не наблюдалось, одни кастрюли. С работы ещё кто-то? Нина Кондратьевна? Глупости каике-то! И уже разглядев завалившуюся в угол записку на тетрадном листке, наконец, поняла от кого это. «Ешь, доченька, тебе нужно домашнее, вкусное и питательное. Витамины, мясо. Надо будущему ребёночку белки, жиры и углеводы. Мы тут с Анатолием всё вам приготовим дома, приборём. Кошка жива-здоровая. Назавтра с сантехником договорился, а то унитаз течёт. Кушай, не стесняйся и звони. Наши все привет передают. Папа».

– Алё, Оль? Я тебе не звонила ещё? Меня кесарят в четверг, точно уже, – Ира заглядывала через плечо и делала большие глаза.

Холодец с крупными дольками чеснока и оранжевыми колёсиками моркови. Сам, что ли, готовил? Скумбрия горячего копчения, винегрет, жареная картошка с луком, маринованные помидоры. Дурак, что ли? Это надо догадаться – ей принести всё это! Ей грамма соли лишнего не позволяют! Разгрузочные дни чуть ли не через день велели дома делать! Воду с чаем приплюсовывать и отчитываться! А он! Помидоры, рыба солонущая! Хо-

лодец оглушающе пах, чесночок влажно поплёскивал через прозрачную крышку банки, картошечка была нарезана идеально ровными брусочками. Защищало в носу, то ли от запахов, то ли от слёз...

– Ой, это кто это тебя так?

Оксана в ярости зашвырнула пакет на нижнюю полку в холодильнике и дверью шарахнула. На хлопок моментально среагировала медсестра на посту и забубнила машинально, не отрываясь от журнала:

– Тише, тише, девочки! И подписать не забудьте все продукты, а то придёт завтра проверка, всё ведь повыкидываем...

«И пусть бы выкинули, и хорошо!» – думала Оксана, лежа в палате одна и глотая злые слёзы. Так нельзя, конечно, и плакать вредно, и сердиться, а что делать! Хоть бы позвонил, дурак старый, спросил, чего принести! И Толя тоже хорош! Ему ключ дала исключительно ради Изауры, а он отдаёт, кому ни попадя! Раньше не позволял себе такого, а теперь – вон чего, родственничек появился. Папаша! Унитаз он чинит! Вот так приедешь, а он поселился уже, мебель переставил и замки врезал! Откуда она знает, что он за человек? Может, мать-то не зря разошлась. За стеной кончилась реклама и заиграла заставка мелодрамы. Симпатичный богатый брюнет ухаживал за бледненькой простушкой, и вчера уже было ясно, что поженятся, если бы не вмешалась якобы беременная секретарша брюнета. Интересно было, как они выкрутятся, Оксана с нетерпением ждала развязки весь вечер, а теперь вообще расхотела смотреть. Ну и пусть. Так она плакала и плакала и не заметила, как заснула. Проснулась в полном изумлении глубокой ночью. Надо же, и не слышала, как девочки умывались и укладывались, как Нина включала очередную колыбельную на своем ноутбуке, как потом храпела. Как Ира ворочалась большим животом и отправляла последние эсэмэски, как Маша встряхивала простыню, долго расчёсывала свои длинные волосы и громко стучала ложечкой по стенкам кружки, размешивая в кефире сахарок. Это всё стали привычные звуки Оксаниного вечера и ночи, почти родные. Как она будет без них дома? Ещё день-два, и её выпишут, а девчонки останутся вместе. Или, того хуже, всех отпустят, Иру заберут в родильное, а Оксана останется в палате одна. Слёзы опять полились – не остановишь. Чтобы не разбудить девочек своими всхлипами, Оксана тихонько встала и вышла в коридор.

Было тихо, свет в холле и на посту не горел. За окном лежала пустынная грустная улица. Тёмные витрины и подъезды, ни огонька в окнах. Было, наверное, часа три – мёртвое глухое время, ни одной машины не проехало мимо. Ни снега, ни ветра, ни шевеления ветки. Тоска, тоска, опять тоска... Оксана вспомнила про пакет в холодильнике – вовремя! Надо выбросить сейчас всё, оставить только плошки и банки, а вымыть уже дома. Внутри холодильника было светло и весело, полочки пестрели пакетами разной величины, из которых выглядывали горлышки йогуртов, яблочные бока и яркие упаковки разнообразной еды. Вкусно пахло колбасой и ванилью, как перед праздником. Оксанин пакет был самым большим и занимал почти всю нижнюю полку. Сейчас бульон в унитаз, холодец тоже в унитаз, а рыбу надо завернуть поплотнее, чтобы не пахла и в помойное ведро. Оксана вытащила пакет, захлопнула холодильник. Опять стало темно и неуютно, зато в туалете загорелись и загудели сразу все лампы, заливая маленькое помещение неестественным хирургическим светом. Пакет Оксана водрузила на стул, где обычно складывали одежду, и стала вытаскивать продукты по очереди. Плошки она временно ставила на раковину. На дне под банкой обнаружилась отглаженная льняная салфетка с вышивкой по периметру. На салфетку Оксана поставила банку с холодцом, так случайно

получилось, потом решила попробовать чуть-чуть и съела всё прямо пальцами до дна. Картошка была совсем холодная, но всё равно такая вкусная! И рыба! И мясо из бульона мягкое, просто таяло во рту. Оксана уничтожила всю передачку, вытерла банки припасённой тут же булкой и запила бульоном.

Вот это да! Кто у них так готовит, интересно? Сноха? Оксана представила себе, как папаша просит её сварить в больницу для дочери. Или они всегда так едят? Суп с кусищами мяса, холодец тоже. Богато готовят. Если так хорошо живут, что же тогда папашка-то к ней просится? Не от хорошей же жизни, и не от безумной любви к ней, к Оксане... Нет. А кто её любит, Толя? Наверное, как может. Галка? Галка бедная, ей бы самой прислониться. Бултых – повернулась малышка в животе. Вот она будет любить, да. По-настоящему будет. И никто больше им не нужен, ни папы, ни дедушки какие-то непонятные. Только мама и дочка. И звонить они не будут никому, благодарить. Съели и съели. Проголодались! Их же двое. Оксана собрала банки, сложила всё в пакет и в холодильник и пошла до-сыпать ночь.

В четверг на выписку она опять рыдала, и Ирка перед тем, как её увели в операционную, рыдала тоже, и Маша, у которой в шесть утра отошли воды. А особенно рыдала Нина, которая оставалась одна. А санитарка, помогающая Маше собрать барахло в узел, чтобы идти в родильное, удивлялась и ругалась. «Что вы убиваетесь, как по покойникам? Беременные, называется! Ну? Ты чего ревёшь-то, дура, силы береги...» Никто её не слушал. Анатолий Палыч смог приехать только после тихого часа. Оксана уже ждала внизу в вестибюле и сердилась. Хотя что сердиться? Он человек подневольный. Быстренько довёз до дома и обратно – в Москву надо ехать за собачьими пальтишками, какой-то салон новый ему сделал заказ. Пусть уезжает! Оксана уже, кажется, отплакала на всю оставшуюся жизнь. Хотела теперь скорее к себе домой, на свою кухню и тахту, к стосковавшейся Изауре и привычному сериалу.

– Ну, давай. Пока. Осторожно там, в Москве, – чмокнула быстренько Анатолия в щёку, – ты не ходи, раз торопишься, у меня пакет не тяжёлый. Давай ключ.

– Нет ключа.

– Как нет? Потерял?

– Он у этого... ну, у отца твоего. У Михаила Степановича.

– Как это?

– Так он там унитаз ремонтировал, я же не могу вечно при нем сидеть!

– И ты его оставил?!

– А что? Нормальный мужик, не чужой же.

– Да как не чужой! С октября знакомы. Два месяца по телефону разговаривали да несколько раз виделись. Отец, называется! Бросил нас с матерью, мне трёх лет не исполнилось, а теперь его сын с квартиры выживает, я так понимаю, вот он у меня и окопался! А ты ему, пожалуйста – ключ! Кто тебя-то просил?

Анатолий Палыч, видно было, сильно растерялся, заволновался. Всё-таки квартира, не что-нибудь. Очки даже снял. Это у него привычка такая, когда нервничает, начинает стёкла протирать. Вид у него при этом становится глуповатый и беззащитный. Не поругать, не пошуметь – жалко.

– Ну ладно, – вздохнула Оксана, – что теперь. Поднимусь и посмотрю, что он там в квартире-то оставил.

– Да нет, он не такой. Он мужик нормальный. Рыбу жарит – пальчики оближешь. В тесте.

– Это где же это ты ел?

– Да здесь же и ел, у тебя. Он сырую принёс и сготовил.

– Ну, спелись!

– Может, всё-таки подняться с тобой?

– Нет, не надо. Сама.

Вот дом. Незнакомый и большой, как муравейник. Тот, который сначала казался чужим и неудобным, а теперь родной. Свой. И запах хороший – варёной картошкой пахнет и рассолом. Дом, милый дом. Только дверь ключом не открылась, пришлось звонить. Так и знала!

Вошла молча. Сапоги снимает и не поворачивается. А он открыл и назад отскочил. Будет, будет ругать! Пакет в угол поставила, тяжёлый, видать. Что уж Анатолий, не мог проводить? Взрослый человек, беременную женщину до подъезда довёз и бросил! К двери из кухни вышла Изаура и потёрлась Михаилу Степанычу об ноги, загнула хвост. На хозяйку смотрела настороженно и недовольно. Сердилась.

– Я, это Оксан, тут... э... Здравствуй.

– Привет, – и посмотрела так, как Верка, господи, господи... Прошла вперевалочку по комнате, осматриваясь, в порядке ли всё. Он накануне прибрался, пол протёр. А раскладушку ещё утром собрал и в закуток, в уголок задвинул. Когда ночевал, на диван лечь не решился. И вообще поменьше старался вещей трогать. Когда картошку чистил, шкурки на газету бросал. Вдруг какой-нибудь не тот тазик вытащит, а Оксана и заметит.

– Иза, Иза, девочка моя, ты что, Изаура, – кошка подошла, наконец, задрала усатую седую морду.

– Ау-яу, – мол, где пропадала так долго, а мы тут с ним вот куковали...

– Есть будешь? Ну то есть ужин того, готов.

– Рыба?

– Что?

– Рыба, говорю, на ужин-то?

– Почему рыба? Винегрет. Котлетки. Пюре. Всё домашнее.

– Это из какого же, значит, дома?

– Как понять, из какого. В смысле сам варил. Садись, – дрожит, дрожит голос-предатель. Ка-ак зыркнет. Сейчас кричать начнёт.

– Ты садись, это, Вер, то есть, Оксан...

– Запутался? – села тяжело. Живот большой стал, поправилась. Надо бы стол отодвинуть и переставить табурет кошачий.

Ели молча. Один раз только она спросила – хлеб есть в доме? Бросился скорее, какой, ржаной, белый? Батон мягкий, утром только из булочной. Плечами только пожалала. И он ничего не говорит. А что сказать? Что у Динки на той неделе отнялись ноги и Костик её отвёз в ветлечебницу на усыпление? «Так будет лучше!» Кому лучше. Михаил Степанович до последнего сомневался, что Костик сможет. Динка два дня лежала, не вставая, только смотрела. И так смотрела, что лучше б Михаила Степановича самого усыпили, чем это видеть. Анатолий предлагал приехать и посмотреть, случайно созвонились в самый такой момент. Отказался. Невыносимо было представить, что именно он придёт и тоже скажет, что лучше, мол, укол – и всё. Как потом с ним разговаривать? У Оксаны видаться? Нет уж, пусть дети сами, если могут.

Рано сдались, он считал, надо было лечить, поднимать, таблетки какие-нибудь, уколы. Светке не до этого, у неё уже новые собачки, новые проекты, планы. «Ветеринар, папа, вон каких денег стоит. Таскать её – издеваться. А на дом если, так это вообще ползарплаты...» А он уколы мог бы сам делать, людям же делал! Матери, жене колол. На них-то не изобрели такого

усыпительного средства, чтобы раз – и до смерти. До конца мучились, страдали. Мать стонала, таблетки тогда были плохие, выписывали в поликлинике мало. Только коротко впадала в забытие и опять. А Соня кричала, спать не могла. У неё метастазы были в костях, в позвоночнике, в рёбрах. Всё поражено. Раковая болезнь, сказал доктор в диспансере. Болело сильно. За что? А умерла – задохнулась. Мать холодную утром нашёл, а Соню за руку держал. Динку же просто унесли на одеяле, а он всё оправдывался – полечат тебя, Диночка, посмотрит доктор. Иди-иди. С Костиком не поругаешься. Он промолчит, а потом по-своему сделает. «Уйди, дед», – плечом отодвинул в коридоре. А собака голоса не подала, хоть бы завывала или залайала. С тех пор он не мог дома. Подстилку Светка выбросила, миски. Не помогло. Уехал сюда, отвлёкся хотя бы за делами. Помыть-прибрать. Унитаз пришлось капитально, за кошкой. Анатолий рад, ему не заезжать, время не тратить. Хороший человек, хоть и женатый. Переживает тоже за Оксанку. Такого бы зятя. Домой не ходил, Костику позвонил только. Потом немножко отошел и за вещами съездил. Потом в сарайку на старую квартиру, там одеяло нашлось ватное. Проветрил и нормально, даже не рваное, хранилось хорошо. В два приёма перевез одеяло это, раскладушку и коляску...

– Ой, Оксан, я же, что? Я же тебе сюрприз! Не смотри, что малость старовата, там, можно на лоджии поставить спать, или как-то ещё почистить. Я сам-то промыл всё...

– Чего это?

– Сейчас-сейчас, сиди, – вскочил, засуетился, забегал, вытирая руки о ситцевый фартук. Господи, где только взял его? И кофта бабская, вязаная, «домашняя». Убежал куда-то, долго скрипел, хлопал дверью лоджии. Оксана покорно ждала, когда он ещё что-то такое ей покажет. Тогда можно будет спокойно поблагодарить за обед-ужин, и вообще, а потом распрощаться. Остаться, наконец, одной, включить телевизор, вытянуть ноги.

– Вот, гляди! – папашка вывез на середину кухни громоздкую «лежачую» коляску старого образца. Ярко-красная, с надвинутым широким капюшоном, длинной ручкой и растянутой сетчатой корзиной внизу, она производила монументальное впечатление. Ужас!

– Что это? – громко спросила Оксана, сразу заводясь. Она внезапно почувствовала, как устала. Такой бесконечный день! Ревела, ждала, нервничала, теперь вот цирк этот, и папаша – клоун! Где он раздобыл это чудище? Заранее ж ничего готовить нельзя. И сама вдруг испугалась. Конечно, нельзя! Это плохая примета, взглянуть можно или ещё чего-то. Ребёнок ещё не родился, а уже приготовили. Не получилось бы, что зря готовили. И сама уже на себя рассердилась за эти мысли. Что он здесь вообще...

– Что это?! – закричала Оксана. – Что?

А он вжал голову в плечи, почти машинально. Попятился, улыбка дурацкая слетела с лица мгновенно.

– Это, ну, как чего – девочку катать будем...

– Что?! Какую девочку? Ты хоть знаешь, что заранее ничего нельзя, помощник? Тоже мне! Кто тебе дал право здесь распоряжаться. Это мой дом, понял?!

А он кивал мелко и жалко, мол, понял-понял.

– Уходи немедленно! Ты мне никто! Ты мне! Не! Нужен! – кричала Оксана почти в истерике, но чувствовала и видела сама эту истерику, как будто со стороны. – Чтобы духу твоего!

Он побледнел, пошатнулся, потом засуетился опять по кухне. Руки тряслись, пока развязывал фартук, схватился за раковину, упали ложки,

бросился поднимать и ударился об эту чёртову коляску. И не жалко его нисколько!

– Что ты волочешь мне разное старье как к себе домой? Её в помойку надо, рухлядь эту, выбросить!

– Уйду-уйду, – бубнил он, подбирая ложки, – сейчас-сейчас, Оксаночка, сейчас, не волнуйся...

– Давай! И хлам этот свой забирай! Нет, постой, я сама сейчас выброшу, а когда вернусь, чтоб ключ под ковриком лежал, а тебя здесь не было! Никогда!

Он всё продолжал бубнить, а Оксана, всхлипывая и тяжело дыша, уже влезала в рукава дублёнки. Довёл! Доигрался! Коляска мешала в коридоре, с ней стало узко и неудобно. Хорошо хоть в лифт убралась без проблем. Спицы у неё были ржавые, но основание крепкое и капюшон не рваный. Немного пахивало от неё старым деревом и прелью, но вполне ничего. Где он только её взял? Оксане, конечно, такую не надо, пусть ей Анатолий Палыч купит новую, современную и красивую. А он купит! Купит! Обещал помогать, пусть помогает. А эту рухлядь сейчас куда девать, не к контейнерам же катить? Вроде жалко. Оксана немного успокоилась, постояла на первом этаже, читая объявления на доске у лифта. Над телефонами сантехника и электрика блестела глянцевая табличка: «В подъезде ведётся видеонаблюдение». Вот интересно! Что примерно про неё люди подумают, когда увидят такую запись – большая, как медведь, зареванная женщина с огромным круглым животом и с коляской.

На улице совершенно стемнело, похолодало и поднялся сильный ветер, который, кажется, сдул всех прохожих со двора, несмотря на непоздний ещё час. Куда её, телегу эту? К детской площадке, что ли вывезти, вдруг кому-то понравится? За забором автостоянки было совершенно безлюдно, калитка на площадку приоткрыта. Впервые Оксана видела все эти лесенки и горки наяву, вблизи, а не сверху. И вообще, впервые была здесь. Снег был плотно утоптан везде, а перед входом почищен до асфальта. Под фонарём на столбе тоже висели объявления: «куплю-продам», «требуется няня» и «Дед Мороз у вас дома». Оксана провезла коляску мимо карусельки, мимо качелей-доски и лавочки для мам. За ручку держать было удобно, колеса ехали плавно, не скрипели. «Оставлю, – думала Оксана, – оставлю, ничего мне от него не надо. А завтра подберет кто-нибудь, нормальная коляска...» Ещё раз повозила её машинально туда-сюда. Присела на лавочку и опять повозила. Можно и погулять немного, воздухом подышать. Ей полезно. Тут, кстати, не ведётся видеонаблюдение? Даже смешно! Сидит такая клуша в толстой дублёнке, кругом завывает ветер, вокруг ни души. А она колясочку пустую туда-сюда, туда-сюда! Домой надо, а то сейчас замерзнет, простудится, не дай бог! Оксана подняла голову к дому, выискивая в мозаике горящих окон свои тёмные. Ага. Раз, два, три – от края. Здесь кондиционер у соседей сверху и чуть левее, а это вот её? Или нет? Вместо ожидаемой стеклянной «раскладушки» лоджии и тёмного прямоугольника кухни, она увидела ярко освещенное теплое окно и тщедушную папашину фигурку в нём. Он влез на подоконник и прижав лицо и ладони к стеклу, выглядывал Оксану в ветряной темноте двора. Вдоль стекла из стороны в сторону озабоченно ходила Изаура. Волнуется! Оксана встала, чтобы её было лучше видно, и помахала ему рукой. Я здесь, не волнуйся! Я здесь, папа...

Поэзия

Наталья УВАРОВА

Родилась в 1982 году в городе Дзержинске Нижегородской области. Окончила филологический факультет Нижегородского госуниверситета. Работала графическим дизайнером, сейчас журналист.

Стихи пишет с девяти лет. Лауреат и финалист областных и всероссийских поэтических конкурсов, а также ряда фестивалей авторской песни. Выступает на публике с музыкально-поэтическим моноспектаклем.

Автор сборников «Голуби и крысы», «Бабочка». Живет в Дзержинске.

НЕТ В ОТЕЧЕСТВЕ ПОЭТА...

* * *

Мне приснилось, что муж мой покончил с войной,
Он вернулся и худ и сед.
И сказал мне: скорее пойдем домой.
Я сказала, что дома нет.

Муж вернулся с войны, он был худ и хром.
Май звенел. Зеленели поля.
Он сказал: не беда, мы построим дом.
Милый, это не наша земля.

Муж сказал, что отныне покончил с войной.
Где была она – та война?
Он спросил, но ведь ты навсегда со мной?
Милый, я не твоя жена.

Мы сидели долго – спина к спине.
В чистом поле костер догорал.
Мне приснилось, что муж мой был на войне
И не понял, за что воевал.

Заклинание Пушкина

Мчится ветер, тьму взбивая,
Так, не ветер, ветерок.
Однозвучно завывает –
Время, нравы, век мой, рок!
Вьюга пологом линиялым
Застилает неба синь.
«Пушкин, Пушкин! – прозвучало,
– Где ж ты бродишь, сукин сын?»

Вьюга воеет, вьюга кроет
От земли и до небес.
Бесы кружат над страной.
Так, не бесы – мелкий бес,
Дух стяжания и разврата,
Хама бог и наглеца,
Озираясь воровато,
Норовит пленить сердца.

В жутком вое, в бесьем писке
еле слышно – дин-дон-дон –
то ль Мадонной, то ли Фриске
заливается рингтон.
– Эй, гони-ка что есть мочи!
«Барин, выбился из сил.
Где кибитка не проскочит –
Не пройдет и сто кобыл...»

Воеет ветер, стонет ветер,
Тучи – кипы серых шкур.
– Нет в Отечестве поэта,
Есть тусовка и гламур...
Что? С испуга сердце бьется?
Знаешь, что вчера слышал, –
Нет, мол, истины под солнцем –
Есть реал и виртуал.

А от них укрыться, то-то,
барин, очень тяжело!
Застучало под капотом,
бесы рвутся под стекло
Лобовое с жутким граем.
Небо встало на дыбы,
лишь за окнами мелькают
придорожные столбы.

Над заснеженной опушкой
Засверкал луны пятак.
Стонет вьюга: «Где ты, Пушкин?
Где ты? Мать твою растак!
Появись, ну сделай что-то,
Рассуди нас в сей игре»...

Но, как прежде, стихоплётов –
Словно грязи в ноябре.
Мчится ветер, тьму взбивая,
Так, не ветер, ветерок.
Однозвучно завывает –
Время, нравы, век мой, рок!
Мчатся тучи, мчатся спешно,
Застилая мглой высь.
И звучит во мгле кромешной:
«Пушкин, Пушкин, появись!»

* * *

Так останься с лесом наедине
Без айфона, пива и сигарет.
Берега-стволы, ты на самом дне,
Над тобою колыхнется тусклый свет.

Отрекись от города хоть на час –
Город сковывал тысячью обручей.
И смотри, как смотрят в последний раз, –
Вот растет трава, вот бежит ручей.

Возжелай душою и сердцем всем
Этот лес, волнуясь и трепеща.
Как желают сущие во гробех
Прикоснуться к краю Его плаща.

Бабочка

Так невесома, мала и нуждается в малом.
Живой лепесток. Яркий лоскутик лета.
Тает, порхает, радует глаз твой усталый.
Она существует здесь и нигде или где-то.

Ты же телесен, объемен, весом, многозначен,
Кем ты себя возомнил, коль нуждаешься в славе и лести?
Не о таких ли «герои на людях не плачут»?
Ты обитаешь в уютном безрадостном месте.

Мненья чужие – твоя основная пища.
Дни коротаешь в липкой густой обиде.
Лучше и впрямь бы не покидать жилища.
Если только за пивом. И чтобы никто не видел.

Клеишь в альбомы кусочки чужого лета.
С горестью думаешь, что у тебя все так тухло.
Вот тебе мир в квадрате стеклопакета:
Курят соседи, дети хоронят куклу.

Новый квартал заслоняет тебе рассветы.
Кожей второю стал серый растянутый свитер.
Вон он – твой мир в серенькой рамке планшета:
Геи бунтуют, Обама приехал в Питер.

Веришь ли в мир ты – блестящий безмерный певучий,
Если сомненья свои водрузил словно знамя на древко.
Вспомни о бабочке. И докажи, чем ты лучше
Этой бесцельно порхающей однодневки.

* * *

Основная наша профессия – не роптать.
Все дороги, куда бы ни шел, – приведут домой.

Заруби на носу, завяжи узелок, запиши в тетрадь,
Перед тем, как отправиться завтра в последний бой.

Не сорваться, с ума не сойти – вот уже благодать,
Не участвовать в гнусной кадрили карикатур.
Основная наша профессия – фильтровать
Все, что льется из черных безжалостных амбразур.

Отчего без разбору торопимся пожирать,
что ни кинут нам, будто нынче и глад и мор?
Основная наша профессия – понимать,
Что они начеку, даже если выключен монитор.

Как они наступают – за стаей стая, за пядью пядь,
Их плацдармы – твое нехитрое бытие.
Основная наша профессия – рассказать –
Их Освенцим – в твоей измученной голове.

Не роптать – даже если сцена твоя – эшафот,
Перед тем, как затихнуть навеки, сронить словцо.
Видишь – солнце лучами вонзается в мой живот.
Видишь – радуга упирается мне в крыльцо.

Кризис среднего возраста

Вот так и взрослеешь – годам к тридцати пяти:
Промокший, паленый, оглохший от медных труб,
И как откровенье – еще середина пути,
но волос твой сед, а голос прокурен и груб.

Пожалуй, все выпито, пройдено все и истерто до дыр,
Ты вязнешь в болоте случайных и мелочных дел.
Восторг подростковый: Да я завоюю весь мир!
Меняешь на вздохи, что многого не успел.

А что тебе нужно? – Потуже набить закрома.
Здоровый цинизм как вакцина от жизненных драм.
А личная жизнь? Да и тут все обширно весьма –
От Инстаграма до ста обжигающих грамм.

И вдруг настигает: уже не любить вот так –
До спазма, до боли, дотла выжигая нутро.
А та, что спит рядом, – банальность, рутина, пустяк,
Тыходишь в нее ежедневно, как входят в вагон метро.

Вот так существуем – торопимся, рвемся, воюем, наводим уют.
Воронка житейская – служба, машина в кредит.
О том, что должны, узнаем из повестки в суд,
О том, что любимы, – когда лишь под сердцем болит.

Вот так и плутаем, на ощупь, впотьмах, наугад.
Не помня закатов, восходов и прочих явлений в природе.
Не помним ни вздохов, ни взглядов, ни памятных дат,
Но кто-то все ищет себя среди звезд и под утро находит...

* * *

Я пришла к старой гадалке в конце зимы,
Молча сняла перчатку и протянула ладонь.
А она, прищурясь, сказала: «Нет у тебя никакой судьбы,
Или судьба твоя переменчива, как небо или огонь».

Время снимает лживых свечей нагар.
Врут и орбиты планет, и шаманский дым.
Редко кому дается подобный дар –
Быть чистым листом или сосудом пустым.

Все, чем ладони исчерчены, – смех небес.
Приманка для слабых. Божья игра в поддавки.
Ты сама шагаешь и поперек, и чрез
Холмы, перевалы, долины своей руки.

Ты сама себе навигатор, маршрутный лист,
Тебе лишь одной известно, где спрятан клад.
Там бескрайня пустыня и горный склон леденист.
А ежели сбилась с курса: то вот он – ад.

Чем заполнять пустоты, заштриховать пробел,
Кто рисовал план, составлял проект?
Ты сама себе архитектор и инженер,
Бог, он лишь наблюдает – справишься или нет».

Андрей КОРОВИН

Поэт, издатель, руководитель культурных программ. Родился в 1971 году в Тульской области. Окончил Тульский факультет Юридического института МВД РФ, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького (семинар поэзии Ю.П.Кузнецова). Работал в тульских газетах, в московских СМИ - телекомпании ТСН, на телеканале М1, в ВГТРК.

Автор шести поэтических книг. Стихи публикуются в литературной периодике России, Украины, Германии, Дании, Финляндии, США и других стран, вошли в современные поэтические антологии, переведены на английский, армянский, белорусский, грузинский, немецкий, сербский и румынский языки.

Главный редактор издательства «Современная литература». Руководитель Международного культурного проекта «Волошинский сентябрь», литературного салона в Театре-музее «Булгаковский Дом» (Москва), координатор Всероссийской Прокошинской премии и других программ. Живет в Москве.

МЫ ЖИЛИ НА РОДИНЕ МИРА...

гармонист

гармонист залётный тянет жилы
в электричке летней на Москву
лишь одною музыкою живы
или вопреки ей не пойму

белая дурацкая панاما
ветер в парусиновых штанах
как же это вышло мамамама
что мы не снимаемся в кинах

*в море проплывают самолёты
в небе пролетают корабли
ну а ты зазноба моя где ты
потерялась в розовом дали*

*белый пух засыплет все бульвары
тополиный невозможный пух
ну а ты звезда моя гитара
видишь как я от тоски опух*

*в поле зацветают василёчки
а на дачах чахнет лебеда
посчитал я дни мои денёчки
а они сливаются в года*

и пошёл он дальше по вагонам
взгляды собирая по пути
как сказал бы лейтенант Прогонов
с этим парнем дура не шути

предвкушение осени

это лето на камешках августа
золотое мое золотое
милый друг расскажи мне пожалуйста
что за лето цепляться не стоит

будет осень песчаная пляжная
золотая моя золотая
и в зеленое море купажное
убежит от меня запятая

зашуршит виноградными листьями
молодое вино молодое
и помашут художники кистями
запивая как греки водою

и когда рифма выпадет женская
на упрямую рифму мужскую
не пойму то ли морем блаженствую
то ли понтом эвксинским тоскую

и пока пробираются сумерки
голубые холмы голубые
вижу кто-то выходит из сумрака
предлагая мне рифмы любые

на Родине мира

мы жили на Родине мира
с песочком из мелких ракушек
с медузами в теплых ладонях
с водою солёной в ушах

мы видели Родину мира
и спелые крымские грозы
мы ночью срывали с балконов
и в море бросали

мы пили на Родине мира
сухие и крепкие тоже
и Пашу кормили арбузом
и Машу

мы бросили Родину мира
да что там на Родине мира
такого
чего у нас нет

цветущее чёрное море
призывно махало нам вслед
и чаек бросало

наступление осени

1. Овстуг

а этой ночью наступила осень

и в барском доме Тютчевых не спали
и свет горел во всех бессонных окнах
хозяина встречали ранним утром

он к празднику обычно приезжал
Успенья Богородицы

прислуга
готовила на кухне ранний завтрак

в пруду ходил тяжелый толстолобик
не зная что гореть ему к обеду
на сковородки адовом огне

и лебеди ленивые дремали

не слыша
как скрипят в ночи ворота
и ширится из псарни лай собак

как чутко лошади прядут ушами
и женщина бросается на шею

как он идет понурый молчаливый
и колокол спросонья глухо бьет

ведь этой ночью
наступила осень

2. водяная мельница

на мельнице заброшенной
бомжует водяной
тулуп его заношенный
воняет как больной

он страшен коли вылезет
да хрен его найдешь
тут интернет не вывезет
и сдохнет макинтош

леса глухие брянские
и ни души окрест
сквозь заросли вакханские
сияет белый крест

все сгнуло в забвении
по правде так давно
как будто нет спасения
а есть одно кино

3. Вщиж

сколько ни вейся
миру придет конец
сходишь ли под венец
все равно не жалец
вот же стояла крепость
город
и правил князь
Рюрикович между прочим
казалось
жизнь удалась

ну и что же той жизни
поле да огород
враг подступает
целится в род и род
то ли ушли под землю
то ли стали землей
князь со своим народом
господибожемой

что им доныне снится
Чиж ли река Десна
выцветшие страницы
времени или сна
память как колом в горле
жалко их всех до слез

небо не плачет
небо
льет с небес купорос

4. лебединые песни

когда
холодными зимами
пруд замерзает
лебеди приходят
к барскому дому
гогочут на своем
крепостном языке

что жрать стало нечего
надо бы подкормить
а не то передохнем
перестанем радовать
белоснежными крыльями

лебедиными шеями
ваших тупых гостей

стоят так толпой
топают своими лапами
гадят на белоснежных дорожках
жирные боровы

давеча крестьянин
Ванька Синюхин
попытался поймать одного
с голодухи
так они его в пруд скинули
и сомам скормили
лебеди-людоеды

барин с семьей
укатил в столицу
от греха
а сторож по ночам
запирается
в своей сторожке
говорит
каждую ночь
кто-то ломится в дверь
зовет его

кто говорит
что жена
а кто-то
что смертушка

Чистые пруды

памяти Андрея Новикова

1

что же ты наделал милый друг
друг ты мой сердешный
сам замкнул проклятый этот круг

не орлом а решкой

помнишь как бродили мы вдвоём
по бульварам синим
думали что всё переживём

смерть любовь и зимы

где скажи с тобой не ждали нас
в Киеве в Тбилиси
вот тебя теперь не ровен час

и не дождались

где ты беспокойная душа
там в подлунном мире
жить любил ты весело греша

дважды два четыре

выдохну в оконное стекло
ты меня услышишь
ночью небо всё заволокло

ты уже не дышишь

2
этот странный поход в никуда
этот ноющий в черепе голод
эта талая злая вода
этот сердце сжимающий холод

переходишь по тонкому льду
чистопрудного тихого ада
и как будто не слышишь что ждут
тебя люди стихи снегопады

ждут порталы журналы авто
ждут в Казани Ташкенте и Минске
ну а ты-то куда без пальто
в магазин по-английски

позвонил бы забросив дела
мол такая отрада
что столица тебя приняла
как любимого брата

ХОККУ

золотится вдали
нательный крестик
кладбищенской церкви

Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Московскую Духовную семинарию. До рукоположения в сан священника работал литейщиком на производстве, журналистом.

С 1993 года – священник Русской Православной церкви. В настоящее время – старший священник Прихода церкви Чудотворца Николая в Нижнем Новгороде.

Член Союза писателей России с 1997 года. Автор семи поэтических сборников, шести книг прозы и множества публицистических статей. Кауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Персиковый сад» в 2012 году удостоен Диплома 3 степени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ

Блудный сын

И солнце погасло. Сгущаются тени.
Тяжелым был путь до конца.
Последние метры пройду на коленях
и брошусь я в ноги отца.

«Мой мальчик! – он скажет, ладони на плечи,
тяжелые, мне положив, –
Я верил, надеялся, ждал этой встречи,
был мертвым, а нынче ты жив!»

А я еще мертвый. А я еще грешный!..
И слезы текут по лицу...
Проснусь я и плачу, что в жизни поспешной
нет силы вернуться к отцу.

Апостол Иуда-предатель

И в эту ночь двенадцать снова вместе,
Ты во главе в хитоне голубом.
В последний раз я удостоен чести
сидеть с Тобой за праздничным столом.

Вот Симон что-то тихо вопрошает,
а Ты глядишь, Учитель, на меня.
О, этот взгляд! Не он ли все решает
и сердце жжет мне горячей огня.

Ты знаешь все: и как Тебя осудят
и славу, что сияет впереди.
Вот хлеб и соль. А дальше – будь что будет!
Сейчас, Равви, Ты скажешь мне: «Иди!»

И я пойду, я не могу иначе,
предательством навеки заклею.
...А за Кедром соловьи заплачут
и будут плакать до конца времён.

Апостол Петр

Тень от пальмы мала, но прохладна,
Сядь, Учитель, а я отойду.
Я сегодня с Тобою и ладно,
Я с Тобою до смерти пойду!

Не страшны мне ни римская пика,
Ни зилотов кинжал. Я не трус.
Только вот петушиного крика
Почему-то я с детства боюсь.

Сердце рвется, тоскует и ноет!..
А заря кровоточит во мгле.
Будто что-то случится такое,
Что страшнее всего на земле.

Сердцем чистые Бога увидят?
Я увидел, как Ты одинок.
Этот мир Тебя возненавидит,
Не ходи за Кедронский поток!

...Отдохнем. И веселой гурьбою
Неустанно и ночью и днем
Мы, Учитель, идем за Тобою
И не знаем, что в Вечность идем.

Иерихонский слепец

Жертва древнего закона,
Он рожден слепым...
У ворот Иерихона
Зной, как белый дым.

Солнце жжет ступни босые.
Он, в который раз,
Про далекого Мессию
Слушает рассказ.

Ах, когда бы были крылья!..
Только крыльев нет.
Из пустыни черной пылью
Замело весь свет.

Он идет. Все ближе, ближе...
Горячо в груди.
Я Тебя еще не вижу,

Господи, прости!

За Тобой дорогой крестной
Я пойду вослед
И увижу, как над бездной
Воссияет свет!

Белый скит

*«...долго ли мука сия, протопоп, будет? И я говорю:
«Марковна, до самых до смерти!» Она же, вздохня,
отвечала: «Добро, Петрович, ино еще побредем...».*

Житие протопопы Аввакума, им самим написанное

Который день снега, снега.
Душа моя болит.
Молчит тайга, хранит тайга
за выюгой белый скит.

Чуть слышный звон колоколов
плывет из-за реки.
Он где-то там, среди снегов,
желанный белый скит.

Мы там душою отдохнем
от скорби и обид.
Но все идем, идем, идем...
Ну, где ж ты, белый скит?!

Господь зовет. Господь ведет.
Господь в пути хранит.
Среди заснеженных болот
уж виден белый скит.

Я не дойду. Я слишком слаб.
А скит опять пропал...
Христос воздаст за то хотя б,
что я его искал.

Светлое Воскресенье
Молим о прощеньи и спасеньи:
Господи, спаси и сохрани!
Светлое Христово Воскресенье –
крестный ход, веселые огни.

Понесу, от радости немея,
праздничную красную свечу.
Неужели делать не сумею
доброе, которого хочу?

Нет согласия у души и тела;
ничего без Бога не могу.
Неужель не перестану делать
злое, от которого бегу?

Неужель Божественное слово
не сильней геенского огня?
Воскресенье Светлое Христово,
оживи, как Лазаря, меня!

* * *

Помолюсь. И в груди станет тесно.
А молюсь я всегда об одном:
за родителей в Царстве Небесном,
за детей в этом мире больном,
что лежит между адом и раем
в бестолковой пустой маяте...
Вот свеча моя догорает,
я молюсь Тебе в темноте.

Проза

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

В настоящее время — директор издательства «Книги». Член «Российского Союза антикваров», «Национального Союза библиофилов». Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки», председатель Нижегородского отделения Литературного Фонда России.

Член Союза писателей России с 2002 года. Живёт в Нижнем Новгороде.

ДИЛИЖАНС

Эту легенду рассказала мне старая проститутка Мери, а так как города нуждаются в своих мифах, я решил её вспомнить и записать. С Мери я познакомился в посёлке Кавказ, который располагался когда-то вдоль берега Оки между Молитовкой и Стрелкой, и куда по своей воле старались не забредать простые горожане: такая нехорошая репутация сложилась у этого района за последние сто лет. Ни названий улиц, ни номеров домов в почтовом смысле этого слова в посёлке не было: хибары, лачуги, землянки, бараки лепились друг к другу без всякого порядка, и разобраться в них не было никакой возможности, а заблудиться, потеряться и просто пропасть легко. Испокон веку Кавказ был пристанищем воров, бездомных и проституток, и изменить устоявшийся порядок не хватало воли у руководства города, а может, и не надо было.

Мери было лет семьдесят, и она была ровесницей века, а затащил меня к ней случайный собутыльник после первомайской демонстрации, которая заканчивалась всегда в Канавине около вокзала, после чего все радостные демонстранты отправлялись пить вино кто куда. Моего нового собутыльника звали Кирпич (наверное, его фамилия была Кирпичёв), а имени его так и не запомнил. Пили мы тогда вино «Волжское» с якорем на этикетке и уже еле стояли на ногах, когда Кирпич решил, что нам надо отдохнуть. Купив у татарки Сони, известной на весь город шинкарки с Канавинского рынка, ещё три бомбы «Волжского», по решению Кирпича мы направились на Кавказ. Помогая друг другу, я неуверенно, а он наоборот, по щиколотку в грязи, перебираясь через лужи помоев, мы шли непонятно куда. Однако Кирпич чётко вышел к цели, и мы, спустились в какой-то тёмный полуподвал, с непросохшими после весеннего паводка земляными полами с набросанными поверх досками.

Кирпича здесь знали, но, видимо, не очень ждали. Маленький мужичонка сидел на скамейке на кухоньке. В ватнике на голое тело, плешивый, но с очень визгливым голосом, он схватил Кирпича за грудки и стал ему объяснять, что ждёт его с осени. На что Кирпич, взяв с грязного

подоконника молоток, объяснил ему, что пришёл в гости отдохнуть с товарищем и, если наглец сам от него не отвалит, то ему будет пробита голова. Мужичонка сразу затих, потребовал стакан вина, а выпив, утёр губы рукавом и быстро слинял. Сцена произвела на меня впечатление, и я даже немного протрезвел, поняв, что попал не туда, куда бы мне хотелось и где можно отдохнуть.

Тем временем мы оказались в компании двух дам, разных по возрасту, но чем-то очень похожих. Это были бабушка и внучка: Мери и Маша. Кирпич тоже к этому моменту тоже немного пришёл в себя, а, может, просто воспрял духом, попав в привычную обстановку. Мы выпили, и Кирпич, обняв Машу, удалился в дальнюю комнату, заметив мне:

– Я сейчас отдохну, а потом ты. Посиди здесь с Мери. Она тебе что-нибудь расскажет.

Мы с Мери выпили ещё по полстакана и сидели молча. Интересно разглядывать лицо старого пьяного человека, пытаюсь разгадать по морщинам, по мутным глазам: есть там, в голове, мысли или нет. Мери, скривив рот, тоже посмотрела мне в глаза: наверное, тоже хотела что-то понять про мою голову.

– Ну, и что тебе рассказать, студент?

– А вот есть такой анекдот про то, как студент пришёл к старой проститутке Мери и спрашивает у неё: что такое «дилижанс»?

– А, про «дилижанс»? Я тебе расскажу про «дилижанс». Я думала тебе рассказать про то, как после революции всех моих подружек утопили. Про телеграмму Ленина товарищу Маркину, чтобы он всех девушек собрал и ликвидировал: мол, портят они матросиков из новой Волжской флотилии. Почти тысячу хороших добрых девушек посадил товарищ Маркин на баржу в трюм и утопил в Волге, прямо на Стрелке. Я ведь тогда молодая была и товарища Маркина, и товарища Раскольников хорошо знала: только перепрыгивала от одного к другому. У меня свой извозчик был. А ребята они были отчаянные и фартовые. Многие нынешние бродяжки могли бы поучиться у них. И меха они мне дарили, и камушки. Да только вот осталась я одна после той телеграммы Ленина.

– Мери, ты мне лучше про «дилижанс» расскажи, про Ленина я всё знаю, – мне уже стало интересно слушать эту женщину, у которой, оказывается, с головой всё в порядке и которая, скорее всего, меня принимает за недоумка.

– Про «дилижанс» мне моя бабушка рассказывала. Она тоже была нижегородкой и всю жизнь профессионально занималась любовью. Был у нас в Нижнем Новгороде самый большой в мире публичный дом, на двести девиц. Вот так! Находился он на набережной, он и сейчас там стоит. По крайней мере, огромный чугунный балкон, на который могли одновременно выйти тридцать барышень ты можешь увидеть и сейчас, и его хорошо видно с любого парохода. Здание то было просто огромным, с тремя парадными: с набережной, с переулка и с Миллиошки, которая являлась продолжением Рождественской, прямо за чайной «Столбы», в которой Горький потом читальню устроил. Каждое парадное вело в зал с роялем, где гостей принимали тридцать – пятьдесят девушек. Кругом живые цветы, французские вина. И писатель Александр Дюма приезжал в Нижний не на ярмарку поглядеть: какая ярмарка поздней осенью, – а побывать в этом замечательном заведении. Да только нижегородские купцы не позволили ему этого сделать – французских болезней испугались. Даже губернатор великому писателю не смог помочь.

Заинтересовал меня рассказ старушки Мери.

Рассказал про этот чудесный садок Соломона в центре далёкой России великому французскому писателю, конечно, граф Кушелев-Безбородко в Париже. И даже подсказал человечка, который ему проведёт экскурсию туда: опальный ссыльный поэт Тарас Шевченко – ну не губернатор же или жандармский полковник. Тем более, что нижегородский губернатор Муравьев был человеком очень высоких нравственных позиций, масоном самого высокого градуса, руководил ложами и во Франции, и в Москве. О его государственных позициях говорит одно то, что, несмотря на участие в государственном заговоре, допускавшем цареубийство, он, уже после ссылки, назначался градоначальником и губернатором в Иркутске, Тобольске, Вятке, Архангельске, Симферополе, и вот теперь – Нижний.

Поэтому, отправляясь в путешествие по России, Дюма, кроме известных всему миру Москвы, Санкт-Петербурга и воюющего Кавказа, поставил в уме, через запятую, и странный Нижний Новгород. А уж оттуда можно и на Кавказ: может, повезёт с имамом Шамилем повстречаться.

Наврал он в своих путевых заметках про ярмарку, сотни барж и кораблей, стоящих на фарватере Оки и Волги, про тысячи палаток с флагами и десятки пролёток и карет с орудиями извозчиками: не было никакой ярмарки в октябре месяце, она уже месяц как закрылась. Было холодно, сыро, дождливо и пустынно на ярмарке, горы мусора да стаи крыс. Встретили великого романиста действительно с помпой: на карете провозили по всему городу, показали Строгановскую церковь, Благовещенскую площадь, прогуляли по Откосу. А обедать привезли к князю Трубецкому, где и на постой определили. Большой дом князя стоял на Лыковой дамбе, прямо напротив губернаторского дома: с балкона можно было видеть, кто к тому приходит, кто уходит. Сообщили, что вечером, в 10 часов, приглашён он на чай к губернатору, и будет ему представлен сюрприз. Пришлось доставать и приводить в порядок фрак, жилет, туфли. Как назло – визитные карточки забыл. Ну, ничего, вместо визитной карточки есть у Дюма свой фирменный сувенир: деревянный, вырезанный из самшита, мушкетёрский сапожок.

Сюрприза не получилось. Представили ему какую-то супружескую пару стариков Анненковых. Вот, говорят, это прототипы вашего романа «Учитель фехтования». Он уж и роман-то этот забыл: с тех пор он написал ещё сто романов. Да и почему он должен знакомиться с какими-то заговорщиками, которые прожили в Сибири тридцать лет. Во Франции таким заговорщикам головы на гильотине сотнями рубили. А вот разочарование он получил: Тарас Шевченко, писатель, к которому он планировал обратиться за помощью, уехал. Сразу после Пасхи уехал. Зато познакомился писатель с Александром Карамзиным: очень солидный и в то же время демократичный господин. И удалось даже поговорить на интересующую его тему. Карамзин согласился сопровождать писателя в интересное заведение.

Второй день ушёл на визиты и на губернаторский обед, а вот на третий день и случилось волнующее французское событие. Обедали у настоятеля Печерского монастыря, овечьего сказками и легендами и где был похоронен младший брат Карамзина. Потом на большой совсем чудной карете, которую сын великого русского историка где-то нанял на день, поехали на набережную. Ну, в заведение-то их не пустили, узнав, что приехали французы на «дилижансе». Так и сказали люди выборные, которые гостей встретили, что городской голова господин Пятков запретил французам заведение посещать без его ведома. Ну а барышни, не смотря на холод, вышли на балкон, чтобы посмотреть на гостей несостоявшихся:

в провинциальном городишке тайн не бывает. Уехали гости, а «дилижансом» с тех пор называют тех, кого ждали, но не дождались.

На следующий день великий француз сел на пароход «Лоцман» и отправился дальше, вниз по Волге.

Только губернатор Муравьев тоже проведаль про тот визит к барышням в заведение. Он срочно вызвал к себе своего полицмейстера Лаппу-Страженецкого. Разговор у них был приватный и жесткий, и уже вечером Лаппа был в Лыскове, во дворце у князя Ивана Александровича Грузинского. И француз там уже сидел и чай пил. С Дюма он встретился как со старым знакомым, объяснив своё появление по-французски: «Служба, дела, служба!» Но, хитро обеспечив минутку уединения, объяснил французскому гению без намёков: «Ты, Дюма, писатель прекрасный и великий, и можешь ты писать, что тебе в голову взбредёт про наш город и про нашу ярмарку. Лучше, конечно, хорошее писать, но это не важно. Важно, чтобы ты никогда и ничего не написал про то заведение, в которое ты хотел попасть и не попал. Это личная просьба губернатора нашего Муравьева. А, если мы узнаем, что ты где-то про это расскажешь, то я лично приеду в твой Париж, и тебе, ну, не поздоровится».

На этом уехал Лаппа-Страженецкий к своему губернатору, а писатель Дюма в Астрахань и дальше на Кавказ, чтобы написать потом замечательную книгу про посещение России.

СТРАННАЯ БИБЛИОТЕКА

Терпеть не могу все эти курортные городки-лечебницы. Был я и в Трускавце, где машины «скорой помощи» снуют круглые сутки туда-назад, спасая пациентов с камнями, застрявшими в мочевыводящих каналах. И в Евпатории был, и с ужасом вспоминаю этих безумных матерей, безнадежно любящих своих детишек-инвалидов. Ессентуки помню с детства, с дидактическими и холециститными стариками и старухами, буквально молящимися на солёную тёплую противную воду, которую им приходится пить из плоских кружечек с трубочками в курортной галерее.

Всё это было в детстве, и думал я, что никогда не буду проводить своё время в этих заповедниках болезней и страданий. Но судьба распорядилась иначе.

Совершенно случайным образом оказался я вместе со своим другом, главным редактором солидного московского литературного еженедельника, в Париже на большой международной книжной выставке. Впечатлений от этой поездки осталось немного. Во-первых — это большое количество чернокожих писателей с толпами негров, жаждущих получить автограф. А во-вторых — я там заболел.

В последний день, наплевав на круглые столы, конференции и приём в посольстве, мы отправились в ресторан пообедать. В утробе моего приятеля к тому времени уже торчали две по ноль шесть вискаря, что никак не сказывалось на его поведении, учитывая вес в сто сорок килограмм. Ресторан оказался приличным, с меню и официантами, но вьетнамским. Я объявил другу, что не смогу выбрать для себя что-то съестное, так как не знаю ни французского, ни английского, и поэтому буду брать то же что и он. Принесли нам две огромных тарелки с грязными осьминогами, каракатицами и устрицами, по куску полусырого мяса на каком-то зелёном лопухе, горсткой риса и бутылкой виски для Саши, которую мне заменили маленькой баночкой пепси-колы: я уже много лет являюсь высокотолерантным абстинентом.

Заболел я сразу же по прилёту домой. Избежать больницы было невозможно, и проторчал я там почти две недели. Когда градусник, который мне предлагался три раза в день, начал чего-то показывать, а именно — 35,1, а давление тоже появилось 80 на 40, врач радостно сообщил мне, что выписывает меня домой, что медицина у нас существует и что был у меня сальмонеллёз, самое неприятное заболевание из линейки тифов. Ещё врач просил никому об этом не говорить, потому что и так пришлось уничтожать все мои анализы — нельзя же с таким заболеванием держать пациента в обычной больнице. А ещё он мне посоветовал срочно поехать на какой-нибудь курорт, попить водички. Предложил он мне три варианта: Марианские Лазни в Чехии, совершенно не выговариваемый курорт в Мексике и, конечно, самый лучший вариант — Кисловодск.

Санаторий «Плаза», в который я попал, было сравнительно новым заведением для Кисловодска, но его история заслуживает особого рассказа. Тысячи наших старух попавших на ПМЖ в Израиль в последние годы, однажды поняли, что им не нравится Мёртвое море, и написали они неофициальное, но коллективное обращение к своему родному израильскому

правительству, что, мол, хотим мы отдыхать и лечиться там, где привыкли, а именно на Кавказе. Так были совместными московско-голландско-израильскими усилиями построен этот шедевр по последнему слову техники, медицины и отдыха. Прекрасное обслуживание, великолепные врачи, шведский стол, какого не встретишь ни в одном отеле Средиземноморья, выход прямо в огромный знаменитый парк, разбитый двести лет назад графом Воронцовым, в библиотеке – десяток столов с компьютерами и бесплатным Интернетом, каждый вечер в специальном кармане вестибюля – камерные концерты живой музыки. И на этих концертах выступали не местные клоуны, а приличные исполнители: то миланский тенор Марио Бьянко, то диксиленд из Карловых Вар, то струнный квартет из Тель-Авива.

Два раза в день я ходил гулять: днём по тропинке в горы, а вечером вниз, в город, в галерею с лечебными водами. Лето уже кончилось, темнело рано, но несмотря на эти ранние сумерки я проложил себе обратный маршрут из центра в отель по кривой затенённой тропинке, сокращая тем свой путь минут на десять. Каждый вечер я шёл по этой тропинке, огибая большой бугор, даже пригорок, плотно заросший кустами и мелкими деревьями. В полугоре был виден деревянный провалившийся забор с остатками колючей проволоки, а чуть выше, совсем уж скрытый зарослями, можно было разглядеть и довольно большой деревянный финский домик с остро торчащей крышей, выпуклой верандой и нависшими фонарями наполовину без стёкол. На калитке, повалившейся вместе с забором, висела старая замытая дождями табличка, которая с трудом, но читалась – «Бородин пер». Освещения на моей козьей топке не предусматривалось, и в предвечерние часы строение это выглядело загадочно и мрачно. По всему было видно, что дом не жилой и умирает, постепенно разваливаясь.

Рассказ мой надо было, наверное, начать с того, как возвращаясь однажды с прогулки по парку, я шел к себе в отель через территорию соседнего санатория. Внезапно меня окликнул мужчина моих лет, может, чуть постарше. Лицо его, с небольшой, но окладистой бородой, было мне знакомо, но имя его я вспомнить не мог. Да и он, видимо, с этим затруднился и окликнул меня просто

– Дружище, а ты какими судьбами здесь?

И полез трясти мне руку и обнимать. Я сделал вид, что мне тоже очень приятна эта встреча. Хотя было в его рукопожатии и объятиях что-то каменное и холодное. Как водится в таких случаях, мы минут десять рассказывали друг другу о своих болячках, давая глупые рекомендации. А потом незнакомец с заговорщицким видом мне объявил

– У нас в санатории совершенно фантастическая библиотека.

– Что значит фантастическая? – поинтересовался я.

– А то значит, что у них всё есть. Я сегодня набрал целый пакет книг и буду теперь читать целый месяц. Там работают две сумасшедшие бабки, которые про книги знают всё. Зайди к ним в библиотеку, поинтересуйся. Удивишься!

Вечером, уже ложась спать, я вспомнил этот разговор про библиотеку, про сумасшедших бабок, и решил с утра навестить её. Я верю, что мысль материальна и в иной библиотеке мудрых мыслей витает больше, чем в солидном научно-исследовательском институте.

На другой день, позавтракав, пройдя все положенные лечебные процедуры и взяв курортную книжку, я направился в фантастическую библиотеку, в которой всё есть. Библиотека располагалась во вспомогательном корпусе на втором этаже и представляла из себя читальный зал с шестью

столами и стойкой для выдачи книг. А за ней тянулись стеллажи. Казалось, что они упираются в стену, но при желании можно было разглядеть, что конца им нет: они убегали куда-то и терялись в коридорном мраке. Окна в читальном зальчике были открыты, и в тишине слышно было, как верещит цикада в ветвях акации да шелестит, переворачивая листья, сидящий за столом в углу молоденький маленький офицер в форме старшего лейтенанта. На его груди золотистым огоньком горела нашивка за тяжёлое ранение. Рядом стопой лежала целая гора журналов. Что-то знакомое померещилось мне в его лице с натянутой бледной пергаментной кожей и пышной копной тёмных волос.

Встретили меня, действительно, две маленькие старушки с острыми и пытливыми глазками. Хотя они и были похожи на двойняшек, различить их было легко: у одной было большое родимое пятно в пол-лица, а другая передвигалась с помощью палочки. Я представился, отдал старушкам курортную книжку и сказал, что хотел бы попользоваться их богатствами. Старушки тоже представились, сказав, что лучше всего их звать баба Маша и баба Катя. От денежного залога они отказались, объявив, что в их библиотеку все книги возвращаются без вариантов. Мне выписали какой-то формуляр, в котором я расписался.

– А что бы вы хотели взять почитать? – спросила у меня баба Маша, та, что с родимым пятном.

– Да не знаю, – я действительно к тому моменту ещё не придумал, что мне надо в этой библиотеке, – А дайте мне Владимира Соловьёва «Оправдание добра» и ещё мне какое-нибудь дешёвенькое издание «Героя нашего времени». Хочу на днях съездить в Пятигорск, надо восстановить в голове немножко ту лермонтовскую атмосферу.

– Так зачем же дешёвенькое? Мы вам дадим первое издание, которое автор держал в руках, чтобы восстановить атмосферу. Вы же аккуратно обращаетесь с книгами? – сказала баба Маша и, пока баба Катя поковыляла между стеллажей за моим заказом, обратилась ко мне уже с не скрываемым интересом: – А скажите, господин хороший, Вы давно знаете человека, с которым вчера разговаривали тут у нас во дворе? Я в окошко подглядела.

Я вспомнил вчерашнюю встречу с незнакомцем, сосватавшего мне эту библиотеку и которого я принял за председателя профкома нашего автозавода.

– Да нет, – ответил я, – вообще я видел его вчера впервые.

– Значит, это Сашка, тётки Таин Сашка. Надо же, полвека не видела, а узнала. Катя, – обратилась она уже к своей сослуживице. – А ведь это Сашка был у нас вчера. Я его узнала. И вечером его видела в Бородинском переулке. Значит, он снова живёт в своей развалюхе, где и после тюрьмы жил тогда, пятьдесят лет назад.

У меня закружилась голова, и стало чуть-чуть подташнивать. Такие симптомы у меня остались ещё после больницы, но сейчас причина была другая – я начал понимать, с кем я вчера здоровался. Я вспомнил его лицо – это же его родной город.

Я находился в лёгкой задумчивости, пока баба Катя выдавала мне книги: Соловьёва в дореволюционном, слепом, полукожаном переплёте и «Героя нашего времени» в мягких обложках.

– А настоящего «Героя нашего времени», прижизненного, 1840 года, мы вам дадим через пару дней. Он сейчас у Миши, того писателя в офицерской форме, который сидит всегда у нас в читальном зале. Вы его видели. Такой молодой человек, а у него уже вышли две книги.

Я обернулся, но за столом, где сидел старлей, никого не было – только стопка журналов да в углу стоял забытый костыль. Отдельно лежал «Один день Ивана Денисовича» в «роман-газете» с портретом на обложке. Я вежливо попрощался со старушками и в полном памороке направился в свою «Плазу». Теперь мне стало казаться, что и старлея-то я вспомнил. А как же – писатель Миша!

Пообедав и немножко придя в себя, я решил пообщаться с Интернетом – надо было кое-что выяснить и уточнить. Я просидел в нашем компьютерном зале до самого вечера, пропустив ужин, но зато приняв решение. Сомнения в его правильности у меня были, но не сходить же с ума.

Как всегда, вечером я отправился в круглый главный буюет попить тёплого нарзана, а оттуда на последний сеанс в местный кинотеатр. Я не обратил внимания на фильм, который смотрел и даже не запомнил его названия, настолько заняты были мои мысли «Сашкой, который живёт в своей развалюхе».

В полной темноте под морозящим дождём я пробирался вечером... нет – не к себе домой, а в переулок, что бы понаблюдать за домиком-развалюхой. Он стоял почти неразличимый во мраке, как воспоминание о старой, давно прошедшей жизни. Я на коленках прополз по скользкому склону, по гнилым листьям почти к самому забору. Приглядевшись, я различил мерцание каких-то огней в двух окнах, и это меня обнадежило: в доме кто-то жил. Потом по бегущим теням я понял, что в одной комнате горела свеча, а в другой – керосиновая лампа. Но если днём, когда я принимал решение, мне было всё понятно, то сейчас, сидя под мокрым кустом, я показался сам себе полным идиотом. Зачем? Чего я жду?

Но в этот момент над входной дверью зажглась тусклая лампочка и на крылечко вышли два великих писателя, как я сам для себя уже их определил. Это не было галлюцинацией. Я видел их и слышал их голоса, хотя и не очень разборчиво. Разговаривали они очень церемонно, даже предупредительно вежливо, с восхваляющими друг друга эпитетами. В результате я понял, что старший лейтенант Миша принёс бородачу, который обозвал меня дружищем, свою книжку и преподнёс её с дарственной надписью. Прощанье это длилось минут десять, после того, как писатель-офицер ушёл, а лампочка над крылечком погасла, я тоже заторопился к себе в санаторий.

На следующий день я уехал в Пятигорск, где у меня жили хорошие друзья, и вернулся только через два дня. Всё это время я думал только о странной библиотеке, которой пользуются удивительные персонажи. А как же мне называть этих двух людей, которых создала моя фантазия. Баба Маша и баба Катя встретили меня приветливо, будто и ждали-то только меня. Я вернул им «Оправдание добра», которое так и не открыл за это время и попросил дать мне какое-нибудь издание с легендами Кавказа

– Конечно, конечно, – засутилась баба Катя и поплыла куда-то вдоль стеллажей в свои закрома.

– А я вам припасла обещанное, – заговорщически объявила баба Маша, – Вот. Вернули. Только не Миша, а другой наш клиент, Саша, бородач такой, с которым вы разговаривали.

Она вынула из своей тумбочки довольно солидную книжечку в светлом цельнокожаном переплёте и протянула мне. Я открыл. Это был «Герой нашего времени» 1840 года издания. На контртитутле мелко, выцветшими орешковыми чернилами, стояла плохо разборчивая дарственная «Любезному моему сердцу Саше от автора. М. Л.»

ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ

1

– Ну, в заключение нашей экскурсии могу сказать, что единственное место, где могли встретиться наши два великих поэта, Пушкин и Лермонтов, это тоже Пятигорск, точнее, Горячие воды – так назывался этот небольшой посёлок в те времена. В 1820 году, летом они здесь были оба. Лермонтов приезжал сюда с бабушкой Арсентьевой на лечение, а Пушкин с генералом Раевским был проездом. Лермонтову было пять лет, а Пушкину – двадцать один год. Правда, кое-кто видел Лермонтова у гроба Пушкина, но это была уже посмертная встреча, да и не подтверждена она особо-то. Желающие могут сфотографироваться у памятника, а я с вами прощаюсь, – наша экскурсоводша махнула рукой в сторону бронзового поэта, куда и направилась вся наша небольшая группа, а сама стала колдовать со своим мобильником, который ей не поддавался. Она трясла его, стучала по нему ногтем, дула в него, но всё напрасно.

Моё внимание в это время привлёк маленький мальчик, который одновременно плакал и кричал капризным голосом

– Бабуля, баба, я хочу с этой обезьянкой, – он рвался и тянул руку к фотографу, который сидел на скамеечке рядом с маленькой усталой мартышкой, привязанной кожаным ремешком к деревянной рейке.

– Миша, Мишенька, этого нельзя делать, – отвечала бабуля, – ты же знаешь, что дикие животные могут и оцарапать, и укусить. Тебе же делали уже однажды уколы от бешенства. Ты же плакал! Тебе снова хочется?

– Я хочу обезьянку, бабуля, – мальчик упал на пыльную дорожку и стал колотить ногами, у него началась истерика.

Что бы как-то снять тягостное молчание, возникшее между мной и нашей экскурсоводшей Надей, пока группа фотографировалась, я задал ей один из двух волновавших меня вопросов:

– Надя, а вот вы упомянули про Катю Быховец, последнюю симпатию Михаила Юрьевича, за которой он усердно приволакивался последние дни и даже часы своей жизни. Так вот, эта Катя Быховец – не родственница ли она нашему нижегородскому губернатору Степану Антиповичу Быховцу?

– Не знаю. Знаю только, что она часто жила в Москве у своей тётки Мавры Егоровны Быховец, у неё же она и познакомилась и с Лермонтовым и Мартыновым.

– Значит, всё верно: Мавра Егоровна – вдова нашего нижегородского губернатора. Помните это – «смесь французского с нижегородским»? «Ре гарде, ма шер сестрица, кель жולי идёт гарсон»!

– Да, конечно. Вы имеете в виду Мятлева? «Сенсации госпожи Курдюковой»? Как же мне Мятлева не знать: они с Лермонтовым были друзьями и долгое время пикировались очень острыми эпиграммами.

– Так вот, Мятлев под мадам Курдюковой вывел нашу нижегородскую губернаторшу Мавру Быховец. А ещё, для информации сообщу вам, что она была самой знаменитой русской женщиной-библиофилом, если не считать императрицу Екатерину Вторую. Правда, Екатерина собирала библиотеку Эрмитажа как государственную и на государственные деньги, а Быховец была частным коллекционером, и на всех её книжечках наклеен

замечательный экслибрис или штампик: щит, внутри которого буквы МБ. Ещё расскажу вам, что в первой трети девятнадцатого века в нашем Нижнем Новгороде проживал Соломон Мартынов, батюшка убийцы. Он занимался винными откупами и был самым богатым человеком в губернии. В городе есть улица, которую старики до сих пор называют «мартыновской», есть и больница «мартыновская», которую построил и подарил городу этот богатей, есть и дома, ему принадлежавшие и до сих пор сохранившиеся. Так что Коленьку Мартынова Мавра Быховец могла видеть ещё в пелёнках. Вот какую загадку я вам сегодня разгадал, может, ещё когда и пригодится. А есть ещё какие-нибудь загадки для вас в судьбе Лермонтова?

— Ну, конечно, загадка главная остаётся: почему первый стрелял Мартынов? Значит, было что-то ещё кроме этого длинного мартыновского кинжала, над которым потешались все Горячие Воды. Значит, было что-то такое, о чём мы не знаем. Либо они все были там пьяные, либо стреляли по жребию, а значит — было взаимное оскорбление, либо это была отложенная дуэль.

2

Издали горы не вызывают никакого впечатления, ну, может быть, некоторое любопытство. Но, по мере приближения, когда начинают прорисовываться ложбины и ущелья, которые морщинами прорезают их, появляется и некая одухотворённость. Лесная растительность, заполняющая их склоны, напоминает небрежную торопливую небритость, а фирновые снега и ледники, ползущие по расщелинам вниз, — неспешные мудрые старческие слёзы.

Не замечать горы нельзя при всём желании. Они сами начинают наполнять тебя, занимать всё твоё внимание, всё твоё время. И с каждым часом, с каждым днём всё острее и чувствительнее начинаешь понимать, что ты, житель средней полосы, чужой в этом прекрасном по-своему мире.

Это бесполезно описывать — как в утренней голубой дымке на горизонте застенчивыми розовыми мазками начинает проявляться двугорбый контур Эльбруса. Или, наблюдая за парящим орлом, ты вдруг начинаешь замечать, как маленькими барашками собираются чуть пониже вершины Машука беленькие облачка. И вот они уже превращаются в грозные тучи, и стеной выливается на долину холодный ливень.

Мне надо было после экскурсии как-то добраться до Золотушки, небольшого посёлка за ипподромом, где я остановился у друга. Но хлынувший дождь накрыл меня, и я бегом бросился вдоль незнакомого переулка, в поисках какой-нибудь крыши. Я бежал по булыжной мостовой, часто оказываясь по щиколотки в бурлящем потоке воды.

Неожиданно я увидел приоткрытые ворота и, остановившись, чтобы перевести дыхание, увидел, что стою около «Домика Лермонтова», в котором был несколько часов назад с экскурсией. Та же аккуратно застеленная камышом крыша, те же маленькие окошечки с закрытыми ставнями, и то же время я чувствовал, что это не музей, а жилой дом. Я ещё не понимал всего, но дождь заставил меня броситься во двор, где, как я помнил, была небольшая беседка — там я мог укрыться и переждать непогоду.

К моему удивлению, беседки во дворе не оказалось, а на её месте росла раскидистая старая черешня, под которой стояла широкая удобная скамейка. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался, но светлее не стало: наступила тёмная южная ночь. Было тепло. Я закурил, мечтая передох-

нуть, но меня волновала некая тревога, витавшая вокруг.

Тут дверь в домик-мазанку широко открылась и оттуда вышел крепкий бородатый старик с лицом, обезображенным каким-то ранением, по-видимому, сабельным ударом. В руках у него был масляный фонарь, который он держал перед собой. Свет от фонаря был тусклый, но его хватало, чтобы единственный глаз старика буквально горел. Урод посмотрел в сторону скамейки под черешней и твёрдым шагом направился к конюшне, которой я днём не заметил. Сарай-конюшня был размером побольше дома, и я определил, что он предназначен как минимум для четырёх лошадей.

Старик в конюшне не задержался и очень быстро вернулся в дом, закрыв за собой дверь. Я снова оказался в полной темноте и в тишине. Потом где-то пролаяла собака, и я опять закурил, размышляя, как мне добираться до дома. Тут вдалеке, но довольно явственно послышался цокот копыт по камням мостовой. Цокот приближался, и вскоре телега остановилась около ворот. Кроме телеги прибыли и несколько всадников. Они спешили и довольно спорно, молча и по-хозяйски раскрыли ворота и стали стучать в дверь.

Одноглазый бородач вышел к поздним гостям с фонарём. Говорили вполголоса, и я почти ничего не слышал. И только, когда в низких окнах домика замелькали тени от зажжённых свечей, до меня дошло, что это тело убитого Поэта привезли с дуэли домой.

3

— Сейчас доктора дождёмся, и поедем в комендатуру на гауптвахту.

— И что нам грозит?

— Да чёрт его знает: может, разжалуют, может — в Сибирь, может — простят.

— Монго, я всё же не понял: почему Мартыш стрелял первым? Ведь должен был стрелять Мишель, и в воздух.

— Князь, то, что ты ничего не понял, я не удивляюсь. Так пить нельзя: ты же был мертвецки, мы тебя везли в телеге вместе с Мишелем, ты на лошадь взобраться не мог.

— Так я же не виноват, что вы столько вина с собой взяли: думали, что они расцелуются и помирятся.

— Нет, они помириться не могли. Это вы все думаете, что Никола вызвал Мишеля за то, что тот смеялся при дамах над «его длинной острой штуковиной, висящей до колен». На самом деле всё сложнее. Это старая обида.

— Какая ещё старая обида?

— Ладно! Теперь уже можно говорить. С год назад, а может поболее, родители передали через Мишеля Мартышу письмо, где писалось, что Лермонт ухаживает за сестрой Мартыша. И вложены были в это письмо деньги, триста рублей. Мишель приехал сюда и посетовал Николаю, что его в дороге ограбили и письмо украли. Отдал он тогда Мартышу триста рублей. Никола написал об этой беде с письмом родителям. И вот недавно приходит новое письмо от родителей Мартыша, в котором пишется, что Лермонтов не знал, что в письме триста рублей. А значит: Мишель письмо то вскрыл, чтобы узнать, что говорят родители об его ухаживаниях. Только по глупости он заявил Николаю, что у него письмо украли. Так что сегодня Мартыш самыми последними словами называл убитого и говорил, что если тот не вызовет его на дуэль, то он об этом грязном поступке будет рассказывать на каждом шагу. Так что вот: они стреляли одновременно, по сигналу. И Мишель выстрелил, и пуля его прошла прямо над левым

плечом у Николя, около уха, когда тот ещё разворачивался. Хотя я на следствии всё равно буду говорить, что это я разрядил пистолет в воздух уже после дуэли.

— Господи, какой кошмар. Они были как братья, даже не друзья. А вина-то набрали — думали: замирятся, гулять, веселиться будем.

Вскоре приехал доктор, но быстро ушёл. А потом засобирались и ускакали офицеры, и всё затихло. Только через окно с незакрытыми ставнями было видно, как бедно и неярко светила в углу комнаты зажженная лампадка.

Я вздрогнул оттого, что хлопнула дверь. Страшный старик с фонарём вышел и направился прямо ко мне. Не доходя пары шагов, он остановился и махнул рукой, чтобы я следовал за ним. Я пошёл по направлению к конюшне. Старик сделал мне знак, чтобы я остановился. Через минуту он вывел из стойла осёдланную лошадь и передал повод мне. Я понял, что мне надо ехать. За всю свою жизнь я сидел верхом лишь один раз, но тут во мне сыграл какой-то инстинкт, и я легко вскочил на мирно стоящую кобылу.

— Как тебя зовут? — непонятно зачем спросил я старика.

— Казбек, — прохрипел он в ответ и стукнул кобылу по крупу.

Лошадь легко и уверенно вышла за ворота и направилась по переулку в гору. Было темно и тепло.

Но, когда я выехал за околицу, я встретил луну и обрадовался.

КАРАТ, СЫН КАЯРА

Пришлось мне как-то раз, не помню, по какому поводу, торчать несколько битых часов на маленькой железнодорожной станции в ожидании электрички. В зале не было ни души, да и касса-то, по-моему, не работала. Я прочёл все объявления и пересчитал всех мух на окошках, прежде чем обнаружил на одном из подоконников занюханную брошюру. Радостный я уселся на скамейку с надеждой приобщиться к человеческой мудрости, тем более, что называлась она «Лайка, охотничья собака». На первой же странице я выяснил, что лайка может быть либо сторожем, либо охотником, и эти две специальности она совмещать не может. Мне даже не надо было анализировать эту сентенцию, я это знал.

Есть у меня друг Мишка Годунов, педант, аккуратист, эдакий отличник с первого класса, полковничий сынок. Всё у Мишки всегда расписано, разложено и выполнено: жена, сын, работа, отдых, концерт, выставка, лыжи, охота, и всё по дням и по часам.

Мишка — архитектор. Это до перестройки он заборы и гайки на кульмане чертил в каком-то проектно-институте. А как только начали строиться коттеджи в несколько этажей, заказчики которых миллионы в портфелях таскали, так Мишка стал владельцем солидного архитектурного бюро.

Так вот, возвращался как-то раз, ещё в советские времена, Михаил с сыном Лёнкой с лыжной прогулки. Катались они в Марьиной роще, а возвращались через Кузнечиху, через частный сектор. Январь, солнышко светит, снег скрипит, катят они по лыжне вдоль заборов и палисадников. И вдруг Михаил почувствовал, что сын отстал. Остановился он, обернулся, а Лёнка метрах в сорока остановился у забора и что-то там делает. Михаил вернулся и увидел, как Лёнка, его сын, сквозь щель в заборе гладит здорового пса, такого здорового, что и лайкой-то не назовёшь — скорее волк! И кобель тоже морду свою сквозь штукетины просовывает и Лёнкино лицо своим лопатником-языком прихорашивает.

— Ты что делаешь, Леонид?

— Папа, купи мне такую собаку. Я за ним ухаживать буду.

— Не знаю — это надо с мамой решать. Придём домой — поговорим.

Пёс был чёрный с белыми лапами, с очень широкой грудью, он внимательно смотрел на Михаила, улыбаясь и виляя хвостом. Длинная лодочная цепь, тянувшаяся к будке, указывала на его место жительства. Потом пёс сел, свесив длинный красный язык, продолжая улыбаться.

Тут дверь дома открылась, и на пороге появился мужик в ватнике и валенках. В руках у него был здоровенный кол, с которым он и направился по направлению к собаке.

— Ах, ты — падла, сейчас я тебя убью, — дальше слышались такие непереводимые и колоратурные рулады из матерных слов, что воспроизвести их по памяти просто невозможно.

Пёс, прижав уши, почти ползком заторопился к себе в будку. Но хозяин всё же успел огреть его один раз по спине своей палкой.

— За что вы его так? — спросил Михаил незнакомца.

— Не твоё дело. Да как за что? Это что же за сторож? Застрелю. Год назад мне его подарили — сказали, что лайка самый лучший сторож. А эта тварь лезет к любому встречному да ласкается.

– А продай его мне?
 – Как – продай?
 – Ну, ты же сказал, что убьёшь. Так, лучше – продай.
 – А забирай.
 – Сколько тебе денег надо за него?
 – Дай на литр, и хорош.
 Михаил достал из кармана деньги и протянул хозяину.
 – А как его звать?

– Мухтар, – сказал мужик, отвязывая цепь от будки. – Только это не настоящая его кличка. Его украли в Кировской области и привезли мне. Там его звали Каяр. В общем – ворованный он. Три года ему.

Жена Таня неожиданно обрадовалась собаке и даже хотела его помыть. Но Михаил сразу сказал, что лаек мыть нельзя – они сами очищаются. Их хоть масляной краской, хоть бензином измажь – они через несколько дней будут как шёлковые. Но на всякий случай на другой день он притащил в дом книжку про собак и сел изучать её.

Лёнька теперь ходил на бойню, где покупал свиные уши: их варили, и с перловкой получалась прекрасная еда для Каяра. А по вечерам Каяр таскал Лёньку на лыжах по Пушкинскому садику, куда они ходили гулять.

А Михаил стал охотником. Купил он два ружья: по случаю – «Зауэр» старинный коллекционный трёхствольный с нижним нарезным стволом и второе новое – пятизарядный «браунинг». Вступил в охотничье общество, выписал журнал «Охота и охотничье хозяйство», натаскал в дом разных книг по охоте, чтобы теоретически подковаться. И главное – теперь он ездил к своему другу леснику Ивану Гусеву в Елистратику, что стоит в самых глухих лесах между Семёновом и Ковернином, не за грибами, а на охоту.

А через год Каяр вообще перебрался жить в лес, в деревню к Ивану Гусеву, потому что лайке жить в городе не очень хорошо. Лесник в Каяре души не чаял – говорил, что лучше собаки он не видел ещё. У него был свой пёс Букет, но уже старый и ленивый. А Каяр в лесу проявлял просто чудеса. Мне пришлось как-то раз зимой съездить на охоту с Михаилом в Елистратику. Думали, что будем берлогу брать, но медведь нам обломился, а вот на Каяра, как он работает, я посмотрел.

Первую белку, которую Иван застрелил из-под Каяра, тот схватил на лету, пока она падала с дерева и, не прокусив, держа двумя зубами её за голову, поднёс к охотнику и передал в руки, преданно глядя ему в глаза. Иван вытащил из кармана маленький перочинный ножик, сделал в беличьей тушке небольшой разрез около заднего прохода, засунул в него свой корявый палец и моментально снял шкурку, как чулок. Со словами: «Это тебе. Больше не будет. Работай» он бросил окровавленную тушку Каяру. Тот поймал её в воздухе и проглотил целиком не разжевывая. За три часа Иван взял одиннадцать белок и куниц.

С куницей вообще получилось не всё гладко. Каяр залаял где-то далеко и странно.

– Куница, – сказал Иван, – на каждого зверя у него свой голос. Да и на каждого человека – свой.

Мы поторопились на своих снегоступах в сторону залиvistого лая. Каяр бегал вокруг огромной стоящей отдельно ели и буквально заливался. Увидев нас, он подбежал, два раза недовольно тявкнул и снова бросился работать. Мы двадцать минут стучали палками по стволу, пытались что-то разглядеть меж ветвей, но всё без толку. Каяр изредка подбегал к Ивану и лалял на него так, будто обзывал его последними бранными словами, ко-

торые выучил ещё у своего прежнего хозяина. На нас с Михаилом он вообще не обращал никакого внимания, будто нас и не было. Иван пытался объяснить псу, что эта ёлка плохая, что никакой куницы здесь нет, что всё ему, Каяру, померещилось, что он даст сожрать ему ещё одну белку. Он попытался даже взять пса на поводок, но Каяр так на охотника рывкнул, что Иван отступился.

– Пойдёмте домой. А он сам вернётся, – сказал.

Мишка стрелял навскидку, почти влёт. Куница выбралась на длинную, торчащую в сторону еловую ветку, чтобы попытаться перепрыгнуть на соседнее дерево. Каяр принёс её Ивану, а сам всю дорогу домой бежал рядом с Михаилом, чуть повизгивая и тихонько тявкая, как бы говоря: я помню, что ты мой хозяин, я знал, что ты настоящий охотник, не то, что эти деревенские – только белок могут.

Каяр, по рассказам Михаила и Ивана, был хорош и на птичку, и на кабана, и на лося, и на медведя. Хотя медведя он боялся, а может, мудро не любил. Я помню, как раз, летом, возвращаясь уже затемно из леса, он стал жаться к нашим ногам, и бублик его хвоста расправился и спрятался меж ногами, и шерсть его дыбом встала, а голос стал глухим и скрипящим. «Медведя почуял!» – сказал Иван.

Ну, и в заключение, чтобы окончательно утвердить, что Каяр был великим охотником, скажу, что однажды он притащил Ивану крупную взрослую рысь, которой перекусил шею. Справедливости ради замечу, что на передней лапе у рыси болтался заячий капкан, но в то же время знайте, что рысь это очень серьёзный и опасный хищник. Рысь порвала немного Каяра, он быстро сам себя зализал. Хотя кончил Каяр плохо, но об этом позже.

Я сам в те годы, когда был жив Каяр, очень полюбил охоту и часто пропадал в лесу. Ведь лес хорош, если его понимать, в любое время года, и объяснять это не надо: и зимой, и летом у него свои прелести. Я даже решил завести своего пса, и непременно лайку. А Михаил, между тем, каким-то несправедливым образом выправил Каяру фальшивые документы, что он у него породистый. Он теперь своего красавца даже на выставки водил и какие-то призы там получал. И даже на вязки к породистым сучкам Каяр теперь изредка допускался. Хотя и без документов было видно, что он настоящая русско-европейская породистая лайка.

И вот однажды, спустя лет пять или шесть, Михаил предложил мне в подарок алиментного щенка от своего Каяра, положенного ему за вязку. Супруга не возражала, и мы поехали смотреть на суку и её помёт из трёх щенков, имея право выбора. Супруга моя сразу сказала, что будем брать того щенка, который к ней поползёт: есть такая примета. Ехать пришлось в пригород, где стояли частные дома с сараями и приусадебными участками. Чёрненькую сучку, маленькую, усталую, ободранную, всю высосанную, увели в сарай, а нас провели в избу, где из корзины вывалили на пол трёх маленьких беспомощных зверёнышей. Все они были чёрные с белыми пятнами, два уже могли сидеть, опираясь на передние расползающиеся лапы, а третий пополз прямо к моей супруге.

– Это – наш, – сказала она.

Мы договорились с хозяевами, что они за дополнительную плату поддержат нашего щенка лишние две недели с матерью, и радостные уехали. Так я стал ненадолго владельцем щенка русско-европейской лайки. Ненадолго – потому что буквально через неделю ко мне зашел Михаил в совершенно убитом состоянии. Мы пошли с ним на кухню.

– Что с тобой случилось? – спросил я.

– Беда у меня.
 – Что за беда?
 – Каяра застрелили.
 – Кто? Как застрелили?
 – Кто-кто? Ванька пьяный. Он зашел в Ключищи, соседнюю деревню, а там ему кто-то и налил. Он заснул на чьем-то крыльце. А когда в себя пришёл, смотрит – у ног лежит Каяр довольный, а вокруг перья от курицы. Ванька мне сказал, что Каяр поймал курицу и сожрал её. Не верю! Никогда не давил кур, а тут – задавил да ещё сожрал. А Ванька мне говорит: если собака стала домашних кур давить, то она уже испорчена и толку от неё не будет. Вот он его и застрелил. А потом сказал, что разозлился и застрелил, а потом всё жалел. В общем – пьяный был.

– Да, беда, – произнес я с сожалением, ещё не догадываясь, что эта беда коснулась и меня.

– Так, я чего пришёл! Щенка-то я тебе не отдам. Это наша общая просьба: и моя, и Лёнькина, и Танькина. Ну, в общем, ты понимаешь!

Так я остался без собаки, а потом и с Михаилом как-то наши интересы разошлись: новая работа, новые проблемы, новый социальный строй. Хотя встречать его я встречал на улице, останавливались, разговаривали. И пса его нового видел: кличка Карат, здоровый, с белыми лапами, нагрудником и пятном на лбу, только морда не как у лайки, а приплюснутая чуть-чуть. В Елистратиху Михаил больше не ездил: и не то, чтобы на Ивана рассердился, а просто Иван застрелился. Был запой, белая горячка, застрелил корову, стрелял в жену, а потом и себя устрепал. Михаил освоил новый район для охоты. Хвастался своим кобелём: мол, у того дипломы и какие-то первые места и по кабану, и по медведю. Рассказывал, какой он умный, мол, читает мысли: только подумаю, что пора гулять, а Карат уже поводок с ошейником тащит. Да, я и сам видел, что кобель замечательный: если можно так про собаку говорить, то – брутальный. Когда Мишка вылезал из своего «гелентвагена», Карат перебирался на водительское сидение и презрительно рассматривал прохожих.

А потом, через несколько лет, рассказал он мне и странную историю, из-за которой я и решил написать этот рассказ. Случилось дело по осени. Работы было по горло: новые русские заказывали себе коттеджи, а инженерное сопровождение должен вести проектировщик. Михаил целый год без выходных торчал или в офисе, или на стройках, деньги просто валились на него: ну что поделаешь – и у архитекторов бывает сенокос. Забыл он и про семью, и про охоту, и про Карата своего.

Осень уже была. И вот звонит ему как-то на работу супруга: приезжай, Карат взбесился, меня покусал, Лёньку в кухню загнал, рычат, не выпускает. Примчался Михаил домой, а пёс и на него рычит, губу верхнюю задрал, зубы скалит и глаза злые. Понял тут он всю ситуацию: Карат год в лесу не был. Схватил Мишка ружьё, патронташ, сапоги, пристегнул Карата на поводок, и в лес. Да только беда всё равно случилась: приехал он в свою Соловьищу, что на речке Пьяне. Выпустил он Карата, а сам переодеваться – камуфляж, сапоги, кепочку, рюкзачок, ружьё. Только пёс вместо того, чтобы дождаться, прямоком направился трусцой в деревню. Михаил – за ним. А в деревне новые армяне завели овцеводческую ферму, и паслись на пригорке три десятка баранов, которых хозяева продавали желающим на шашлык. Карат прямоком направился к стаду, потявкал немного, потом и прилёг на пригорке. Михаила он к себе больше не подпустил даже на пять метров: полает на него не зло и отбежит. Чего только Мишка не придумывал: и батон докторской колбасы предлагал, и в воздух стрелял, собака

к нему как к чужому. Пришлось ночевать в деревне. Наутро тоже: Карат не хотел идти к хозяину. А овцеводы смеются: давай мы пса твоего купим, из него хороший сторож получится.

Вернулся Мишка в город, взял супругу, Лёньку и снова в деревню. Но ничего и с родственниками не получилось. Карат, завидев всю семью, подбежал, три раза тявкнул, повилял хвостом и отправился на свою новую работу, сторожить овец. И через месяц Мишка за псом ездил, и через год – всё без толку. Карат его узнавал, подбежит, тявкнет три раза и к овцам своим. Вот так: лайка либо охотник, либо сторож.

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия).

Публикуется в литературно-художественных журналах России («Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Нева», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др.). Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат ряда литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

МАТРОСЫ

Доктор Сур нес свою работу, как черный тяжелый крест, на широких плотных плечах.

Доктор Сур любил и ценил свой черный крест и никому, никому его не собирался на плечи перекладывать.

Доктор Сур был слишком высокого роста. Выше дылды Боланда. Головой дверную притолоку задевал. Руки и ноги как у орангутанга. Всегда не знал, куда девать. Ноги в коленях сгибал, кулаки в карманы совал. Будто мерз и промерз до костей. Люба, насмешливо окидывая его свежей голубизной веселых глаз, пожимала плечами: двигательное беспокойство.

– Доктор Сур, вы что мечетесь? Успокойтесь. Скоро пальчиками на ходу начнете перебирать, как паркинсоник.

– Да я что? Я ничего.

Никогда не улыбался. Огорчался – мрачнел еще больше. Радовался – чуть поднимал нос кверху и глаза прикрывал. Больные боялись его. Врачи недолюбливали. Доктор Сур с самим Боландом спорил и самого профессора Зайцева опровергал.

– Вижу, как вы ничего. У вас лицо дергается.

– А, это. – Крупными руками шутя, как скульптор, поправил, вроде как заново вылепил, поставил на место лицевые мышцы, пальцами клоунски растянул в улыбке рот. – Так пойдет?

Хохотнул. Люба передернула полными плечами.

– Паясничаете. В вашем возрасте негоже.

– В моем возрасте? Я что, старушка на выданье?

– Доктор Сур, вы с психами сами скоро психом станете.

– Ой, не говорите, моя Любовь. Пора бы уж.

Уселся за стол. Быстро писал в истории болезни. Тыкал ручкой в чернильницу. Перо скрежетало по желтой бумаге, выделанной из сосновых опилок. Чернила брызгали в разные стороны. Черная капля попала на белый халат, расплывалась уродливо, черным толстым пауком.

Люба вздохнула. Она гляделась в карманное зеркальце. Трогала нос. Поправляла золотые кудри за ушами. Сбила шапочку на сторону, как озорной берет.

– А если серьезно? Что нервничаете? Из-за больных?

– Из-за кого же еще. Привезли тут одного. По распоряжению.

– Горздрава?

– Хуже.

Люба вздрогнула всей спиной. Продолжала улыбаться себе в зеркальце.

– Поняла. Что приказали?

– Все приказали. Все что надо. Галоперидол, мажептил горстями. Вы представляете, что он от высоких доз мажептила творить в палате будет?

Люба поежилась под халатом. Почему халат не шуба из модной, недосыгаемой чернобурки. Почему у нее нет чернобурой лисы, бриллиантового колье, белого «роллс-ройса» под окнами дома? Потому что она врач-психиатр. А не дочь, не жена, не сестра Приказывающего.

– Представляю.

– Он все сметет к едрене матери. Об стены будет биться. Койки переворачивать. Больных покалечит. Для мажептила нужен бокс. Бокс! Понимаете! Отдельный!

Люба захлопнула зеркальце. Ее пухлое булочное лицо осело, опало, будто в опару грубыми пальцами ткнули.

– У нас есть боксы.

– Они все заняты!

– Давайте его тогда... в буйное отделение...

– Ух ты! В буйное! Да там в палате – черт знает сколько народу! Тьма! Они его загрызут!

– Санитары привязывают их к кроватям.

– Не на все сутки! Ведь и отвязывают! А что, это мысль. Ведь он под мажептилом сам станет буйным.

Бросил ручку на стол. Перо острием воткнулось в папье-маше. Сур потер ладонями щеки и лоб.

– Буйные, Люба, это ваши?

– Буйные – мои. Мужики. Из двенадцатой.

– Какая прелесть. Ваши мужики, а мои бабы. Все правильно. Все справедливо. Измените вашим мужикам со мной.

– Я не баба.

– Верно. Вы не баба. Вы врач Любовь Павловна Матросова. Не задавайте лишних вопросов. Ведь у матросов нет вопросов. А почему вот вы меня зовете так холодно: доктор Сур? Так официально?

Люба заталкивала зеркальце в карман. Ее щеки пошли красными пятнами.

– Вас все так зовут!

– А ведь у меня, как и у вас, есть имя.

Один шаг – и он рядом с ней. Взял ее за плечи, как вещь. Глядел мрачно и строго.

И очень, очень тихо спросил:

– Люба. Вы – одна?

Она изо всех сил не опускала глаз.

– Да. Но это ничего не значит.

Шагнула назад, и его руки остались, замерзшие, одинокие, в воздухе. Он обнимал пустой воздух. Усмехнулся сам над собой. Руки опустил, длинные, обезьяньи. Сунул в карманы; большие пальцы наружу. Нервно щупают белую бязь.

– Интервью закончено. Можете идти, доктор Матросова.

Люба доцокала на каблуках до двери, обернулась через плечо и бросила, куском хлеба голодным зимним голубям:

– А в девятой певница ваша поет. Заливается. Мы все как в театре. Заслушаешься. Присмотритесь к ней. Хорошенькая.

– А! Неверко! Бедная девочка!

– Зачем вы ей колете сульфозин? Она кричит от боли.
 – Затем, что у нее императивные галлюцинации! И сульфозин...
 Она уже вышла, громко хлопнула разохшейся, выкрашенной белой масляной краской дверью.

Вышагивал по коридору, неуклюжий бешеный журавль, выбрасывал вперед и вбок длинные несуразные ноги из-под белого колокола халата. Нажал красную кнопку лифта. Лифт гроыхал, медленно, весь сотрясаясь и лязгая всеми старыми железными костями, двигался вниз. Сур быстро, будто за ним гнались, пробежал в приемный покой. Новый больной смиренно сидел на краешке кушетки, руки сложил ладонь к ладони, засунул меж колен. Святой да и только.

«Он нормальный человек. Его сюда привезли насильно. Что он наделал? В чем провинился? Это не мое дело. Я всего лишь врач».

«Всего лишь? Вот именно. Прежде всего ты врач! И убивать здорового...»

«Разберемся. Может, это ошибка. Приказали привезти, прикажут и увезти. Так тоже бывало».

«Ты прекрасно знаешь, что тот, кто сюда попадает по приказу сверху, не выходит отсюда никогда».

Доктор Сур схватил стул, поставил его спинкой к больному, уселся на стул верхом.

Больной не поднимал головы.

– Больной... сестра! Фамилия как! Афанасьев? Больной Афанасьев, посмотрите на меня.

Больной Афанасьев как сидел, как и сидел. Не двинулся.

Сур не удивился. Держался руками за спинку стула, как за холку лошади.

– Не хотите, не надо. Но говорить-то вы можете.

Больной Афанасьев молчал.

Доктор Сур выждал минуту, две. Обернулся к сестре.

– Он трезв?

– Трезвый... вроде...

– Да, запаха нет. А осмотреть дался?

Сестра, грузная колода с густой челкой и фрицевскими усиками под весистым носом, лениво кивнула.

– Дался. Даже без санитаров. Безропотный.

– Безропотный – это хорошо. Тут у нас ежели кто возропщет – того мы сразу в бараний рог. Что паспорт? Прописка? В порядке?

– Не совсем. У него прописка областная. В деревне. В этом... как его... Богоявлении.

– Где это Богоявление?

– На Керженце.

– Так-так, значит, кержак. Старовер? Ай-яй, нехорошо, товарищ. Этот опиум народ давно уже выпил. И утерся. Нет никакого Бога. И никакого Богоявления, значит, нет. Вы не говорите, наплевать мне на ваш красивый мелодичный голосок. Вы только кивайте. Да, да, нет, нет. Остальное все, как известно, от лукавого.

Больной Афанасьев смотрел себе под ноги.

Доктор Сур медленно, задушевно спросил, растягивая гласные и слоги, как учитель в первом классе:

– Кем работаете?

Молчание.

– Где работаете, я спрашиваю?

Молчание.

Сур вскочил. Стул отлетел к кушетке. Медсестра-колода поднесла ржавые руки-лопаты к вискам, зажала уши ладонями.

– Кто вы, я вас спрашиваю?!

Медленно, медленно поднял голову человек.

– Я человек.

Сур медленно, медленно сел на корточки.

Сестра подумала, глядя круглыми глазами: эх, и этот сумасшедший.

Тут мы все психи.

Человек в белой шапке не отрываясь глядел на человека с рыжими, седыми кудрями.

Рыжий – маленький. Еще немного, и колобок. Сидит, как масленок под кустом. Рыжая пакля над висками всклокочена. Глаза навекате, цвета неба. Вид отрешенный, занебесный. Псих и псих, что с него возьмешь.

Мысль, насмешка внезапно и жгуче сверкнула в голубых выпуклых глазах. Э, милоч, белки выкатываешь, у тебя со щитовидной железой непорядок. У мужчин щитовидка, если воспалится, это рак верняк.

Человек на корточках вернул искру мысли голубоглазому.

Мы поняли друг друга. Мы все узнали друг про друга, что хотели.

Теперь уже неважно, что мы друг другу скажем. Или не скажем.

Посверлив еще немного больного зрачками, Сур разогнул колени. Сел рядом с рыжим на кушетку. Слишком близко сел: рыжий чувствовал исходящее от ноги Сура тепло. Отодвинулся.

Сур положил руку ему на колено. Только на миг. И тут же убрал.

Ты, держись.

Я понял.

Ничего ты не понял. Рот разинешь, будешь тявкать, тут только лай собачий понимают. А не чтение мыслей на расстоянии.

Больной протянул руку, тоскливо улыбнулся и сделал жест, будто стряхивает с халата Сура мусор, опилки.

«По вас, доктор, чертенята бегают, ой нет, жуки, ой нет, мышки», – беззвучно вылепили смеющиеся, пахнущие водкой губы.

Доктор Сур жестом заставил толстуху встать. Сел за стол на ее место. Опустил подбородок на сдвинутые кулаки. Придвинул к себе бумаги. Долго изучал. Больной прерывисто вздохнул. Сур бросил шуршать бумагами и устало, нежно поглядел на старого рыжего колобка.

– Я представил всю картину. Вы больны. Вы очень больны. И опасно. Шизофрения с полосами тяжелого асоциального бреда – это серьезно. Это надо лечить. Лечить долго и тщательно. И не всегда этот процесс поддается лечению. На борьбу с вашим недугом могут уйти годы и годы. Вы меня поняли? Отмечено, что у вас усиливаются депрессии с мотивами самоубийства. Вы понимаете, что суицид граничит с убийством? Кто поручится, что вы захотите убить не себя, а ближнего своего?

Я разговариваю, как в запрещенном лживом Евангелии. Но Евангелия же нет.

Кто тебе сказал, что его нет? Оно везде. Только оно запрятано слишком глубоко. Не отрыть.

Оно запрятано прежде всего в мозги твоих больных, доктор Сур.

А в мои?

А у тебя мозгов нет. У тебя под черепом опилки, да-да-да.

Больной раздул ноздри и стал вдыхать.

Он вдыхал воздух сначала плавно. Потом прерывисто. Порциями. Уф-уф, ах-ах. Потом шумно. Потом неслышно. Он так долго вдыхал, что Сур испугался: ему показалось, время остановилось.

Насос остановился. Грудь и живот раздулись шаром. Поршень пошел назад. Выдох гудел, как баянные меха.

А потом наступила прозрачная, снежная тишина.

И в тишине больной разлепил запекшиеся губы и сказал нежданно резким, острым, режущим голосом:

– Вы все врете. Меня сюда упекли ни за что. Я знаю, кто. Просто я рисую не те картинки. И на ихних лживых праздниках ору не то, что надо. Что они все орут! Они грозились сжечь картинки. Приехал грузовик. Увезли. Картинки – туда, меня – сюда. Все? Вопросов больше нет?

Доктор Сур глядел в голубые елочные праздничные шары под рыжей слипшейся осенней паклей.

– Вопросы есть. Один живете? Или жена есть? Дети? Родня?

Плотно сжатые губы больного расслабились, разъехались в стороны, он пытался тепло и светло улыбнуться, а у него не получалось.

– Есть.

– Кто?

Сур приготовился записывать. Ручку взял. Держал наизготове над чернильницей.

– Манита.

– Манита? Дочка? Девочка?

Больной вдруг мелко затрясся, обхватил себя руками за плечи, клал зубы, будто стоял под секущим снегом, под проливным холодным дождем.

– Она мне дочка. И мать. И сестра. И жена. И любимая. Она моя любимая. Она мне – все-все. Все! Все! Все! Вы поняли! Все!

– Я понял. Понял. Успокойся. Не шуми.

Назвал его на «ты». Подошел и обнял за плечо.

– Телефон скажи своей подруги. Или адрес. Как найти? Где она?

И тогда больной медленно, медленно и скорбно поднял к доктору Суру румяное, небритое, мохнатое, скуластое, бандитское лицо, морковные губы дрожали и пьяно кривились, подбородок-помидор катился на впалую грудь, на плечи под старым, измазанным масляной краской пиджаком, и из губ, из пьяных небесных глаз донеслось дальним эхом, безумным кличем:

– Здесь она! Здесь!

* * *

На руках котенок.

Черный котенок.

Мальчик, худой как щепка, держит на руках черного желтоглазого котенка. Котенок столь же худой. Оба тощих, только один черный, а другой рыжий. Даже красный. Гущина красных волос вздымается надо лбом безумным огнем.

Будто напугали до смерти, и волосы встали дыбом.

Котенок пищит: это мяуканье успокаивает мальчика.

Котенок. Тьма. Мать. Мачеха.

Матери нет; есть мачеха.

Он уже знает: люди ночами трутся друг об дружку, кричат и ломают друг другу руки и ноги, и от этого появляются другие люди. Дети.

Так и он появился. Он не хотел. Но его не спросили.

У него, как и у всех, была мать.

У него, как и у всех, был отец.

Отец привел в дом другую бабу, а Витька принес в дом черного котенка. Они восполнили утрату, каждый по-своему.

Отец раскричался: котенок дома, грязь, мусор, вонь! Вон!

Мальчик схватил котенка, прижал к животу и выбежал из дома стремглав.

Во тьму.

Так шел во тьме. Ни фонаря. Темные улицы. Листья шуршат. А кажется, кто-то из-за угла сейчас на него прыгнет. Котенок закричит: «Убивают!» А разве коты могут кричать по-человечьи?

Мальчик несет смоляного котенка по маленькой жизни, как черную свечу.

Куда он идет? Где остановится? Нет у него друзей. Никого нет. Город каменный и ржавый. Город Горький. В городе есть красный Кремль, Автозавод, где собирают на конвейерах большие красивые автомобили; по улице Краснофлотской по рельсам ходит большой синий ящик на железных колесах, с железной дугой, сыплющей искры, называется трамвай. Еще есть высоченные откосы над Волгой, с них вниз, к замерзшей реке, катятся безумные смелые лыжники и сворачивают себе шеи и потом всю жизнь лежат в больнице со сломанным позвоночником и ходят под себя. Много чего чудесного есть в горьком городе; всего не упомнишь.

Витькину мать убили в пьяной драке. Кто убил? Отец молчал, кто. Никогда не говорил. А Витька не спрашивал. Он запомнил: отец сидит за столом, ночью, стол устелен клетчатой клеенкой, на столе синяя солонка, в ней белая соль; синий коробок спичек, открытый, и там одна спичка; кусок мыла, голый, без обертки; горбушка ржаного хлеба; нож с рукояткой, обмотанной изоляционной лентой; пустая бутылка с надписью: «ВОДКА МОСКОВСКАЯ». А еще – топор.

Перед человеком лежит топор. И человек глядит на топор.

Витька думает: вот мыло, мыть грязь лица.

Вот соль, хлеб посолить. Соленым хлебом хорошо водку закусывать. Да водки нет. Всю отец выпил. И не захмелел, вот что хитро. Отец проводит заскорузлым ржавым пальцем по чистому, как зеркало, треугольному топору. Топор серебрено светится.

Витька думает: чью-то жизнь хочет отец своровать! Петуху голову отрубить? Нет у них петуха. На врага напасть? Где он, враг? А может, отец жизнь свою хочет украсть?

Смерть своровать он хочет, Витька. Смерть. Да смерть своровать – у него не хватит ума.

Дивный незримый хор поет вокруг Витьки: «Беги! Беги!»

Медленно, тяжело оглядывается отец. Вылавливает из тьмы Витькино лицо, Витькины глаза. Глаза в глаза. Вспышка. Насмешка. Оскал. Отец, ты только притворяешься пьяным. Ты трезв как стеклышко, и ты все понимаешь.

Отец протянул к Витьке руку и скрючил пальцы. Пошевелил ими: мол, иди сюда. Витька подошел к столу. Ноги как из пеньки. Он шагает, а ноги сзади волочатся. Подошел. А ну прибьет! Отец положил кулак Витьке на плечо. Витькины коленки подогнулись. Но крепился, стоял. Важно было выстоять. Отец натянул губы на бешеный волчий оскал. Замкнул рот на замок. Снял руку с плеча сына и хлопнул ею себя по колену. Витька покорно сел отцу на колени. Зажмурился. Отец сказал тихо и грозно: видишь топор? Витька кивнул. А знаешь, что можно сотворить, если у тебя есть топор?

Витька думал недолго. Убить, сказал – и задрожал.

И тогда отец запрокинул голову, будто пил водку из стакана, и тоже затрясся: захохотал.

И крикнул: из топора можно сварить суп! Суп из топора! Самый вкусный на свете! Пальчики оближешь!

И столкнул Витьку с колен; и упал Витька на пол, и сильно голову расшиб.

Котенок мяукнул громко, и крик звериного детеныша резанул Витьку по ушам.

Другая баба, другая. Она его лупила. Она, подвыпив, брела на кухню, выхватывала из ящика сковородник, прибежала в комнату и била Витьку сковородником. Ей мало казалось. Притаскивала ковш. В этом ковшу она варила отцу яйца и пшенную кашу. Иногда с тыквой, по осени. Ковшом мачеха дралась больно. Хуже всего скакалкой. Скакалку чужая баба стащила у Тamarки, дочки истопницы Пани. Тамарка летом скакала через скакалку, а зимой она была ей не нужна. От ударов скакалкой оставались рубцы, они вздувались и кровили. Витька тайком залезал в холодильник, цапал на ноготь шматок сливочного масла и мазал побои. Однажды крышку масленки на пол уронил и разбил. Отбил кусочек. Испугавшись до страсти, замазал выбоину белым пластилином. Пластилин в холодильнике намертво замерз, и отличить от фаянса нельзя было никак.

А еще баба издевалась. Заставляла Витьку скрести полы, деревянные доски, мясным тесаком; он скреб, скреб до посинения, потом мыл мыльной водой из поганого ведра, а мачеха стояла рядом, уперев в бока кулаки, и покрикивала: три сильнее, три сильней! Если ей работа не нравилась – заставляла Витьку половницы вылизывать. И он – вылизывал! Языком! В язык занозы впивались. Потом он блевал в общем туалете. На гвозде висели рваные газеты. Витька утирал рот и читал: **ДНЕПРОГЭС – ПОБЕДА ЛЕНИНСКИХ...** И еще: **ВРАГОВ НАРОДА НАКАЗА...** И еще: **ПРИКАЗ НАРКОМА ЕЖО...** И еще: **...АРИЩ СТАЛ...** И еще, мелким шрифтом: **...алов совершил первый в мире перелет... И совсем мелко: ...родным и близким покойного...**

Чужие жизни рвались, как газеты в отхожем месте. Кто бы склеил Витькину жизнь? Черного котенка он нашел за сараями, когда ватага парней взломала хилый замок и грабила соседей: парни тащили из сарая медные баташовские самовары и тяжелые, пес знает чем набитые сундуки, а Витька сидел на корточках за желто-восковой поленицей дров и притискивал к худым ребрам маленькое, живое, цвета дегтя, шерстяное существо. Котенок царапался и взмывал, и Витька зажимал ему пасть рукой. Воры вынесли из сарая последний самовар. Витька осторожно встал и рванул к дому. Дом деревянный, двухэтажный, на задах, во мгле дворов. Отцу это на руку: никто не слышит женских и детских криков, когда он бьет мачеху, когда мачеха дубасит Витьку.

За котенка Витька тоже получил по первое число; но потом, когда Витька утирал слезы и кровь из носа, мачеха взяла котенка за шкурку, подняла себе над головой, углядела, что кот, фыркнула и швырнула под ноги: пусть живет! К нам мыши зимой пешком шастают! Хоть переловит!

Миску на кухне поставила. Обеды туда кидала. Иногда, если мачеха Витьку голодом морила, он подходил к кошачьей миске, и они с котенком делили еду поровну. Витька обсасывал рыбы ребра и ревел. Котенок терся ему об ноги.

– Молчи, кисеньш. Куда-нибудь да дойдем!

Увидел пацанов. Пацаны сидели на вывороченных из мостовой булыжниках. Витька подошел ближе. Котенок уже не вырывался, пригрелся. Пацаны обступили Витьку.

– Эй, здорово! Как звать?

– Да это Витька с соседнего двора!

– И точно, Витек!

По плечу хлопали, по спине. По-солидному. У одного, прозвищем Латыш, оказалась в кармане пиджака не по росту полбутылка. Отхлебывали по очереди. Передергивались, кричали. Рожи краснели. Улыбки ширились.

Витька тоже хлебнул. Глаза на лоб полезли. Зашелся в кашле. Латыш долго хлопал ему по спине. Котенок впустил когти в грудь, и Витька терпел.

– Куда шпаришь?

– Гуляю.

– Врешь!

Что толку было сочинять? Все поведал как есть. Пацаны хохотали, Латыш крутил «козью ногу». Прищурился и сказал: ну вот что, Витька, ты с нами, а я тут за главного, слушай мой приказ. Займи монет у тех вон, видишь мужиков? Нам всем на развлечения. Нам-то тоже жить охота. На Свердловке мороженое шариками продают! А потом, знаешь, у меня поджиг, у Леньки тоже, спичек накупим, постреляем, сера нужна! Шуруй!

И Витька, как был с котенком, так и поплелся к незнакомым мужикам, что выворачивали мотыгами из мостовой огромный булыжники.

Он не знал, что это эки. Кто б ему еще про это сказал! Подошел. Котенок умильно таращил золотые глаза. Витька жалобно сморщился, вытянул вперед руку, растопырил пальцы и заканючил: подайте, люди добрые, нам со зверьком покушать охота! Не поскучите!

Заключенные оторвались от работы. Мрачно глядели на пацана с котенком. Витька, в ободренных штанах, с заплатами на локтях, и вправду походил на беспризорника. Да сейчас он им и был; не надо притворяться, все правда.

– Мужики! В карманах пошарьте!

– Да если б еще что-то нашарить...

– У меня гривенник есть. На папиросы берег. На! Держи! Питайся!

– А вернешь?

– Мы тебя заприметили. Ты тут рядышком житель.

– Гляди! Подстережем!

Мужичьи ладони. Мужские кулаки. Темные лица. Светлые глаза. Витька взял монету, сунули еще, и вот еще. Стыдно стало. Пятился. Котенок поднял морду вверх и истошно мяукнул. Витька повернулся и припустил без оглядки.

Подбежал, задыхаясь, к пацанам. На ладони монеты блестят.

Латыш сунул добычу в карман. На лице сиропная улыбка расплылась.

– Гуляем, казаки!

На Свердловке накупили мороженого на всех. Потом переехали по мосту на другой берег Оки. Катались в парке на каруселях. А слабо тебе, Витька, еще раз у эзков денег занять?!

Спал у Латыша на чердаке. Тайком провел. Котенка накормили свежей рыбой, отец Латыша нарыбалил. Снова подошел к эзкам. Они взяли его в кольцо, как волка. Котенок обнимал обеими лапами Витьку за шею.

– Ты! Нахал экий! Мы думали, он долг нам несет!

– Ну че вы, ребя... да ладно вам, пацан он еще... да голодный...

– Видали мы! Он наши монеты – все Латышу отдал! На выпивку! Деньги гони, щенок! Не получим сегодня – поймает, разрежем и на костре изжарим! Мужик должен честь знать!

Честь. Что такое честь? Он сломя голову удирал: от Латыша, от пацанов, от затхлого чердака, от мрачных булыжных мужиков. У магазина «ГАЛАНТЕРЕЯ» у него из рук вырвали котенка. Три пьяных человека, мотаясь и кривляясь, глядели, как четвертый, высоко, как черный флаг, подняв зверька, двумя пальцами душит его и, осклабившись, наблюдает, как дергаются лапки, разевается алая пасть. Пьяница швырнул мертвого котенка под ноги Витьке. Ну, ты, подбирай! Не хочешь? Еще подберешь! Твой же! На шкурку сойдет! Горлышко укутаешь!

Витька, ослепнув от ужаса, бежал к реке. Под ногами обрывался овраг. Плыла осенняя грязь, и он плыл в ней, крещенный первым лютым горем. Котенок был ему как мать: мать он не помнил, а котенок вот он, живой, на груди сидел. Котенок был ему как брат. Блеснула в сетке голых ветвей серебряная осенняя вода. Витька подбежал близко к воде. Котят же топят, вот и он... вот и я...

Холодно в воду заходить. Вот бы откуда прыгнуть. Старая лодка качалась на волне, привязанная цепью к колышку. Здесь глубоко у берега, он видит, вода дышит черной ямой. Взобрался в лодку. Залез на нос, обитый жестью. Поднял руки над головой, сложил ладонь к ладони, как спортсмен на соревнованиях ДОСААФ. И тут лодка качнулась и накренилась. Кто-то запрыгнул в нее и криво наклонил ее.

За рубашку ухватились цепкие ручонки. Оба повалились на дно лодки. Лицом к лицу оказался с девчонкой. Черненькая, смугленькая, раскосенькая. Как китаянка! А может, татарка. А может, казашка. У нас дружба народов и скоро коммунизм. Надо всех любить. Все народы. У всех есть сердце.

– Ты! Что удумал, дурак рыжий!

– Ты... зачем помешала...

Сидели на берегу. Витька разглядывал девчонку. Хорошенькая. Царевна. Ее если принарядить, в фильме снимать можно, и все влюбятся. Она гладила его по плечу. Он внезапно обнял ее, как взрослый, и поцеловал в щеку. И она не отстранилась.

Привела его в дом, где жила. К раскосому, как она, старику с тощей белой бородой. Белые нити бороды жалко свисали с подбородка и щекотали старику ключицы в распахе рубахи. Это девочкин дед? Витька не спрашивал ничего. Он понял: тут его приютят. Надолго ли? Знал: отец искать не будет. А чужой бабе он на дух не нужен.

Жил у Царевночки и Старика. Царевна ходила петь на людные улицы и собирала деньги в цветную вышитую шелком шапочку. За ней гонялась милиция. Вечерами Старик, Царевна и Витька играли в лото. Кричали, вынимая из коробки деревянный бочонок: дюжина! Тройка! Барабанные палочки! Девчонка не училась в школе, он это видел. Белобородый дедок садился ночью на коврик, подогнув под себя ноги, складывал руки и бормотал ласковые слова медной статуэтке то ли бабы, то ли мужика, Витька не разобрал. Морда бабы, а грудь мужская, плоская. Медь позеленела; по фигурке божка растекалась сизая, изумрудная вековая плесень.

Настал день. Оглушительно хлопнула дверь. Ворвались военные, все вмиг перевернули в каморке вверх дном. Старику заломили руки за спину. Царевна выхватила из-под медного божка красный флажок – она с ним ходила на парад Седьмого ноября. Замахала флажком перед носом у военных. Не уведите дедушку! Пощадите! Военный схватил девочку поперек

живота, как черного котенка. И потащил. И Витька смотрел, как Царевночку уносят, как Старик оседает на чужих жестких руках, и белая борода улетаёт вдаль последним воздухом, невесомой душой.

Драпать! Уносить ноги! Бежал он быстро. Он превратился в черного юркого котенка. Военные свистели вослед. Топали, он слышал. Он не бежал, а летел. Несся по улице. Открыта дверь. Влетел. Взмыл по лестнице. Затарахтел кулаком в кожаную глухую обивку. Открыли. Ворвался или втащили? Не помнил. Много баб. Много посуды на грязном столе. Окурки на скатерти и под ногами. Дым забивает легкие. Много хохота и ругательств. Он еще не знал, что попал в притон. Шлюхи гладили его, сокрушались, костерили кого-то дальнего, невидимого. Раздели его, помыли в тазу, и он стоял в тазу голый и совсем не стеснялся. Одели в чистое, только все велико. Накормили, и вкусно: черный хлеб с селедкой и кружочками лука, рисовая каша с подсолнечным маслом и сахаром посыпана. Запить дали киселя. Хихикали: водочки не предлагаем, мал еще!

Предложили все равно. Не сразу, погода. Он пил, наморщив лоб, сердце замирало. Ему в рот совали луковцу и орали: грызи! Грызи, зубами перемалывай!

Он ел и перемалывал черноту, он хотел света. Ему его жизнь снилась. Он глядел на нее в шлюхино битое зеркало, наискось висевшее на ободранной стене. В зеркале он видел все, кроме себя. У него не было отражения.

Он старался забывать все, что с ним приключалось. Помнил только черного круглоголового котенка с желтыми ясными глазами.

Котенок не давал ему покоя. Когда урки, друзья распутных бабенок, учили его убивать, точно и неотразимо бить ножом – он видел котенка. Когда он шел на свое первое дело, тонкое, хитрое, форточное – он помнил котенка. Когда он блял тоненьким козлячьим голосишком под богатой дверью: откройте, граждане, и подайте убогому Христа ради! – или так: тетенька, отворите, вам телеграмма! – или еще так: дяденька, отомкните, налейте водички, у меня мамка на дежурство ушла, а воду отключили! – а за его спиной бесслышно стояли, ждали, мяли в карманах пистолеты и финки, городские бандиты, оголтелые воры, – он помнил котенка.

И он знал: наступит миг, и жизнь выйдет из зеркала, и схватит его за шкуру, и поднимет высоко-высоко, так, что не разглядишь, никто не разглядит, – и он потеряет из виду землю и воду, и его, котенка, бросят в клубящуюся сумасшедшую тьму.

Черного убитого котенка он искал везде. Знал, что не найдет. Но искал.

Искал везде: в домах, на улицах. В раю, в аду. Во всех кругах земного ада и во всех проходных дворах.

Во всех людских праздниках и звериных норах.

А люди, обряженные в униформы, все ловили, ловили его, как черного зверя, и однажды поймали; и оказался он за решеткой, и понимал: так делают со всеми зверями, и с ним так делали; и, когда слушал приговор себе, разрывал губы себе слишком светлой, яркой улыбкой.

Его посадили в тюрьму, и он понимал: это не на веки вечные, когда-нибудь выпустят. Пусть через полжизни. Жизнь опять спряталась внутрь зеркала, и опять он не отражался в нем. А больше и не было зеркал. Был этап, снежные поля, баланда, теплый ватник, и он радовался ватнику, как брату, и радовался махорке, как сестре.

И их привезли на далекую землю, тут сопки заметала метель, а в небе горели чужие злые звезды, разноцветные, как фонарики на сказочной елке. Он ни разу не сидел под елкой. Ни разу не получал подарки. Вот подарок, в его обмороженных руках – крыша над головой и деревянная лавка. Он

быстро научился спать на нарах. Привык ко всему. И работал лучше всех. И похвалу получал, а не зуботычины.

Он жил на одном месте, а ему все казалось, что бежал. После работ он уходил за барак и рисовал прутиком на снегу. Он рисовал углем на доске. Рисовал мелом на исподе ватника. Народ крутил пальцем у виска: наш-то рыжий, дурачок, художник! Доложили начальству. Начальство определило Витьку малевать лозунги в клубе. Он сидел в красном уголке и выводил белой гуашью по красной бязи: **ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ СТАЛИН, ВОЖДЬ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ!**

Однажды чихнул и красной бязью этой утерся. Охранник увидел. Донес. Витьку оставили, в наказание, стоять ночь на морозе. Он плясал, прыгал, пел, орал, бежал на месте, бил в ладоши, катался по снегу, чтобы согреться. Ватник спас его. Ушанка – уши сберегла. Но он отморозил пальцы рук и ног.

Лазаретный хирург безжалостно отломил ему мизинец на правой руке и отпилил по паре пальцев на бедных ногах: «Терпи, молись! Иначе – гангрена! И тебе хана!» Бинтами замотал Витькины кровоточащие культи. Витьке было жалко мизинец, как ребенка.

Как котенок, черного, вчера еще живого.

И согнулся Витька в три погибели, сидя на койке в лазарете; и плакал, как ребенок.

Как котенок за поленицей восковых березовых дров.

А потом было объявление войны.

Из черного круглого репродуктора на всю территорию лагеря разносился голос Вождя: «Братья и сестры!» Витька гордо выпрямился. Неужели сам Вождь называет его своим братом? Радость-то какая!

И тут вдруг котенок внутри него, черный, строгий, выпустил острые коготочки, всадил их Витьке в сердце и промяукал отчетливо, разборчиво: ты ему не брат! И никто ему никакой не брат. Мы все для него – куры и овцы, черные овцы и черные куры. Овец закалывают и стригут, и шкуры с них снимают; курам отрубают головы и кладут в суп. Этот суп – не из топора! Этот суп – из нас всех! Наваристый! Густой!

Мы все для него – черные котята, и нас легко утопить, задушить, раздавить сапогом.

Но сегодня время пришло. Из котят, кур и овец мы опять превратились в людей. Ты слышишь?! В людей. Армии нужны не котята, а солдаты. Иначе мы не выиграем войну.

А мы выиграем войну, спросил Витька одними губами?

И котенок мяукнул в последний раз и замолк.

Навсегда. Насовсем.

Витьку Афанасьева определили в штрафную роту. Как всех заключенных.

Ему было все равно. Он надел солдатскую амуницию. Взвалил автомат на плечо.

Он слушался командиров. Он привык слушаться.

Он хлебал суп и кашу из миски, курил махру, смеялся, показывая гнилые зубы. Рыжие космы торчали из-под каски.

Он не боялся мороза: и так все отморожено.

Он не боялся наказания: и так наказан вдоль и поперек.

Он боялся смерти.

И однажды, тайно, никому не сказавши, он нарисовал ее портрет.

Острием штыка – на земле, листья разгреб за землянкой, и чертил, чертил.

Лик у смерти был лютый, невозможный. Частокол зубов. Ухмылка на полнеба.

Язык у смерти из-под земли торчал.

Нарисовал смерть Витька, а потом сапогами затоптал. Листьями ее рожу засыпал. Землей завалил.

Все, сказал он себе, я тебя больше не боюсь. Я видел тебя в лицо.

Это было перед боем, под Москвой, под Волоколамском.

Танки. Разрывы. Черные веера земли. Рукопашный. Рана. Бессознание. Госпиталь.

Лицо смерти там, сям. Рожа смерти на земле, в небесах. Земля стала смертью. Небо стало смертью. Для огромного рисунка не хватит ни листа, ни карандаша.

Когда он очнулся, на его крест-накрест перевязанной груди сидел черный котенок и умывался. Тер морду когтистой лапкой.

Витька гладил его, гладил, гладил. Радовался. Слезы текли.

Вот я тебя наконец нашел, и ты живой. И я живой. Мы оба живые.

Ходячий хромо́й солдат, далеко, со стуком выбрасывая костыль, шкандыбал по коридору, выкрикивал:

– Эй! Врача! Врача в пятую! У нас солдат Афанасьев с ума сошел! Гладит себя по груди, сам с собою балакает и горькими слезами плачет!

А что было потом? Эй, черный котенок, может, ты промяукаешь, что воистину было потом?

А потом – суп с котом, как известно.

С тобой, котик милый мой.

И сожрали все; и рот утерли; и даже спасибо не сказали; и только ждали, ждали добавки, а потом выпивки и закуски.

На заводе работал. У станка стоял. Позвали плакат помочь намалевать: **ПЯТИЛЕТКУ В ЧЕТЫРЕ ГОДА – ВЫПОЛНИМ!** Витька сначала отнекивался, потом согласился.

Дали банку жидких белил. Растянули алый транспарант на весь горячий цех. Витька ползал, кряхтел, обмакивал смешную широкую, как платяная щетка, кисть в жидкую вонючую метель, мазал, мазал белым красное. Да, ему казалось: он дед Мороз, и белит снегом залитые кровушкой красные поля, красные лощины, красные луговины и речные поймы. Жмурился. Тряс головой. Открывал глаза – а мазок шел вкривь и вкось, и цеховой бригадир орал зычно: «Афанасьев! Раз в жизни тебя попросили! Криворукий! Дело сделать не можешь!»

И он старался. Язык от старанья набок высывал, как пес.

Надпись вывел; а по краям белилами изобразил два родных профиля – слева профиль Ленина, справа профиль Сталина. Борода у Ленина, усы у Сталина, все честь по чести.

Красную бязь, разрисованную его белыми кривыми буквами, повесили над входом в цех. Станки гремели. Люди стояли у станков, скользили ногами в грязи. Уши закладывало от шума и лязга. Бригадир гордо хвастался начальству: глядите, какой у нас художник, собственный! Сам плакат нарисовал!

Начальство присмотрелось. Витьке выделили угол в красном уголке. Там он хранил свернутые в трубку листы бумаги и держал кисти, карандаши, флейцы и цветные мелки на длинной и широкой, как гроб, полке.

Рисовал и рисовал; плакаты пек как пирожки. Совершенствовал руку. Упражнял глаз. Глаз становился все острее, рука – все тверже. Ехал в битком набитом автобусе домой – вытаскивал из кармана блокнот, карандаш, делал зарисовки людей. Пассажиры косились, шарахались. Витька, обнимая локтем поручень, набрасывал натуру быстро, стоя и качаясь, вскидывал на сердитого пассажира глаза. Все понимал. Простите, больше не буду. Прятал блокнот в карман. Улыбался: извините, мол.

А зубы выпадали, ел мало и плохо, зарплату еле на хлеб хватало.

Да на угол в длинном, опять же как гроб, сером дощатом бараке на окраине Автозавода.

Да на чекушку – сперва в ночь с субботы на воскресенье, а потом и среди недели: когда уж сильно худо на душе становилось. Выпивал один, закусывая горбушкой, закусывая луком. От целой луковицы хрустко, громко откусывал больными зубами.

Кто его надоумил поступить в художественное училище? Или сам скумекал? Забыл уже; помнил только мольберты в огромном зале, запах пинена, карандаш в руках. Античную гипсовую голову все рисовали. Витька курчавую древнюю голову оглядел, а потом карандашом повел по припиленной к мольберту бумаге, и водил, водил, и штриховал, и вычерчивал, и опомнился только тогда, когда старый усатый, на Сталина похожий дядька шагнул из-за его спины, вырвал из мольберта кнопки, схватил его лист с нарисованной головой и поднял надо всеми, над залом: вот как надо рисовать, товарищи абитуриенты! Вот как!

И учебу ведь тоже забыл. Разве можно помнить то, в чем ты живешь ежeminутно, варишься, как в крепком горячем бульоне?

Краски, кисти, споры. Ссоры, драки, мир. Примиренья за бутылкой, а там и за другой, а там и за пивом побежать, и в трехлитровой банке его, не расплескав, принести. Пестрые, в пятнах засохшего масла, мольберты. Кисти мокнут в банке. Ты забыл вымыть! Они станут каменные, железные! А дорого стоят в салоне! Мыть, мыть с мылом кисти, мыть под краном, вода ледяная, сводит руки. Греть руки о чашку горячего крепкого чая. В чай сердобольная девчонка налила коньяку. Койки, кровати, матрацы. Черные физкультурные маты. Есть где поспать после пьянки. Есть кого обнять. Девчонки, девочки, бабы. Забота, ругань, соблазн. Низ живота пахнет селедкой, а рот пахнет забродившей вишневым наливкой. Хотят за него замуж. Гонят его прочь. Кому нужен пьяница? Кому нужен художник? Нищий. Гордый. Нет, я не гордый. Дай три рубля, а? Завтра верну. Нет у меня! Ну дай трешницу, а? Ну рубль дай, а? На! Подавись!

Магазин, лавка, чепок. Забегаловка утренняя, и такие, как он, стоят у барной стойки. Грех не выпить! Сегодня умер Вождь. Правда умер? Стану я врать! Вот те крест! Мрачные, черные люди. Будто все – из горячего цеха. Стипендия пропита вчера. Сегодня будет калым. Это запрещенный заказ. О нем не надо трепаться никому. Ему заказали четыре холста: и на всех надо нарисовать спящую Венеру. Кто позировать будет? Позировать никому. Все твои девки замуж давно повыходили, Витек!

И блинчики мужьям пекут. И пирожки с котятами.

И горит синее, сатанинское пламя керогаза.

На тебя только грузная тетка Жанна в твоём бараке, на коммунальной кухне, заглядывается. И недвусмысленно толстым пальцем манит. У нее в каморке коврик с лебедями, семь мраморных слоников на деревянной плашке над спинкой дивана, пузырек с духами «Коти», еще дореволюционными, и вместо одеяла – траченный молью армейский тулуп. А простынок нет. Нет и не было. Тетка Жанна немножко хромает, отпичивая

задницу, и для непогоды у нее есть боты «прощай молодость» и маленький изящный костыль. Соседи зовут ее «тетка Жопа».

Кажется, она очень любит Витьку.

А Витька ее – нет.

Но иногда он с ней спит. Спать с кем-то надо.

И без простынок оно получается. Грязный Жаннин матрац, в пятнах жира, водки, масла, крови, мочи.

Жизнью пахнет.

Давай, товарищ, помянем Сталина!

Давай. Мы за него – на полях под Москвой – в землю ложились.

Да ты не реви, брат. Что ревешь? Люди-то умирают.

Да я не реву, брат. От водки в носу защипало. Сталин – бессмертный. Он не умрет. Точно тебе говорю.

Налей еще. За него.

За него!

А ты, брат, кто таков будешь?

А я – художник.

Художник! От слова «худо», что ли? Ха, ха!

Че смеешься! Досмеешься.

Да не. Я ниче. Давай помянем.

Давай.

И пили; и плакали; и гудел вокруг чепок, наполняясь народом, и пахло пельменями – поварили варили их в громадном, как воронка от взрыва, котле, и звенели грязное серебро и зеленые медяшки в расчетной оловянной миске на кассе, и тащили люди к столам свои пельмени, свою селедку, свою мойву, свои стаканы с водкой и чаем, невкусную, остывшую жизнь свою. Сталин умер, а жизнь продолжалась. Ее опять разогревали на огне. Ее резали на куски, кромсали, начиняли, фаршировали, пекли, посыпали зеленым луком и перцем и подавали на стол, едва успевая вытереть потычки грязи рваной тряпкой. Нету войны! И ты не солдат уже. Ты Витька-художник. Иди малюй своих Венер. За каждую заказчик, толстоносый сизощекий грузин, обещался дать ему сотню. Четыре сотни! Где такое видано!

Может, предложить грузину написать с него Сталина?

Пусть повесит у себя в спальне портрет покойного Вождя. И поет ему грузинские песни.

Коты мелькали на улицах. Пели страстные хищные песни над водосточными трубами. От тоски Витька завел себе четырех котов – сначала одного, белого с рыжими пятнами, назвал Кеша; потом прибил вторую, рыжий бандит, худой как рыбий скелет, назвал Персик; явился третий, Филмон, он подобрал его около родного чепка; и снегом на голову свалился четвертый, Витька кликал его – Орех. У кота голова была как орех. У котов были разные характеры. Витька кормил их в память того черного, незабвенного котенка.

Сам недоедал, а их накармливал.

И рыбку покупал, и молочко.

Тетка Жопа зазывала его на матрац. Он шел послушно, но у него с теткой Жопой ничего не получалось. Она плакала, потом вынимала из буфета вино «Плодово-ягодное» и на закуску кильку, и мазала Витьке за ушами, в утешение, капелькой «Коти».

Витька завод бросил давно. Выставлялся на выставках. Его принимали в Союз художников, как в юные пионеры. Мастерскую дали. Он

из автозаводского барака переехал туда; там и жил, и пил, и писал. И котов перевез.

Художники пальцем у виска крутили: эй, Афанасьев, ты сбрендил! Тебя с котами отсюда знаешь как правление Союза попрет? Только клочки полетят по закоулочкам!

Никто его не выгонял. Коты выходили гулять в форточку и ходили по карнизу, осторожно глядя вниз. Мастерская на чердаке жилого дома. Под крышей.

Как у всех у них, у малеванцев: то подвал, то чердак. Третьего не дано.

Однажды в мастерскую пришла женщина. Буркнула: я тоже художник. Я твои работы знаю. Ползала вдоль стен, поворачивала холсты лицом к себе, щупала пальцами, нюхала. Изучала. Он видел: она наслаждается. Коты терлись об ее ноги, об ее шелковые, модные чулки. Обернулась к нему. Черные ночные волосы висели вдоль щек. Она влекущим жестом забрала их в пучок. Во рту шпильки, и на его глазах закалывает волосы. Он глаз не мог оторвать. Она так медленно это делала. Поставил чистый холст на мольберт. Она все закалывала волосы, она уже позировала, а он уже писал.

Он углем набрасывал фигуру, лез кистями в плывущее масло, делая стремительный подмалевок. Странная чернококая женщина, с лицом вместе молодым и старым, резким и нежным одновременно, повела на него длинными ночными глазами, в них вспыхнуло странное бешенство и боль, непонятная ему, немыслимая. Она стаскивала с себя нелепую, в черных кружевах, кофту. Осталась в черной исподней рубашке, в шелковых чулках с черными подвязками. Он такое видел впервые. Слюни потекли, он себя поборол. Такая натура! Никогда больше!

Он скалился, когда писал. Шумно дышал то носом, то ртом. Она так и простояла два часа – с закинутой за голову рукой, с оголенной подмышкой. Он махал кистями как безумный. Да он и обезумел. Огненная, неиспытанная радость охватила его, волокла в живую, пряную тьму. Бросил кисти на пол. Вытер руки тряпкой. Женщина тихо опустила голую руку.

Оделась. Сверкала глазами.

Он жадно следил, как она все это делала.

Весь превратился в пламя, в прощание.

Понимал: уйдет, и больше не придет.

С места не двинулся.

Она прошла к порогу.

Когда за ней уже захлопывалась дверь, он громко, аж у самого уши заложило, крикнул ей вослед: ты приходи всегда! Я буду ждать!

Я. Буду. Ждать.

Ты. Будешь. Ждать.

Ушла. Шаги прозвучали, утихая.

И вдруг опять рассыпались, дробно накатили, застучали.

И дверь распахнулась.

И лицо шальной девчонки, растрепанной, чернявой, слегка хмельной, всунулось в дверную щель, и он услышал ответный веселый крик:

– Жди! Приду!

Так в жизни его появилась Манита, и он все повторял про себя: Манита, Манита, Лолита, Карменситта, Кумпарситта, – а черные блески сверкали Новым годом, черные глаза плыли черной маской, углы локтей манили их погладить, фонтан безумств плескался вокруг рыжей седеющей башки, и

все приняло иные формы и иные очертанья, и все горело и вспыхивало и гасло, и со всем больно было прощаться, и всему ясно и чисто и сильно было радоваться.

Ему было все равно: художник она или сапожник.

Его натура?

Его природа.

Его окно, в которое он еще не бросился, но уже примерялся: на ночь запирает его крепко, пил на кухне горький чай, а за окном летала черная птица Манита, и он понимал – однажды она поманит его за собой черным легким крылом, и он распахнет окно, и весело, радостно встанет на карниз.

И он шагнет из окна туда, к ней. Однажды.

Потому что он не сможет иначе.

Он встречал ее на пороге – а вроде как на карнизе. Он махал руками, сохраняя равновесие. Он не пьян, нет. Просто очень холодно и шатко под ногами. И птицы, и ангелы летят к югу. Ты уходишь? Тебе на восход, а мне на закат. Знаешь, это модная песня! Ее поет такой певец! Я ее тоже пою. Ты только не шагай в окно, Витя. Ради меня, хорошо? Я же прихожу. Вот я пришла. Но ты же уходишь! Да, я уйду. Я не могу остаться. Но я не уйду. Я же остаюсь, ты же понимаешь!

Хлопала дверь. Он хлопал оконными створками. Влезал на подоконник. Держался за хрупкое стекло. Оно хрупало под пальцами. Осколки, дыра. Надо вставить новое. Не надо! В дыру влетит Манита. Она поранит крылья! Тогда вставлю.

Сидел меж осколков. Поранил пальцы. Глядел, как кровь течет.

Вытирал ее крепко, зло грязной тряпкой, как краску.

Жить-то на что-то надо было.

И он попробовал писать то, что приветствовалось, одобрялось и даже покупалось.

Он замахал у себя в мастерской огромный холст, длинный как корабль, вдоль него можно было ходить, как по палубе: на холсте стояли, равнялись – смирно, на серой мокрой брусчатке широкой площади, солдаты – кто в чем, в ушанках и фуражках, в кепках и буденновках, в треухах и картузах, и мимо них, вставших во фрунт, широким шагом, походкой крабьей и кривоногой, и в то же время летящей, загребая ногами сразу огромный холодный воздух, шагал человек, и все его знали, ведь он глядел со всех знамен, со свинцовых листов всех газет, во всех паровозов и пароходов, со всех плакатов, из всех учебников, со всех заводских проходных, со всех площадей великой гудящей, гремющей страны – Владимир Ленин человека звали, и вот он шагал, бежал по холсту, почти живьем, хорошо его Витя изобразил, умело, да что там говорить, просто талантливо; ну да Афанасьев талант, это все знали давно. Солдаты, повернув головы, напряженно, покорно, жадно, внимательно, мрачно, послушно, восторженно, слезно, весело, готовно, безумно смотрели на вождя. Вождь! Стаду всегда нужен вожак. Народу – вождь. Как народу без вождя? Вот он идет. Бежит! Вдоль строя! И солдаты глядят! На вождя своего! И им завтра умирать! За народ свой!

А вождь вдоль солдатского строя бежит. Вождь бессмертный. Он не умрет никогда.

Картину «Солдаты революции» выставил на областной, потом на зональной, потом на всесоюзной выставке. Ее хватали и увозили на передвижку, в другие города. О ней захлеб писали газеты. Витя на миг стал

знаменитым. Председатель обкома жал ему руку. Председатель исполкома выпивал с ним на банкете. Он уже стал думать о себе в высоком штите: я и Репин, я и Суриков, я и Налбандян.

Пока однажды не напился вдрабадан на очередном партийном банкете, и его подвезли к мастерской на такси, и сгрузили на асфальт, как мешок, и дворничиха Дарима, старая бурятка, приволокла его к себе в каптерку, и поила грузинским чаем с медом, и его рвало прямо на пол, на лопаты и метлы Даримы, и она подтирала за ним, причитая по-бурятски, будто пела степную песню.

А назавтра слава кончилась.

А послезавтра пришла Манита, он лежал на кушетке и плакал, а она сидела рядом и нежно, тихо и медленно гладила его по рыжим поседелым лохмам, и он жалобно и тонко попросил: может, четвертную купим? — на что Манита строго ответила: никогда в жизни, — а потом сама сходила в магазин, и принесла водку «Московскую», за три рубля шестьдесят две копейки, и Витька все лежал на плоских набитых опилками подушках с дырчатыми, крысы проели, наволочками, а Манита разливала водку в щербатые чашки и сама подносила чашку Витьке, и он брал чашку из ее рук, и не чокались, будто за покойника пили.

И Манита, выпив, покраснев щеками, говорила тихо: Витька, ты что с собой делаешь? Зачем тебе становиться подонком и проститутком? И правда, кивал Витька и отхлебывал из чашки, зачем мне становиться подонком и проститутком, я не хочу. Другое дело, продолжала Манита, если ты сам свято веришь в это.

Тогда, допив, он уронил чашку на диван и разодрал рубаху на груди, обнажил грудь, показывая Маните свои военные белые, розовые и синие шрамы. Манита опять гладила его по красным и седым кудрям, и у нее по щекам текли слезы и втекали ей в рот.

И Витька жалел, что показал подруге старые раны: она ведь не спала с ним, и он не помнил, еще не спала или уже не спала, и, наверное, он страшными шрамами напугал бедную нежную женщину.

А Манита застегивала рубашку у него на груди на все пуговицы, сверху донизу, а потом вытерла мокрое лицо о его рубашку, о его горячую израненную грудь.

А вокруг менялся мир, приходили и умирали вожди, выходили приказы и указы, издавались законы, плыло текучее время, как горячее масло, плыло и уплывало, и ему в голову стали приплывать новые, неожиданные мысли — о его времени, о том, где он живет, где они все живут. Революция, красные ангельские крылья за сутулой и старой спиной. Про революцию все и всегда говорили бесконечно, и по телевизору, и по радио, и со сцен, и на площадях, и с трибун, и с ученых кафедр, но он прекрасно видел зорким глазом художника: революция — труп, и его пытаются оживить, и зомби шляется по улицам, глядит с плакатов и рекламных щитов, а все неправда. Красные флаги революции качались над головами людей на демонстрациях. Натянутые улыбки. Нарочно веселые глаза. Все делали вид. Этот вид был для всех как теплая шуба, как драповое пальто зимой: носи, а то замрзнешь. Лишь дети веселились беспорочно. Махали красными флажками. Грызли сушки. Сосали красных леденцовых петушков. Выпускали в небо надутые газом воздушные шарики. Цветные шары летели над ноябрьской грязью и первым снегом. Шелестели на ветру стяги с золотыми наконечниками.

Витька вспомнил иные флаги. Это он швырял тогда — на Красной площади в Москве — в конце войны — наземь — на родную брусчатку — фашистские флаги, эти кресты, черные свастики, этих вышитых шелком черных змей и пауков. И их, солдат в касках, брезгливо и с дикой ненавистью бросающих на мостовую флаги поверженной страны, кинооператоры засняли на пленку. Витька тогда видел себя в кадрах кинохроники в прокуренном кинотеатре. Из его горла вырвался изумленный клекот. Он тихо захохотал: да вот же я! — потом сторбился и закрыл ладонями глаза.

А потом крадучись, сгибая спину, катаясь колом, из того тесного кинотеатрика — вышел.

И напился тогда, да, крепко напился.

Где война? Где революция? Они на свалке.

Ими прикрываются. Их напавляют, как дырявый гондон, на воровство, доносы, подсиживания, равнодушие, взятки. На всяческую ложь — плят.

Набрасывают красный флаг на мусорные кучи.

Цепляют красную звезду на грудь жуликам и подлецам.

И кисти сами впрыгивали в его руки. Он писал новые картины. Таких он от себя никак не ожидал. А вот сами пришли. И орали: напиши меня, напиши!

Друзья, зайдя в мастерскую, видели новую Витину картину на мольберте и прикрывали рот рукой, забивая внутрь дикий ах. Старик, ты зачем так! Старик, тебя из Союза вышвырнут. Из мастерской вышвырнут. Ну и пусть вышвырнут! Я солдат. Буду жить в собачьей будке и есть кашу из каски. А что, у тебя каска сохранилась? Фашистская, трофейная, или своя родная? Отстань, нет у меня никакой каски. Я — просто так сказал.

Уходя, грозили пальцем: а картиночку-то ты мастихином... того...

Он не закрывал дверь на замок.

Он и за папиросами, и за водкой уходил — дверь нараспашку.

И грудь — в любой мороз — нараспашку.

Шарфы терял. Пальто однажды в чепке оставил.

Другое — на помойке нашел, надел: он не гордый.

И его обокрали.

Унесли самые красивые работы: натюрморты, пейзажи. Там, где розовые пионы и голубые речки. Те, где вожди кричали с трибун и толпы шли, как скоты на водопой, к черной разверстой яме, где лежал, связанный по рукам и ногам, человек в сугробе, а над ним стоял тоже человек, в форме охранника, и хохотал, из винтовки в лежащего целясь; те холсты, где плакал старик над трупом другого старика, а к ноге привязан номер, а папироса — жалкий окурок, и важно дососать, докурить, пока тебя ко рву не погнали под торчащими штыками, где тонкая девочка стояла перед зеркалом, а из зеркала на нее глядела взрослая женщина, седая прядь по черным волосами, седая прядь через лоб, из-под заиндевевшей ушанки, красная лента через серый бараний мех, черный наган в крепко сжатом кулаке, — и вот сейчас из зеркала, оттуда, из небытия, из мрака, из могильного серебра эта женщина выстрелит в девочку, в себя, и девочка упадет, а женщина, вдохнув дым после выстрела, затолкает наган в кобуру и пойдет прочь, и уйдет навсегда, — эти картины оставили.

Не тронули.

Ни к чему они вора́м были.

* * *

Вокруг него стонал и вертелся ад.

А он был так спокоен в сердце ада, в центре бури.

Он считал круги ада: раз, два, три. По кругам, хороводом вокруг него, как вокруг елки, ходили чудовища. У чудовищ блестели звериные глаза, на плечах мотались зверьи и птичьи головы, а руки и ноги у них мотались человечески, и это его не удивляло. В аду все возможно.

Вот появилось чудовище с насекомой головой. Со стрекозиной; гигантские шары вместо глаз отсвечивали загробным, кладбищенским фонарем, потусторонним лунным синим светом.

Он подумал: вот этого надо написать. Запечатлеть. Пальцы водили по скомканной на койке простыне, как век водили углем по холсту, пастелью по картону.

И он всерьез думал, что – да, рисовал. Даже уголь меж пальцев ясно ощущал.

А потом сзади на него прыгнул вепрь.

Черный и мохнатый. С кривыми, кругло загнутыми клыками, клыки даже в спираль заворачивались, такие длинные отросли. Вепрь хрипел и кряхтел. Жаждал его крови. А может, напротив, хотел подружиться. Приласкаться. Витя отшвырнул уголь, он укатился под чужую койку. Койки были пусты. Звери разгуливали по палате безнаказанно. Пол странно крепился. Уваливался набок. Витя попытался встать – и стал падать вслед за полом. Уцепился за спинку койки. Удержался на ногах.

Вепрь глядел на него. Пятачок подергивался. Черная шерсть топырилась вокруг морды. Зверь приоткрыл пасть, Витя мог видеть его розовый язык. Черные звери любят ночь. Сейчас ночь. Все они вышли на прогулку. На водопой.

Все они вышли на свободу.

Свобода! Что она такое? Он никогда этого не знал. Они все и всегда жили за решеткой. А тут, видишь ли, пол ускользает из-под ног, да это же качка, да они же – плывут! Как он раньше не догадался! Это Корабль. Он разрезает носом ночь и зиму. Ледокол. Слышишь выстрелы? Во льдах стреляют, а ледокол, грязный и неколебимый, идет себе и идет. Он-то знает свой путь. Он плывет к цели. Его ведет капитан. За ним стоит страна. А ты, жалкий зверек? Человечишко малый? Ты не знаешь пути. Тебе просто приказали сегодня помыть палубу. И ты драил ее шваброй, похожей на дохлого спрута. И плохо выполнил задание. Палуба как грязной была, как грязной и осталась.

И тебя наказали. Тебя наказывали всегда. Вот и теперь ты не отвертелся. Тебя бросили в трюм и дверь закрыли на засов. Тебя бросили в ад. Вот к тебе идет вепрь; за ним лось с рогами, обмотанными серпантином; за ним человек в кальсонах, кальсоны метут половицы, голые пальцы ног вцепляются в шаткую палубу, и у него голова кобры с раздутым клобуком.

Зверинец! Звери, вы матросы на этом Корабле. Но я-то не зверь! И не птица! Я все помню, кто я такой! Не троньте!

Витя присел у койки. Кабан шагнул ближе. Витя изловчился и по-бандитски, снизу, вприсядку, дал ему подножку. Кабан захрюкал, завизжал и рухнул у его койки. Шерстяная голова мазнула чернотой по руке Вити, и Витя закричал. Крика не получилось. Он беззвучно открывал рот и корчился.

Стрекоза была в дырявых трусах. Она танцевала вокруг Витиной койки. Жвалы шевелились. Приближались. Витя понял: сейчас она откусит ему голову. Пригнулся как можно ниже. Закрыв затылок ладонями, как при бомбежке. Может, это война, и его убили, и это жизнь за могилой, и это ад, и это суждено ему навсегда? Он лег на палубу, набок, обнял колени руками и покатился по доскам живым шаром. Откатился в угол. Здесь пахло хлоркой. За него, по приказу капитана, поработал хороший уборщик.

Тишина. Почему они все молчат, эти звери с человеческими ногами?

И как прорвало завесу. Поднялся до потолка трюма хор чудовищ. Крики обращались в музыку, вопли о помощи – в страшное пение, и оно рвало душу в клочки. Душа, грязная половая тряпка, ей уже вымыли столько гальюнов. Пение на взлете взрывалось, как самолет, полный горючим под завязку, разлеталось на струи пламени. Превращалось в судороги, во флаг, рвущийся на ветру, и оказывалось, что это его красное тряпичное сердце.

Чудовища кричали и выли. Витя зажал руками уши. Сам крикнул им: остановитесь! Я больше не могу! Он не мог, а они могли. Наседали. Накидывались. Тормозили его. Жвалы громадной стрекозы сдвигались и раздвигались возле его рта. Она сейчас поцелует меня. Она откусит мне нос! Измолотит мое лицо в красное крошево!

Дурак, она ищет дорогу к тебе. Она хочет понять тебя. Она любит тебя.

Витя заорал: уйдите! – и слишком неловко взмахнул рукой. Попал по уху кабану. Кабан взревел. Ударил Витю мордой в грудь; потом быстро встал на четвереньки и ударил снизу вверх, клыками, в живот. Хор чудовищ возопил громче. Свет под потолком трюма зажегся и погас.

Боль разрежала тело Вити надвое. Одна его половина орала и звала в ад людей. Другая замолчала навек. Оцепенела. Паралич страха охватил вторую половину; это страх звался неизвестным именем, Витя пытался его вспомнить, и, не вспомнив, понял, что его зовут Ничто. Ничто напозало. Еще минута, и оно пожрет его. Откуда оно ползло? Снаружи? Изнутри? Вдруг он понял, что – изнутри. Что он сам, всегда, всю жизнь, носил в себе Ничто, только не подозревал об этом. Заталкивал его внутрь, далеко, в темный и грязный угол. А оно оттуда вышло. Его разбудили крики человекозверей.

Беда ему. Конец ему.

Витя лег на раненый живот и стал уползать на локтях от Ничто. Слезы заливали его лицо. Чудища плясали вокруг. Взялись за руки. Свины хрюкали, волки выли. Высоко над головами адских зверей звучала победная морская музыка; Корабль плыл, прорезая носом музыку, и она одна, великая и славная музыка, успокаивала Витю, давала ему надежду, вливала в него, тонкой и ледяной струйкой привычной водки, силы уйти от неизбежного, удрать, утечь подледным ручьем: Ничто под килем Корабля, оно плещет на борт безвидной чернотой, а Корабль плывет, идет себе и идет, и его не остановить, не подорвать круглой детской игрушкой мины, не расстрелять из орудий вражеского линкора, карающего эсминца.

Витя полз к музыке. В аду живой оставалась она одна.

Он догадался: музыка и есть свобода, и до нее надо доползти, обязательно доползти.

Он подполз к двери трюма и уперся в нее головой. Ему в спину вцепились острые зубы. Ему удалось вытолкнуть из себя настоящий крик. Он его услышал. И его услышали.

Дверь палаты буйных отворилась. Тощая стояла на пороге, сонно моргала. Терла лицо костлявой рукой. Халат расстегнут. Платье сбито набок. Спала в ординаторской в одежде, кушетку шубой застелила. Господи! Опять эти буйные! Так и знала! Что вытворяют!

Нахватала ночных дежурств, так будь добра, трудись. Завтра утром придет твоя милая, твоя хорошая, твоя теплая вкусная ватрушка. Ах, какая вкусная! Единственный в мире человек, который ей нужен. Да вот она не нужна ни ей, никому. Впору хоть сюда ложись. И в эту палату. Прямо, прямо в эту. Чтобы все забыть. Забыть ту вздувшуюся под жгутом вену. То

лицо, испитое, белое, просящие, жадные, жалкие глаза. Сугроб лба. Лыды щек. Нежность и всепрощение небесных радужек. Ту последнюю судорогу, когда она, Тошя, ввела лошадиную дозу морфия и глядела, как в наслаждении покоя застывают искривленные мукой руки, как на закинутах лике белая зимняя кисть рисует счастье, только счастье, лишь его. Она убила человека, избавив его от мук. Подарила ему счастье. Чудо, что ее не засудили. А этих? Может, и этих всех она бы – если б ее воля – разом – под ту, с морфием, длинную иглу?

Всех – за одну ночь. И все счастливы. И никогда больше...

– Больной Афанасьев!

Витя не слышал. Забился под кровать. Выглядывал оттуда, как из траншеи.

Буйные слонялись по палате. Махали пустыми рукавами пижам. Один дрожал в смиренной рубашке. Другой стоял на подоконнике, слепо водил руками по стеклу. Вдруг размахнулся и ударил кулаком. Стекло не выдержало. Пошло трещинами. Осколок вывалился на пол. Мужик изумленно разглядывал свой окровавленный кулак. Вертел его перед носом. Захотел.

Тошя подобралась, как для прыжка. Она уже совсем проснулась.

– Маша! Ростовцеву двойную нейролептиков. Возьми любые, какие есть. Никифорова, Краско пусть ребята к койкам привяжут. Дементьеву смиренную сорочку. Афанасьеву... это Афанасьев? Или кто другой у нас?

Витя трясся.

Руки под подбородком странно держал, как напуганный заяц – обвисшие лапы.

– Афанасьев, Таисия Зиновьевна.

Сестра стояла прямо, солдатом на плацу. «Как и не дрыхла, чертовка молодая».

– Афанасьеву – аминазин!

– Может, валиум?

– А может, я тут врач, а не ты?

Витя, склонив набок мелко дрожащую голову, будто прислушивался к далекой музыке, слушал стук каблучков дежурного врача по половицам коридора.

* * *

Уколы делали свое нелегкое дело. Таблетки трудились. Белая горячка отходила в сторону. Ничто затаилось. Корабль плыл медленно и важно, и Витя уже приловчился слышать его дрожание, ритм его двигателей, сотрясения моторов и маховиков. Иногда ночью заявлялась Стрекоза. Вращала фасеточными радужными глазами. В глубине планетных шаров просвечивало золотое ядро. Витя хотел коснуться выпуклых гигантских глаз кончиками пальцев, но не смел; ему казалось – Стрекоза обидится, ей будет больно и неприятно, и она больше не придет никогда.

Вепрь тихо спал на своей койке. Он оказался очень толстым, не умещался на матраце, и ему к койке подставляли два стула, чтобы он не свалился на пол.

Был еще волк; той, первой ночью он был так громко и неистово, что залепил уши Вити воском отчаяния. А теперь волк прекратил выть. Он лежал мордой вверх, и она подозрительно смахивала на лицо человека. Только нос необычно вытянут вперед; ловко под человека замаскировался, ну да такие все они, лесные жители.

Витя днем вел себя тихо. Ночью вставал и шел куда глаза глядят. Корабль такой большой, и его так качает, а он такой маленький матрос, его никто не заметит. А ему хочется, как первому помощнику капитана, стоять на мостике и смотреть в призмальный бинокль. Что вдали? Айсберг? Чужой крейсер? Земля? Дрейфующие льды?

Шел смиренно, понурившись, никого не задевал, никому не досаждал. Смирный, тихий, с легким, то беззвучным, то чуть шаркающим шагом. Сбрасывал больничные шлепки; шел по коридору босиком, держась за стены, как слепой, и постовая сестра понимала: вот больной идет в туалет, – и равнодушно зевала, прикрывая рот половником согнутой ладошки.

Шел бережно, осторожно. Выверяя шаги. Нащупывая носком непрочную, неверную палубу. Палуба, она как женщина-истеричка: то тихенькая, то закачается, забьется и так закачает тебя, что только держись. Но тихо, верно шел Корабль, чуть потряхивался корпус ледокола от внутренней неслышной вибрации, и сюда, на палубу, не доносились шумы машинного отделения: переборки, металл и жесть скрывали их, таили, прятали.

Кого он искал в ночи? Он искал Маниту. Он знал: здесь она. Еще когда его брали за шкуру санитары и впахивали в странную горбатую машину, безбожно, больно задвигая кулаками ему то под ребра, то под лопатки, он услышал, как внутри машины переговариваются врачи. А может, врач и санитар. А может, врач и шофер. Мужской густой голос, должно быть, врачебный, такой уверенный и безошибочный, и научные слова знает, весомо изронил: «Третьего художника за этот месяц к нам везем. Скоро Третьяковскую галерею откроем». А подобострастный голосок, угодливо извиваясь, сбоку откуда-то вынырнул, заюлил: «Вот смех-то! Вот юмор! И что это они все, бедняжки, враз с ума посходили?! Они, должно быть...» Басовитый тяжелый, начальственный голос перебил угодника: «Да ничего не должно быть. Просто обыкновенные запои. Алкоголиков развелось – пруд пруди. Хоть мостовую вместо булыжников ими выстлай. У нас уже одна палата для делириумных есть. Пора еще две открывать. А места нет. Моя бы воля, я бы их всех...» Замолк. Юлящий голосок выждал паузу, опять зачастил: «Ну да, да! Всех бы – к ногтю! Всех бы – в расход! И страна бы наша от дерьма очистилась!» Басок хохотнул. «А может, лучше бы в расход не пьяниц, а завод шампанских вин?» Дальше тряслись в брюхе машины молча.

Витя не слушал; за него слушали его уши. Уши мгновенно отросли, увеличились, безобразно раздулись, он видел их, висящие, как у гончей собаки, вдоль щек, краем глаза. Глаз ужасался и молчал. Уши слышали, как одно имя серебряным мальком запуталось в частой ячеей чужой словесной сети. «А они, ну, художники-то, у нас лежат – что, знаменитые?» – «Ну как тебе сказать». – «Ну, в смысле, известные в Горьком? Или в Москве?» – «Тебе их имена ничего не скажут, боюсь». – «Ну интересно же! А вы скажите!» Кто-то закурил, и Вите в нос полезла пожаричная гарь дешевого папиросного дыма. «Ну вот Маргарита Касьянова. Хорошая, между прочим, художница. Я ее картины на областной выставке видал. «Золотая Хохлома». Такие упитанные бабы сидят, с плечиками и поварешками, расписывают. Празднично так. Жалко тетку. Искренне. У нее, видимо, белая горячка наложились на врожденную шизофрению. Еще одного дядьку привезли. Этот менее известный. Пропит насквозь и даже глубже! Николай... Николай... как его...» Молчали, дымили. Витины уши поникли и не слышали больше ничего.

А когда его сгрузили в приемном покое, как ящик, который разрешено мять, толкать и безжалостно кантовать, он доктору так и выкричал в бесстрастное стальное лицо: Манита! Она здесь, девочка моя!

Манита – это было все, что оставалось у него в пропитой, испитой, выпитой жизни.

Он приходил к ней в мастерскую. Он не кидался на нее самцом, зверем; не молил ее униженно ни о чем; он только садился на табурет, заляпанный масляной краской, за ее спиной и следил, как она работает. Жадно, как бабочек, ловил ее быстрые мазки по холсту сачком пьяных ресниц. То и дело вынимал из кармана чекушку и прикладывался, целовал стеклянное горлышко вместо Манитино пересохшего рта. А может, Манита ждала, что он ее возьмет да поцелует? Робел. Выжидал.

И вот, дождался: они оба в дурдоме.

Врешь ты все, на Корабле. И Корабль плывет. И они на нем вместе.

Он искал ее в дальних палатах. Искал в кладовых и пищеблоках. Заглядывал в ординаторскую, и врачи, поедающие скудные бутерброды, тарасились на него и брезгливо махали руками: уберите этого! Санитары оттаскивали его, а он просил извинения. Однажды встал на лестничной площадке и перегнулся через перила вниз. И отшатнулся: внизу был не вольный воздух, а крепкая белая, цвета снега, сетка. Сеть. Они все рыбы. И зверей поймали. И матросов на Корабле сетью замотали. Но они же не акулы! Они неопасны! Они никогда никого не укусят!

Бесполезны поиски. Нет нигде Маниты. Надо успокоиться и глотать горстями белые зимние таблетки. И послушно драить палубу. Серые щупальца мертвого осьминога мотаются под ногами. Брюки клеш, морские. Витька, ты же сухопутный пацан. Ты же в окопах, в блиндажах. Море тебе в новинку. Качка изматывает. Ты дольку лимона пососи, и тошноту как рукой снимет.

* * *

Она сама нашла его.

И тоже ночью.

На ужин давали манную кашу. Синичка размазала ее по тарелке. Ни ложки не съела. Старуха на дальней койке взяла тарелку и вывалила кашу себе на темя. Каша медленно, белым воском, стекала у Старухи по волосам, по вискам, по щекам. Обритая ела кашу без ложки, вылизывала тарелку языком, потом била в нее, как в бубен. Манита долго смотрела на застывшую кашу.

– Я не буду есть лед, – тихо сказала она каше. – Я не буду есть снег.

Поставила кашу на тумбочку. Санитарки влетели с тряпками и ведрами, ругались мусорными словами. Оттирали от каши полы. Одна зло вытерла голову и лицо Старухи отжатой половой тряпкой. Старуха плюнула санитарке в лицо. Получила мокрой тряпкой по щеке. Опять сидела бездвижно, будто ее нарисовали на старой церковной фреске.

Маните почудилось – Старуха вместе с койкой поднялась над полом и висит в воздухе.

Не она, а легкая нежная тень выскользнула из палаты. Шла медленно, стараясь не упасть. Голова кружилась. Корабль вымотал душу постоянной качкой. Штормило то и дело. Матросы старались, исполняли приказы капитана. Чтобы было чисто; чтобы было сыто; чтобы было здорово; чтобы было бессмертно.

Но было грязно, и было голодно, и все были больны, и все умирали.

Неужели надо в ближайшем порту менять команду?

Чутье вело прозрачную тень. Тела не было. Это душа шла навывлет по пустынному коридору. Отбой на Корабле. Пробили склянки. Спят ампулы

и шприцы в своем тесном кубрике. Иди, тень, не качайся. Ты сама знаешь, куда.

Она распахнула дверь. Капитан приказал никому не запирается на ключ. И замков на Корабле не держали. Сразу увидела его. Поверх голов всех чудовищ. Чудовища, похожие не людей, спали: кто свернувшись калачом, кто вытянувшись морковкой, кто по-обезьяньи ухватившись за прутья кроватной спинки, кто сидя, с открытыми глазами. Все спало: печенье в тумбочках и полотенца на крючках, расчески в ящиках и яблочные огрызки в карманах пижам; выключенные лампы в плафонах и разношенные тапочки, надписи засохшей кровью на стенах и детские несчастные погремущки под подушками. Все спало; все спали; и буйные желают уснуть иногда. Он один не спал.

Лежал и глядел в никуда.

И он поднял рыжую, уже седую кудлатую голову с жесткой, с льняными завязками, подушки и увидел на пороге нежную тень.

Тень рванулась к нему. Перелетела моря и океаны. Льды и забереги. Пронеслась над пространством, над его забытым временем, и сама стала временем, и он вдохнул его, как букет – среди зимы – полевых, на войне, вечных цветов.

– Манита!

Тень превратилась в женщину и осторожно села на его койку.

На край койки. Присела, вот-вот улетит.

– Стой!

Чтобы не улетела, цапнул ее за руку. До боли. Сморщилась. Руку не отняла.

Да ведь и живая, живая. Рука горячая. Косточки хрупкие.

Напрягла мышцы. Рука отвердела. Манита пожалала Витину руку – тоже крепко, по-мужски. И он чуть не охнул.

Так, вцепившись в руки друг другу, смотрели друг на друга. Расцепиться боялись.

Беззвучный смех сотряс Маниту. Щеки Вити покраснели. Красные щеки, красное седое сено волос. Яблоки в стогу.

– Откуда ты?

Не спросил: «узнала».

Смех сбежал с ее лица. Убежал далеко. Мышкой прятался в углу под батареей. Чуть теплые казенные батареи, не согреешься. Так и дрожи ночь напролет под солдатской верблюжьей попоной.

– Я чувствовала. Меня вели.

– Ну да. Понял.

Они всегда понимали друг друга.

Манита прошептала:

– Пусту руку...

Он разжал пальцы, будто выпускал полузадушенного воробья. Манита поднесла онемевшую руку ко рту, дула на нее, трясла ею.

– Кто ты?

Он понял: она спрашивает серьезно. Не шутит.

– Я – Витя. Я твой медведь. Рыжий медведь.

– Витька, медведь... – Лицо женщины прояснилось, туча боли убежала. – Тебя недавно привезли. Я знаю.

– Манита! Я здоров как бык.

Она зажала ему рот рукой. Ее ладонь пахла яблоками.

– Я знаю.

– Я вырвусь отсюда. И тебя вырву.

Женщина покачала головой. Ее кудлатые мощные волосы были неряшливо заплетены в две толстых черных косы. Косы висели за спиной, как две черных, в иле и тине, снулых рыбы.

– Свобода, Витя. Она нам теперь будет только сниться.

Ниже наклонилась над ним. Одна коса упала из-за спины и мазнула Витю по губам. Он поймал косу обеими руками и к губам прижал.

– Не только. Мы же выживем в этом аду. Через месяц-другой мы станем, как они все.

– А они? Кто такие они? Давно они тут?

– Манита. Только тебе скажу. По секрету. – Он потянул ее к себе за плечи; она еще ниже склонилась, щекоча лицом его заросшее рыжей бородой лицо. – Это не люди. Звери это. Видишь, они лежат, на головы натянули простыни. Чтобы не видели, кто есть кто. А тут все. И крокодилы, и бегемоты. Меня чуть кабан не задрал. Я в такой палате – от берданки не отказался бы. Эх, где мой карабин.

– У тебя есть карабин?

– Ну да. В мастерской. Меня из дома брали. Ничем не мог отбиться.

– Кто на тебя капнул?

– А пес знает. Но не соседи. Я им до лампочки.

– И почему? Почему?

– Так думаю: это сверху идет. Им... ну, им... одна моя работа не понравилась. Ну, помнишь, где подземелье. Вроде московского метро. И девочка стоит. Вроде тебя, лохматая. Да я ж тебя везде пишу, ты же знаешь. Стоит и в руке свечу держит. Подсветка там такая отличная получилась, внизу, вроде как изнутри. Глаза горят и волосы горят. А вокруг тьма кромешная. Рембрандт завидует. Ну, помнишь эту работу.

Ее лицо совсем рядом. Глаза входят в глаза. Щека налегает на щеку.

И вдруг сморщилось лицо, мучительно искривилось; силилось узнать, увидеть.

– Витя... Что такое работа?

– Ну, холст тот мой новый! Холст!

– Что такое... холст?

Отпрянула. Силилась разобраться. Повторяла одними губами: холст, холст, – шепот полз по палате, ускользал мышью.

Витя уперся в матрац ладонями и резко сел в койке. Панцирная сетка железно всхрипнула.

– Ну, полотно!

– Какое... полотно?

Лицо женщины окоченело маской непонимания, жалости к себе, глупой и ничтожной.

Витя схватил ее за руки.

– Манита! Ты ведь Манита, да?

Кивнула. Жалобно моргали круглые птичьи глаза.

– А я – Витя, ведь да?!

Опять кивнула.

– Видишь! Ты – помнишь!

Снова кивок.

– Я Витька Афанасьев, художник, член Союза с сорок девятого года! А ты Маргарита Касьянова! Художница тоже, ешкин кот! Ты! Художница!

Тряс ее за плечи. Голова ее бессильно болталась. Глядела растерянно. Оборачивалась. Луна светила в окно пристально и строго; то исчезала за чередой бегущих туч, то выплывала, сияя ясно, ярко, обреченно. В свете Луны лицо и глаза Маниты испускали изнутри голубой свет – из детской глубины, с испода сна, из-за стертой амальгамы времен.

– Художница?

– Манита! Да ты помнишь последнюю выставку?! Ну, ту, где ты показала работу «Летящая»?! Ешки-тришки! Да ведь ее ужасно ругали тогда на худсовете! Просто... размазали... манной кашей... по тарелке...

В ее глазах родились слезы.

– Витечка... Я ничего... не помню...

Он сильно, крепко обнял ее. Она дрожала. Он гладил ее по спине, по плечам. Притискивал ее голову с плохо заплетенными школьными косками себе к шее, к рыжей лешей бороде.

– Но ты знаешь хотя бы... где ты?

Говорил неслышно, но она все слышала.

– Знаю. На Корабле. Это тюрьма. Мы тут осужденные. Осужденные матросы.

– Да, и нам велят драить палубу.

– Ничего нам не велят. Палубу тут драят наемные тетки. Мы матросы понарошку. На нас делают опыты. Приходят люди в халатах и пытаются. Меня уже пытали. Тебя еще только будут.

– Боже! Что ты городишь!

Отстранил ее от себя. Бегал бешеными глазами по ее соленому мокрому лицу.

– Правду. Меня пытали адской болью. Я ее перетерпела. И потом уже все стало все равно. И я перестала все помнить. Кроме тебя. Я тебя помню всегда. Ты Витя.

Он сцепил отчаянными руками ей худые стальные плечи. С такими сильными плечами – прыжки в воду, победы на дистанции. С такими руками – рожь жать, снопы вязать.

– Я Витя.

– Ты моя надежда.

Его пронзил ток. Если он – надежда, то кто она ему?! Она сама обняла его за шею обеими руками. Сотрясались, лицами прижимались, мокрые щеки блестели в столбе лунного сиянья, играла и мерцала звездная мошкара. От батарей шло ледяное дыхание. Отопление исчезло. Время исчезло. Можно было глядеться в зеркало Луны и видеть там не себя, а волка, медведя, орла с загнутым царственным клювом.

– Витенька... Да как же тут... Я уйду... а они тебя – загрызут...

– Я хищный лис. Я рыжий лис! Не загрызут. Я хитрый и улизна. Спрячусь под койку. Вот ты-то там как? Ты сегодня... ела хоть что-нибудь?

– Я... не хочу... не могу...

– Просьба одна: ешь! Их ужасную кашу! Нам нужны силы. Чтобы убежать.

– Убежать... Думаешь спрыгнуть прямо в воду?

– Куда, куда?!

– В воду. Ну, в океан. В ледяной океан. Там мы проживем только три минуты. Ну, пять. А потом уйдем к Луне.

Он уже со всем соглашался.

– Хорошо. К Луне так к Луне. По льду?

– По воде. Ты умеешь ходить по воде?

– Нет. Не пробовал.

– Я тебя научу.

Он выкинул ноги из-под одеяла. Встали, не размыкая объятий. Обнявшись, подошли к окну. Крестовина рамы зачеркивала белый седой мир за грязным стеклом. Наружная решетка грозно подтверждала: выхода нет и не будет. Манита усмехнулась. Витя поправил рукой ей падающую со лба на щеку и губы, не попавшую в косу прядь. Заправил за ухо.

– Чему смеешься?

Он был ниже ее ростом, коренастый, потешный, несчастный колобок с огненной бородой. Манита наклонила к нему лицо. Он снизу вверх, любовно, жадно, утешающе глядел в ее глаза, и она отвечала ему глазами. А потом ответила губами:

– Над нами смеюсь. Мы глупые. Мы думаем, что все кончено. И они нам это внушают. А все только начинается.

– Что... начинается?

Мог бы и не спрашивать. И так уже понял. Ужаснулся. Восхитился.

Он ждал именно этого слова. И оно вылетело из нее и полетело к его губам. И вошло в него, и он проглотил его, как в запрещенной, разрушенной церкви глотал причастие, случайно, стыдась, тайком, однажды в жизни, уже после войны, в осенней деревне, в заброшенном разбомбленном храме за околицей, и попик туманно, глазом озера под плевой льда, глядел на его испачканные болотной тиной сапоги, и дрожал потир в перевитых синими венами руках, и летел белым голубем голос, и дьякона не было, убили на войне.

– Наша смерть.

Луна заливала их странным светом: он то гас, то вспыхивал.

Поэзия

Александр БОБРОВ

Александр Александрович Бобров родился в 1944 году на станции Кучино Московской области. Окончил Литературный институт им. М.Горького. Автор 27 поэтических сборников, нескольких книг прозы, ряда авторских телепрограмм. Кандидат филологических наук, член редколлегии журнала «Русский Дом», лауреат премии им. Дм. Кедрова «Зодчий» и премии им. Ал. Фатьянова «Соловьи, соловьи...».

Член правления Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии. Живет в Москве.

СЛАВЯНСКАЯ ДУША

Славянские слова

Сердце

звучанием слов веселя,

Я вспоминаю вновь:

«Родина» – так по-словацки семья,

«Ласка» – значит, любовь.

В речи славянской,

я понял давно,

Образность – это суть.

Вот по-болгарски: «прозорец» – окно –

Хочется заглянуть.

Россыпь извечных основ и слов

Радует и зовет,

Родственны «часопис» и часослов,

«Хоро» и хоровод.

Узы, которых не развязать,

Милость даруют вновь.

Кстати, по-польски если сказать:

«Милошчъ» – это любовь!

* * *

Веял ветер над скудным жнивьем,

Навевал по проселкам угрюмым:

«Мы стареем быстрее, чем живем», –

Что-то есть в этом выдохе мудром.

Средь бессониц и сонмища дел,

Под ветвями, что мрачно нависли,

Ворон искоса как-то глядел,
Одобряя осенние мысли.

Дальше – сумерки, тишина
И снега по всему Подмосквовью,
Но опять возвернулась весна
Не с желаньем любви, а – с любовью.

Я за это всю мудрость отдам.
Старый ворон снимается с криком.
Верю смеху, припухлым губам
И глазам твоим полуприкрытым.

Оттенки

Садок вишневый коло хати...
Тарас Шевченко

Слова Тарасовы крылаты,
И я приму, как вещий знак:
«Садок вишневый коло хати» –
Не переводится никак.

Оттенки тонкие – богаты,
Уничтожение их – претит.
«Садок вишнёвый возле хаты» –
Похоже.
Только не летит.

Стою под вечер на кургане,
Степной безбрежен окоём.
Быть может, только мы – славяне -
Сполна всю разницу поймём.

Жизнь отца

Я подумал опять на седых берегах Селигера,
Где отец все зовет меня издалека:
Как же мало узнал я о жизни отца-офицера,
Подпоручика Кобринского полка.

Я стеснялся спросить и запутаться в датах,
Безвозвратно казались они далеки:
Галицийские веси, прорыв легендарный в Карпатах
И ранение шрапнелью у горной реки.

В доме список хранился с печатью двуглавой,
Где бои внесены за высоты Карпат,
Но они затмевались недавнею славой,
Той, которой оваян был
старший мой брат –
Героический сын его, павший недавно.

До того и скорбел, и гордился отец,
Что не помнил про орден с отличием – Анна –
Про награду за бой у реки Коропец,
За лихой контрудар от Поповой могилы...

Много шрамов в обычной отцовской судьбе,
Он в российских просторах отыскивал силы,
Чтобы молча носить все осколки в себе.
Я ведь помню седым его и постаревшим,
Сколько шли по лесам и озерам вдвоем...
Вот он тихо сидит над костром прогоревшим
И как будто не слышит о прошлом своем.

Но без этих боёв супротив супостата,
Как ни думай с позиций текущего дня –
Нет ни чести фамильной,
ни старшего брата,
Ни меня...

Голоса над окопами

В древнем Луцке сказал мне собрат,
Побродивший солдатскими тропами:
«Поезжайте туда, где звучат
Голоса над окопами!».

Это – Цумань и лиственный лес,
Весь покрытый волнами-траншеями,
Где вершилось одно из чудес
С марш-бросками, трофеями.

Здесь Брусиловский начат прорыв,
Упокоены русские воины,
Здесь торжественный слышен мотив
Вперемешку со стонами.

Кладовище и памятный знак
Охраняются честно лесничими,
Но в столицах – покажут кулак
Да со взглядами бычьими.
Всё листают события назад
И считаются только с европами...

Над Волынью призывно звучат
Голоса над окопами.

На реке Коропец

Знаю,
бумаги отца перерыв,
Всё о тернопольских ратных дорогах.
Здесь продолжался Луцкий прорыв,
Здесь начиналась слава Бобровых.

В Монастыриске река Коропец
Тихо считает свои перекааты.
Здесь наступал безусый отец,
Здесь опочили наши солдаты.

Общее кладбище русских могил
Серые знаки с австрийскими вместе –
Старший мой брат тогда не ходил
По галицийским брамам и весям.

Некогда было – учился, служил,
В небо взлетая как сталинский сокол.
Он по-геройски думал и жил,
Он по-советски верил высоко.

Вот потому-то средь русских равнин
Я проходил по траншеям оплывшим.
Кланяюсь батю: «Я не один!»,
Кланяюсь Коле...

Не отступившим
И не предавшим – слава вовек!
Солнце победы над ними лучилось.
Я пережил их. Падает снег.
Я их продолжил – как получилось...

СС «Галичина»

Винтовка и провизия,
И карта – всем дана.
Фашистская дивизия
СС «Галичина».

Вояки круглолицые
Одно усечь смогли:
Мешают жить Галиции
Жида и москаля,
Поляки с комиссарами –
Ну, все, кто против них...

С претензиями старыми
Фашистский дух возник.
Вороной, а не лебедем
Пониже куполов
Витают они над Лембергом,
Как немцы звали Львов –
От короля Батория
До самостийных бонз...

Но всё-таки история
Не даст пойти вразнос.

На выходы дурацкие
Смотрю с тоской опять,
Но реки прикарпатские
Не повернутся вспять.

Угерске-Градиште

Ветер осенний свищет,
Дождь переходит в град.
Горное Городище
Гордо зовётся град.

Средневековая площадь,
Старая цитадель.
Мирно пасётся лошадь
Вне городских земель.

Сколько же мест прекрасных
Просится в стих, в слова.
И от моравских красных
Кружится голова.

Пью за любовь и зоркость
И заживление ран,
За городищ упёртость,
За торжество славян!

Дальше дорога мчится
И подаёт мне весть:
Славков – Аустерлица,
Это, конечно, здесь.

Буду вздыхать о старом
Возле моравских сёл.
Русский солдат недаром
Дважды по ним прошёл.

Он и в гористых чащах
Не запятнал мундир...
Выпьем за них – молчащих,
Спасших славянский мир!

Гоголевский Нежин

...А в Нежине тоже зима.
В окошко гляжу отстранённо,
По белому ходит ворона,
Чёрна, словно пашня сама.

Нам встретиться здесь предстоит,
Где ветер, врываясь на площадь,
Плакучие ивы полощет,
И Ленин победно глядит.

Пусть город немного чужим,
Как Гоголю, будет казаться –
Фартовый, торговый, казацкий –
Он высветлен взглядом твоим,
Он выставлен снегом родным,
Летящим из северных далей,
Из гоголевских реалий...

Обнимемся и постоим.

1 апреля. Миргород

На просторах Полтавщины – утро.
Просветляется в реках вода.
Поступил я бездумно и мудро,
Что рванулся весною сюда.

Над озимыми небо слоисто.
Этот песенный край – знаменит,
И, как будто струна бандуриста,
На Диканьку дорога –
звонит.

Нам не с памятью надо бороться,
Не приветствовать брань и раскол,
А курорт вспоминать «Миргородский»,
Где для всех серебрится Хорол.

Расточаются сумрак и погань,
Поднимается солнце в зенит,
И Микола Васильевич Гоголь,
Улыбаясь, с портрета глядит.

История государства Российского

Игра судьбы? А может, неспроста?
Но том «Истории...» российской обрывался
На том, что Тихвин пал
И Ладога взята,
«Враг наступал.
Орешек не сдавался...»

Смерть выбила перо. Но жизнь права.
И кто б продолжить
карамзинский труд ни брался,
Он должен помнить – всякая глава,
Пусть горькая,
таит в конце слова:
«Враг наступал.
Орешек не сдавался...».

Эй, славяне!

Славянский мир расколот и загублен.
Я описать провалы не берусь –
От ельцинских балканских загогулин
До путинских тирад про Беларусь.

Но прошлое – не призраки в тумане.
В Берлине шли последние бои,
И наши окликали: «Эй, славяне!»,
Поскольку понимали, кто – свои.

Сегодня этот оклик – без ответа,
Скукожилась славянская душа...
Ну, ничего, переживём и это,
В воде через соломинку дыша.

Игорь КАРАУЛОВ

Поэт, переводчик, публицист. Родился в 1966 году в Москве. Окончил кафедру геохимии ландшафтов и географии почв географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносов.

Автор трёх поэтических книг. Публиковался в журналах «Знамя», «Арион», «Сетевая поэзия», «Новый берег», «ШО», «Воздух», «Критическая масса» и др. Лауреат Григорьевской поэтической премии (2011). Живет в Москве.

А ПРОШЛОЕ КАЖЕТСЯ СЛОН...

конечно

Конечно, пили бы баварское,
закусывали бы колбаскою,
чехонь презрели бы, тарань.
Конечно, были б юденрайн.
И небосвод железной каскою
от нас закрыл бы нашу высь.

А нынче пьем американское.
Кому мы, господи, сдались?

КОКЛЮШ

Смерть — детская болезнь, похожая на коклюш:
разок переболеть, а после уж не сдохнешь.
Покашляешь, походишь на уколы,
попьешь тягучую, смолистую микстуру.
Зато три недели не надо в школу
и еще две недели на физкультуру.

газель

Газель ноль пятый регион
плетется по грязи.
Здорово, дедушка Харон,
меня перевези.

Твой замусоленный брезент
не спутаю с другим.
Твой горный говор, твой акцент
невоспроизводим.

Что у тебя там за мешок
мелькает в уголке?
Какого цвета порошок
лежит в твоём мешке?

Наверное, ты знаешь край,
где персик и гранат?
Перевези меня в твой рай,
где гурии галдят.

Но нет, не гурий — гарпий рой
галдит на берегу,
и это ты для них герой,
а я для них рагу.

Так что езжай себе, Харон,
вдоль наших серых стен
и в свой торговый павильон
вези свой гексоген.

харьков

Я еще помню те времена,
когда меня приглашали в Харьков.
А теперь нет ни времени, ни меня,
ни того, кто мне это все накаркал.

Я помню обглоданный небоскреб —
это была гостиница «Харьков».
Огромного номера стылый гроб
и снежный путь к ресторану «Харьков».

Мимо кинотеатра «Харьков»,
мимо прачечной, тоже «Харьков»,
и все вокруг пело, кричало «Харьков»:
коты, кикиморы, игуаны.

Я помню, как смоляные перья
сыпались с неба набором лего,
и вдруг из перьев, и труб, и снега
собрался ворон в одно мгновение.

Три дня я жил у него во чреве,
познакомился с его требухой.
Она оказалась девушкой неплохой,
и мы решили собой населить деревья.

Маринованной тыквой мы друг друга кормили!
Там, куда ни придешь, всюду подают тыкву:
пицца с тыквой, спагетти с тыквой и чахохбили
тоже с тыквой в том просмоленном мире.

Помню, как я очнулся на верхней полке
и заплакал над стихами из антологии
так, как родные не плачут в судебном морге.
А были эти вирши совсем убогие.

прохожий

Лошади едят овес и сено.
 Пробирает ветер до костей.
 В Киеве готовится измена.
 Словом, нет на свете новостей.

Я кричу: «Остановись, прохожий»
 сквозь бетон панели домовой.
 Кистеперый или иглокожий,
 зомби или нашенский, живой.

Город известкует наши лица,
 из улыбки делает оскал.
 Я забыл, зачем остановиться.
 Это древний темный ритуал.

Но по кромке мерзнущего пруда
 он уйдет в дальнейшие века,
 на ходу целуясь, как иуда,
 с бабочками снежного полка.

ЯМЩИК

Ямщик, не гони, не гони.
 Рассказывать будешь ментам.
 Мелодию первой любви
 не так подбираешь, не там.

Зевают кареты, возки.
 Спит остров под мерзлой водой.
 В мелодии поздней тоски
 куражится гном с бородой.

Мы едем, как будто на слом
 куранты везут упыри.
 А прошлое кажется слон:
 на ощупь поди разбери.

Что было, чего ни фига
 не помню, что мимо прошло.
 Где хобот его, где нога,
 а здесь почему-то крыло.

Ганна ШЕВЧЕНКО

Родилась на Украине, в г. Енакиеве Донецкой области. По образованию финансист. Работала кассиром, бухгалтером, экономистом.

Автор книги короткой прозы «Подъемные краны» (М., 2009) и книги стихов «Домохозяйкин блюз» (М., 2012). Участник совещания молодых писателей Москвы в ЦДЛ, Форумов молодых писателей России в Липках. Лауреат международного конкурса драматургии «Свободный театр» (Минск).

Член Союза писателей Москвы. Живет в Москве.

Я ЭТОТ ДЕНЬ ПРЕДВИДЕЛА КОГДА-ТО...

* * *

мы окна мыли мыли в октябре
 вокруг смотрели
 стекла мыли мыли
 мы видели себя на пустыре
 в холодном ветре
 в облаке из пыли

мы там стояли на сухой траве
 смотрели на себя в окне немытом
 и думали что это в синеве
 стоят другие
 сгорбленные бытом

лежал в тумане кабельный завод
 за кочегаркой облако качалось
 а рядом начинался кислород
 и больше ничего не начиналось

а мы стояли на сухой траве
 дышали пылью и в окно смотрели
 на то как эти сгорбленные две
 маячили в проеме еле-еле

и мыли окна током чистых вод
 размахивая тряпкой по спирали

лежал в тумане кабельный завод
 а мы как мамы раму протирали

* * *

Сощурившись, на сумерки глядит
 монокль, глаз оптического мира,
 на то, как прошлогодний троглодит,
 структуры создает из кашемира,

на то, как разбухают словари,
в обложках дрожжевых и златотканых,
на то, что луч полуденный творит,
рисуя голограммы и туманы.

На коже лета выжжено клеймо,
июнь похож на древние скульптуры –
об этом я пишу тебе письмо,
едва касаясь чувств клавиатуры.

Не будем ждать и думать головой,
Конфуций прав, суждения неважны –
давай смотреть, как мальчик неживой
вонзает иглы в бабочек бумажных.

Как жаль

Холодный день, окраина Подольска,
в окне стоит природа как живая,
морозно, но еще не скользко,
я этот день хорошим называю.

Я этот день предвидела когда-то,
я говорила: ветки опустеют,
мне кажется, я называла дату,
мне кажется, что я гордилась ею,

вот этой датой, названною кожей,
предчувствованной снами и кровями,
что я однажды закричу: о боже,
все небо заштриховано ветвями!

И стану звать с какой-то дикой жаждой
под слоем неба спрятанное солнце.
Как жаль, что день закончится однажды,
как жаль, что ночь когда-нибудь начнется.

Резиновая Зина

Есть у куклы Зины свои печали,
у ее хозяйки характер мерзкий –
то придушит, голую, в одеяле,
то за косу дергает изуверски.

То играет в клинику, пузо режет,
достает из полости батарейку,
то откроет краны, под душем нежит,
то посадит в клетку, как канарейку.

А вчера швырнула ее котяткам –
пусть играют в хищников, чешут зубки.
И лежала Зина, зверьем распята,
подставляла пальцы кошачьей группке.

На полу тепло. На полу прохладно.
Проступает лик в BJD-гримасе.
Что творят, не ведают, ну и ладно,
у нее сто жизней еще в запасе.

* * *

Я эту ткань не выбирала,
меня к ней женщина пришила,
она полдня меня рожала,
затем в коляску положила.

А я лежала и смотрела,
как мир баюкался устало,
как грудь в халатике пестрела,
как молоко в ней закипало.

Ах, мама, мамочка родная,
твои лекала неказисты,
мне ткань досталась набивная,
но напортачили стилисты.

Я вещь полезная для дома,
я мою окна и посуду,
я с миром моды не знакома
и никогда уже не буду.

Ведь жизнь летит, и очень скоро
я стану бабушкой корявой,
меня, как выцветшую штору,
в комод на тряпочки отправят.

* * *

Существований первый признак –
воздушных форм фотоальбом.
Второй – являющийся призрак
в халате бело-голубом.

Случайных фактов картотека,
предметов уличный излом:
соседний дом, базар, аптека,
скамейка в сквере за углом.

А дальше пропасть, дальше пропасть:
огонь, вода, случайный всплеск,
крыла взлетающего лопасть,
хвоста чешуйчатого блеск.

Срок проявления недолог,
изношен пятый элемент,
внезапно бог-нейробиолог
закончит свой эксперимент.

* * *

Заколочен досками колодец,
возле грядок брошены лопаты,
незнакомый и нетрезвый хлопец
курит возле дедушкиной хаты.

Выплывет хозяйка, озираясь –
что хотят незваные шпионы?
Выплеснет помой из сарая
в бабушкины флоксы и пионы.

Детство отшумело и пропало,
убежало странствовать по стерням,
затерялось в гуще сеновалов,
растворилось в воздухе вечернем.

Лишь стоит за сломанной калиткой,
возле обветшалою крыльца,
нерушимый, крепкий, монолитный,
запах бузины и чабреца.

Проза

Андрей ИУДИН

Родился в 1953 году в Горьком. Окончил Горьковский госуниверситет, работал инженером-программистом, вздымщиком на Урале, журналистом, редактором газет.

Автор романов «Инсайт» и «Морф», вышедших в издательстве Za-za Verlag, Дюссельдорф.

Редактор альманаха «Земляки», шеф-редактор журнала «Нижний Новгород». Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

НЕЗАБЫТЫЙ

С утра я разбирал и вытаскивал мебель, потом собирал и двигал по кабинету новый офисный гарнитур для главбухши. Отвез в архив на тележке груды ненужных папок. Папки были дешевые, со шнурками, в ломких от старости переплетах, – наверное, еще времен молодости ее и фирмы. Она хотела открыть одну, но узелок затянулся, она махнула рукой. Напоследок сгоняла меня в буфет и велела оставить сдачу.

Конец рабочего дня я досиживал в подсобке, катал шарик на мобильнике и думал, как распорядиться сдачей (осталось прилично, даже слишком) и чего захочется тетке в следующий раз. Позвонил вахтер:

– Тут тебя спрашивают. Выйдешь?

– Кто спрашивает?

– А я знаю. Человек. Сам говори.

– Алло? – Голос в трубке поменялся. – Господин (назвал мою фамилию)? Алло, вы слышите?

– Да... – ответил я с задержкой, – да, слышу.

У него было южное глухое «г», нечастое здесь, в центре России. Но ведь и не совсем уж редкое, верно? Мало ли наших посрывались тогда с родных мест куда глаза глядят, лишь бы подальше – от войны, от крови, от своих, да так и не вернулись. Я сам такой, только что не «гэкаю» – пару лет как избавился, поборол себя.

– Трубку барахлит, – сказал я. – Вы кто?

– Вы меня не знаете, но заочно, так сказать... – голос волновался. – Мы земляки, днепровские оба...

– И что с того? – Меньше всего я нуждался теперь в земляках. – Вообще, у меня тут народ, так что...

– Вы были дружны с моим сыном, служили вместе...

– Нигде я не служил.

– Ну, то есть не служили, да, да, понимаю, – голос заюлил, зачастил, – но... общались, в общем. На майдане... и потом.

– Как его зовут?

– Юрко, Юрко Пищик. Звали.

Я следил за шариком на экране мобильного, выдерживая горизонталь. Шарик покачивался на входе в тупик, не дойдя до штрафной лунки.

Ничто во мне не дрогнуло, не отозвалось. Словно это случилось вчера и не минули годы переездов, мыканий по квартирам, работам. Словно ничего не забылось. Наверное, потому, что как бы хорошо ты ни забыл, кто-то в твоей башке все равно продолжает помнить. Сторожит закоулок памяти, чтобы ты не сунулся по ошибке.

— Вы были вместе последние дни, вот я и хотел... ну, вы понимаете. Просто поговорить.

— Да мы не так чтобы дружили...

— Ну, все-таки... Понимаете, мне любая мелочь... Он про вас рассказывал, по телефону, хорошо отзывался, очень хорошо, да... Фотографии присылал. У вас тогда еще другая фамилия была.

От той фамилии я избавился легче, чем от «гэканья», просто женился на пару недель. Но он-то откуда знает? Как меня нашел? То есть, найти-то можно любого, и под другой фамилией, и в другой стране (да уж какая она другая). Было бы желание. И терпение... И деньги, конечно. Он вот нашел. Зачем? Поговорить?

Я качнул телефон, шарик упал в лунку.

— Тут ниже по улице парк, на другой стороне. — (Конец рабочего дня, ни к чему нам вдвоем отсвечивать в вестибюле.) — Подождите на лавочке, я скоро выйду. Как вас узнать?

Я еще посидел в подсобке, подумал. На стеллаже стоял ящик с инструментами, из мотков проволоки торчали плоскогубцы, молотки, набор отверток... Идиотская мысль. У него такой усталый печальный голос. Если бы он что-то знал и хотел моей крови, мог бы просто отнести заявление. Ему нужны воспоминания. Мы поговорим и разбежимся. Поговорим, поскорбим... помянем — почему нет? В крайнем случае, опять перееду, я привык, хоть и надоело. Подамся дальше, за Урал. Говорят, там «гэкают» чаще, чем здесь. Да, так будет лучше. Опять уехать, забыть.

И чтоб тебя забыли. Хорошо бы, все.

Он и выглядел под статью своему голосу, таким же усталым и печальным: неказистые усы, двухдневная седая щетина, мешки под глазами. Потертый костюм, тяжеловатый по летней поре. На скамейке под рукой — дорожная сумка. Увидев меня, он взял ее на колени.

— Как вас зовут? — Я не сел рядом, и он поднялся сам, протянул руку. Он был ниже меня и легче килограммов на двадцать.

— Сергей Петрович. А Юрко... не говорил? — Он, кажется, огорчился.

— Говорил, — соврал я, — но столько лет... сами понимаете.

— Да, да, понимаю... Пять лет, шестой уже...

— Так о чем хотели поговорить?

— О последних днях, об обстоятельствах. Что вспомните...

— Но вам же сообщали, должны были.

— Да, попал плен, замучен сепаратистами. Но это все официоз, неживое... извещение, свидетельство о смерти, личная скорбь какого-то клерка в погонах. Да и напутать что-то могли, при тогдашней-то неразберихе.

— То есть, вы думаете, он...

— ...Жив? Нет, конечно, давно не думаю. Просто любая деталь, штрих от человека, который был с ним рядом, под огнем, делил, так сказать... я был бы очень благодарен.

Он смотрел на меня снизу вверх.

— Хорошо, — сказал я, — спрашивайте.

— Прямо здесь? Может, посидели бы где-нибудь, чтобы не на ходу... Я бы вас угостил, если позволите.

Я знал, что быстро не получится. Надо перетерпеть, исчерпать тему разом, и больше не пересекаться. И все равно лучше уехать. Искать меня заново он вряд ли станет.

— Можно посидеть, — кивнул я.

В углу парка притулилось недорогое кафе, мы заняли столик, он сходил к стойке и принес коньяк и по порции курицы. Я спросил, сколько с меня.

— Что вы, что вы! Это меньшее, чем могу, за вашу любезность...

Я не настаивал: пусть считает меня обязанным. Ожидание благодарности повышает доверие.

Коньяк оказался неожиданно приличным, а гриль почти сырой. Ни салата, ни даже компота он не взял, а хлеба по три куса; похоже, сэкономил на закуске. Видно, не так хорошо у него с деньгами.

— Как вы меня нашли?

— Не спрашивайте. Все эти военкоматы, паспортные столы... того нельзя, это не положено. Пока допросишься, убедишь, неофициально, так сказать...

Да, убедить чиновника — дело затратное. Что по ту сторону границы, что по эту. Но скорее всего он нанял кого-то для поисков, а это еще дороже.

Здесь, в помещении, от него потягивало потом, глаза были в красных прожилках, костюм измят в толкотне по вокзалам и поездкам. Вряд ли стоит опасаться новых встреч, подумал я, ему и этот вояж дался недешево, во всех смыслах.

И все равно лучше уехать.

— Юрко — каким он вам запомнился?

— Хорошим парнем, добрым таким и вообще... Смелым.

Когда нас перебросили в лагерь на Донбассе, Юрко оказался первым, из кого сержант Щербак вытряс все деньги в долг до вечера. Он же чаще других чистил котелки, пилил дрова и следил за буржуйкой в палатке. Но, может, ему это даже нравилось, отвлекало, что ли...

Нет, трусом он не был, помню, со здоровенной цепью выскочил вперед на беркутовскую «черепаху». Цепь с грузом была тяжеловата для него, он неуклюже размахивался, сзади полетели камни и «коктейли», и, шаркнув пару раз по щитам, Юрко отбежал с волочащейся цепью, пока не пришибли свои. Но там был майдан, все мы были братья по борьбе, и с нами была правда. И газ, и водометы, и когда стали стрелять снайперы, и обгорелый труп солдата-срочника на остриях металлической ограды — все это была лишь малая цена правды, и мы платили ее не торгуясь. Это было как шквал, нас несло этим шквалом.

Потом шквал утих, но нас несло по инерции. И в полевом лагере, где мы отстреляли по пять патронов, спали на голых матрацах и штопали бэушный камуфляж всех армий мира, который носили вперемишку с гражданскими шмотками, — еще порой чудился в ушах гул майдана, перекрываемый выкриками Щербака.

В лагере у Юрко пропал дорогой мобильник, отнятый еще в Киеве у титушек, а к вечеру Щербак разжился буржуйкой и ввалился в нашу палатку, и плеснул каждому, и хвастал, как еще до майдана был в мобильной группе в Запорожье и бензопилой отрезал голову бронзовому Сталину и какое резонансное было дело. И все выпили и слушали сержанта, и Юрко тоже. А как-то он сказал мне: «Помнишь того солдата на ограде? Мы теперь тоже в форме».

Но для отца Юрко должен остаться героем, ведь так? Он же за этим приехал, за светлым образом сына.

– Вытащил раненого из-под обстрела. Сам вызвался, полз с ним под огнем. Объявили благодарность перед строем.

Надо бы деталей для убедительности; плохо сочинялось. Ну, пусть видит, что не я мастак рассказывать. Скорее закончим. Что-то устал я сегодня больше обычного – на работе, теперь вот он.

– Вы отправились добровольно?

Странно, что он спросил. Ведь Юрко звонил ему, успокаивал, храбрился, пока еще был с телефоном. Мы были патриотами. А он сомневается?

Я подумал, что до сих пор не знаю, как он относится к тому, что произошло тогда нами, со всей страной. Что это было? Приступ безумия, кровавая пелена, заставшая глаза миллионам? Отчаянный порыв к свободе, преданный политиками, укравшими вековую мечту?

Что он хочет услышать?

– Нам грозили, – сказал я наудачу. – Три года тюрьмы или... Грозили семьям. И мы записались. Юрко не хотел, чтоб вас...

Он не удивился, кивнул. Кажется, я угадал.

– Ну, а как все... случилось? – Он разлил по бокалам, посмотрел на часы. Боится опоздать на поезд? Тем лучше, недолго уже.

Я рассказал, как нас подняли после отбоя и двинули на зачистку. Город был проутюжен артиллерией и с воздуха и оставлен сепаратистами. Колонна миновала разгромленный блок-пост и шла по ночному шоссе, когда из лесопосадки ударили из гранатомета по головной машине. Из открытых люков БТРа рвануло пламя и стали выскакивать горящие, они метались и катались по земле, один выбрался наполовину и остался гореть, упав лицом на броню. Колонна остановилась, мы высыпались из кузова «шишиги», в нас и вокруг стреляли, кто-то полз под колеса, волоча неподвижные ноги, Щербак орал, в кузове «камаза», вставшего за нами, что-то загорелось от трассеров, стали рваться боеприпасы. Юрко побежал, мы оба побежали.

Мы хотели рассыпаться и занять круговую оборону, сказал я. Так нас учили. Рядом еще бежали и падали, но мы добежали.

Мы вломились в лесопосадку, и я потерял Юрко из вида. Стрельба продолжалась, били и в нашу сторону. Я пополз в темноте, натываясь на стволы, продрался сквозь кустарник, свалился в ложбину и наткнулся на него. Он сказал, что напоролся на бегу на какой-то сук и теперь не может поднять руку. Он дышал так, будто пробежал пару километров; хэбэшный «дубок» от ключицы до подмышки пропитался кровью, и сзади тоже. Надо было перевязать, но аптечек у нас не было. Я разорвал на себе футболку и велел ему прижать к ране здоровой рукой. Я спросил, может ли он ползти. Он сказал, что подвернул ногу, когда прыгал через кювет. Я потрогал: нога была тоже в крови. Я сказал, что помогу ему, надо вернуться ближе к своим, сейчас террористов отгонят, и его перевяжут. Нет, сказал он, ты что, не слышишь? Стрельба стихала, и двигатели надсаживались в заполосных перегазовках: уцелевшие машины разворачивались, наши отходили. Беги, сказал он, ты еще успеешь...

Я замолчал. Пусть не думает, что мне легко говорить.

Пищик-старший (или уже не старший? младшего ведь нет) подлил в фужеры. Думает, я прервался, чтобы выпить? Я выпил.

– И что было дальше? – Он поглядел на часы.

– Дальше? Нет, сказал я ему. Я тебя не оставлю. А как иначе?

– Да, да... – Пищик закивал.

Через пару минут все стихло, рассказывал я. Надо бы подождать, но Юрко мог истечь кровью. Здесь шоссе делало крюк, и я знал, что окраина где-то неподалеку, за балкой. И там должна быть больница, ребята упоминали о ней перед наступлением, у них был свой интерес. Я не знал, цела ли она, остались ли там врачи и заодно ли они с террористами, но это был шанс. Я догадывался, что командиры ошиблись и сепаратисты в городе есть, скорее всего, разрозненные мелкие группы, одна из которых и устроила засаду на шоссе. Но не могут же они быть везде. Я взвалил Юрко на себя и потащил. Он был уже без сознания. Не знаю, сколько я его тащил. Особенно тяжело было перебираться через балку, заросшую густым терновником, мне мешал автомат, я боялся споткнуться и упасть вместе с Юрко, боялся уложить его на землю и передохнуть, потому что мог не поднять его снова. Боялся опоздать. Как нас там примут, об этом не думал. Я плохо соображал, просто шел.

– Вы герой, – покачал головой Пищик. – Но продолжайте...

Городская застройка обрывалась рядом домишек, разбитых артиллерией. Через поваленный забор с Юрко на плечах я пробрался в сад, заваленный истерзанными деревьями. Ветки были еще свежие и упругие и путались под ногами. За распахнутой калиткой я увидел улицу, уходящую с окраины в глубь микрорайона. Угловые панельные дома были в пробоинах от снарядов, в одном обрушилась секция. Следующий дом уцелел, а за ним я различил трехэтажное здание с несколькими елями вдоль фасада. Часть окон была выбита, но глубине здания, на первом этаже, брезжил свет. Больше свет нигде не горел; я надеялся, что это больница.

Вокруг не было ни души; я двинулся через улицу, ожидая окрика или выстрела. В торце здания я различил крыльцо с пандусом. В углу подъездной площадки маячил белый фургон в рваных вмятинах, без колес. Это точно была больница. Надпись над входом в темноте не читалась, но я не сомневался: «приемный покой».

Я не знал, есть ли здесь охрана. Я хотел положить Юрко у входа и позвонить, если там есть звонок, или поколотить в дверь и сразу скрыться. Убежать я не рассчитывал, но, может, не станут искать в темноте. Ничего другого я придумать не мог. Я был уже у пандуса, когда на крыльцо вышла женщина с незажженной сигаретой в руке. Я замер с Юрко на плечах. На ней был белый халат и темные брюки. Женщина тоже замерла и придержала дверь, шурясь в мою сторону, затем сказала: «По коридору, вторая дверь налево. Донесешь?» В потемках она приняла нас за своих. Я держал Юрко и чувствовал, что сейчас упаду вместе с ним. Женщина чиркнула зажигалкой, прикуривая. «Чего стоишь? Катя примет, я сейчас... Тю, да ты...» У меня подогнулись ноги, я осел на пандус и уронил бы Юрко, если бы она не подбежала и опустила его, придерживая голову. «Каталку!» – крикнула она в дверь, выплюнув сигарету. – «Да каталку же!.. А ты тоже?..» Она повернулась ко мне. Двери распахнулись от удара каталкой, на меня упал свет из коридора. Я стоял перед ней на четвереньках, в крови, на шее болтался автомат. Было видно, как она напряглась, разглядывая нашивки. «Тут есть охрана? – спросил я. – Кто-нибудь... из ваших? Пусть не стреляют. Я сдаюсь».

Мы помолчали.

– Я вас понимаю, – вздохнул Пищик. – Вы сделали выбор.

– Я просто устал. Вообще устал. От всего.

– И приняли решение. Это был выбор, поступок, да... – Кажется, он пытался сказать мне приятное. – А Юрко?

– Его увезли на каталке, на операцию. Больше я его не видел.

– Как вы узнали, что он умер?
 – Уже потом, когда сидел в подвале. Мне сказали, когда допрашивали.
 – Так, так... – он понурился, покивал. – А вас, значит?..
 – Связали, кому-то позвонили. Охраны там не было, только старик-сантехник или электрик, не знаю, и парень, тоже в халате. Старик забрал мой автомат и целился, пока парень связывал. Меня бы и ребенок связал... Потом приехали, мешок на голову... ну, и все как положено.

С Юрко мы покончили, и дальше его не касалось. По-моему, он это понял, но все равно спросил:

– Тяжело там пришлось?

– Трещина в ребре и так, по мелочи. Все лучше, чем мёртвым.

Зря я так сказал. До сих пор все шло гладко. Но нелегко битый час следить за каждым своим словом и не сбиться. И вообще мне было что-то не по себе. Пора закругляться.

– Сказал, что нас мобилизовали насильно, что дезертировали, в нас стреляли свои, что не хочу воевать, что у меня родня в России... Поверили в конце концов. Дали прибиться к беженцам, камуфляж я поменял на гуманитарный секонд-хенд, там его хватало. С нашей стороны граница была голой, россияне не придирались. Статус беженца, потом гражданство... Вот и все.

– Понятно... И как устроились?

Мы уже допили. Он смотрел как-то странно, будто изучал кожу на моем лице.

– Вы же знаете. Вот и телефон мой нашли.

– Да, да.

– А вы чем занимаетесь? – Мне это было неинтересно, но пора сворачивать разговор.

– Да ничем особенным, работаю провизором.

– Это в аптеке?

– Да, всю жизнь в одной аптеке... Так, живу...

Наверное, живет один, подумал я. Да мне какая разница.

– Ну что ж... – Опять этот ощупывающий взгляд. – Еще по чуть-чуть?

– Нет, все. Устал сегодня.

Я и вправду устал. Разговор был тягостный, и хмель почти не брал. Нет, все же брал: на выходе из кафе меня качнуло, я поскользнулся на ступеньках, но удержался за поручень. Прошел дождь, и ступеньки были влажные.

Мы двинулись в сумерках по опустевшей аллее. Еще чуть моросило, воздух был сырым и пряным; после душного кафе у меня покругивалась голова и закладывало уши, как бывает при перемене погоды. Коньяк все же сказывался, и хотелось отлить.

Кроме нас, вокруг никого не было. Я шагнул на газон, где рос плотный кустарник, и меня опять качнуло. На этот раз сильно; Пищик успел поддержать.

– Перебор, похоже, – усмехнулся я. – Даже в ноги вступило.

– Вам надо посидеть, – сказал он. – Идти можете?

Я попытался, с ногами вправду творилось что-то.

Он обхватил меня за талию, неожиданно мосластый и цепкий.

– Держитесь за меня, крепче, за плечи.

Я старался, рука была слабой и соскальзывала.

– Ничего, тут рядом. Помогай, перебирай ногами... – Он вдруг перешел на «ты».

Я помогал, и мы добрались до скамейки. Она стояла в кустах и в сумерках с аллеи была почти незаметна. Кто-то затащил ее сюда из озорства или для быстрой любви.

– Что чувствуешь? – спросил Пищик. Он запыхался, пока тащил меня. Все же он был старый.

– Ноги что-то...

– Вижу. Другие ощущения?

– Закладывает уши... И руки... словно не мои.

Он кивнул. Он все еще не мог отдышаться, но приподнял мне подбородок и всмотрелся в лицо, словно сверял с фотографией. Я начал догадываться.

– Провизор... – пробормотал я. – Коньяк...

– Да, да. Я хороший фармаколог.

– Чем вы меня...

– Миорелаксанты, особая комбинация, плюс некоторые добавки. Слово «релакс» тебе знакомо? Твои мышцы сейчас расслабляются и расслабятся до полной обездвиженности, проще говоря, паралича. Последней расслабится диафрагма, и ты перестанешь дышать.

– Зачем? Почему?..

– А как ты думаешь?

Я подумал про ящик с инструментами у себя в подсобке, про набор отверток: там была одна, тонкая и длинная, с прорезиненной рукояткой. Попробовал пошевелить пальцами. Я все равно не смог бы ее удержать. Я и себя не мог удержать на скамейке. Лопатки заскользили по ребристой спинке, и я свалился бы на землю, но Пищик не дал и уложил меня на скамейке боком; ноги свешивались вниз сами по себе. Я был как из пластилина, казалось, его руки оставляют на моем теле вмятины.

Он достал зажигалку с подсветкой, оттянул мне веко и посветил в глаз, потом в другой. Похлопал по щекам, наблюдая реакцию. Посветил мне на брюки; да, я чувствовал, что обмочился. Он откинулся на скамейке. Он все равно выглядел понурым и сутулым.

– Я умру? – спросил я.

– К тому идет.

– Убийство... вас найдут.

– При чем тут убийство? Перед смертью ты проглотишь дозу метанола. Бутылку, – он похлопал по своей сумке, – найдут рядом. Кому нужны подробные анализы, когда налицо банальное отравление суррогатом. Запредельная доза, остановка дыхания, смерть в молниеносной форме... У полиции есть дела поважнее.

Он меня поймал, подумал я. Потому что я так и не забыл, не сумел забыть. А пока помнишь, ничего не кончилось. Наверное, меня все равно рано или поздно поймали бы. Не он, так другой, не за одно, так за другое. Наверное, каждого из нас, кто там был, есть за что ловить. Не всегда только есть кому. На меня вот ловец нашелся.

– Но не все так плохо. Вот, видишь?

Шея не ворочалась, я не мог повернуть голову.

Он поднес к моим глазам шприц-тюбик. Такие водились у ребят на майдане, а потом, в лагере, те, кто мог, покупали их у фельдшера на медпункте, – шприц-тюбики с промедолом из индивидуальных аптечек, которые до нас не доходили.

– Легкая смерть? – Я чувствовал, что говорю невнятно. – И что за нее?

– Смерть? – удивился Пищик. – Я не предлагаю тебе эвтаназию. Здесь антидот. Твое спасение. Не веришь? Подумай сам – мы пили из одной бутылки. Просто себе я вколол противоядие заранее. Ну, рассказывай.

– Что... рассказывать? – Слова вязли во рту.

– Как было на самом деле.

– Все так и было... почти... – Я вдруг подумал, что сейчас потеряю голос и не успею рассказать, объяснить ему. Не смогу докричаться из этого неподвижного тела.

– Язык... губы... – вытолкнул я.

Моим телом был страх. Только сердце билось внутри и воздух входил и выходил.

– Затруднения с артикуляцией – это нормально, – сказал Пищик. – Мимические мышцы, голосовые связки тоже расслабляются, однако до конца не отключаются. Добиться этого непросто, но я хороший специалист. Некоторые затруднения с речью неизбежны, но голос ты сохранишь до конца. Говори, я пойму. Кстати, глотать ты тоже сможешь...

От меня остался только голос. Он хотел рассказать и забыть. Совсем забыть.

Голос говорил за меня.

Я сидел связанный в кладовке и слышал выстрелы, два или три одиночных и очередь. Кто-то завыл. Плеснули и смолкли старушечьи причитания, видимо, кого-то из санитарок.

Дверь открылась, и я увидел Щербака. Он был в балаклаве, но я узнал его. С ним была женщина-врач и еще наши.

Щербак навел на меня автомат и закричал, что я дезертир и предатель, мы оба с Юрко предатели. Женщина-врач что-то говорила, вой в коридоре мешал мне понять. Щербак подошел и пнул меня ногой. Он спросил, хочу ли я жить. Я сказал, что хочу. Он спросил, готов ли я искупить. Я клялся и плакал. Я не хотел плакать, слезы текли сами. Меня развязали и вернули автомат. В коридоре корчился на полу старик-сантехник, и я добил его двумя выстрелами. Я хотел в сердце, слезы мешали целиться, но он замолчал.

Щербак спросил женщину-врача, где Юрко. Она попыталась возразить, но он взял ее за волосы и заглянул в глаза. Она отвела нас в палату. Юрко был без сознания. Щербак спросил, что с ним, и врач сказала, что у него раздроблена ключица и еще две пули в ноге. И что он умер бы, запоздай я еще немного. Хорошо, что не умер, сказал Щербак. Он велел мне, и я выстрелил. Слез у меня уже высохли, и я не промахнулся, Юрко умер сразу.

– Велел? – уточнил Пищик. – Щербак отдал тебе приказ?

– Он кивнул мне, и я... Он навел на меня автомат.

– Кивнул?

– Он просто смотрел на меня, и я... В других палатах тоже стреляли... Вы не понимаете...

– Понимаю. А потом?

– Потом я убил соседей по палате. Потом женщину-врача. Щербак похвалил меня и опустил ствол. Я выстрелил в него и вылез в окно. В других палатах еще стреляли и кричали, и я смог уйти. Вот и все. Вы обещали...

Пищик достал свою зажигалку и посветил мне в лицо. Просто светил и смотрел. Веки не слушались, я не мог зажмуриться.

– Это Щербак, – сказал я. – Я убил его.

– Не убил, – сказал Пищик. – Как раз его ты и не убил.

– Откуда вы... Но это он... значит, он может подтвердить, спросите...

– Он подтвердил, – сказал Пищик и выключил подсветку.

– Вы обещали...

Он не ответил.

– Это Щербак, – повторил я. – Такие, как он. Война закончилась.

– Нет, – сказал он. – Пока еще нет.

– Закончилась... Надо забыть...

– Ты смог забыть?

– Вы обещали, – сказал я.

Он не ответил.

Я лежал на скамейке боком, слезы стекали на левый глаз, правый начал подсыхать. В прогале кустарника рваным пятном брезжила крона старой липы, подсвеченная фонарем с аллеи. Листья были тяжелой и свежей после дождя, или мне так казалось отсюда. Здесь, под деревьями, кусты остались сухими.

Пищик расстегнул молнию на сумке, чмокнула пробка.

– Не уходите, – попросил я.

– Я буду рядом, – сказал он. – Не оставляю тебя.

Алексей КОЛОБРОДОВ

Поэт, литературный критик, журналист. Родился в 1970 году в Камышине (Волгоградская область). Учился в Саратовском госуниверситете (исторический факультет) и Литературном институте, служил в Советской Армии. Работал обозревателем газеты «Саратов», заместителем главного редактора газеты «Новые времена в Саратове».

Главный редактор журнала «Общественное мнение». Автор нескольких интернет- и телевизионных проектов.

Автор книги «Культурный герой», о Владимире Путине в современном российском искусстве. Лауреат журналистской премии имени Артёма Боровика. Живёт в Саратове

АНТОШКА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Мама, живая, рассказывала на кухоньке новости. В кои веки я выбрался к родителям, был июль, в провинции навсегда установилось лето, и казалось, что вокруг пикируют не пылинки, а молекулы времени. Которых запускают из проводного радио, как из лазерной пушечки.

— Да... — вспомнила мама. — Тут такое ведь горе. Ваш Анатолий Григорьевич умер. Повесился. И так странно всё... Возвращался, видимо, из Сталинграда, в автобусе. Вышел в Тещиной роще, где всегда перекур водители объявляют. А нашли дня через три-четыре. Уже и руки собаки объели... Ужас.

Руки я вспомнил отчетливо: старого рабочего, коричневые, небольшие, со взбухшими венами и зеленоватой корявой наколкой «толя» между большим и указательным пальцами. Я представил, как «толя» исчезает в собачьих пастьях, горячие слюны, клыки...

Тренер Игорек, в какой-то год обучавший нас спецназовской науке, рассказывал, как нейтрализовать собаку и отбиться от псовой погони.

— Никогда жопу собаке не показывай. Вообще не бегать и не ссать, чтоб твой адреналин не унюхали. Только передом — и на нее. Кидается — кулак ей в пасть. Собаки быстро задыхаются... Если здоровая — немецкая овчарка или там кавказец, — бросайся сверху и старайся подмять весом. Горло грызи — человечьи зубы еще какое оружие. Собака — тварь с психикой очень жидкой, миглом сломается... — Игорек стремительно показывал бросок телом на мнимую собаку и по-волчьи скалился.

Уроки тренера понадобились в первой части — психологического давления на злых друзей человека, вторая, активная, почти не пригодилась.

Маме я, конечно, задал полагающееся количество сумбурных вопросов-восклицаний.

— Ну, какие причины? — горевала она. — С Татьяной Санной они не очень хорошо жили... Да и в стране, сам видишь, такое творится. А он тоже в перестройку из партии взял и вышел. Мы с отцом не пошли на похороны, кто мы им? да и тяжело всё это. Говорят, народу битком было. В закрытом гробу хоронили.

Я заметил, пожившие люди, для которых гробы сделались рутиной, считают давно не количество, а качество. Богатые гробы. И закрытые.

Тещину рощу я тоже вспомнил; возвращаясь на дембель и досадуя на медленность пути и остановку именно там, в Тещиной, торопливо курил и смотрел на часы. Водитель автобуса проникся и процитировал из дембельского шансона:

— Отслужил, слава тебе, господи, отслужил? Ничего, братан, через час-двадцать дома будешь! Ради одного тебя под сто дам на трассе...

При этом он одобрительно посмотрел на мою парадку с латунными буквами, позументами и полным набором значков, начиная с «гвардии», на которую я, строго говоря, права не имел.

Дембельнулся я в 90-м году, Анатолия же Григорьевича нашли в этой Тещиной роще через три года. Летом 93-го? Да.

Прошли еще годы, много, и в стране учредили Общественное российское телевидение (не листовское, а другое, после Болотной). В Фейсбуке, как и положено, долго это обсуждали, переходя на личности — свои, не телевизионные. ТВ меня не интересует ни частное, ни общественное, ни даже в Интернете с тех пор, как пару лет проработал обозревателем телевидения в областной газете, не имея при этом дома телевизора. Да что там — и дома настоящего не имея...

Но имя нового телена начальника я запомнил: Анатолий Григорьевич.

Нашел в сети и рассмотрел его физиономию — и она меня вполне удовлетворила сочетанием простоты, объемов и старческой кичливости.

Мне представляется, что как раз такие имена-отчества, не самые распространенные, но и не экзотические, программируют и жизнь, и судьбу. А вот экзотические чаще указывают на родительскую дурость или географию. Знал я одного Савву Куприяновича, а другого — Николая Ксенофоновича. Ну, понятно, что оба вышли из деревень старообрядческого пояса по Иргизу, а дальше сложилось по-разному. Савва Куприянович пал в городской войне 90-х и на аллее братков городского кладбища выделяется не памятником — они там все большие и одинаковые, — но именем, на фоне Эдилов, Сергеев, Саш и Асланов.

Ксенофонович работает мелким телевизионным стукачом, в процессе службы, видимо, полагая, будто совершает крупные разводки.

Анатолием Григорьевичем звали моего школьного учителя истории. Он, похоже, любил меня, и это важно, поскольку, кроме родителей, меня любил он да еще тренер по дзюдо Игорёк.

Обоих уже нет на свете, и трудно сказать, кто для меня важнее.

Предмет «история» начался у нас в пятом классе, и мы, мелкие и еще почтительные, звали меж собой учителя «Анатолием».

Тезка Мариенгоф сетовал: «Анатолий» из гламурного, салонного имени сделался в советской России совсем простецким, пролетарским. Это верно: француз «Анатоль» стал в семейном варианте «Толиком», а в застольно-гаражном — «Толяном». Толик Франс и Толян Курагин...

Учитель истории носил фамилию «Фоменко» (а нынешний телена начальник — Лысенко, а еще был у меня один знакомый Анатолий Григорьевич, перестроенный газетчик — тот Сабадаш: в каких миргородах им давали обсуждаемое имя-отчество?) и действительно, как и все в нашем городе, происходил из пролетариев. И, поскольку принадлежал к регулярному типу рабочих-книголюбов, то, отслужив, плюс вечерняя школа и партийная линия, закончил заочно истфак областного университета. Но человек был явно не карьерный, это, как и пролетарское прошлое (вечный запах табачной копоти, мутно-зеленая татушка «толя», сиреневые вены на руках и шее), легко считывали даже мелкие мы.

Было у них, с одним моим родственником и другими знакомыми мужиками, даже какое-то штрихпунктирное лицейское братство по ремеслухе.

В дальнейшем мы узнали, что вся старшая школа, зовет нашего Анатолия «Антошкой» – полулюбовно, полууничижительно. И этот герой детской песенки – «пойдем копать картошку» – отчего-то очень подходил его вечному пиджачку в шафранную полоску плюс лысинка, немножко тусклой седины, острый нос, избличающий одновременно простоту и хитрецу. Тут он бессознательно копировал своего кумира Владимира Ленина.

Конечно, он выделялся в педагогическом коллективе. Хотя – сейчас я понимаю – это была никакая в большинстве не серость, а люди вполне себе незаурядные. Каждый по-своему. И многие тоже коммунисты.

Математичка Глафира Яковлевна (о! вот экзотика – три года ищи – едва ль обрящешь кого с таким паспортным имя-отчеством) придумывала проекты дискотек (тогда еще – вечеров) с уклоном в свой предмет: доказываешь теорему – получаешь право пригласить девочку на танец. А когда нам, первым, ввели предмет основы информатики и поставили на него математических учителей, Глафира Яковлевна, ничего в основах не понимая, вышла из ситуации не без изыщества: а) заставила приобрести карманные калькуляторы (уже, кажется, и даже отечественные; впрочем, всё равно их «доставали», другое дело, что большинство нас игнорировало калькуляторный шопинг). И: б) все часы нового предмета рассказывала о своих бывших учениках, ставших уголовниками. С учетом контингента городка и, отдельно, родной семнадцатой школы, плюс наши наводящие вопросы, Глафире Яковлевне хватило школьных легенд как раз на весь курс нового предмета.

Помимо информатики, нашему школьному призыву достался и пилотный курс «Этика и психология семейных отношений». Мы его, естественно, предвкушали. Улыбочками, перемигиваниями, поглядыванием на одноклассниц и учителей – дескать, ну чего вы нам здесь нового?

Интим не предполагать – читать семейную этику с психологией вызвался тот же Анатолий Григорьевич. В аналогичном ключе, с апелляцией к школьным уголовникам, антисоветским диссидентам и собственным домашним историям. Супругу свою Антошка вежливо звал «моя половина»; она, габаритная Татьяна Александровна, работала в нашей же школе, чтобы потом сделаться ее директором. Брак у них был вторым и поздним, и сын Татьяны, пухлый Валерка, был «не от Антошки».

Школьная жизнь шла, с Антошкой и без, меняясь от смерти к смерти. Когда скончался Л.И. Брежнев, общешкольное собрание имело место в актовом зале. Было торжественно, жутковато и душно. Не снеся напряжения, в обморок рухнул знаменосец Устин вместе со знаменем, будущий бас-гитарист и офицер, а также толстая Таня Бабенко из нашего класса (не знаю, кем она стала). Смерть Ю.В. Андропова отмечали уже в спортзале, и никто не упал. В следующий раз что-то похоронное привычно носилось в спертом школьном воздухе, и Слава Ларик, изгнанный с урока в рекреацию, вдруг засунул в дверной проем физиономию, по которой безошибочно угадывался будущий шнырь подшколочный, крикнув:

– Черненко сдох!

И страна стала другой.

Тому же Славе Ларику Антошка пророчил:

– Я на двести процентов уверен, Ларик: это сейчас ты шалберничаешь и прогуливаешь и школа тебе до одного места, а через пару лет, если не посадят, в первых рядах с пьяною рожей прибежишь на вечер и будешь тут гундеть (Антошка соединил в интонации нахальство и придурковатость):

«Р-родная школа, чё!» Так вот: не пушу на танцы, и не лезь. Скажу: шуруй отсюда.

Пророчество, разумеется, сбылось, впрочем, по-другому и не бывало. У Славы Ларика имелся к Антошке собственный копеечный счет: Антошка изъяслялся у него, спикировав коршуном, «порнуху». Три или четыре карточки из распатроненной колоды, которые Слава, тихонько вытягивая из внутреннего кармана, снова и снова рассматривал, дыша, в пиджачных недрах. Ну и понятно, увлекся.

Вообще, охотник за «порнухой» Анатолий Григорьевич был выдающийся: думаю, у него по итогам педагогической деятельности, собралась целая коллекция этих разрозненных, третьими-четвертыми копиями, мутных, как рентген, картинок, где более менее угадывались разве что сиськи, если большой размер, а промежности сливались с общей лохматостью фона – диванов с ворсом, ковров, портьер...

На адский градус нашего возбуждения качество, однако, не влияло.

Ларика «за порнографию» поставили на учет в детской комнате милиции, тоже ничего выдающегося, если он горевал, то из-за двусмысленной «статьи», хотя вполне могли притянуть за воровство по карманам в школьном гардеробе.

Детской этой комнатой пугали, но больше по привычке, даже наша школьная компания из ребят относительно благополучных коллективно попала на учет. За избиевание физрука Пал Петровича по прозвищу Палпет, а значит, и Пол Пот. И хотя каждый из нас успел наехать на козла-физрука по отдельности, коллективно мы устроили ему классическую приютскую темную в раздевалке при спортзале, предварительно украв темную, плотную штору из лаборантской. Тугой полпотовский живот ощущался и под шторой, амортизировал кулакам, тем не менее, результат был достигнут – физрук натурально плакал, а на следующий день уволился.

До сих пор не знаю, гордиться или стыдиться этой республикой шкид в семнадцатой школе, и на всякий случай не делаю ни того, ни другого.

Кстати, Анатолий Григорьевич был одним из немногих, кто защищал нас на педсовете и помогал замять дело по ментовкам. Как и положено, не одобрял методов, но утверждал, будто физрук сам без конца, особенно тем, как вел себя с девочками, провоцировал старшие классы... А они у нас сложные, не обычная шпана наша дурная, а умные, развитые ребята; начитанные, кавээнщики, разрядники. Поломаем сегодня жизнь...

К чести учителя истории, личных резонов здесь у него вовсе не имелось: классным руководителем он был не у нас, и вообще на тот момент мы с Антошкой находились в ситуации жесткого мировоззренческого противостояния.

До перестройки Антошка как педагог идеологический, давал обычную советскую нуду (или, как красиво говорит один мой знакомый мэтр города, – «риторику»), разбавленную, впрочем, до приемлемости и легкой усвояемости его народным темпераментом, всё той же школьно-криминальной мифологией и полемикой с диссидентами-антисоветчиками. Сведения о которых были почерпнуты, как я сейчас понимаю, не только из журнала «Человек и закон», в провинции страшно популярного, но и без вражеских эфиров не обошлось.

Собственно, от него я услышал имена Сахарова и Солженицына. Не впервые, отец просветил чуть раньше, и соединение домашних разговоров и школьного знания приятно освежало, подключало к мировым сетям.

Владимира Ленина любил горячо, но чувствовалось, что высшего градуса этой любви достичь удалось давно, а ныне, вопреки физическим

законам, получается поддерживать нужную температуру. Как для рок-идола, период поклонения которому прошел, а теперь он просто часть тебя самого; его манеры и мысли копируешь, скорее, бессознательно.

Умел порассуждать, это уже в старших классах, о партийных оппозициях, ошибках Троцкого-Бухарина, подробно – по скромным возможностям источников – критиковал идеи неискренне проклинаемых вождей. Думаю, это был единственный на тот момент в стране школьный учитель, пытавшийся вновь, как тренер ключевой футбольный матч, разобрать судьбоносные дискуссии двадцатых.

К месту цитировал Маяковского – не канонического и даже не раннего, а рекламно-прикладного плюс сатиры про бюрократов, где рифмованная штамповка как-то неумовимо переходила в пророчества. Хулиганил:

– Если хочешь быть сухим в самом мокром месте,
покупай презерватив в Мосрезинотресте.

Звучало оглушительно, мы и глохли, сраженные.

Потом, уже в перестройку, Маяковский исподволь вытеснялся у него Высоцким, как, впрочем, и повсеместно.

Как-то слишком уж лично, а не идейно и партийно, занимал его Бог. На школьную публику он выносил свои внутренние с Господом дразги, и даже нам казалось, что для антирелигиозной пропаганды это слишком громко, запутано и причудливо, как затянувшиеся родственные дебаты о наследстве. И чем жалче наследство, тем ожесточеннее и длиннее аргументы.

Антошка, безусловно, коммунистом был правоверным, советским патриотом безоглядным («Парни, скоро в армию. Я бы на вашем месте просился в Афганистан»), в апологии нашего строя и песен он доходил до прохановской дремучей поэзии, но вот сталинистом точно не был.

Надо сказать, сталинизм во многом сродни антисемитизму. По уровню географического распространения. В столицах – плотность зашкаливала, в университетских городах – пожиже, но вполне ощутимо, а вот у нас на окраине – не бывало ни того, ни другого. В смысле, как сторонников, так и противников. Евреи, нечастые, но существовали, а вот антисемитизма – ноль. Сталина периодически вспоминали, вывешивали в «жигулях» и смотрели в военных киноэпопеях, но как-то не обсуждали.

Перестройка, помимо всего прочего, резко надула в провинцию всю эту отчаянную столичную недоруганность по советским вопросам. Маленькие люди, страхнув начальное оцепенение, хищно задумались: о чем бы нам, сейчас и здесь, поскандальить, устроить раскол общества и против кого не дружить.

Журнал «Огонек», натурально, сделался хедлайнером. («Московские новости» к нам не доходили, но сталинградская пресса кое-что из них, особенно про Сталина, перепечатывала).

Огоньковская статья про неведомого ранее, но, оказывается, такого выдающегося и замученного, чудесного латыша Яна Рудзутака. Интервью Федора Раскольникова и письмо жены Бухарина. То есть письмо Раскольникова Сталину и письмо же Бухарина, которое жена, заучив когда-то наизусть, полностью продиктовала в интервью... И повальное горбачёволюбие, которое пока не колебали даже многоярусные очереди с убийствами у единственного уцелевшего в городе винно-водочного магазина в цыганском поселке (в народе – «у Будулая»).

Нынешний поп-сталинизм – из той же категории родственников. В Сталинграде, в верхней части Мамаева кургана открыли музей Сталина.

В общем помещении – чернотеркальная двухэтажная стекляшка – с дорогим ресторанчиком и лавкой сувениров. Музей как бы народный – и народом-учредителем сработал местный коммерс, судя по интерьеру, отчасти и бандитского направления. Посетителей встречает экзальтированная тётка, стремительно переквалифицировавшаяся из пьющих продащиц-подавальщиц в ретивые смотрительницы. Всех, пока продает недешевые билеты, ревниво тестирует на знания о вожде.

Музей: три подвальные – типа бункер – комнаты, засеянные (с большими проплешинами) самым обыкновенным печатно-плакатным барахлом. Видимо, из сувенирной лавки – артефакта ни одного. Экспоната, строго говоря, тоже. Гостей встречает восковая фигура в ядовито-зеленом френче, похожая на второстепенного демона из Толкиена, точнее – Питера Джексона. В последнем зале я наткнулся на брошюру 56-го года: доклад тов. Хрущева на XX съезде КПСС. Обрадовался за музей. Ну, думаю, хоть это здесь есть. Открыл. Там про чугун, надои, международное положение... Народ-учредитель (или его пиарщики) про доклад Никиты что-то слышал, а – закрытый он или открытый – не стал разбираться.

Везде обман. И даже не с чарующей тоскою...

Антошка, кстати, первоначально выступал противником эскалации информационных потоков, правда, сугубо из педагогических соображений.

– Вот тут народ у нас, как манна небесная, ожидает открытия второй программы. (Действительно, у нас по телевизору показывали только первую). Но я узнавал – там все фильмы идут поздно, часов в десять-одиннадцать, когда ночь на дворе. Сейчас после «Времени» спать расходятся, а вторую откроют, наших шалберников от ящика палкой не отгонишь... По утрам не семнадцатая школа будет, а спи спокойно, дорогой товарищ...

Но в «огоньковскую» стихию, он, разумеется, погрузился и «загрузился»; она его понесла, только острый носик оставался на поверхности, повернутый, впрочем, в магистральном направлении.

– А ведь Ленин очень любил Бухарина, – говорил он, поднимая палец. – И Солженицын, между прочим, начинал как неплохой писатель. Я помню, как читали его первую вещь в «Новом мире», в очередь в библиотеках записывались. Я как раз срочную дослуживал, и мне в гарнизонном клубе Надежда Степановна отложила номер, жена командира, прекрасная была женщина. А у нас писали – «махровый белогвардеец». Да какой же белогвардеец, если он родился, когда война с белыми уже вовсю шла... А в лагерь-то попал за справедливую критику Сталина.

По поводу 37-го года у него сложилась оригинальная теория, восходящая, впрочем, к докладу (закрытому) Хрущева на XX съезде: якобы карательные органы вышли из-под контроля партии, подменив собой правосудие и здравый смысл.

И дальше по порядку: о великом стратеге Тухачевском, которого нам ох как не хватало в 41-м, о Берия-развратнике, после ареста которого нашли много чего («вплоть до женских трусиков!») – поднимал палец и острый носик Антошка, о Туполеве и Королеве, которые «тоже сидели»... и даже – ух! – «лучше верить в Бога, чем вообще ни во что не верить».

Жил и учил он тогда вообще бурно и по последним работам Владимира Ленина – национальный вопрос, кооперация, и, конечно, «Сталин слишком груб» – устроил что-то вроде спецсеминара. Читали вслух. По заданию Анатолия Григорьевича определяли путаную ленинскую мысль. Кого он все-таки двигал в преемники. Выслушав отгадки про Бухарина и Троцкого (единичная версия – Пятаков; Каменев и Зиновьев – не вариант),

Антошка, сияя, объяснял, что Ленин призывал к коллективному руководству, которое уж точно защищало бы и позволило избежать... И сам в это верил.

К тому времени относятся и наши острые с ним разногласия. Которые, впрочем, были чисто стилистическими. Касались, в основном, манер – поведения и одеваться. Но главным пунктом противостояния стала музыка. Современная, рок.

Для нас это было время перехода из рока вообще, в основном тяжелого, в рок отечественный (на кассетах писалось «советские» или «иностран-ные», «зарубежка». Был еще третий путь – «блатные», они тоже стали появляться).

Гаджеты – гаджетами, но я продолжаю считать магнитофон главным изобретением века, да хоть бы по социально-политическим последствиям.

А уж распространение информации посредством магнитофона, скорость и охват до сих пор кажутся чудом, никак не меньше.

Ну хорошо. Я еще понимаю: Высоцкий, Северный. И даже Галич в глубокие 70-е, в провинции. Даже эстетско-авангардистский альбом «Аквариума» «Треугольник», который я услышал, учась 9-м классе семнадцатой школы. Или – тогда же – альбом (говорили, естественно, «концерт») «Периферия» ДДТ. С частушками.

Но откуда в том же году в том же городке вдруг – омский певец и поэт Владимир Шандриков, которого и сейчас-то мало кто знает, не скажу – помнит.

Дорого яичко, горбачево-лигачевская антиалкогольная кампания, а песни сплошь «про алкашей» (как выяснилось потом, так и альбом назывался, 83-го года).

«Да, я алкаш, и это не скрываю», «Стою у магазина», «В запое я уже который день, по 33-й выгонят с работы» – слушали мы эти песни Шандрикова, понятия не имея, кто поет и где автор, у моего друга Игоря Каирова в частном доме, на пограничье Второго участка и Силикатного поселка. Центром этой вселенной был пивной ларек «у бани», где распорядился и рулил добрый урка Баламут. Нас он выделял и приветствовал:

– О, пацаны! Давай без очереди, говорю!

И в окошечко:

– Раис, пацаны мои пошли! Два по три литра, и без пены...

Уже через два года, на тех же «Вёснах» и «Кометах», слушали другого омского автора – Егора Летова.

Впрочем, героями и иконами для нас служили исполнители, которых к року отнести можно с известной натяжкой и поправкой на время. Но сказали б вы про это нам тогда, разрядникам, наказавшим козла-физрука.

Первая тройка: Владимир Кузьмин («Динамик»), Сергей Сарычев («Альфа»), Юрий Лоза («Примус»).

Чуть позади, но ноздря, практически, в ноздю, Александр Барыкин («Карнавал») и старушка уже тогда – «машина». «Машина времени».

Кузьмин считался самым забойным, веселым и очень своим. Сарычев – гениальным музыкантом (клавишник ведь, тут серьезно) и крупным лириком. Лоза – самым загадочным; до какого-то времени никто и не ведал, что он Лоза, на кассетах писали или совсем простецкое – «Лазарев», или, с шансонно-эмигрантским привкусом – «Лозоновский». По поводу «Юрия» разночтений не было. Песня «На маленьком плоту» еще не прозвучала ни в телевизоре (передача «Мир и молодежь»? или в самом «Взгляде?»), ни в балабановском «Грузе 200». В топе были его «Веселье новоднее», «Исполнительный лист», «Ты подойдешь большой и теплый».

Нескромные пристрастия никак не могли оставаться нашим личным делом и вкусом, ибо мы взяли за обычай шмоняться по школьным рекреациям с трескучим кассетником «Квазар». Да и вообще с ним не расставались. Хозяин «мафона» держал игрушку чуть на отлете, полусогнув локоть и картинно перебирая ногами. Вокруг него живым кольцом, как охранники вокруг проблемного банкира, располагались друзья-меломаны. Музыкальный марафон не прерывался. Разве что по необходимости перевернуть или заменить кассету. Или подзарядить батарейки, постучав их друг об друга. Еще на уроки и факультативы – хотя далеко не всегда.

Русский человек, а особенно русский педагог, остро реагирует на звук. Также, как на буквы. Похоже, эти искусства – извлечения звуков и написания букв – являются для нас важнейшими потому, что оставляют возможность добавить в них что-то от себя – додумать, оснастить картинкой или живой эмоцией. Визуальные художества, вроде живописи или кино, воздействуют меньше, поскольку в них больше завершенности – подписью мастера или финальными титрами.

Словом, Антошка начал бескомпромиссную борьбу с отечественным роком в нашей версии, вначале слабо закамуфлированную под интерес – «давайте-ка вместе послушаем»...

Переломный был год – Чернобыль, чемпионат мира в Мексике с Марадоной, Юрий Лоза попал в телевизор как солист ансамбля «Зодчие», Володя Кузьмин стал парнем и аранжировщиком А.Б. Пугачевой. А мы добыли свежий, 86-го, альбом «Альфы» (название? Сейчас посмотрю на МР-тришнике, переслушивать, естественно, не буду... Ага, «Теплый ветер»). Сарычев тогда перешел с чуть подшансоненной лирики на тяжеляк. Не вдруг – общее перестроечное поветрие – ВИА «Лейся, песня» стали «Арией», а добры, кажется, молодцы – «Черным кофе». В хеви-метал варианте Сарычев сделался агрессивен и визглив, нам страшно нравилось. Хит «Цунами»:

– Взлетают чайки в небеса, хотят от гибели спастись!

Кричат они мне с небесов: гляди, Сережка, берегись!

И, предвосхищая скорые видеосалоны, с гнусавым бесстрашием:

– Внимание, внимание! Всем, всем, всем! К нам идет цунами! Сюда идет цунами!

Антошку, думаю, смущал и заставлял негодовать не сам по себе сумбур вместо музыки, а русские слова, его сопровождавшие.

Лысинка его малиновела, неровно увлажнялась, обычно стройная речь нарушалась кудахтающими междометиями... Русский хард энд хеви приводил его в неистовство, он гонялся за кольцом меломанов по коридору и, не рискуя отобрать «мафон», надсадно заклинал выключить. Или радикально понизить звук.

Он сделался добровольным цензором проводимых нами дискотек. Попсово порочные западные сласти вроде «Модерн токинга» или «Бед бойз блю» оставляли его равнодушным, на выключение электричества в спортзале, превращенном в танцпол, «темнота – друг молодежи», реагировал вяло, но стоило диджеям перейти с диско на русский рок, Антошка, опять же, не рискуя взобраться на помост и вырубить «уселки», тащил нас из мрака и марева по одному и устраивал «разговор». Пополам с истерикой.

Неуникальная, но странная фобия. Может, прозревал в русском роке прямую угрозу для своей страны и жизни? Может, не так уж и ошибался?

В итоге наши страсти даже попритерлись: мы с учителем шли ровно во всем, что касалось написания букв, и конфликтовали вокруг извлечения звуков. Наступил выпускной.

При всех проблемах отцов и детей, у ныне живущих в стране поколений есть одно общее воспоминание – о гомерической пьянке на школьный выпускной.

Мы, возможно, тут стали национальным исключением с чаем, «Бура-тино» и танцами – поэтому резкий запах водки от Антошки меня не то чтобы удивил, но раздосадовал. Он вытянул меня из-за ящиков колонок S-90, за которыми я диджействовал и зазвал в кабинет истории. Полный бородатых физиономий, букв и разноцветных карт на стенах – с пунктирами и стрелками. Прочно знакомые и привычные, сейчас штрихи и стрелки указывали в непонятное скорое будущее. Анатолий Григорьевич, совершая знакомые амплитуды пальцем и носиком, обещал сказать очень-очень для меня важное.

Он был пьяноват и торжествен.

– Леша. У тебя сейчас она и начинается, жизнь. Очень непростая, хотя вам, молодым, вообще повезло – многое меняется к хорошему, приходит, наконец, настоящая правда. Страна просыпается, молодые силы... Давай-ка покурим, ничего, открою фрамугу, у меня и пепельница здесь есть. Мы о многом успели поговорить и хорошо даже, что ругались иногда... Но главное я скажу только тебе. Маркс любил повторять: ничего не принимайте на веру. Подвергайте всё сомнению. Вот и я тебя, есть такое слово, напутствую: подвергай всё сомнению!

Выходя из заросшего бородами и буквами кабинета, я, помню, мысленно пожал плечами эдакой марксовой и антошкиной пошлости. Осталось, впрочем, от напутствия смутное, беспокойное и снисходительно-стыдное чувство. И водочный запах.

Через пару, что ли, недель я отвез документы (в характеристике честно фигурировала расплата над козлом-физруком, в аттестате – тройки, в справке из спортклуба «Патриот» – второй взрослый разряд) в университет чужого областного города. На истфак, где был конкурс в десять-двадцать человек на место и квота для медалистов и отслуживших афганцев. Я, однако, до этого не задумывался ни о конкурсе, ни о самом истфаке – будущее если и представлялось, то никак не академическим. Танцами на грани весны, как в альбоме БГ «Дети декабря», который я много слушал в то лето.

Знал, что точно уйду в армию, где продолжу тренировки и научусь, наконец, играть на гитаре.

На заочное отделение истфака я прошел, стремительно там обзавелся старшими друзьями, ребятами с опытом, девушками, ленинградским рок-клубом и евангелизируемым Булгаковым, и очень обрадовал Анатолия Григорьевича. Он ознакомился со списком контрольных и пообещал помочь – «литературы у меня много». Снабдил пачкой книг, среди которых была «Боярская дума» Василия О. Ключевского в дореволюционном издании (еще одна наша общая привязанность – к бунташному веку Алексея Михайловича, от Соборного уложения до хованщины). Я честно продирался сквозь яти, пока не забросил это дело в преддверии армии.

...Армейский отпуск – одна из самых скучных историй на свете. Особенно отпуск в декабре, за пять месяцев до дембеля. Предвкушаемая за КПП карнавальная ночь с гитарами, пивными канистрами и девчонками в

трусах и мини – рассеивается, как мираж. Уступая законное место промозглому вечеру и дурному страху перед патрулями.

Дома еще хуже. Индивидуальные развлечения в тот год резко сменились коллективными, а мой коллектив тянул ту же армейскую лямку, либо готовился к сессиям по областным городам. Подруги очутились замужем, а тех, кто якобы ждали парней, окружила вдруг густая и непроходимая стена сплетен. Я, впрочем, как водится, попал с корабля на бал, то бишь на свадьбу одноклассника в ресторан первой категории «Комета», где, взрезая молочного поросенка, от неловкости уделал несколько бальных платьев. И, естественно, ко второй половине торжества, успел глубоко напиться.

Но главным потрясением стало полное отсутствие взаимопонимания, как будто я, плохо обученный шпион, пересек границу и обнаружил, что здесь говорят на незнакомом языке слов и жестов. (Нечто подобное я ощутил недавно, путешествуя по Албании). Мне было что рассказать, а меня понимать никто не хотел и не собирался.

Я мог говорить о боевых дежурствах в подземном бункере, когда сменный радист закосил на аппендицит, и ты неделями не видишь солнц и небе, спишь сидя в наушниках; записываешь контрольные донесения, научившись не обрывать снов про гражданку и не промахиваться мимо пепельницы. О свинцовых казарменных буднях, которые давно не кажутся мерзостями, а комфортным и налаженным бытом. О сапогах гармошкой, подшивах ромбом, мордах кирпичом. О шарах и шпорах, которых по каптеркам вживляют в молодые половые члены посредством заточенной алюминиевой ложки. О самоходах в деревни, которые почему-то в армейских наших краях называются «отделениями», про огненнугубых девок, которые делят солдат не по призывам, а по тому, кто курит с фильтром, а кто – без, впрочем, фильтры удлиняются, чем дальше призыв и ближе дембель. О стрельбах из АКС-74у, марш-бросках в костюмах химзащиты и караульных байках. О капитане Сметане и прапорщике Бодуне. (От последнего я впервые услышал трактовку великой войны «если б не Сталин, мы бы сейчас пили баварское пиво»). Об ассортименте в чипках и драках за место – не под армейским солнцем, а возле туалетного крана, чтобы не торопясь, со вкусом, выстирать щеткой хэбэ... Я мог рассказать, что 131-й ЗИЛ, в кунге которого расположен наш узел связи, жрет бензина литр на километр, напеть кучу афганских песен и поделиться мудростью десятков казарменных монтеней...

А меня не слушали даже из вежливости. Нетерпеливо отмахивались газетами и ладонями. Потому что страстно желали поделиться своим. Я стал свежими ушами, дорогой добычей.

Сыпались имена: Гдлян, Иванов, «Ласковый май», Кашпировский, Хасбулатов.

Над ними возвышались Ельцин и Хазанов, который быстро выучился пародировать народных депутатов.

Неуместно яркими бумажными цветами мелькали обложки журнала «Юность».

Равно как нелепые названия «мальвины» и «пирамиды». Которые, как и всё прочее, есть теперь «на толпе» – пятьсот колов.

Нас вроде мог объединить Кавказ, о котором они только и говорили. Но у меня был Кавказ живой, с желтыми горами, синим дымом, красным небом Шуши и Степанокерта. Строгий и опасный.

А у них у всех – неряшливый, грубый, фальшивый, как будто географической картой накрыли стол и жрали с него винегрет руками, оставляя свекольные лужи...

В какой-то день, устав переслушивать доармейский винил, я натянул отцовскую норковую шапку и пошел в родную школу, чё.

Подгадывал к окончанию уроков, но Анатолий Григорьевич вызвал родителей какого-то шалберника; кончалась вторая четверть, приходилось свирепствовать. Я обошел школу пару раз, выкурил две с фильтром сигареты, попинал снежный комок, похожий на гигантский подгнивший зуб, на футбольном нашем поле.

Антошка мне почти не удивился; буквы и бороды на стенах не изменились и не потускнели. Активист народной жизни, поэт новостных сводок, он тоже забросал меня гдьянами-ивановыми:

— Но больше всех мне Травкин нравится, — сказал тепло и застенчиво. — И Ельцин, конечно, мужик настоящий. На него тут покушение было, ты знаешь? Как не слышал?

И кинулся рекомендовать, рекомендовать. Совал мне в руки «Новый мир» с архипелагом ГУЛАГом и тут же отбирал — мы в семье выписываем, но тут среди учителей очередь, у меня даже график есть, у кого какой номер на руках, а в армейской библиотеке тебе, наверное, будет легче достать...

Сейчас я думаю, что бородатый старикан во френче (в восковые фигуры готовился?) никакой, конечно, не писатель или там мыслитель, а вид русского наваждения, вдруг появившийся с визгливым бормотом на публике — в Рязани, Шереметьево, Вермонте и Госдуме, а потом опять представший в волшебную шкатулку — «Новый мир».

— Остановили этот безумный, наконец, проект поворота северных рек! И кто добился? Писатели! Распутин, Астафьев! Залыгин, редактор, как раз, «Нового мира». Они разбудили общество, не дали загубить Сибирь и Север. Крепкие люди. Они и о Боге заговорили серьезно и открыто. У нас, знаешь, во дворе, где я живу, детский сад сейчас в храм переделявают. И правильно, я считаю. Настоятель молодой, отец Сергей, очень начитанный и приветливый. Я к нему часто заворачиваю. Чай пьем, разговариваем.

Про мои дела он спросил меня единожды, чтобы перейти к неизбежному Кавказу.

— Ты в Краснодарском крае служишь? На Кавказе побывал? В командировках? И как думаешь, будет война?

— Думаю, будет...

— Нет, ничего подобного. Не допустят. Национализм — штука глупая, модная, пройдет быстро. Сказать бы им: ну и шуруйте. Наиграются и прибегут... Только б вот сейчас убрать номенклатуру, которая, как сорняки корнями в страну проросла... Чтобы пришли молодые силы, бюрократизмом не порченые. Привилегиями, которыми партюкраты от народа отделились. Михал Сергеич, — он понизил голос, — скажу тебе откровенно, уже не тянет. Запутался. Раиса еще народ раздражает... Борьба с пьянством — тоже. Вот уж не подумавши... Убрали водку — дайте людям колбасу и масло. А когда ни того, ни другого... Но у нас со снабжением неплохо. Сейчас моя половина на хорошем счету в горно, мы семьей не так остро дефицит ощущаем.

Меня неожиданно и резко потянуло назад. Я вдруг понял, что у Николая Ростова была от возвращения в полк не детская, а взрослая, мужская радость. Вовсе не фантазия Льва Толстого. Я предвкушал, как созвав в каптерку братанов, ставших в сентябре дедами, буду неторопливо распаковывать сумку, разворачивать мамины кульки, чай, конфеты, сигареты ростовской фабрики. А финальным жестом извлеку литровую бутылку дядькиного фирменного напитка «урожай-89» — под шестьдесят градусов

и на перегородках грецких орехов. Как разольем понемногу в стаканы с контурными рыжими разводами. За окном, на темный плац, будет тихо спускаться благая весть нового дембельского года.

Мама попросила сделать музыку потише.

— Был в школе? Анатолия Григорьевича видел? Как он?

— Нормально. У него — политика.

— Он тебе сказал, чтоб ты ни в коем случае не бросал университет?

— Да как-то не дошло до этого. Не вспомнили...

— У него, ты знаешь, не всё сейчас хорошо. В городе же все про всех знают. Так вот, жену его, Татьяну Александровну, поставили директором семнадцатой школы.

— Антошка не говорил... Она с прибабахом вообще-то.

— Это бы полбеда. Говорят, гуляет с новым завгороно, Ухвятилиным. Он мужчина молодой, к нам из Сталинграда, грамотный. Еще болтают, что — голубой. Ты знаешь, что это такое?

— Знаю.

— Вот поэтому непонятно, как уживается у него Татьяна Санна и это... Ведет себя барином, как у вас называется — по-мажорски? Черная «Волга», в «Комете» каждый вечер. Отоваривается на межрайбазе... А Татьян Санна, конечно, от власти вся еще больше с катушек съехала. Анатолия при всех третирует... А тут моя знакомая видела у нас на остановке. В такси ее мужики сажали, армянские. Поддатые, и она тоже. Кричат ей — Таньк! и хлоп по мягкому месту...

...Дембельнулся я в конце мая, к июню нас собралась какая-никакая банда. Относительно перспектив не парились, хотелось догнать и перегнать календарь утраченных развлечений. Кто-то из наших сообщил, что выпускные играют теперь не в самих школах, а снимают общепит, и чуть ли не сегодня вечером. Семнадцатая школа гуляет напротив центральной проходной текстильного гиганта, где на первом этаже, помнится, делали отличный молочный коктейль, не скупясь, в стаканы размером с пивную кружку, а на втором — реальный ресторан, с плюшевыми порттьерами, бордовыми диванчиками и баром, полукруглым и блестящим, как теплоход.

Подорвались. Воспользовавшись не то третьестепенным приятельством с кем-то из выпускников, не то столь же шапочным знакомством с барменом.

Цель, собственно, формулировалась изначально — девки, а специфика семнадцатой школы тому способствовала. Мы, похоже, были последней параллелью, где сохранялся относительный баланс парни/девушки, а потом барышни всё гуще и краше преобладали. Сильный пол до выпускных классов почти не добирался, рассеиваясь по техникумам, ПТУ и малолеткам.

Странно, но проникли мы на праздник легко — видимо, физрук и русский рок были забыты, а дембель тянул на небольшой, но социальный статус. А может, то была либеральная уступка сильному девичьему лобби, которое хотело танцев и партнеров к ним.

Еще более отяжелевшая Татьяна Санна каждые пять минут дробно топтала по лестнице. «Ждет Ухвятилина, обещал подъехать ненадолго», — сообщили нам. Глафира Яковлевна, чей класс, кажется, и выпускался, была только рада. Анатолий же Григорьевич, сопровождавший супругу и заполнявший мужскую нишу, в этот раз почему-то почти не говорил, спиртным не пах (мы даже приобнялись) и вообще как-то помелькал и пропал, навеки уйдя в себя. Нет, он оставался в зале, это я помню.

Уводя, после одного из медляков, девушку Лену, я оглянулся, и память зафиксировала его согбенный, за дальним столиком, силуэт с востроносым профилем.

Мужской опыт у меня, честно, уже был, и не единичный. Отчего-то, впрочем, не индивидуальный, а случавшийся по канонам дворово-казарменного ликбеза. Популярная механика. Лену – блондинка, платье в крупный цветок чуть выше крепких колен, – я повел, естественно, в подъезд. Недостаток опыта она восполняла шумным дыханием и податливостью. Сколько положено склеивали губы, толкались друг в дружку языками, я кусал ей мочки ушей вместе с камушками, щекотал спину... Решив, что пора, приподнял платье, нашел с трусы с трогательными швами по бокам, пропустил и двинул в нее, неглубоко, пальцы.

В доармейский год я немного поработал дежурным слесарем, и мне странно вспомнился этот труд, как будто я осторожно вожу средним и безымянным между резиновых трубок, сочащихся теплым...

Большого Лена не позволила – заповедь «не давать (или удовлетворять по-иному) на первом свидании» сохраняет силу, кажется, и сейчас.

Страшно, кстати, представить, сколько быстрых и необходимых любовей у целого ряда поколений страны происходило в подъездах хрущевок – с их сизыми батареями, закопченными тылами лестничных пролетов, круглыми, у дверей, коверчиками... Еще один большой исторический балл Никите Сергеевичу. Эрнсту Неизвестному, может, не стоило по поводу хрущевского памятника монументальничать, но ограничиться женскими трапецевидными трусами на батарее. Не черно-белыми, а лучше в горошек...

...Уже понятно, что Анатолия Григорьевича я видел тогда на чужом выпускном в последний раз.

А недавно ехали с другом – профессором медицины – париться в баню. Он рулил и рассказывал:

– На ученом совете поговорил с крупным нашим психиатром. И что бы ты думал у них нового? Фиксируют – и массово – неожиданный контингент. Чиновников. Весь первый ряд, да и второй-третий тоже. Правительство, мэрия. Из федералов кое-кто, силовички...

– А что за эпидемия?

– Ну сам посуди. Люди к этому всю жизнь шли и пацаны уже не юные, всем вокруг полтинника. По трупам шагали, жопы вылизывали, друг дружке на голову срали... Сдавали ментам и прокурорским. Вектор чуяли безо всякого слива. Кто-то просто места покупал. Понимал человек: присел на тему – и всё, жизнь удалась. Какие дома на полях чудес возвели – одно содержание по две-три штуки баксов в месяц. Это без прислуги! А сейчас главный спустил по вертикали: всё, с понедельника новая жизнь. Воровать строго запрещаю, под личную каждому роспись. Причем того, кто громче всех кричит, что не воровать пришел, а служить государству и отрасли, вообще под рентгеном просвечивают.

– Было, помнишь, после первого процесса Ходора: пили бюджет, а не сук, на котором сидишь. Теперь, выходит, концепция изменилась: вообще пилёжка отменена.

– Тогда после Ходора, а теперь – после Сердюкова. И как ребятам жить? Работу работать? Программы сочинять? так и их софинансировать нечем... Тендерами рулить за откат копеечный, и то без гарантии. Как вообще вопросы решать? Инвесторов затянуть? Так это не инвесторы, а колонизаторы. Концессионеры. Любые куски проглотят и не подавятся. Ну, дадут разок восемнадцать копеек на мороженое, от щедрот-то

– Когнитивный диссонанс, как и было сказано.

– Именно он.

С новомодным понятием, его вещественным, материальным, прямо-таки физиологическим вариантом, я столкнулся впервые в той же Советской армии.

Происходило это два раза в год и длилось в среднем от недели до двух.

Солдатам меняют белье раз в неделю, а весной и осенью – сам формат белья. На теплое время года – трусы густо-синего цвета (особо ценились и тут же расходились по казарменным авторитетам изделия с белесыми разводами, напоминающие гражданскую варёнку) и голубая майка.

На зимнее – кальсонный комплект, белые куртка и подштанники с гульфиком, на пуговице.

Переход с трусов на кальсоны и обратно – всегда ажиотаж и оживление (хоть какой инфоповод в рутинной воинской жизни), при том, что первые последствия бельевой метаморфозы неприятны и болезненны.

Солдаты, как известно – практически всегда мужчины. И справляют малую нужду соответствующим образом. Открывают кабинку, делают шаг к очку (использование писсуаров по прямому назначению было запрещено во всех знакомых мне казармах), расстегивают ширинку на штанах... А поскольку осень и белье только что поменяли, солдатские пальцы да и вообще мышечная память с рефлексамы помнят, что должны тут быть трусы и необходимо отогнуть резинку. Однако резинка не обнаруживается. Вместо нее пуговица и какие-то складки. Несколько секунд паники, потом включается мозг и дальнейшее – уже в порядке. Если, конечно, иной солдат с переполненным мочевым пузырем, не обнаружив привычных вещей на знакомых местах, слегка не оконфузится от испуга. Но у большинства служивых – психика крепкая.

Тем более, что никто еще не отменял гендерной мудрости: «Как не трясись, а последняя капля – в трусы».

А вот переход с подштанников на трусы куда проблемнее. В аналогичных весенних обстоятельствах солдат помнит: всего делов – раскрыть гульфик. Пуговицу можно не расстегивать. Он и пытается раскрыть. А там ни прорех, ни отверстий. Солдат отчаянно скребет материю, а поскольку ни о каких интимных стрижках и прочих бикини-дизайнах в армии не слыхивали, испытывает ощущения весьма болезненные.

Чистой воды когнитивный диссонанс, как его описывают философы. В частности, Леон Фистингер, впервые обозначивший явление в 1956 году, наверное, после XX съезда.

«Когнитивный диссонанс — состояние индивида, характеризующееся столкновением в его сознании противоречивых знаний, убеждений, поведенческих установок относительно некоторого объекта или явления, при котором из существования одного элемента вытекает отрицание другого, и связанное с этим несоответствием ощущение неполноты жизни».

Профессор между тем продолжал:

– Да, подложил Вова чувакам подлянку. Зарубежная недвижимость – боже упаси, детей отдавать на Запад учиться – ни-ни. Скоро не только жен, но и водителей с охранниками заставят доходы декларировать. И любовниц указывать... Поедет от такого крыша, как ты думаешь? В запой – нельзя, сразу нагонят. Вот дружок мой, психиатр, и рассказывает: приезжают на гору к нему ночью, после работы. Их кладут, чтобы прокапать... Кому – транквилизаторы, кому – сильные успокоительные. А утром – опять к станку, крышу рвать. Я хуже того предполагаю: будет, вот увидишь, волна самоубийств людей из власти. Доведут мужиков.

После профессорского прогноза сразу приехали. Хозяин бани – деревянной и дровяной, с мягким упругим паром – бывший коммерс, теперь рантье и спонсор неолимпийских команд, пляжного футбола и ночной хоккейной лиги – улыбался на крыльце, раскрыв для объятий руки. На воскресные банные вечера он любил сзывать народ разнообразный и неожиданный, на сей раз компанию нам составил кавказский авторитет, по должности – смотрящий, немногословный и седовласый.

Когда я, собираясь парить, положил ему на неровную спину веники и наклонился за ковшиком, увидел на плече авторитета выцветший до нежной голубизны курсив.

«Люби свободу, как чайка воду».

– Малолетка? – как можно небрежней поинтересовался я.

– Угу, – коротко ответил он из-под полотенца.

У Анатолия Григорьевича в историческом кабинете портретами, вспомнил и понял я позже, были представлены не столько писатели и революционеры, сколько ересиархи и еретики. Гражданские, а не церковные. При чем формат и длина бороды указывали как бы на степень и глубину ереси.

Чернышевский, Лев Толстой, Добролюбов, Короленко, Ленин.

Под одной из раскидистых бород была самая короткая в этом ряду подпись:

«Человек рожден для счастья, как птица для полета».

Анастасия ШТАЙЕР

Родилась в Нижнем Новгороде, детские годы провела на Ветлуге, живет в Эссене вот уже 18 лет. Пишет на немецком и русском языках. Лауреат конкурса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы «На лучшее владение русским языком»(2007).

Работает научным сотрудником в Эссенском университете.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В русском магазине объявление. На аккуратно вырванном листке в линейчку латинские буквы, летящий почерк и необычный для немецкого сильный наклон вправо. Игровая группа для детей дошкольного возраста, от одного до трех, телефон и адрес. Внизу приписка: бесплатно.

Я обрадовалась и записала телефон. Наконец-то я нашла то, что ищу давно, – группу детей, говорящих только по-русски. Мои соотечественники все-таки собрались с малых лет приобщать детей к своей языковой культуре, привлекать развлекаючи, как делают уже давно в Эссене живущие греки, турки, англичане, французы, арабы и поляки. И шведы. И итальянцы. И испанцы. Для моих гавриков, особенно для Маркушки, уже старательно выговаривающего «а-и-ба» и «а-а-луста», это будет просто красота – поиграть с такими же, еще не совсем крепко стоящими на ногах, но уже интуитивно различающими, когда говорить «мячик», а когда Ball. Бесплатно – значит группа, видимо, организована здешними властями. Ну а впрочем, не все ли равно.

Вечером, купая детей, я позвонила.

Откликнулся мужчина:

– Я! Ja! – по-немецки донеслось из трубки.

Ну, хоть и по-немецки, но если по телефону не называют своего имени, значит – точно, попала к русским. Немцы всегда представляются – когда звонят кому-то и когда принимают звонок.

– Здравствуйте! – решила я поздороваться по-русски. Быстро пролопотала, кто я и что я по объявлению, и затаила дыхание: а вдруг я ошиблась, и там все-таки немец? Бывают же и здесь невоспитанные люди.

– Щас дам, – скомканно ответили мне, и трубку взяла женщина.

– Приходите, приходите! Вот место освободилось тока чта! А, нет... Ну да... Да, еще одно тоже есть, уже с прошлой осени свободно. Так что приходите, приходите. Бисплатна! – кричала она мне так, будто бы я находилась с рацией в тайге, а не с мобильным в соседнем районе Эссена. – Совершенно бисплатна! Вот тока если родители там че-нита шпендуют, там, бумагу, клей ли для поделок, еще чего-та. Звоните мне после праздников и приходите.

– Вы имеете в виду...? – Я споткнулась и застыла с застрявшим словом в горле. Шпендуют! Какое мерзкое слово! Зачем мне залепили им уши! И, черт возьми, как же это по-русски? – задумалась я, пытаюсь перевести его между вытираниями и надеванием пижамы.

Подходящая калька на русском не находилась, и я решила потрясти, перевернуть предложение по смыслу. Spenden — это жертвовать. В церкви Хайербуш пускают корзиночку по рукам, собирают шпенде. Spende. Я задумалась, вспомнила прихожан, жертвующих на нужды божьего дома. Ну, там понятно, а как же здесь сказать:

«Родители, жертвующие бумагу и клей?»

Или «приносящие жертву бумагой и клеем?»

Или «приносящие в жертву бумагу и клей?» Что-то не вяжется...

Может — «приносящие себя в жертву бумагой и клеем»?.. Нет, это вообще ни в какие ворота не лезет!

Жервоприносящие родители запутали меня в конце.

Стоп!

Не надо переводить, надо исходить из русскоязычных реалий. Что делают родители? Вносят взнос... «Родители, делающий взнос клеем и бумагой?» Нет, и это звучит коряво. И потом, взнос обычно денежный.

Шпенден, шпенден... Что это может быть еще?

Безвозмездная отдача. Благотворительность.

«Родители, благотворящие бумагу и клей?» Это вообще не по-русски...

И наконец я догадалась. Ну конечно! «Родители, приносящие бумагу и клей!» Кто что принесет! Какое простое выражение, проще некуда! И зачем нужна была эта резиновая переделка из немецко-русского?

«Люди живут в языковых реалиях» — всплыло у меня в голове из семинара по лингвистике. «Так возникают новые языки».

Сколько же времени я лечила русское предложение? Дарюнька вьется вокруг меня вьюном и автоматной очередью лепит:

— Ну, мамочка-премамочка, хочу, хочу, хочу!

Она уже не говорит, что именно она хочет, а это значит, что я уже давно не реагирую на ее просьбы. А двухлетний Маркушка спокойно стоит в углу. Он откинул крышку мусорного ведра и аккуратно поедает крошки старого печенья, утром выкинутого мной. Как пинцетиком, медленно и сосредоточенно снимает он крошечными пальчиками насыпь с верхнего памперса и отправляет ее в рот.

Я решила ни в какую группу не ходить. Придется жертвовать не только бумагу с клеем, но и всю мою жизнь на борьбу со «шпендами». Мне некогда будет заниматься детьми.

ГОЛУБЬ

Я лежу пластом второй день. Неужели это дрова? Вчера нам привезли еще один грузовик, и поленницы вышли на славу: колоссальные, как у нашего бывшего соседа в Щербачихе, Маркмаркыча, они опоясали наш дом почти до верхнего края оконных рам и благоухали так, что казалось, древесный настой можно было черпать половником.

Сегодня, спустя много лет, я могу тебя понять, старый жадный хрыч! Бог ты мой, если вспомнить, как ты трясся над каждой щепой! Как мы ни старались незаметно стянуть пару полешков, забираясь с головой в крапивные заросли, рискуя поскользнуться на трухлявом настиле и провалиться босой ногой в черную холодную мякоть с опарышами, у нас ни разу ничего не получилось. Маркмаркыч появлялся каждый раз перед нами в выцветшей синей униформе как дозорное привидение, и мы, не дожидаясь, что будет, удирали сломя голову в сторону такого же блекло-синего «булгаковского» дома. Такую униформу, как у Маркыча, носили все мужики в деревне — Сорокины, Кругловы и Красновы. Раньше они ходили в ней на речных судах по Ветлуге, а потом сами постарели, засмолились, а их блеклые рубахи с портами превратились из речной в униформу деревенскую, щербачихинскую.

На протяжении многих лет мы удивлялись на то, как живет Маркмаркыч: бобылем, в покосившемся доме, с заброшенным садом. Иногда к нему приезжал сын, но об этом мы только слышали от Веры-магазинщицы. Сами его никогда не видели. И соседа нашего можно было увидеть крайне редко. Только по самым важным дням, когда, например, к нам приезжали из города на машинах и все громко смеялись и целовались на полянке перед домом. Или когда к самому Маркычу, тарахтя, гремя железом и сметая на пути покосившиеся заборы, молодняк калины и черную колонку и оставляя после себя жирную черную полосу свежесодранной земли, на тракторе с экскаваторным ковшом приваливался Ванька из Русенихи, чтобы «обкосить» Маркычу крапиву. В такие дни Маркмаркыч выходил на середину поляны, долго стоял, смотрел и молчал. Без малейшего движения в лице, сопутствующего какому-то интересу он просто присутствовал при событии. Мы привыкли и не обращали на него никакого внимания.

Много лет мы не слышали от него ни одного слова и были совершенно уверены, что он немой. Только однажды случилось необыкновенное: Маркыч заговорил. Да, он заговорил, да так обыденно, что даже чуда не получилось, а вышло так, будто пальнула холостая хлопушка.

В тот день, наш дед, Александр Александрович, уже слабый, вышел на улицу, остановился на лужайке. Стараясь избежать подступающего приступа изматывающего кашля, он стоял, уперев руки в бока, и наблюдал, как соскабливает неизвестный нам русенинский тракторист травяной дерн, закатывая в него, как в одеяло, крапиву.

Мальчишка-тракторист, закончив «покос» тем, что навалал огромную земляную гору посреди поляны, заглушил мотор и стал выходить из кабинки. Он, изо всех сил вцепившись в дверцу, покачивался на ней взад и вперед и пытался в тоже время управлять мягкими непослушными ногами, которые подламывались и никак не хотели вставать на землю поочередно.

Дед даже крикнул от горечи, наблюдая за Маркмаркычем, который согласно договоренности отдал трактористу бутылку водки. Мальчишка сделал слабую гримасу и еще что-то наподобие кивка, а потом, посмотрев водянистыми глазами на деда, сказал из вежливости:

– Ну-у-у, ка-ак д-д-дела? Ну, вооше-то?

– Устойчивей, чем у тебя, я погляжу, – ответил дед.

Тут Маркмаркыч, задетый за живое таким сарказмом, и начал говорить. Что, мол, эти пропойки из Русинихи! Что они уже с малолетства пьют, не просыхают... Голос у него был против моего ожидания не скрипучий, а слова были нормальные. Человеческие и понятные.

После этого сосед снова замолчал. И молчал несколько лет, и тенью ходил вокруг своей чернеющей и гниющей поленницы, как чахнувший над златом кощей.

Вот и я теперь не отдала бы никому ни одного полешка! Тоже дам им, моим кровным, зарастить трёхметровой крапивой, уйти в землю, отсыреть, почернеть, превратиться в труху, но не отдам ни щепки! Даже в год самый холодный, перестроечный, голодный. Сколько работы проделано!

Лежу под одеялом, и кажется, что моё гудящее тело одето в скафандр из скорлупы. В битой голове кипят раскалённые мысли, предметы и буквы переливаются перед глазами в перламутровом зное. И не дай бог, крик, топот, разговор, не дай бог, шорох...

* * *

Мой второй больничный день проколызнул бы мимо меня незамеченным, если бы я не попросила открыть окно. От грозы не осталось ни следа, да и была ли она? Холодное солнце выдувало из осеннего леса последние полуветреные фонарики. Бурая листва запрела и пластом легла на соседский участок. Оттуда переговаривались рабочие, дружно вытаскивающие домкратом прогнившие сваи из земли. Как давно они этим занимаются: сейчас ноябрь на исходе, а уж летом мы начали и коренастого начальника, и подмастерье узнавать в лицо. Казалось, что в прошлом там стояла церковь на вековых дубах.

Сам сосед-хозяин стоял у нового бетонного забора и советовал моему мужу, как надо выкорчевывать сухую яблоню, разросшуюся кустом.

Разговор внизу не клеился, у меня не шёл сон.

Перекур вскоре все перевернул, беседа внизу оживленно потекла, и я, закрыв глаза, слушала: «...а этот как!..» – «Невероятно!» – «Да если бы дошло до пенальти...»

Сон не приходил. Я переключилась на детский перекрик, доносящийся с улицы: Иришка с Мишкой не могли поделить, кто первым будет кормить голубя.

Голубь появился у нас вместе с дровами, в тот самый день, когда их привезли. Ручной, лоснящийся, белоснежный: он с вниманием наблюдал за нашей уборкой, сидя на белом стояке забора и цепко держа его окольцованной лапкой. Наш папа утверждает, что с почтовыми голубями так и случается в грозу: они полностью теряют ориентацию, попадая в тучу. Падают камнем на землю и потом совсем не знают, куда лететь, где они, и что теперь им делать. Бедный.

На дворе стояли мягкая прохлада и безветрие, обкладывая душистыми дровами дом было наслаждением, и уходить домой не хотелось, и усталость не чувствовалась. Грозное облако подкралось и ко мне, и голубю

незаметно. Хорошо, что мы оба упали в хорошие руки – мне носят в кровать шиповниковый чай, а голубю на двор – свежую воду, рубленную капусту и крошки. Наш папа даже сделал ему на ночь дом – маленький склепик из трёх битых брусничных кирпичей и потемневшей сырой доски. Наш папа утверждает, что именно так живут почтовые голуби.

Хорошо, что я не голубь, и что меня не подстерегают кошки и наши крошки на каждом углу с дикими криками, и что мне не надо ночевать в мрачном склепике. Хорошо лежать в кровати, не распыляясь на суету. И хорошо, что можно долго смотреть в окно на сереющий, уходящий в осеннюю мглу лес и знать, что ехать в город сегодня не нужно.

– Слушай, Мил, – пропел мой мобильник, – твой курс «Русский для иностранцев» в этом семестре не состоится, слишком мало народу записалось.

– Сколько человек?

– Трое. Из твоих бывших.

– Трое? А новеньких нет никого?

Да, уж, иностранцы у нас совсем перевелись, кто бы мог подумать, ещё два года назад стульев в классе не хватало... Хорошо, что набралась группа детей мигрантов, желающих подштопать грамматику русского.

Я прислушалась к гулу в ногах, закрыла глаза, откинула на подушку голову. Мобильник снова пиликнул, мой милый прислал мне сообщение: «Поеду в город за голубиным кормом, тебе что-то надо?»

Я зажмурилась и перечислила про себя: орехи, шиповниковый чай, мед, яблоки, хурму, обязательно бананы.

Написала: «ничего». Мужчина всё же. Что-нибудь да забудет: или мой список, или птичий корм. Чтобы зря не расстраивать, не буду предоставлять выбора.

Окно закрыли. В доме пахло печным теплом и свежепривезённым деревом. Невольно обидя вывернулась из меня и вытеснила запахи и цвета: ну почему я не голубь? Нет, правда, почему сначала голубь, а потом уже я? За голубиным кормом... Искорки запрыгали у меня перед глазами, черти закрутили плазменное варево в голове, я натянула до подбородка одеяло, свинец разлился по спине, ногам, рукам, я выдохнула под собственной тяжестью и стала проваливаться в сон. Гранью сознания ухватила шаги, глухую возню, звяканье ложкой. Потом оказалось, что кто-то разложил на моем столике порезанные бананы, яблоки, хурму и в чайной кружке размешал липовый мед.

Ну, перевелись мои иностранцы, значит перевелись. Нагрузки меньше. Сейчас она мне просто противопоказана.

* * *

И снова я, не отрываясь, гляжу в окно. Ноябрьское солнце прошлось по двору скользкими равнодушными лучами и уселось в прогал между стволом старой ели и тремя сросшимися молодыми ёлочками. Провисшие еловые лапы плавилась, румяные шишки светились на верхушке, как проступившие веснушки. За елями звонко желтел мой «потерянный мир» – заброшенный лесок, в точь-в-точь как на нас на Ветлуге, у ручья по дороге в Плосканиху.

Насмотревшись, почувствовав силы, я проверила десять контрольных. На загадку, кто сидел на заборе, пел да кричал, девять студентов ответили

«питух», и только последний написал, как мне показалось, после девяти «питухов», правильно. Я даже уже занесла ручку написать «молодец!», как вдруг остановилась и рассмеялась насколько было сил, вчитавшись в ответ. Там стояло «пятух».

И тут я встрепенулась, вспомнив отрадную утреннюю свежесть и корзинки для грибов с пакетиком на дне, придавленным столовым ножом. Мне необходимо иметь петуха. Если уж я стремлюсь жить по-деревенски, то без него нет правды.

— Einen Hahn? Петуха? — сказал мой любимый и хмыкнул. — Давай заведем. Только договоримся, как только я сойду с ума от его крика, мы сварим из него суп. Считай, если ты его купишь в эту пятницу, то я уже знаю, что у нас в воскресенье на обед.

— Ага, и кто же его порешит?

— Я!

— Ты? Да ты не можешь улиток отравой накормить! Божьих коровок дома ловишь и отпускаешь в саду! Нет, ты вспомни — мышь, которую Карл поймал и не успел съесть, ты увез в другой город, два часа искал ей приют, пока не нашел и с теплыми напутствиями не просунул в щели на конюшне. Как же ты — ты! — собрался свернуть шею огромной здоровой птице? Убить!

— Это не убийство, — заявил Ули, — для еды я готов на все!

Нет, я поняла, что мне как пить дать, не видать здесь, в Эссене, никакого петуха.

* * *

А голубь, кстати, оправился и улетел.
Вот такие петухи.

Театр

Нина ПРИБУТКОВСКАЯ

Прибутковская Нина Юрьевна родилась в г. Горьком. Окончила Дзержинское музыкальное училище, Ленинградский институт культуры имени Н.К. Крупской. Работала преподавателем в школе, в настоящее время трудится редактором художественных программ телевидения и радио. Живет и работает в Нижнем Новгороде.

Литературной работой занимается с юности. Первая публикация — 1986 год. Прозаик и драматург. Член Союза писателей России.

АБОНЕНТ БЕЗУМНО СЧАСТЛИВ

Бенефис для актрисы в монологах

Иногда один телефонный звонок меняет всю жизнь. Как хорошо, что людям свойственно ошибаться, набирая чужие телефонные номера.

(Автор неизвестен)

Действующие лица

ЛЮДМИЛА — около 48

АПЕНКИНА — около 38

АНГЕЛИНА ИВАНОВНА — около 63 лет

АВАРИЙНАЯ СЛУШАЕТ

Комната с обшарпанной мебелью. Стол, на столе телефон, микроволновка, тарелки, вилки, банки, стопки, полбуханки хлеба в пакете, пачка соли. У стола — Людмила, на ней теплый жилет, на ногах толстые носки и свободно зашнурованные кеды. Звонит телефон.

ЛЮДМИЛА (берет трубку). Аварийная слушает! (Пауза.) Я не молчу, я записываю... (Пишет и одновременно поддерживает разговор.) Горячая вода шпарит, горячая вода всегда шпарит. Какой этаж затопило? Девятый... А вы на каком? На девятом... пока еще только вас топят (пишет). Вы меня не торопите, я не первый день в аварийке... вы лучше скажите, давно это началось у вас? ...Пять минут (записывает). У вас авария, а у нас документация... Знаете, как спрашивают... Адрес? (Записывает.) Вы с какого телефона звоните? Да не кричите вы на меня... заявка должна быть принята по правилам... Номер телефона говорите... (Пишет.) Не так быстро, мужчина, повторите... (Записывает.) Ну, в общем, я что хочу вам сказать, сейчас все бригады на выезде, как приедут, сразу пошлю... матом-то

зачем? Я вас, кажется, не оскорбляла... *(Кладет трубку.)* Ну народ! Как чего не так, все в аварийку. А аварийка у нас, между прочим, платная...

Достает из ящичка стола линейку. Разлиновывает журнал записей. Звонит телефон.

(Берет трубку.) Платная аварийка... Холодно в доме, одну минуточку, адрес... *(Начинает записывать.)* Это не к нам, мы этот участок не обслуживаем.

Кладет трубку, дотягивается до чайника, включает. Звонит телефон.

(Берет трубку.) Аварийная слушает, адрес говорите *(записывает)* и телефон *(записывает)*. Сейчас я узнаю, где бригада и вам перезвоню.

Кладет трубку, набирает номер.

Антон, вы на Шекспира? Трубу в туалете на Маршале Гречко прорвало. Скоро? Нескоро? Неслабо! Как сделаете на Шекспира, так сразу на Гречко.

Кладет трубку, дотягивается до чашки, вынимает из коробочки пакетик с чаем, прислоняет пакетик к лицу, задумывается.

Маршала Гречко, дом 7, квартира 6, дом 7 квартира 6... Знакомый адрес... Тринадцатый троллейбус, остановка шлакоблочная, налево двухэтажный дом, второй подъезд, третий этаж, палисадник, сирень... Откуда я знаю? Как в прошлой жизни. Что за адрес? Я туда ездила. Зачем? Затем! Я там жила.

Звонит телефон.

(Берет трубку.) Алло, аварийная слушает... ваша заявка принята, сейчас наша аварийная бригада на аварии, как только закончит, сразу к вам... Как только смогут... алло, алло, мужчина... *(В трубке короткие сигналы, кладет трубку.)* Колькин голос! Не может быть! Дом-то старый! В таком доме Колька не может жить, он наверняка профессор!

Звонок.

(Берет трубку.) Я же сказала, мужчина, скоро приедем. Мужчина, а мужчина, вы профессор? Я не издеваюсь, я просто хотела спросить. Топите соседей? Сочувствую... Вам, конечно, а не соседям, соседи у вас сволочи, если только это те соседи. По щиколотке в воде? Вы или соседи?

Трубка рычит, изрыгая как проклятье слово «жаловаться».

Жаловаться? На меня?! Жалуйся, Коля, на кого тебе еще жаловаться? *(Бросает трубку.)* Уж не сесть ли мне на твою трубу? *(Слезы обиды.)*

Звонок.

(Берет трубку, кричит.) Жалуйся, понял? Хоть в Москву, понял? Видала я таких как ты, понял? *(Тихо.)* Извините, я не вам. *(Пододвигает*

журнал, берет ручку.) Кран течет, вода хлещет? *(Записывает.)* Адрес. *(Записывает.)* Мужчина, так вы воду в ванной отключите и слесаря завтра вызовите, чего нас гонять? Если не получится, звоните...

Кладет трубку, но телефон снова негодуяще звонит.

(Берет трубку, слушает.) Мужчина, не мешайте мне работать, я вашу заявку записала. *(Вдруг мягко и лирично.)* Я сейчас попробую их потормозить. У нас, Коля, всего одна бригада, а вызовов – капец сколько. Трубы, Коля, ни у кого не держат, старые трубы, Коля, вот беда. Я тебе перезвоню.

Кладет трубку. Набирает номер.

Антон? Ты где? Я тебе покажу «в рифме». Когда закончите? Вы там уже три часа сидите. Чего-то я тебя, Антон, не пойму, ты выпил, что ли? Это тебе хозяева плеснули? А ну давай к трубе хозяев. Не могут? Прикрывают воду телами? Хлещет? Я не пойму, кто хлещет? Вода из трубы или вы из бутылки? Антон, заканчивайте и немедленно на маршала Гречко. Трубу на Гречке прорвало в туалете, я тебе уже говорила. Быстро заканчивай, я тебе сказала! *(Кладет трубку.)*

Звонок.

(Берет трубку. Слушает.) Нет, Коля, ты со мной в санатории не лечился. Тряпкой трубу обмотал? Тазик подставил? Тазик мало! Ты с кем живешь сейчас, Коль? С мамой? А она разве не умерла? Пусть живет, Коль, я не в этом смысле. Хотя, она руку-то приложила я ведь из-за нее фактически ушла. Нет, Коля, я не Ира. У тебя ведро нормальное есть? Поставь рядом, что в ведро не попадет, в тазик ударится. Сколько лет маме? 83 года? Достается твоей жене, сочувствую. Ушла? Это которая? Я знаю, ты два раза женился. Третья ушла? Понятно, из-за кого они все ушли. Меня помнишь? Всю жизнь помнишь? Не помогает тряпка? А ведро с тазиком? Уже полные? Оба? Ну и скорости, Коль, у твоей трубы... прямо рожают воду... Бригада, наверное, уже в пути, сейчас я узнаю, где. Перезвоню.

Кладет трубку. Набирает номер.

Антон, вы закончили? Что? Не разберу! Антон, где Геннадий, дай ему трубку. В соседней комнате? Почему он в комнате, если стояк в ванной? Антон, немедленно выезжайте. Едете, вот молодцы, и Таню с собой берете? Какую Таню? Геннадий женится? Зачем ему жениться, он и так женат, у него трое детей. Что значит, Тане не говорить? Антон, повторяю адрес, улица академика Гречко, дом 7, квартира 6. Выезжайте немедленно, черт с вами, берите Таню. *(Кладет трубку.)* Мало того, что пьяницы, так еще и кобели...

Звонок.

(Берет трубку. Слушает.) Нет, Коля, мы с тобой на кафедре органических веществ не работали, у меня образования нет, я как школу закончила, так и родила, а потом уж судьба волоком потащила. Успокойся, Коль, сейчас дело прежде всего, а дело – труба. Соседи в суд грозятся подать? Соседи твои многого не знают, а я, Коль, не первый день на трубе сижу

и знаю все, что по закону. Может, вообще, жэу виновато, может, стояк в подъезде рвануло. А опрессовку у вас не проводили? Я много знаю? Так я специалист, Коля, это только твоя мать говорила, что я никчемная. А я – профессионал! Нет, не Люда. Меня сюда на работу упрасивали прийти, я ведь до этого на складе стройиндустрии работала, считай, чиновницей была. Все, что надо, в суде докажут, надо только спокойно дождаться суда. Дура? Надежды эти, Коля, брось, я не дура!

Бросает трубку.

Дура была бы – с тобой бы жила и с матерью твоей хитрющей...

Звонок.

(Берет трубку. Слушает. Кричит.) Да не оскорбляю я твою маму, это она меня всячески оскорбляла, а я терпела, потому что любила тебя! Жила бы я с тобой, была бы у тебя и труба целой, и судьба нерасшатанная... Я ведь думала, ты профессор, квартира у тебя шикарная, дом за городом, дети – бизнесмены, а у тебя никакого имущества, кроме этой поганой трубы... Да потому что, Коля, за трубами, как за зубами, следить надо. Плачешь? Ты плачешь, Коля? Из-за трубы? Из-за меня? Ты меня узнал? *(Вытирает слезы.)* Так, Коля, слушай мою команду! Отключай воду в квартире. Вентиль над унитазом у тебя, Коля... Справа, левее, я говорю, справа... чуть выше... нашел? Слава богу... Течет? Надо воду в подвале отключать. Иди к соседям, к старшему по подъезду, умей, Коля, договариваться... Ты, Коля, гордость свою засунь туда, где вентиль крутил... Фонарик с собой возьми и телефон, позвонишь из подвала.

Кладет трубку, набирает номер.

Антон! Недоступен, вот гады! *(После паузы.)* Эх, Колька! Голос у тебя совсем не изменился, наглый голос. Как я тебя любила, Колька! Май, листочки еще огрубеют не успели, акации, шиповник. Все расцветает, вот и я расцвела. Химия с физикой смешалась. Как только аттестат зрелости удалось получить?

Телефонный звонок.

(Берет трубку.) Аварийная слушает... Хомячок под полом в ванной? Это у вас дырка в полу. В МЧС, дама, мы аварийная служба по воде...

Кладет трубку.

Поесть некогда, бляха-муха... Микроволновку врубить сил нет... скорее бы смену отработать, надоели все... *(Ложится на диван.)* И твоя труба, Коля, меня не волнует, хоть топись вместе со своей мамой в своем гнилом подвале. За столько лет, ни разу не поинтересоваться, как я. Как же, он в гении шел, отличный диплом, институт, в классе самый красивый, в институте – самый веселый, на работе – самый сексуальный. А оказался в старом доме, со ржавой трубой, с полоумной мамашей и без жены. Неинтересен ты мне, Коля, и все, что с тобой связано, меня не колыхнет.

Набирает номер.

Коль, ты где? В подвале? Иди вперед, к стояку иди... Какой стояк? У тебя квартира 6-я, стояк тот, что к тебе ближе. Смотри вентиль на стояке. Меня увидеть хочешь? С чего бы это? У меня уж сыну 20, ты все не вспоминал. Вентиль нашел? Поворачивай... по часовой стрелке, как еще... Не поворачивается, так ты плоскогубцами... не взял с собой? Иди, бери... Да я, что, живу... Замуж? Замуж выходила, я же не уродка какая-нибудь. Бил он меня... на беременной женился, ревновал, упрекал, пока трезвый нормально, а пьяный – дурак. От него не рожала, орел, Коля, в неволе не рождает... Парень у меня, Вениамин... ну да, как твоего папу звали, ты же говорил, если родится сын, назовем его в честь папы Вениамином. С какой стати я чужого ребенка именем твоего папы назвала? С такой, Коля, потому что это не твое, вообще, дело. Взял плоскогубцы? Быстро в подвал. Что за шум у вас? Соседи кричат? Топит их? Скажи, не они первые, не они последние. Скажи, работаешь с аварийкой. Подошел к трубе? Подцепляй вентиль, тяни до упора. Только не сорви, Коля, только не сорви, а то и мне и тебе голову сорвут. Завернул? Иди домой, проверь. Первый раз у тебя, Коля с трубой случилось? Счастливый ты человек. У меня чего только в жизни не было, да у меня и квартиры-то, Коля, не было, когда я ушла от вас. Мама свое счастье устраивала, ей не до меня было, отец не объявлялся никогда. А я только что школу закончила и уже с животом. Пальцем показывали, обзывали, стыдили... все выдержала, Коля, сына родила, вырастила, вот только образования не получила, ну и ничего, в нашей стране, слава богу, образование не главное, был бы человек хороший. Зато умею все – и шить, и дрова рубить, и квартиры ремонтировать... Меня, Коля, сейчас ничем не испугаешь, даже таким типом как ты, с твоей долбаной мамашей. Не идет вода? Слава богу! К соседям сходи, посмотри какой урон, может, если подклеить что, так я подклею... Сходи, перезвонишь!

Кладет трубку.

Эх, Коля, меня же мама прогнала, пока ты с друзьями ходил на футбол. Кричала, что я хочу посягнуть на вашу жилплощадь, которую горбом зарабатывал твой покойный отец, вещи в окно повыкидывала.

Я ушла, думала, вот ты с футбола придешь, увидишь, что меня нет... *(После паузы.)* Наши проиграли, ты за мной не пришел.

Звонок.

Алло! Аварийная слушает! Антон, ты, что ли? Так ты не пьяный? А чего на звонок не отвечал, ты чего такой недоступный? Отчитываешься?

Слушает.

Отключили воду на академике Грекова? Я вас на маршала Гречко посылала. Ты не в том подвале воду отключил. Включи обратно. Уехал уже? Ну ладно, пусть завтра ЖЭУ вызывают, а на Гречке сами отключили. Да там у мужика одного труба проржавела. А где Геннадий? Все еще женится? Он, бляха-муха, в каждой квартире женится. Терминатор какой-то, а не слесарь. Вот тебе следующая заявка: адмирала Нахимова, двадцать девять, три. Там горячая вода шпарит, понятно, что горячая всегда шпарит, только там уже проводку замкнуло. *(Кладет трубку.)*

Набирает номер телефона.

Коля, это я. Все нормально, нет воды? Только на полу? А в кране нет? Ну и не надо... Завтра заявку в ЖЭУ дашь. Завтра праздник, забыла совсем, у нас же неделя праздников, это у меня рабочие дни два через день. А я тебе так скажу, Коля, лучше потерпеть без воды, чем топить соседей. Где я сижу? В аварийке, у меня тут комнатка, стол, диван, микроволновка, скоро ребята с задания приедут, если успеем, посидим, праздник отметим по чуть-чуть... А ты, значит, на дачу не поехал на праздники? Дачи нет? А чего у тебя есть? Воспоминания? Рано, ты, Николай, воспоминаниями занялся, молодой мужик... Тебя не понимает никто? Коля, скажи честно, почему ты за мной не приехал после футбола и вообще никогда? Разлюбил? Записку прочитал? Какую записку? Ухожу замуж за Ивана Самсоновича? Кто такой Иван Самсонович? Наш учитель по географии, это у которого жена от рака умерла? Ты меня к нему ревновал, помню... Только я записки никакой не писала. Хранишь? Говорю тебе, не писала. Это мать твоя. Да не оскорбляю я ее... Покажи мне. Записку покажи. И тогда жизнь покажет, что ты полный мудака! Куда ехать показывать? Сейчас, что ли, поедешь, показушник? Хочешь меня мордой ткнуть в свою испорченную судьбу?! Ну, это кто кого, как говорится, ткнет! Не скрываюсь я, улица Тимирязева, два, я тут пять лет сижу и тебя не боюсь, приезжай, показывай, чего хочешь...

Кладет трубку.

Покажет он мне! Я сама тебе такое покажу! Сын взрослый! Как алименты взыщу за все годы... Записке с чужим почерком поверил, мне не поверил. Терпение мое кончилось, Коля! Ты не просто нахал, ты урод!

Звонок. Берет трубку.

Голос в трубке. Девушка! Помогите! У нас на маршале Гречко, у соседа потекла труба, он самовольно полез в подвал, перекрыл воду... Сейчас весь дом без воды... А он схватил такси и умчался в неизвестном направлении... *(Сидит не двигаясь.)* Вы нас слышите, алло ?

Пауза. Звонок в дверь.

(Кричит.) Коля, Коленька мой!

Убегает.

РОЛЬ

Комната. Скромная обстановка, стол, диван, зеркало, стена с фотографиями. Входит Апенкина с тетрадкой в руке, кладет тетрадку на стол, берет в руки маленькую иконку.

АПЕНКИНА *(глядя в иконку)*. О святая, всеблаженная Ксения! Спасибо тебе, ты вознаградила меня за покорность и долготерпение, прислала мне режиссера, который захотел со мной работать, спасла меня от забвения. Жду тебя на премьере. Я почувствую то место, с которого ты будешь смотреть на меня. *(Целует иконку.)* Молод, хорош собой, образован, мил, Ах! *(Проходка.)* Молод, хорош собой, образован, мил.

Бросается к шкафу, вынимает длинную юбку, надевает. Ищет в шкафу крупные серьги, подходит к зеркалу, надевает сережки, смотрит-ся, ищет и выкапывает невесть откуда цветок, прикрепляет к волосам, смотрит в зеркало, бросается за шарфом, добавляет к наряду шарф. Вертится перед зеркалом. Отходит. Облокачивается о стол. Погружается в образ.

Молод, хорош собой, образован, мил! Ах! *(Проходка.)* Молод, хорош собой, образован, мил! *(Поза.)* Ах! *(В философском раздумье.)* Молод, хорош собой, образован, мил, ах! *(Смотрится в зеркало.)* А если он завтра скажет, что будет решать пьесу в современном ключе?

Бросается к шкафу, снимает юбку-макси, вынимает и надевает юбку-мини, высокие каблуки, добавляет черные очки, подбегает к зеркалу

Молод, хорош собой, образован, мил, ах...

Отходит от зеркала.

Репетиция завтра в 11. Надо сразу заинтересовать собой... Я – ученица? Я – кошка, которая гуляет одна ? Я – агрессор? Я – чистый лист! Как выглядит чистый лист? *(Смотрится в зеркало.)* Стремно!

Открывает тетрадку, берет ручку.

И записывать, все что скажет – записывать ! Не произносить ни слова, все в глазах. Неужели? *(Записывает.)* Никогда раньше не слышала! *(Записывает.)* Это ваше ? *(Записывает и останавливается.)* Он, конечно, обратит внимание, что ты записываешь, а ты вдруг записывать перестала... не убеждена! Он должен вернуть твой интерес... Пусть, мальчик старается!

Проходка.

Молод, хорош собой, образован, мил, ах!

Достает и ставит на стол бутылку водки, стопки. Хлопает в ладоши.

Севрюков, Татьяна, проходите!

Изображает встречу гостей.

Чего праздную? Ничего не праздную. Так, сижу себе. Севрюков, ты когда-нибудь, просыхаешь? Татьяна! Увести мужика у лучшей подруги не трудно, трудно понять, что с ним потом делать. Севрюков, погоди не пей, Аркадий Павлович прийти должен. Ну и что, что умер? Кто сказал, что в гости нужно приходить, только пока жив?

Изображает встречу Аркадия Павловича.

Заходите, Аркадий Павлович! Что пить будете? Аркадий Павлович, что у вас там пьют, то же самое, что у нас? Как у вас там с алкоголизмом? Не пьянеют там? Вот это страшно! Аркадий Павлович, поскольку вы умерли, они вас боятся, а вы присядьте рядом со мной, я к ушедшим привычная, у меня и мама и папа ушли, и даже сыночек ушел, правда, не успел родиться, так внутри меня внутри меня и ушел...

Наливает себе водку.

Вы, Аркадий Павлович, ушли, про меня ничего не поняли! На похоронах я по вам плакала, мне казалось, жизнь закончилась, так и не начавшись. Мне очень нужно было ваше одобрение. Я вас любила, Аркадий Павлович. Как бога! А вы мне испытания, пять лет без ролей! Я у доски распределений улыбалась улыбкой номер три. Всего, Аркадий Павлович, я изобрела пять улыбок. Улыбка первая (*показывает*). «Только вы!» Улыбка вторая (*показывает*). «Бог простит». Улыбка третья (*показывает*). «Все пройдет». Улыбка четвертая (*показывает*). «Свобода – дороже всего». Улыбка пятая (*показывает*). «Торжествующая!» В мире, Аркадий Павлович, столько происходит, дома взрываются, люди на встречную полосу выкатываются, наводнения, свадьбы, рождения, а у тебя нет роли, вот новость, так новость, мир просто шибанется. Но если бы вы знали, Аркадий Павлович, как стыдно мне жить было. Всего хочу, любви хочу, ребенка хочу, а внутри стыдоба – недостойна. После ваших поминок в столовой мы, актеры пошли в гримерку к Востряковой, там заслуженный артист Китаев выдрал клоч волос у народной артистки Дергачевой, за то что народная артистка Дергачева назвала его жену, мастера сцены, вашей подстилкой... Вообще, помянули по-доброму! Молод, хорош собой, образован, мил, ах!

Выпивает.

Завтра первая репетиция! Я – пустая, как эта бутылка У меня еще есть!

(*Ставит на стол бутылку.*) Севрюков, как зажглись твои глаза! Тебе бы только надратся, но я люблю, Севрюков, быть с тобой на сцене, когда ты на фокстроте. Ты та-а-кой... Не надо мне было выгонять тебя, перетерпеть надо было Таньку, ведь примирилась я со всем остальным... Танька, верни Севрюкова. Ты его нарочно, спаиваешь, боишься, что в трезвом виде ко мне вернется. Не приму! Мамаева не принимает! (*Выпивает.*) Крутицкий на параллели, Глумов на параллели, все на параллели, а Мамаева непараллельна никому! (*Выпивает.*) Ладно тебе, Танька, радость изо-

бражать, завидуешь как сволочь. У тебя-то роль приживалки. Ты заметил, Севрюков, что Таньку исключительно на приживалок ставят? Против амплуа не попрешь! Я, Севрюков, последние пять лет на две вещи надеялась: что роль дадут и что ты приползешь на своем толстом брюхе. Приполз? Теперь ползи обратно.

Встает на стул.

Апенкина Тамара Ивановна, актриса драматического театра города Верхневолжского, блестяще сыграла роль Мамаевой в пьесе Островского и сейчас ей будет вручен приз за лучшую женскую роль. (*Аплодирует.*) Театр выдвинул ее на звание заслуженной... извините, вкралась ошибка, Апенкина Тамара Ивановна выдвигается на роль народной артистки. (*Аплодирует.*)

Апенкиной Тамаре Михайловне ура, ура, ура! Машину Апенкиной к подъезду Апенкина опаздывает на репетицию? Будем ждать!

Звонок по телефону. Слезает со стула, подходит к телефону.

Апенкина слушает. Это вы, Руфина Маркеловна? Слушаю вас, дорогая... Да, сегодня вывесили распределение...

Пауза.

У меня нет роли в спектакле? Мне не надо приходить на репетицию? Какое право вы имеете так говорить? Я не кричу... Спасибо, Руфина Маркеловна, извините, Руфина Маркеловна... (*Кладет трубку.*) Сволочь вы хорошая, Руфина Маркеловна!

Ставит стул на место, убирает бутылку, стопки со стола, обращается к воображаемым гостям.

А вы все сидите? Алло, ребята, просыпайтесь, праздник закончен. Все, больше пить не дам. Севрюков, бери Татьяну и кандыбайте в свою пещеру. Аркадий Павлович, очнитесь, вам к своим пробираться пора. (*Кричит.*) А ну пошли все отсюда, пошли, говорю, иди, иди Севрюгин, у своей проси, она добавит, Танька, уйди от греха со своей торжествующей рожей. Аркадий Павлович, проснитесь, Аркадий Павлович, я вас выгоняю... Пошли все в тоннель стройными рядами...

Ложится на диван, плачет. Вскакивает.

Я подожгу это долбаный театр! Завтра днем, когда никого на сцене не будет, оболью край занавеса бензином и чиркну. Пока сбегутся, все сгорит. Надо сегодня, сейчас пронести в театр и поставить в углу ближе к сцене, чтобы завтра только чирк... Чирк... Чирк... Надо достать бензин. Пойду к Рябовой, у нее машина... скажу шубу почистить...

Уходит и возвращается.

А может, лучше удавиться, к чертовой матери? Перед репетицией. Они приходят – вау, крики, обмороки... Гроб поставят на сцене. (*Пауза.*) А если не поставят? Скажут, хороните из дома, народ придет, а у меня не убрано,

денег не поминки ва-ще нет, театр по рюмке плеснет, найдутся активисты, добавят, выпьют, поговорят о том, какая была... надо хоть альбом с фотографиями подготовить, поминки интереснее пройдут.

Вынимает из шкафа альбом с фотографиями, рассматривает.

Офелия! Это сразу после училища, Аркадий Павлович стоял на коленях после генеральной, он говорил, ты моя звезда! Красивые годы! .. Марианна в Тартюфе, Липочка «Свои люди»... Я Аркадию Павловичу из старых джинсов кепочку сшила, он в ней до самой смерти ходил.

Листает альбом.

Севрюгин! Ой, какой сибиряк ! Мне здесь 27, ему – 28. Репетиции «Грозы». Я – Варвара, Севрюгин – Тихон. Пришли к Аркадию Павловичу благословения просить, Аркадий Павлович потом меня вызвал, говорил, что я играю день ото дня все хуже и хуже.

Рассматривает фотографии.

27 лет. Это я после родов. Почему он родился мертвым? Потому что беременных женщин нельзя бить в живот. А беременным женщинам не нужно отнимать у пьяных мужчин водку. Можно остаться без детей на всю жизнь.

Смотрит дальше.

Мне 35. Севрюков, Танька и я на выездном, в области... А это уже Севрюков и Танька без меня, в постели. Мне эту фотографию подсунили... В гримерке на столе лежала. Я Таньке первая гадость сделала, перед премьерой сообщила Аркадию Павловичу, что она его «козлом» зовет. Таньку с роли сняли, играла я... хорошо играла. Танька в долгу не осталась. Сцена с переодеванием, со сцены только прибежать, пелерину накинуть, и вперед. Бац, пелерина с вешалки не снимается, приклеено, а вокруг – никого. Успела отодрать, но Таньке колесо от велика прокололо на следующий же день. Упала Танька с велика, локти расшибла, а уж потом к ней Севрюков ушел.

Рассматривает фотографии в альбоме.

Аркадий Павлович уже ни о чем не спрашивает. Не разговаривает. Негде разговаривать, не видимся совсем. Прихожу на репетиции, сижу в зрительном зале, слушаю, что говорит. Не мне, другим, Севрюкову, Таньке. Вечерами сижу в гримерках, растворяюсь в водке, сигаретах, мате... Мимо театра проезжают бабы и мужики на машинах, куда-то стремятся, не заруливая в театр.

Выбирает одну из своих фотографий, разговаривает с ней.

Ты хоть знаешь, что Бангкок, это не инфекция, а страна? Ты хоть знаешь, что от количества растертой клубники на твоей роже сумма лет не меняется? Ты хоть знаешь, что дача – это не садовый домик с покосившимся крылечком, дача – это уровень достижений человека! Ты понимаешь, что

барахло из секонд-хенда имеет обобщенный запах и запах этот не выветривается, сколько ни стирай?

Подбегает к шкафу, выбрасывает оттуда, вещи, с пола подбирает кофту, надевает на себя, подбирает и накутывает на себя шарф, шляпу, врубает темповую громкую музыку, пляшет.

Вам барыня прислала сто рублей! Веселитесь на эти сто рублей...

Останавливается.

Не скажи, Тома, ты одна, не дай бог ногу подвернешь, кто тебе мазь в аптеке купит?

Садится на диван.

А почему ты одна, Тома? Потому что нет у тебя ни друзей, ни подруг, а есть коллеги. А твои коллеги, Тома, – это люди, которые ждут ролей, как пассажиры поезда на полустанке, поезд прибывает, стоянка три минуты, надо успеть занять места... Давка, возможны увечья.

Берет в руки иконку, смотрит на нее.

Святая блаженная Ксения, научи, что мне делать? Поджечь ли мне театр, или уйти из театра к ядреной фене... Поняла.

Бережно ставит иконку на место, подходит к зеркалу.

Подведем итоги, Апенкина, твои личные итоги – нулевые. Достижений нет – ты невостребованная актриса невостребованного театра в невостребованном городе. Детей у тебя не будет, а мужчину для старости нужно было находить в молодости. Ты выйди в жизнь, Апенкина. Сколько счастливых женщин – повара, продавщицы, вагоновожатые, воспитатели – живут без этих мучений, души себе не корежат, не выгибаются, не загигают. Живут и счастливы.

Ты тоже будешь счастлива, Апенкина.

Вынимает бутылку из шкафа, ставит рюмки на стол. Хлопает в ладоши, призывая гостей.

Ребята, я вас прогнала, это было неправильно! Заходите, мне нужно с вами попрощаться. Я ухожу в жизнь, где не будет неискренности, тайной злобы, коллективной зависти, все будет в открытую. Хамить, так в лицо, бить, так по лицу, посылать, так в ж... Для того, чтобы вы отвяли от меня, я должна вас простить. Татьяна, я тебя прощаю, то, что Севрюков с тобой, это такая случайность, как кирпич на голову. Кирпич головы не выбирает. Севрюков, я прощаю тебя, потому что ты меня не предавал. Предательство – это когда один человек пользовался доверием другого человека. Я тебе никогда не доверяла. А вот и Аркадий Павлович! Извините, Аркадий Павлович, вы, еще не успели долететь до места, а я вас опять вернула. Я должна с вами попрощаться, Аркадий Павлович! Навсегда! Вы были правы, я не актриса! Меняю профессию, а вам искренне желаю счастья. Там у вас как насчет счастья? Там в счастье не нуждаются? Какое счастье! Я вас,

Аркадий Павлович, прошу больше ко мне не приходить! Я вас не знаю... Я другой человек. У меня спина распрямляется. Достоинство позволяет мне дышать полной грудью, все модели улыбок я дарю вам, а у меня будет просто улыбка, обыкновенная человеческая...

Старательно улыбается.

Слава богу, ушли... Я не буду думать о них. В моей жизни будут другие люди, не важно, хуже или лучше, просто другие. Говорят, врач Павлов, после того как обследовал психику обезьян и собак, собирался обследовать актеров. Не успел. Я новая! Я сильная! Я все смогу!

Берет трубку, звонит.

Алло, Соня? Соня, помните, вы говорили мне, что есть возможность устроиться к вам в риэлтерскую контору? Будете рады? Спасибо! Нужны люди с поставленным голосом?.. А как с зарплатой? Сдельная, но больше чем в театре в 10 раз минимум? Это немудрено, у нас в театре такой максимум минимума, что все остальное – уже богатство. Смогу купить квартиру? О, как это здорово... Завтра же прихожу с утра подписывать договор. Спасибо, Сонечка... вы мой ангел!

Кладет трубку.

Завтра же пойду и устроюсь риэлтором. Сделаю себе квартиру. Разбогатею, куплю машину и выйду замуж. С деньгами я не пропаду. Я буду трудиться, и я увижу жизнь новую, светлую... С чего надо начинать новую жизнь? С новой краски, срочно перекрашиваюсь в блондинку.

Уходит. Звонит телефон. Вбегает блондинкой. Берет трубку.

Алло? Да, Руфина Маркеловна, слушаю вас... Репетиция завтра в 11? Так вы сказали, что меня сняли с роли. Не меня? Но вы звонили... Климачевой звонили? Ошиблись номером? Номера телефонов похожие? Так вы не мне звонили? Поздно, Галина Маркеловна...

Пауза.

Я хотела сказать, лучше поздно, чем никогда...

Кладет трубку. Прохаживается по комнате, повторяет фразу.

Молод, хорош собой, образован, мил, ах!

С НОВЫМ ГОДОМ, ЕЛОЧКА, или Сказка для бедных

Комната со скромным убранством. Ангелина Ивановна ставит на стол маленькую нарядную елочку.

АНГЕЛИНА ИВАНОВНА. Ты, елочка, прости, я при тебе повешусь. Одной страшно уходить, а уходить надо. Целый месяц прошел после скандала с Юрой. Юра – нервный мальчик, а мамы должны уметь прощать. Я простила ему все, что он сказал. А сказал он, что я должна поскорее сдохнуть. Я сначала подумала, что это от нервов, улыбнулась, предложила съесть творожную запеканку с йогуртом, я всегда старалась кормить его диетически, ведь он полный мальчик. Почему-то он в ответ ударил меня, я упала, он несколько раз пнул меня лежащую ногой и предупредил, если я не перепису квартиру на него – больше никогда его не увижу. Прошел месяц, я ждала, что нервы его улягутся, но та женщина, с которой он живет, – от нее один мрак и жестокость. Это ее идея насчет квартиры, а он – зомби, несчастный человек. Юра не звонит, я совсем одна, я давно одна, даже, когда бывала не одна... Я, елочка, наглоталась одиночества, как пыли. Я не от одиночества ухожу. Сегодня приснился сон, я нырнула в бассейн, а бассейн оказался на ремонте, и поэтому его закрыли темно-синим огромным покрывалом. Я не успела выйти, а нужно уже не выходить, а вылезать... причем, спиной. Девчонки, которые обслуживают внутри бассейна, сказали, надо было думать, когда залезали, показали, куда цепляться, и ушли... Я подтягивалась, подтягивалась, не осталось сил, я поняла, что сейчас руки мои соскользнут с турника, и я с головой уйду под воду... Я проснулась, и пожалела, что сон оборвался.

Встает, ищет что-то, находит.

Вчера я купила веревку. Бельевая, хорошего качества, может выдержать 120 кг, мои 65 уж как-нибудь... Предлагали китайскую, я засомневалась... Я ведь, елочка, не сразу пришла к этой мысли, я советская женщина, а мы, советские люди, привыкли поступать не так, как удобно, а так, как нужно. Свой уход, как и уход на пенсию, я оформлю достойно. Все-таки, я специалист со стажем, имею благодарственные письма и грамоты. *(Вынимает грамоты, раскладывает.)* Меня и губернатор несколько раз с Новым годом поздравлял *(раскладывает открытки)*... Надо Юрочке записку написать *(ищет бумагу, ручку, пытается писать)*. Ни черта ручки не пишут... Предсмертную записку уместно написать и карандашом *(находит карандаш, надевает очки, пишет)*. Уходя, я, как всегда, думаю о тебе, молю бога, чтобы ты жил радостно. Целую, мама. *(Присматривает место для записки)*. Вот сюда, под поздравление от губернатора. Юрочка наверняка захочет прочитать, как его маму ценил губернатор, и тут же увидит записку...

Осматривает бельевую веревку.

Хорошая веревка! (*Спыхватывается.*) Есть понятие – веревка и мыло... Зачем мыло? И спросить не у кого... Может быть, Александр Борисович знает? Все-таки учитель физики... Где-то был его телефон... (*Ищет в записной книжке.*) Александр Борисович, Александр Борисович... вот.

Набирает номер телефона.

Здравствуй, могу я поговорить с Александром Борисовичем? Не могу? Умер? Извините. (*Кладет трубку.*) Надо было спрашивать раньше... Там встретимся, спрошу, хотя там, наверняка, возникнут другие темы...

(*Приносит мыло, смотрит на него озадаченно.*) Ладно, разберусь на месте.

(*Смотрит на потолок.*) Люстра! (*Приносит стул, ставит на стол, смотрит на люстру.*) А если разобьется? (*После паузы.*) Какая разница? Ну да... (*Смотрит на потолок.*) Надо позвонить Алле, а то потом закружусь и забуду.

Отходит от стола, берет трубку, набирает номер.

Аллочка? Здравствуй, это Ангелина Ивановна. Хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом... Чего вдруг? Это ты напрасно, я тебя поздравляла в прошлом году... в позапрошлом? Ну видишь, совсем недавно. Как твои дела? Боренька болеет? Он у тебя, Аллочка, все время болеет, это последствие того, Аллочка, что ты не кормила его грудным молоком. Я, Аллочка, когда кормила Юру, пила молоко с чаем цистернами, ела орехи, масло, впихивала в себя, я Аллочка, не боялась растолстеть. (*Пауза.*) Я не звоню специально, чтобы говорить гадости, я звоню, чтобы попрощаться, с вами, с Боренькой, сказать, что мне жаль, искренне жаль этих трех жен, которые были у Юры после вас, они гораздо хуже... (*Пауза.*) Аллочка, не кипятитесь, я вам звоню мирно, а то, что он вас избивал, он же не пьяный был, Аллочка, значит, вы ему нервы подняли... Вот вы ему нервы подняли, и никто после вас опустить не может... Аллочка, вам нужно более критично к себе... Что? Я этого не заслужила, я хотела сказать прощай... (*трубку бросили*) ...те...

Смотрит на потолок, пытается влезть на стул и на то сооружение, которое создала. С большим трудом ей это удастся, но звонит телефон, и ей приходится слезть и взять трубку.

Юра?! Извините, я подумала, сын... Ты?! Ты еще удивляешься, что я удивляюсь? Как я живу? Через сорок лет тебе стало интересно? Ты все время думал? Мы с Юрой это ощущали, особенно, когда есть было нечего... Внуки у тебя в России есть, от первого Юриного брака и от третьего... Ты женат в пятый раз? Юра подтянется... Что делаю? Пытаюсь покончить жизнь самоубийством... Ты чего хохочешь, надрываешься? Всегда любил мой черный юмор? А у тебя светлый юмор был, когда ты от нас с Юрой удрал, кинул кормящую мать, даже на хлеб денег не осталось. (*Кричит.*) Подонок! Ты мне жизнь загубил, из-за тебя наш ребенок родился уродом... Он моральный урод, такой же как ты! И не звони! И чтобы я тебя не слышала! И на том свете мы с тобой не встретимся, потому что ты попадешь в ад, я уж там дам тебе такую характеристику, что к чертям... ненавижу...

Бросает трубку, вытирает слезы, опять залезает на стол, пытается снять люстру. Звонок, не обращает внимания, ожесточенно работает,

наконец снимает, с трудом удерживает, слезает, звонок не прекращается, берет трубку.

Чего тебе надо? Хочешь поздравить с Новым годом? Спасибо. Попросить прощения? Ты умираешь? Тогда обойдешься без прощения. Юрин телефон? Юра знает, что его отец погиб при испытании объекта особой секретно важности 40 лет назад. Он подумает, что тебя рассекретили? Он ничего не успеет подумать, он свихнется. ...Прощаю, только отвяжись.

(*Тихо.*) Если честно, я рада твоему звонку, он сделал финал красивым! Привет пятой жене...

Кладет трубку. Залезает на стул, стол, дотягивается до люстры, в конце концов ей удается снять люстру, демонстрируя чудеса эквилибристики, она приземляется около стола. Укладывает люстру.

Садится около елочки.

Хорошо уходить, елочка, когда никому ничего не должна. Хорошо уходить в спокойном состоянии духа. Все выходят из игры, рано или поздно... Правильнее было дожидаться. Дождаться трудно. Время тянется, как старая половая тряпка, в какую сторону не потяни – дыра. Болят ноги, спина, голова, живот, шея, пальцы рук и ног, немеет левое плечо, что-то защемляется под правым ребром... Все можно вытерпеть, кроме одного – некому рассказать, что у тебя болят ноги, спина, голова, живот, шея, пальцы рук и ног, немеет левое плечо, что-то защемляется под правым ребром. У меня, елочка, никого... соседи не ходят, у меня очень противные соседи, подруги умерли. Из трех жен моего сына ни одна, представь себе, ни одна, не позвонит. Все три считают, что я сука. Это все ерунда по сравнению с тем, что сделал Юра. Он убил себя... Его нет, и никогда уже не будет. Мать не должна переживать сына

Вынимает платье из шкафа, кладет на диван, берет веревку, встает на стол со стулом, прилаживает веревку, сходит со стола, садится, потом вспоминает что-то, берет трубку, звонит.

Ира, здравствуй! Поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Спасибо. Я вот по какому поводу тебя беспокою... ты уж не откажи... Послушай, что я тебе скажу, только не перебивай. Дверь не будет заперта, деньги на похороны будут лежать в комоде в нижнем ящике под бельем. Украшения на зеркале возьми себе. Минут через двадцать я все сделаю, я попрошу тебя через час максимум позвонить в полицию, во-первых, деньги на похороны чтобы не пропали, во-вторых, чтобы все прошло эстетично и недолго... А то Новый год, никому не захочется ехать, скажи, пусть снимут, отвезут куда надо, а там уже я подожду... Ничего не поняла? Ну ты, когда придешь, то увидишь и все поймешь. Не сможешь прийти? Не успеаешь сделать торт? Извини, Ира, я не подумала. Прощай! (*Кладет трубку, думает.*) Как будет, так и будет, не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня

Встает на стол, стул, завязывает петлю на веревке. Звонок.

Ну все, все, никаких звонков... (*Набрасывает веревку на шею.*) А вдруг это Юра? Конечно, Юра... Кто еще? Мой нервный мальчик! Хоть голос услышать, попрощаться по-человечески. Конечно, Юра, больше некому.

Вылезает из петли, слезает со стола, берет трубку.

Юра? Нет, не Галина Васильевна... Говорю вам, здесь нет такой. Как зовут меня? Зачем вам, женщина? Меня зовут Ангелина Ивановна, но меня поздравлять не надо... Нет, не всех поздравлять надо, а только тех, кто будет жить в следующем году. А я не собираюсь... *(Бросает трубку.)*

Опять звонок. Берет трубку.

Что я собираюсь делать? Собираюсь уйти из жизни. Что случилось? Сын меня избил и сказал, чтобы я подыхала. Воспитав так блестяще сына, мне ничего не остается, как удалиться с этого света... Что вы так кричите, женщина? Я вас не звала, вы сами позвонили, а теперь кричите и плачете, успокойтесь... Что за безобразие, почему я перед смертью должна успокаивать незнакомых людей?

Кладет трубку, опять звонок.

Женщина, прекратите мне названивать, мне некогда, я тороплюсь, понимаете? Мне хотелось бы остаться в старом году, не перешагивать... Не можете ко мне бежать, и слава богу... мне неинтересно про ваши ноги, мне уже ничего не интересно. *(Вскрикивает).* Как – без ног? Но за вами кто-то ухаживает? Нет родственников? Ну, это безобразие. Служба социальной защиты? Это несерьезно. Авария? Иномарка в автобусную остановку? Вам должны заплатить... Вас как зовут? Людмила Сергеевна? Люся, нужно срочно писать жалобу в суд... Я, конечно, человек советский, в наше время все решали власти, а не суд, но я вам точно говорю, в советское время иномарки в автобусные остановки не въезжали, мы о таком даже не слышали.

Люся, вы святая женщина, звоните по знакомым, и поздравляете их с Новым годом, а они не думают к вам приехать... Вам приятно поздравлять? Вы смешная. У вас шампанское есть? Нет шампанского? Ужас! Вы не возражаете, если я к вам подъеду и привезу шампанское? Где вы живете? *(Записывает адрес.)* Как вы сумеете мне открыть? Вы на коляске? Откроете? Буду минут через сорок.

Кладет трубку. Одевается.

(Елочке.) Ты представляешь, елочка? Эта женщина попала в аварию, сломала позвоночник, у нее не ходят ноги и нет родственников. Кажется, кроме меня у нее вообще никого нет. *(Бежит, причитает.)* Зачем сняла люстру? Теперь нужно кого-то искать, платить деньги, чтобы повесить обратно. Рублей триста попросят, не меньше... *(Останавливается.)* С Новым годом, елочка!

Гасит свет, быстро уходит.

Занавес

Публицистика

Николай БЕНЕДИКТОВ

Российский политический деятель, писатель, философ. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии Нижегородского госуниверситета. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвертого созывов.

Автор ряда книг, в том числе «Русские святыни» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Россия отметила 700 лет со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского

Прикосновение к великому всегда обогащает, дает возможность задуматься о смысле происходящего. А уж о Сергии кто только не писал.

Леонид Леонов: «...Легендарный первоигумен, вдохновивший Русь на освободительную, от затыжного ордынского ига, Куликовскую победу. Она-то и придала светлосту имени его навеки парольное звучание нашего национального единства, согласия и, значит, надежды».

А вот слова гениального философа и богослова отца Павла Флоренского: «Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, "чюдного старца, святого Сергия", как свидетельствуют о нем его современники».

Смысл Руси, ее национального единства, согласия и надежды можно понять только истолковав и поняв сделанное святым старцем Сергием Радонежским. И уже столько о нем сказано, что кажется – достаточно, однако довольно легко обнаруживается, что многое непонятно, спорно. И дело не только в том, что любой великий глубже нашего о нем представления – ведь мы вмещаем только нам доступное. Дело еще и в том, что наследие героев и великих учителей сталкивается с новыми задачами, новыми условиями и обстоятельствами, в которых дает нам помощь и поддержку. В условиях новой смуты несет нам надежду и возможности новых решений. И это и есть новое, что и важно проговорить.

Преподобный Сергий Радонежский – явление предельно русское и православное. Преподобный – означает святость, достигнутую в монашестве, которая понимается как высшая степень подобия Богу и приближение человека к ангельскому образу. Преподобных называют «земными ангелами» и «собеседниками ангелов». Святость основана на непрестанной молитве, посте, постоянном труде. Это сторона христианская и православная.

В то же время преподобный Сергей – игумен земли Русской, и это сравнение всей Русской земли с монастырем очень русское.

Идеал Руси – Русь святая, своего рода подобие монастыря, т. е. место жития святых, живущих трудом и молитвой с постоянным обращением к высшим святыням (ценностям).

Разве можно о ком-либо сказать, что он игумен Франции или Англии? Ведь идеал французский – прекрасная Франция. А прекрасное может быть холодным, как Снежная королева Андерсена, или страшной красотой оружия. В прекрасном необязательно присутствует добро или любовь, или истина. Идеал Англии – добрая старая Англия. В добре необязательно присутствует красота, не случайно англичанин и писатель Дж. Оруэлл в своем очерке об англичанах писал об отсутствии у англичан чувства прекрасного. Да и добро вовсе не обязательно требует жертвенности по отношению к другим людям, оно имеет свои границы. Святость же включает в себя все эти черты. Вспомните образы монастырей. В этом воспоминании обязательно будет присутствовать художественный момент любования красотой монастыря и церкви. И будет присутствовать ощущение добра, приюта, заботы, а раз так, то и труда, и любви.

Однако является ли преподобный Сергей самым популярным святым на Руси? Совершенно явно – нет! Самый популярный – безусловно Николай Угодник. В красном углу в крестьянских избах кроме икон Христа-спасителя и Богородицы, как правило, стоит икона Николая Чудотворца. О реальном историческом святом Николае немного знают, однако он и есть народный, скажем, низовой святой. Его образ явно связан с представлением о любви, от него истекающей ко всем живущим. Никто не вспомнит, что реальный Николай, по дошедшей до нас легенде, мог быть гневным, мог ударить человека в лицо (Ария на Вселенском соборе). Для всех Николай Угодник кажется добрым дедушкой, в России тем более спросимся с Дедом Морозом.

Стоит помнить, что подобное восприятие святого есть тоже заслуга христианства. В Древней Греции нежелательных детей (допустим, кормить нечем) относили на гору умирать от голода и холода. Оставленные жить приравнивались к рабам, которых отец семейства мог убить или продать. Подобное отношение было весьма живучим. Вспомните рассказанную братьями Гримм немецкую сказку про Мальчика-с-пальчик – как родители отводили детей в лес, чтобы их не кормить. Николай Угодник – живое воплощение любви и доброты. Он всех любит, жалеет, ни с кого ничего не требует.

А вот преподобный Сергей не таков. Попытки представить святого Сергия болезненным ветхим дедком встретили справедливые возражения писателя Б. Шергина, который пишет, что Сергей не тшедушный старичок, а олимпийский величавый Зевс. Он и по костям мощей велик, и по воспоминаниям, и по словам его описателя Епифания Премудрого силен как два человека. Но дело даже не в телесной силе и мощи, хотя и это стоит отметить. На Руси аскеза не подразумевала изнурения тела. Тело – тоже произведение господне, его не должно баловать чревоугодием, но оно обязано трудиться. А Сергей был постоянным тружеником. Без дела не сидел. Христианская заповедь: кто не трудится, тот и не ешь, для него существовала не как абстрактное отвлеченное, а как совершенно обычное земное и непререкаемое правило. Известен случай: однажды стало в монастыре совсем голодно, и Сергей нашел подработку у другого монаха (тогда в монастыре каждый вел свое хозяйство). Надо было срубить сени, но монах мог уплатить только решетом заплесневелых хлебов. Сергей согласился

на работу, взял подряд, однако посчитал неприличным поесть вперед. Он стал есть эти заплесневелые хлебы с водой только закончив работу.

Возвращаясь к сути Сергия можно сказать коротко: преподобный был *элитарным*, в хорошем смысле, святым. Именно это качество и определило его значение для Руси и мира. Его правила: начни с себя и требуй с себя больше, чем с других, ибо если хочешь быть первым среди людей, стань первым слугой. Ничего не проси у людей и мира, все дает Господь и каждому дает достаточно, чтобы справиться с любыми затруднениями и испытаниями. Преподобный был воплощением христианского исходного принципа: Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Становиться на путь обожения означает предъявлять к себе гигантские требования. Люди и монахи тянулись к нему, видя в нем уникальное воплощение главной христианской цели обожения, однако его высочайшему примеру не все насельники могли соответствовать. Его требовательность и есть то, что творит элиту, есть то, чего не было в народном образе Николая Угодника.

Правильно понять сделанное преподобным Сергием означает правильно понимать значение религии и церкви в средние века. Так, в Европе существовала единственная империя – Священная Римская империя германской нации. Император поссорился с римским папой. Папа наложил интердикт, т. е. запретил богослужение в империи. Для средневекового человека любое дело начиналось и кончалось церковью, молитвой. И вдруг нельзя ни свадьбу сыграть, ни похоронить. Император «пошел в Каноссу» (появилось с тех пор такое крылатое выражение) к римскому папе вымаливать прощение. Трое суток днем он стоял босиком у замка папы и каялся. В этом примере показывается ключевая роль религии и церкви.

На Руси многое было схожим, а уж ключевая роль религии и церкви не требует особых доказательств. Например, почему именно Москва, а не Рязань, Тверь или Нижний Новгород стали во главе Руси? Ответ на поверхность: где был центр религиозной жизни, где находился митрополит? В Москве. И нередко были случаи, когда религиозный владыка исполнял роль и светского господина. Будущий победитель на Куликовом поле Дмитрий стал великим князем в 9 лет. И в его малолетстве реально правил великий человек митрополит Алексий, впоследствии святой православной церкви. Московская православная церковь и начала выстраивать единую Московскую Русь.

Конечно, стоит помнить, что само по себе христианство и православие не гарантировали будущего нравственного здоровья. Что такое православные румыны? Что такое православные болгары? Писатель и врач В. Вересаев спас от неожиданной болезни сына соседа-болгарина, за что тот привез ему воз овощей. Когда же Вересаеву вдруг то понадобилась пролетка, то сосед ему отказал. Ошарашенный писатель сказал: «А я ведь недавно вам помог». На что сосед ему сказал: «Я вам за это уплатил». Какое уж тут православие с его любовью и жертвенностью, когда в данном случае нет обычного доброжелательства и добрососедства! Как тут не вспомнить, что спасенная русскими от турецкого ига Болгария в двух мировых войнах оказывалась в антирусском лагере!

С русскими сложилось так, что до принятия православия у нас уже выработалась определенная система ценностей. Об этом хорошо и точно сказал Ф. Тютчев, указав на особую жертвенность русского народа уже в те далекие времена. Появление же православия привело к взаимному усилению жертвенности русской и православной, что и дало уникальный сплав. Посудите сами: погибай, а товарища выручай. Если с хладным бездушным расчетом подходить, то поговорка бессмысленна: чем двоим

погибать, лучше уж пусть один. Однако в реальности арифметика здесь не годится: когда товарищ приходит на помощь, мы получаем не просто сумму сил двух людей. Возрастают крепость и сила духа, а с ней – жизненная и боевая мощь, и шансы увеличиваются многократно.

Русь прошла через тяжелейшее историческое испытание – татаро-монгольское иго, которое иссушало силу и дух русского народа. Сегодня есть теории о том, будто это иго оказалось чуть ли не полезным для русских. Подобные теоретики словно не замечают очевидных вещей. Достаточно будет указать им в ответ, что число населения и количество и качество ремесел на Руси по сравнению с домонгольским периодом восстановилось только ко второй половине XVII века. Значит, громадное число людей и специалистов было потеряно, да заодно утеряли еще четыреста лет. И это не оправдать ничем. А так называемое «благодетяние» ига заключено в поговорке: тяжкий млат, дробя стекло, кует булат. Иго было тяжким молотом, а вот сталь высшей пробы надо было приготовить. Готовить из народа сталь более высокого качества должна элита. Известно, что стадо баранов во главе со львом побеждает стадо львов во главе с бараном. Значит, сначала надо приготовить элиту, командиров. Посмотрите на сегодняшнюю Украину и на ее нынешнюю сомнительную элиту: трудно поверить, что эта полууголовная камарилья может привести народ к чему-то хорошему. Но ведь и до татар было на Руси плохо, князья дрались между собой, убивали и распродавали народ. Так что татары появились как божье наказание. Через Русь прогрохотали татарские рати – Батыева, Неврюева, Дюденева, – а князья все распри устраивают. Появился ужас перед татарами, неверие в свои силы. Ведь и преподобный Сергей – из семьи ростовских бояр, переселившихся под Москву из-за татарских ужасов. Что делать? Помощь только от Бога.

Сергий об этом думает, однако в монастырь из-за запрета родителей попадает только после их смерти, в 23 года. А затем до 78 лет он готовит Русь к ее судьбе, в результате чего появляется, по словам Алена Даллеса, самая непокорная на свете нация – московские русские, великорусские, москали и т. п. Чтобы сохранить достоинство и непокорность, надо стать самыми сильными и лучшими людьми, в терминологии того времени «обожиться».

За 55 лет своего служения святой Сергей решает триединую задачу.

Первое. Хочешь быть первым среди людей – стань первым слугой.

И он становится великолепнейшим неутомимым работником, образцом бодрости, отсутствия уныния, постоянно готовым помочь, удивительно требовательным к себе в первую очередь, а затем уж к другим. Неприятельность его поражает: крестьянин просит показать ему старца, ему указывают на работающего в огороде в рясе из плохой ткани инока, но он не верит даже после общения со старцем в возможность таких людей. И только после разговора старца с князем до крестьянина доходит, что этот человек – «преподобный» Христу. Крестьянин становится его поклонником и затем монахом. Сами монахи тянутся к Сергию, однако не все выдерживают его жесткие требования, возникают споры, недоразумения, бунты. Доходит до того, что Сергей уходит из монастыря, и братия довольно быстро понимает, что с ним уходит и смысл. Кто-то перебегает за ним, а затем община просит вернуться. Показателен случай: монахи голодают четверо суток, обращаются за разрешением к игумену просить еду у крестьян, преподобный запрещает просить, говорит длинную речь-увещание, и в это время в монастырь прибывает воз с едой. В любом случае Сергей от своих принципов не отступает. Авторитет его становится необычайно высок, как говорили в Риме «*summa auctoritas*».

Второе. Преподобный начинает выращивать русскую элиту в своем «высшем духовном училище», а также объединять общими задачами и своей дружбой лучших людей того времени.

Он весьма требователен к ученикам: ночью обходит кельи и стучит в двери и окна, если там слышны разговоры и смех. Утром виноватых игумен вызывает на увещание, накладывает наказания. Представить в подобной ситуации Николая Угодника невозможно. Преподобный Сергей выступает в роли строгого и требовательного учителя, воспитателя, наставника, тренера. Он готовит, говоря современным словом, своего рода спецназ. В него попадают его родственники (братья, племянник), лучшие из монашеской братии. Он дает каждому особые задания. И это не только огород или плотничьи работы, – то лишь начальная школа. Есть задачи потруднее. Он посылает людей на Афон и в Византию с послушанием учиться умному деланию, иконописанию, добывать ученые тексты и иконы, покупать или переписывать их и посылать на Русь. Достаточно представление о размахе подобных послушаний говорит тот факт, что Афанасий Высоцкий был «в командировке» в Византии двадцать лет!

Другом преподобного был нижегородско-суздальский епископ Дионисий, известный своей ученостью и книжностью своих монахов. Когда великий князь московский Дмитрий женился на нижегородской княжне Евдокии, то в качестве одного из свадебных подарков ему была преподнесена знаменитая Лаврентьевская летопись – свод летописных сведений, составленный по указу Дионисия ученым монахом Лаврентием. Этот свод сохранил для нас нашу Начальную летопись – Повесть временных лет.

Другим знаменательным лицом и другом преподобного был Стефан Пермский, который крестил пермяков и создал для них азбуку. И крещение пермяков, и создание азбуки, – уже каждое из этих деяний Стефана замечательно и достойно отдельного возвышенного описания. Мы справедливо отмечаем подвиг Кирилла и Мефодия, однако стоит заметить, что они реформировали русскую азбуку (она ведь уже была), а великий Стефан создавал азбуку на пустом месте.

Поэтому обратим внимание на ту «специализацию», по которой обращаются к Сергию с молитвами. Если к святому Пантелеймону обращаются с просьбами помочь со здоровьем, то к Сергию – за помощью в освоении учености. Заодно он считается покровителем артиллерии, что, на мой взгляд, прямо связано с предыдущим; артиллерия до недавнего времени была самой «ученой» воинской специальностью. Из учеников прямых и «внучатых» Сергия вышли знаменитые писатели (Епифаний Премудрый), иконописцы (Андрей Рублев).

И, наконец, третье. Это прямо связано с посланием вселенского константинопольского патриарха Филофея Коккина игумену Сергию.

Данный факт требует объяснения. Лично они знакомы не были. Скорее всего, митрополит Алексей объяснил роль и значение Сергия, и патриарх написал приветствие и пожелания с подарками: рясой, парамандом, крестом-мошевином.

Сегодня в светской литературе у нас иногда еще спорят о том, был ли Сергей исихастом. В церковной сфере вопрос представляется ясным. Исихазм – официальная философия православия. Исихия значит по-гречески «покой, молчание». Ясно выражает эту философию стихотворение Ф. Тютчева «Молчание» (*Silentium*). Византия во времена Сергия продолжала оставаться самым богатым и культурным государством региона, однако явно клонилась к закату. И, как сравнил отец Павел Флоренский, свеча перед тем, как потухнуть, ярко вспыхивает. Эта яркая вспышка и была

связана с появлением детально разработанной Григорием Паламой философии православия.

В 40-е и 50-е годы XIV века в Византии была сделана попытка пропаганды философии и богословия Фомы Аквинского (в последующем основы официальной философии католицизма). Она встретила активное сопротивление, и Григорием Паламой были написаны полемические сочинения. Они впоследствии получили название «Триады в защиту священнобезмолствующих». (Исихасты на Руси получили название «священнобезмолствующих»). В Константинополе прошло четыре церковных собора под председательством императора с обсуждением возникшей полемики. Победила точка зрения исихастов. Константинопольский патриарх Филофей Коккин впоследствии организовал канонизацию теоретического лидера исихастов и своего учителя митрополита Салоник Григория Паламы.

Русский митрополит Алексей на все четыре собора посылал своих вidoков и послухов и был полностью в курсе споров. На таком фоне получить послание и поздравление от вселенского патриарха противнику или хотя бы нейтралу в богословском споре представляется совершенно невозможным. Послания и подарки явно свидетельствуют в пользу исихастской сущности преподобного Сергия. И эта сущность проявляется во всем поведении святого игумена.

Краеугольным камнем исихазма является подчеркнутое преобладание дела над словом и отсутствие разрыва между ними: слово – серебро, молчание – золото. Конечно же, подобные посланки и поздравления работали на авторитет преподобного.

И послание патриарха стало толчком к смене типа организации монастырей. Это еще одна важнейшая реформа, проведенная Сергием. До тех пор монастыри были идиоритмическими (по-русски их называли «особножительными»), т. е. общим у них было только богослужение, да и то не каждый день, а чаще по субботам и по праздникам. Само слово «лавра» означало широкую дорогу, на которой стоят отдельные домики-кельи. В кельях живут монахи своей «идиотической» жизнью (двусмыслица тут уместна, ибо монахи живут своей частной жизнью со своей частной ответственностью. Идиоритм и значит – частное поведение, частный ритм). Патриарх предлагал Сергию перестроить жизнь монастыря на ритм кинновии-коммуны, когда у монаха все становилось общим, частного ничего не было, и он мог полностью отдаваться послушанию и смыслу жизни монастыря и христианства: «Но едина главизна (правило) еще не достаточествует ти: яко не общее житие стяжасте. ...Потому же и аз совет благ вам даю: послушайте убо смирения нашего, яко да составите общее житие».

Предложение легло на подготовленную почву. Сергей провел такую реформу в своем монастыре, а потом организовал массу общежительных монастырей, дав им из среды своих учеников организаторов и руководителей. Сергей, его ученики и соратники выстроили громадное количество монастырей. Так, если за 300 лет до того на всей Руси было их построено 90, то за XIV век только в северо-восточной Руси открылось 80. Во второй половине этого века Сергием и его учениками основано более 50 монастырей – Троице-Сергиев, Андроников, Симонов, Махрищенский, Георгиевский, Благовещенский, Кирило-Белозерский, Дубенский, Савво-Сторожевский, Голутвинский, Покровский, Успенский и другие. Каждый монастырь превращался в культурно-колониальный центр большой округи, своеобразный притягательный опорный пункт для строительства и освоения земли, которая из пустыни превращалась в обжитое место. Основатели и руководители монастырей сами представляли таким «спец-

назом», т. е. особым образом подготовленными людьми, элитой, многие из которых впоследствии были причислены к лику святых православной церковью – Кирилл Белозерский, Андроник Московский, Пафнутий Боровский (учитель Иосифа Волоцкого), Ферапонт Можайский, Афанасий Серпуховский и многие другие великолепные организаторы, ревнители учености и искусства, строители новой жизни.

Представьте, как это выглядело. Появляется монах в пустыне и начинает строить церковь и молиться. К нему приходят другие, возводят хозяйственные помещения, кельи. Организуют ремесла, земледелие, рыбоводство. К ним прибывают крестьяне. Монастырь влечет: в нем могут накормить голодного, дать кров, вылечить, успокоить и дать какое-то ремесло, а детям – обучение. Возникает поселение, в нем живут земледельцы, скотоводы, плотники, шорники, кузнецы. Возводятся защитные стены. Посмотрите на монастыри Сергиевской школы – чаще всего это мощные крепости, в где можно укрыться и которые не так просто взять. Вспомните прославленную осаду Троице-Сергиевой Лавры в Смутное время.

Монастырь – как правило в центре поселка, города со своими ремеслами и полями. Монастырь – и лечебное, и учебное заведение. И главное – *высшее духовное училище*, где готовят элиту, вождей России – не князей нижегородских, рязанских, тверских, – а вождей, не имеющих своих частных, хотя бы и княжеских, интересов, кроме интересов святой Руси. 150 монастырей – тысячи и тысячи грамотных самоотверженных людей, думающих не о своей шкуре, а о святой Руси! Вот это и есть школа Сергия!

Сравните: даже в лучшие годы советской власти с такой скоростью не росли города и не появлялась элита лучшего толка, думающая не о себе, а о смысле жизни и о Родине! И главной фигурой, изменившей Русь в том далеком веке, был святой преподобный Сергей Радонежский!

Смотрите, как действует эта механика. Страна пока не едина. Каждый князь думает о себе и о своих интересах, о своем княжестве. Великий князь сегодня московский, а завтра может быть другой – кому дадут ярлык на великое княжение. Возникают распри, угрожающие страшным кровопролитием. Вот поссорился рязанский князь Олег с московским. Сражений он не боится, военная сила приготовлена. Что делать? В ход идет самое мощное средство воздействия – Сергей.

Он ходит только пешком, в день одолевает по 70–80 километров. Приходит к рязанскому князю и «замиряет» его! Кровопускания истерзанной стране удастся избежать. Борис Городецкий изгоняет тестя московского князя Дмитрия из Нижнего Новгорода. Склонный и претенциозный Борис сознательно идет на ссору, и московского князя он не боится. В дело вступает преподобный Сергей. Умиротворить словами Бориса не удастся. И тогда согласно обговоренным с митрополитом Алексием правилам Сергей затворяет церкви. Богослужение прекратилось! Борис вынужден уйти без боя. Подобная картина повторяется неоднократно на Руси того времени. Кто может творить подобное? Пришел бы кто-нибудь другой, даже если это Николай Угодник, – сработал бы этот механизм? Вряд ли. Известно, что Дмитрий Донской сажал в заключение даже авторитетного епископа Дионисия. А уж просто с попом могли обойтись и жестче. Кричал же прилюдно претендент в митрополиты поп Митяй, что и лавру-то он разгонит. Конечно, у него ничего не получилось, а сам он неожиданно помер в поездке на утверждение в Константинополь, но само намерение показательно.

Для исправления подобных чрезвычайных ситуаций и поручений требовался высочайший авторитет, такой, какой и был у Сергия. Невозможно представить, чтобы кто-то мог на Руси поднять на него руку. Такими же он

растил и своих учеников, чтобы не только могли с улыбкой любому царю правду говорить, но и имели неоспоримый авторитет, перед которым и князь – ничто. Напомню, что влиял, конечно же, и авторитет мощной церкви, однако он не помешал в свое время безвинно убить Бориса и Глеба, а великого князя Василия ослепить. Наверняка действовал и его собственный небывало мощный и притягательный образ самого Сергий.

В принципе, подобное бывало, о чем Сергий хорошо знал. В истории христианской церкви, пожалуй, самыми известными являлись трое заслуживших почетное звание вселенских отцов церкви – Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. О каждом стоит рассказать отдельно, однако для нашего повествования показательна история Василием Великим. С ним собрался поговорить один из великих светских властителей, перед которым оказалась группа монахов и среди них Василий – в простой рясе, подпоясанный веревкой и в сандалиях на босу ногу. Властителю нужны были монахи для воздействия на «избирателей». И вот он пытается с ними договориться, предлагает деньги. Монахи косятся на Василия и деньги не берут. Властителю удивительно: не он здесь главный, а Василий, ему подчиняются люди. В голове заворочалось: а может, переворот произошел, и все пропало? А если нет, то почему же Василий говорит с ним как с обычным человеком? Наконец властитель прямо задает вопрос Василию: «Почему ты меня не боишься?» И слышит удививший его ответ: «А почему я должен тебя бояться? Что ты можешь сделать такого, чтобы я испугался? Ты можешь отобрать у меня имущество? Так у меня нет имущества – я монах. Ты можешь убить меня, но и это может меня порадовать, ибо я быстрее попаду к Богу. Ты можешь начать мучить меня, и плоть моя вопиет будет, но ведь душа будет радостна, ибо претерпев безвинно, я стал ближе к Богу и ему угоднее». Поразмыслив, властитель сказал: «Никогда еще я не говорил с таким человеком!» На что Василий Великий заметил: «Поздравляю тебя, ты впервые говорил с христианским епископом». Согласитесь, картина весьма выразительна и задает определенный и известный Сергию образец. Остается лишь заменить христианского епископа на просто христианина, поскольку преподобный епископом не был и быть не хотел. Кто сегодня вспомнит того властителя? А Василий Великий, не имея земной власти и раздав все личные богатства, серьезнейшим образом повлиял на жизнь человечества, изменив ее в лучшую сторону.

Сергий следовал высшим образцам, почему его и прозвали преподобным. Напомню, что митрополит Алексей видел в нем своего преемника и предлагал ему свой пост. Сергий наотрез отказался. И это не всегда правильно понимают. Нередко считают, что «чюдный старец» просто желал покоя как образцовый монах, хотел уйти из мира и т. п. Мне же видится, главным мотивом отказа было другое. Старец считал себя нужнее на своем посту и в своем служении, нежели в митрополичьем кресле. Он готовил стратегию жизни России и мира, а митрополит – всего лишь администратор. Эта административная мишура мешала бы преподобному делать главное – делать новых людей, быть ловцом и творцомчков.

Посудите сами: кто к нему пришел решать вопрос о Куликовской битве? Великий князь Московский, весь в сомнениях: а выйдет ли, а не промахнусь ли, а не потерпеть ли?! И Сергий говорит ему: «Иди. Ты победишь. Не сомневайся. Вот тебе помощники схимники Пересвет и Ослябя. Будет заминка, трудно решиться, – они будут поединщики. Для мира они умерли, а в жизни были великие бойцы». И после этого преподобный укрепляет князя, присылая ему уже перед боем послание с тем же смыслом: «Не сомневайся, ты победишь, хоть и будет страшная битва». Интересно, что

никто и никогда не обвинил Сергия в нарушении канонов – мол, он послал схимников, то есть монахов высшего посвящения, на бой. Монах вообще не должен брать в руки оружие, а он посылает их с оружием в сражение, но посылает без брони, в одежде схимников, т. е. по сути дела на смерть. И его ученики Пересвет и Ослябя, и Дмитрий Донской выполнили его поручение, уверовав в него – *пре-подобие* Божие на земле, и мы получили Куликовскую битву и великую победу!

С него зарождается в России идея старчества. Старец не имеет административного поста, но обладает колоссальным авторитетом, и ему подчиняются не потому, что он начальник, а потому, что он в своих решениях-рекомендациях исходит из самого главного – божьей правды и смысла. Для этого он должен быть лишен личного и частного интереса и даже подозрения на них, не должен иметь возможности баловать себя тщеславием власти. На Западе подобной традиции нет и не было. Этот феномен в России действовал и вне церкви. Так, Сталин звонил главному конструктору артиллерийского вооружения В. Грабину и помимо прочего спрашивал: как директор завода, помогает ли, не нужно ли его сменить? И это понятно: ведь главное делал В. Грабин. Кто был важнее в атомном проекте – директор центра или научный руководитель? Конечно, научный руководитель. Кто важнее в театре – главный режиссер или директор? Конечно, главный режиссер. Мне в университете доводилось общаться с великими учеными. Один из них рассказывал, как ему предлагали стать ректором университета, а он отказывался. А почему? Ответ звучал так: «То, что я делаю в науке, могу сделать только я. А ректор подпишет мне любую бумагу, если нужно, в силу моего авторитета. Ректор 90 процентов времени тратит на административную ерунду, на подписание массы маловажных бумаг, на бесчисленные совещания, в основном не нужные никому. Зачем же тратить свое время на это?» Вот так и преподобный Сергий не хотел тратить свое время на административную дребедень, которую могут сделать и без него. Он же готовил людей, кадры, говоря современным языком. Он же готовил стратегические решения. Великолепно обученные и организованные македонцы со своей фалангой или римляне со своим легионом могли решать мировые проблемы. Количественно фаланга македонцев и легионы римлян, как правило, уступали неприятелю, а вот качественно и организационно безусловно превосходили соперников. Сергий обеспечивал более высокое качество кадров. После него любой руководитель получал кадры высшей квалификации и мог справиться с любыми поставленными задачами.

Вот пример. Один из героев Куликовской битвы Владимир Серпуховский командовал запасным полком, ввод в бой которого решил исход битвы. Монастырь Сергия располагался в княжестве, князем которого был Владимир Серпуховский, но сам князь был духовным сыном преподобного Сергия. Иными словами, вопрос, кто главный – Сергий или князь Серпуховский, не так прост. Фактически на поле Куликовом ключевыми фигурами были духовные сыновья и внуки преподобного. Это его «гнездо» сотворило героев Куликовской битвы.

Итак, можно сказать, что преподобный Сергий воспитывал скромность и достоинство, величайшее чувство долга, предельную неприязнательность, умение подчинить все свои силы решению грандиозной и божеской задачи построения Святой Руси. Люди не все и не всё у него понимали, но чувствовали главное – здесь правда и добро, любовь и святость. И шли за ним.

Подход Сергия давал людям дополнительные возможности. Во-первых, для личности открывались новые перспективы. Сегодня антропологи знают, что человек использует свои физические возможности в лучшем

случае на 5%, а в духовной сфере еще меньше. Чтобы включить всю мощь человеческих способностей и резервов, нужны особые условия. Так, мать при угрозе ребенку приобретает необычную силу. На фронте, как правило, не бывает «гражданских» болезней. В обоих примерах понятно, что открывает эти возможности любовь (к ребенку или к отечеству), иными словами, сильное и святое чувство. Его и воспитывал преподобный при опоре на чувство достоинства. И если приведенное обстоятельство вряд ли является новостью для специалистов, то второе мало изучено.

Исихасты уделяли много внимания неизреченному Фаворскому свету (нетленный свет, которым осветился Христос на горе Фавор, показавший его ученикам его божественную сущность). Это свет был свидетельством высочайшей духовности человека и его уникальных способностей. Сергей проявлял необычные способности: обменивался приветствиями со Стефаном Пермским на расстоянии многих верст, видел и описывал все происходящее на Куликовом поле в ходе самой битвы, находясь в это время в своей монашеской келье Троице-Сергиевского монастыря, то есть в нескольких днях пути от места сражения. Практики оракулов, шаманов, психоделических упражнений подразумевают, что человек может заглянуть за грань реального, в мир «иной», лишь «уйдя» из этого мира. Это весьма опасные процедуры. Однако Сергей не выключался из реальности, оставаясь нормально действующим в нормальной жизни. Это скорее «дополнительные» возможности, а не «переключение каналов», и скорее укрепляет, а не разрушает связь с реальным миром. Для его «упражнений» приложим термин «дополнительное сознание» или даже «сверхсознание».

Почему же эти возможности не проявились в достаточной мере в Византии? Современники писали, что в поздней Византии пропала «филия» («приязнь или дружба» по-русски), а вместо нее действовали выгодные, нужные и корыстные взаимные отношения. Корысть и святость несовместимы. Корни святости пропали. Ведь святость есть то, ради чего стоит жить и стоит умереть. И в этом определении главное – жизнестворность святости. У русского народа исходная жертвенность и бескорыстность, о которой говорил Тютчев, соединилась с повышенным чувством собственного достоинства (вспомним слова Святослава «Мертвые сраму не имут»). Вся эта исходная база взаимно усилилась с исихастской православной святостью, обозначив и общественный идеал в виде общепольного труда на основе братской любви. Это и был русский путь.

Европа же с самого начала являла своей основой корысть. Четвертый крестовый поход даже не добрался до Палестины. «Доблестное рыцарство», забыв о гробе Господнем, вместо этого разгромило и разграбило Византию. По сей день стеснения нет – в Венеции вы можете увидеть украденную в Византии квадригу коней на дворце дождей. Испанцы после завоевания Америки жили за счет караванов награбленного золота, что и привело к угасанию империи. Британцы аналогичным образом обошлись с Индией. Не случайно Д. Неру писал, что промышленный переворот в Англии осуществлялся за счет индийского золота. Колониализм и неоколониализм и сегодня является основой западной цивилизации.

Иным путем шла Русь. Долго воевала с Крымом, спасая христианских рабов. Между Русью и Крымом люди не жили, это было Дикое поле. Крым жил захватом рабов, работорговлей и рабским трудом. Как только под давлением русских войск эти источники были отрезаны от Крыма и по требованию Суворова христианские рабы были отпущены, бандитское государство пало. Дикое поле превратилось в Новую Россию – Одессу, Николаев, Херсон, Луганск, Донецк, Мариуполь и др. Россия резко усилила свои по-

зиции в Причерноморье. Европе это не нравилось. Поле перестало быть диким, оно расцвело, и сейчас, видимо, не нравится Европе.

Россия долго воевала с Польшей, защищая православных рабов. Даже позиции на Черном море. Маркс, не имевший симпатий к России, узнав, что Польша претендует на территории, населенные украинцами и белорусами, сказал, что не хочет слышать о Польше. Россия же брала на себя дополнительные тяготы и под ее управлением жизнь расцветала. Интересный штрих: в составе России Польша жила и работала лучше, чем будучи самостоятельной. В 1939 году валовый продукт Польша составлял лишь 60% от уровня 1913 года. Именно жертвенная позиция России вынуждала ее воевать за свободу украинцев, молдаван, южных славян. Те же отвечали соответственно своей «реальной» политике. Сегодня даже Черногория и та поддерживает ограничительные санкции против России!

Общежительные монастыри задавали общественный идеал в виде общины, живущей общепольным трудом и братской любовью. Это основательно помогало формированию православно-исихастской личности. Это называлось синергией, т.е. взаимно дополняющими силами, работающими в единстве и согласии. В Европе личность противостояла обществу и его организации. Это противостояние могло быть окрашено героизмом или трагедией, но о взаимопомощи и согласовании речи не было. Общественный идеал России выступал своеобразным дополнением идеалу личности.

Великий русский философ и богослов отец Павел Флоренский считал, что наступает новое средневековье и идеалом видел личность и деятельность преподобного Сергия. Это будет не возвращение, а шаг вперед, в будущую науку и искусство, где капитализм и физика Ньютона будет замещена социализмом и квантовой механикой, где корысть будет замещена жертвенным бескорыстием, трудом и братской любовью. На Западе Флоренского называют новым Леонардо да Винчи потому, что он автор множества открытий в самых различных науках, а его свершения уже оказали громадное воздействие на человечество. Так, Флоренский был автором плана электрификации России ГОЭЛРО, автором первой монографии по полупроводникам и диэлектрикам, автором теории строительства на вечной мерзлоте, творцом теории обратной перспективы в изобразительном искусстве, главным редактором первой советской «технической энциклопедии», в которую сам написал сотни статей. Считая Сергия Радонежского идеалом человека, Флоренский сам был образцом учености и творцом массы научных открытий.

Об общественной же сфере хорошо сказал когда-то Ф. Тютчев:

ДВА ЕДИНСТВА

Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! –
Славянский мир, сомкнись тесней...

«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней...

Василий АВЧЕНКО

Писатель и журналист. Родился в 1980 году в Иркутской области. Вырос в семье геологов во Владивостоке, где и живёт. Окончил журфак Дальневосточного государственного университета (тема диплома «Теория и практика политических манипуляций в современной России»). С конца 1990-х годов и по настоящее время штатно и внештатно работает в различных СМИ Владивостока и Приморья.

Автор документального романа «Правый руль» (М., Ad Marginem Press, 2009), вошедшего в лонг-лист премии «Большая книга», в шорт-листы премий «Национальный бестселлер» и «НОС». В 2011 году издательство АСТ выпустило книгу Ильи Лагутенко и Василия Авченко «Владивосток-3000. Киноповесть о Тихоокеанской республике».

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

(Два полковника)

Можно сказать, что нас познакомил полковник Квачков.

В марте 2005 года на подмосковной трассе неизвестные атаковали кортеж Чубайса. От взрыва и автоматного обстрела никто не пострадал, нападавшие скрылись. По подозрению в покушении арестовали Владимира Васильевича Квачкова, 56-летнего отставного полковника спецназа ГРУ, на тот момент – гражданского специалиста Минобороны, видного теоретика и практика диверсионной борьбы. Квачков отрицал и свою причастность к событию, и сам факт преступления, доказывая, что имела место инсценировка, но одновременно заявлял, что убийство Чубайса – дело хорошее. Для одних полковник стал героем, для других – антигероем. Мало кому известный отставник на глазах превращался в героя национально-освободительной борьбы. Самому Квачкову эта роль, похоже, нравилась. Он давал яростные интервью о необходимости созыва народного ополчения и свержения ненавистной власти.

Квачков – личность крупнокалиберная. Афганистан, контузия, «Красная Звезда», Азербайджан 90-го года, Таджикистан 92-го (там снимался фильм «Чёрная акула», в котором мелькает и Квачков в маленькой роли самого себя), орден Мужества... После увольнения в запас защищает кандидатскую, издаёт книгу «Спецназ России». От практики не отходит: позже мы узнаем, что именно Квачков в 2000 году настоял на минировании участка, где, прорываясь из окружения, Басаев потерял ногу.

Судя по фото, Квачков вроде бы невысокий, но крепкий. Большой лоб, жёсткий взгляд. После подмосковного инцидента он превратился, подобно Чубайсу, в фигуру полумифическую. Некоторое время в одной камере содержались сразу два человека-символа – соседом Квачкова был Ходорковский.

Мой интерес к Квачкову был связан с тем, что полковник – родом из Приморья. Я работал во владивостокской газете и хотел написать о приморских корнях сидящего в московской тюрьме земляка.

Родился Квачков в Краскино – крайний юго-запад Приморья, примыкающий к Китаю и Северной Корее. Район называется Хасанским – здесь летом 1938-го Красная армия около двух недель воевала с японской (это и наша семейная история – в хасанских событиях участвовал мой дед). Подростком Квачков поступил в уссурийское суворовское, потом уехал учиться в Киев и больше на Дальнем Востоке не жил, мотаясь от глухого Забайкалья до инопланетной Германии. Зато в Приморье – в Уссурийске – обнаружили его бывшие сослуживцы. Я отправился туда и там познакомился с человеком, о котором речь.

Его звали Виталием Викторовичем – подходящее сочетание для вояки с Афганистаном и Чечнёй за плечами: «жизнь» плюс «победа». Было ему где-то под полтинник, тогда он служил заместителем командира бригады спецназа, стоявшей в Уссурийске с 60-х (в своё время подобной бригадой командовал и Квачков). Огромный мужик, бритый шар крупной головы, усики под носом – ВВ напоминал подкачавшегося артиста Моргунова. В 70-е он служил в Забайкалье замполитом роты, его комбатом был Квачков.

– Двоих бойцов поймали на пьянке. По меркам того времени – ЧП. Квачков начал воспитывать: ночью провел занятие «действия разведгруппы при активном противодействии полицейского режима противника». Утром, не спав, опять на службу... «Если пьянство повторится, – сказал, – так будет каждую ночь!». Жаль, что я только год прослужил под его началом. Фанат спецназа, интеллигент, – рассказывал ВВ.

Он утверждал, что к покушению на Чубайса Квачков непричастен:

– Хотел бы замочить – замочил бы.

Мы ехали в летний лагерь суворовского училища, которое когда-то окончил Квачков.

– У тебя какая машина? – спросил перед этим ВВ.

– «Эскудик».

ВВ подумал.

– Японская? Там дорога не очень... Ладно, поедем на моей. У меня «девятка».

К тому времени десятка полтора лет средством передвижения приморцев были подержанные машины из Японии. Мой трёхдверный старенький «эскудик» слыл популярным компактным внедорожничком. Но так как было сказано «поедем на моей», я сел – чуть не впервые в жизни – в «девятку». На ней даже оказались номера старого образца, с буквами ПК. Когда-то модная, сейчас эта проржавевшая по низу «девятка» выглядела доисторическим ископаемым, которое по недоразумению заводится и ездит. В этом даже было что-то интересное – вызывающее и эксцентричное.

«Девятка» тёрлась днищем о бугры, я морщился, переживая боль не имеющей нервов машины за неё, но ВВ был невозмутим и не сбрасывал газа. Найденный нами в лагере суворовцев другой полковник, ещё недавно командовавший той самой бригадой, где ВВ служил замполитом, охарактеризовал Квачкова так:

– Аскет, учёный, не мыслил себя без спецназа. А по поводу покушения – всё это ерунда. Хотя бы потому, что проведено оно было абсолютно безграмотно.

– Что же произошло, по-вашему?

Полковник пожимал плечами, спокойный как медведь.

– Оказался в ненужном месте в ненужное время.

ВВ подбросил меня до машины, которую я оставил во дворе его дома.

– Что ж ты сразу не сказал? – возбудился ВВ, увидев «эскудик». – Это же джип. На твоей бы лучше поехали!

– Я же сказал – «эскудик».

– Да не разбираюсь я в этих японских. Думал, низкая... У тебя есть время?

Время было. И он рассказал мне.

* * *

ВВ решил написать книгу о своей бригаде, а меня привлечь в качестве какого-никакого профессионала в соавторы или редакторы. Я примерно представлял, что это такое, мне приходилось редактировать текстовые полуфабрикаты разного назначения. Думал, что и здесь будут в меру пафосные, в меру банальные страницы о боевом пути бригады и о том, что есть такая профессия. Но я недооценил Виталия Викторовича.

Его замысел состоял в создании настоящего, без натяжек, эпоса. Зная с самого начала, сколько придётся потратить времени на эту книжку, на бесконечные переделки и дополнения, – я бы отказался. Но сначала работа представлялась простой: поправить тексты, скомпоновать, найти дизайнера, который всё это сверстает за разумные деньги... За месяц-полтора успею. Просить большой гонорар я не мог, потому что понимал: проект некоммерческий. Но всякая работа должна вознаграждаться, а я находился в полосе безденежья.

Вскоре ВВ привёз мне первые материалы. Их было очень много. Представляю, сколько времени ушло на их сбор. ВВ пришлось объездить весь бывший Союз. Он находил своих сослуживцев и сослуживцев сослуживцев, раскиданных по разным закуткам раздробленного в геополитическую мозаику континента. Записывал воспоминания, переснимал фото, копировал документы.

Сначала я думал, что тексты придётся переписывать полностью – рассыпать на информационные молекулы и синтезировать заново. Это ж мы – профессионалы, а что способен написать уссурийский спецназовец?... Позже я узнаю, что два сержанта из бригады могут съесть за раз ведро борща. А пока я увидел, что уссурийский спецназовец может писать, и писать неплохо. Не согласен с пошлой формулой «талантливый человек талантлив во всём», но у ВВ был дар – конечно, не очень развитый в силу того, что в жизни он занимался совсем другими делами.

Прихрамывающая стилистика украшала текст, как шрамы мужчине. Глаз резали постоянные «с Уссурийска», «со штаба», «это дело», «сам лично», но косметическими мерами редакторская правка часто и ограничивалась. С недоверчивым восхищением я наблюдал за тем, как из аморфной кучи разнородных специальных сведений выкристаллизовывался стиль, появляясь как форштевень корабля из тумана. Ломать его было нельзя. Тексты ВВ представляли собой сдержанные, порой чуть сентиментальные монологи. Иногда они вскипали краснознамённым пафосом, когда так легко перегнуть палку и сползти на деревянную фальшивую шаблонность. Автор умудрялся не переходить эту грань, хотя, конечно, отдавал должное традициям советской военной журналистики, украшая тексты лозунгами, какие в пору моего детства ещё венчали многоэтажные дома. Лозунгов, впрочем, было немного. Куда гуще тексты были насыщены жизнью. Понятно, что автор – кадровый офицер – не стремился непременно вытащить какую-то изнанку, и «окопная правда» солдата-срочника, напиши тот о том же самом, сильно отличалась бы от правды

ВВ. Наряду с «окопами» здесь присутствовала и парадная сторона. Но раз она есть в жизни, значит, заслуживает фиксации ровно в той же степени, что и все остальные стороны.

Работа тем не менее предстояла огромная. Слишком много было текстов, иллюстраций, тематических пересечений, которые надо было как-то примирить между собой. Сам ВВ в процессе работы несколько раз менял концепцию, то решая разбить материал на два или даже четыре тома, то вновь утрамбовывая всю книгу в один том, который обещал быть неподъёмным в прямом смысле слова. Это создавало новые проблемы не столько мне, сколько Игорю – дизайнеру, взявшемуся верстать книгу. Он тоже не сразу понял, на что подписался.

* * *

Работая с текстами, я часто натёкался на знакомые фамилии, хотя специально новейшей военной историей не интересовался.

Здесь появлялся, например, маршал Ахромеев, бывший фронтовик, в середине 80-х – начальник Генштаба и первый замминистра обороны СССР. Герой Советского Союза Ахромеев повесится со второй попытки (первая окажется неудачной – порвётся верёвка; он очнётся, вспомнит, что должен кому-то из коллег небольшую сумму денег, отдаст долг – и тогда уже покончит с собой) 24 августа 1991 года, после краха ГКЧП. Маршал, поддерживавший гэкачепистов, не выдержит уничтожения страны, которой служил. Это Ахромеев подразумевается в названии книги Лимонова «Убийство часового». Здесь, в текстах ВВ, Ахромеев фигурировал в афганских пейзажах и в погонах генерала армии.

Мелькал Владимир Карпов, знаменитый разведчик и писатель. Генерал Карбышев, служивший в Приморье и погибший в концлагере Маутхаузен в 1945-м. Пограничник Стрельников – во Владивостоке есть улица Стрельникова, но только сейчас я узнал (или вспомнил), что 30-летний старлей погиб на льду Уссури в бою с китайцами за остров Даманский в марте 69-го. Маршал Язов, последний министр обороны СССР и гэкачепист, представал здесь командующим войсками Дальневосточного военного округа, а Артём Боровик – репортёром, ждущим в Афганистане в засаде духовский караван.

Ничего странного в высокой концентрации громких фамилий вокруг одной дальневосточной воинской части не было. Бригады спецназа военной разведки были подобны сообщающимся сосудам. Каждый из офицеров «нашей» бригады послужил в других точках (сам ВВ, кстати, оказался родом с Украины), из-за чего автору волей-неволей приходилось выходить за рамки Уссурийска и замахиваться уже на всю историю спецназа ГРУ. Он хотел поместить в книгу целые жизни и континенты. В текст просачивались и Великая Отечественная, и вторая чеченская.

В книге было много Афганистана (он обозначался полузабытой аббревиатурой – ДРА), прилично Чечни, сколько-то других тёплых и горячих точек. Был известный бунт рабочих в Новочеркасске в 1962 году, встреча Брежнева с Фордом в пригороде Владивостока в 1974-м, бегство лётчика Беленко за границу на «МиГ-25», «мараварская бойня» в Афганистане... Я перебирал страницы, понимая, что имею дело с сокровищем. Как будто случайно нашёл древний литературный шедевр, написанный на давно умершем языке античных героев.

Автор не выдумывал героев – брал их из жизни. В текстах появлялся то Герой Советского Союза Василий Колесник, в 1979-м штурмовавший

дворец Амина в Афганистане (и он, и его сын Михаил, впоследствии нелепо погибший на Северном Кавказе, в своё время служили в Уссурийске). То старший лейтенант Василий Чебоксаров – разведчик, первым захвативший знаменитый «стингер» и представленный за это к званию Героя, но так и не получивший по каким-то причинам свою Золотую Звезду. То Сергей Золотарёв, один из сослуживцев ВВ, оказавшийся автором знаменитой «народной» песни десантников «Синева»: «Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разошлась, по беретам...». Легендарный рукопашник Алексей Кадочников. Генерал Лев Рохлин, вроде бы готовивший свержение президента Ельцина, убитый в 1998-м при загадочных обстоятельствах и похороненный рядом с Ахромеевым. Образцовый офицер Николай Ущиповский – отец моего университетского преподавателя. Сын композитора Микаэла Таривердиева Карен, отличившийся в Афганистане захватом двенадцатиствольной реактивной установки... Наконец, полковник Квачков, запечатлённый то на среднеазиатском, то на афганском фоне.

Сам Квачков к этому времени давно сидел в тюрьме. В 2006-м следствие завершилось, после чего Московский областной суд долго формировал коллегию присяжных. Её по ходатайству прокуратуры распустили, сформировали новый состав, но к концу 2007 года был распущен и он. Третью коллегию отобрали в начале 2008-го. Мы же всё это время продолжали работать над книгой.

Мне становилось ясно, что книга ВВ, вырастающая из вполне, казалось бы, заурядных любительских заметок об одной из дальневосточных воинских частей, имеет право называться Летописью. Собственно бригаде был посвящён только первый план, дальше можно было обобщать до бесконечности: спецназ, армия, СССР–Россия, мужчина, человек, жизнь. Документальность превращала эти тексты чуть ли не в жития святых. Аскетизма и самоотречения здесь было в избытке. В попытке ВВ запечатлеть культурный код, матрицу не одной армии, но всей ушедшей советской цивилизации – глобального некоммерческого проекта – мне виделось что-то религиозное.

Помимо славы, был тут и позор. Вот – гибель роты уссурийских разведчиков под командованием капитана Цебука в Мараварском ущелье в 1985 году. Вот – убийство командира приморского СОБРа в Чечне собственными подчинёнными. Вот – комбриг нового времени, спящий пьяным сном в своём кабинете... Всё это компенсировало простительную лакировку – ведь какие-то скелеты автор, понятно, предпочёл оставить в шкафу.

Книга полковника давала примеры того, как можно жить. Это были примеры героического поведения, тем более ценные, что приводились они в принципиально негероическую, даже антигероическую эпоху, причём через невыдуманных персонажей. Если герои не в моде, тем хуже для такой моды. Героизм возможен, идеализм возможен – спокойно доказывали эти тексты.

Родившийся в 80-м, я рос на книге Полевого об отмороженном лётчике, научившемся летать без ног. Пусть теперь говорят, что Полевой – не лучшая литература; от нашего Маресьева-Мересьева я не отрекусь никогда. В каком-то смысле книга ВВ и была ремейком «Повести о настоящем человеке». Мне так и хотелось её назвать – «Повести о настоящих людях». ВВ, впрочем, предложил своё название, на нём мы и остановились – «Люди специального назначения».

Это была настоящая книга самурая, советская «Хагакурэ». Самурай, ниндзя, кшатрии, ассасины – все эти слова обладают экзотическим очаро-

ванием. Возможно, в каждой более или менее развитой культуре лучшие воины стоят друг друга. Мы, дети 80-х, восхищались ниндзями из восточных боевиков, но пассионарий-спецназовец тоже был таким ниндзей, не хуже и не лучше других. наших советских Рэмбо мы, однако, не слишком ценили. То ли наш собственный самоедский пафос повинен в этом, то ли убогость позднесоветского пропагандистского аппарата.

Книга содержала огромное количество специальных сведений. Я не служил в армии, обойдясь военной кафедрой и сборами в частях Тихоокеанского флота, но, естественно, у меня всегда загорались глаза при виде оружия или даже произнесении этих волнующих звуков – АКМ, СВД, РПГ, АГС... Подобными аббревиатурами книга изобиловала. Я узнал про специальный парашют «Кальмар» для прыжков у самой земли, который при раскрытии подбрасывал парашютиста вверх, про паёк «Эталон 5А», про ПББС – прибор бесшумной беспламенной стрельбы, ВСС – бесшумную снайперскую винтовку, она же «Винторез», НРС – нож разведчика стреляющий... Для военного человека это, конечно, азбука. Зато анализ применения сил специального назначения, сопоставление афганского и чеченского опытов тянули, уверен, на хороший «диссер».

Тексты ВВ были неожиданно афористичны. Например: «Война – это ускоренная жизнь». Или: «Наличие совести у человека по сегодняшним меркам – это как наличие у него инвалидности». «Это слабых жалеют, а с сильных – спрашивают». Или вот: «Иногда, чтобы и дальше выполнять в жизни всё, что положено, человек должен вдруг, ни с чем не считаясь, сделать то, что ему не положено». Интересное признание от военного человека, усвоившего как заповедь принцип неукоснительного выполнения приказа.

При чтении меня – представителя поколения последних пионеров, не успевших стать комсомольцами, – настигло ощущение огромной империи, которое в глубоких «нулевых» было уже фантомной болью. Эта книга могла бы называться «Архипелаг Спецназ». Читая об этих бойцах и офицерах, я то и дело задавался вопросом: мы это – или не мы, а какая-то другая нация? Вспоминал своего деда-сибиряка, в 1945-м въехавшего на танке в Берлин, в неполных 23 года... И мы, и – не мы, другие, потому что нация – не только кровь. Советская нация исчезла, хотя отдельные составлявшие её индивиды смогли продолжить своё физическое существование (а некоторые не смогли, как тот же Ахромеев).

Мне выпало расти во времена деградации имперской армии и самой империи. В середине 90-х оба авианесущих крейсера Тихоокеанского флота – «Минск» и «Новороссийск», находившиеся по корабельным меркам в юном возрасте, – продали на гвозди в Корею и Китай. В гавани китайского Шэньчжэня «Минск», бывший флагман ТОФ, стал развлекательным комплексом. Так гибнут современные «Варяги». Китайцы умнее нас – у них скоро родятся новые авианосцы, в облике которых будут угадываться черты «Минска» и «Новороссийска».

Некогда набитый до отказа разнообразными «вэчэ» остров Русский под Владивостоком покрывался руинами, удивительно быстро заросшими травой. Артиллерийские батареи, прикрывавшие подходы к Владивостоку с моря, стали гибнуть не от налётов врага, а от отечественных «металлистов». Сколько раз я наткался в разных точках Приморья на руины породившей и меня цивилизации – от толстенных стен дореволюционных фортов до заросших кустарником развалин советских учебок с полустёртыми лозунгами на стенах. «Геннадий Титов, «Разящий», 1950–54», «Дембель-1985» – выбито, начертано, выложено камешками в бетоне.

Обвалившиеся перекрытия с торчащей гнутой арматурой, битый кирпич, проросшие травой плацы – мёртвые города русских кшатриев.

С острова Аскольд у берегов Приморья в течение всего моего счастливого детства ощупывали космическое пространство «шарики» – огромные сферические антенны на сопке. Когда на остров попал я – уже в первые годы нового века – один «шарик» был демонтирован, другой разметало ураганным ветром, куски стеклопластика так и лежали в расщелинах. Я спускался в пустой городок ПВО постройки самых последних, уже катастрофически-распадных советских лет. Опустевшие жилые дома, больница, магазины, школа, замершие навек ржавые грузовики, обрывки водопровода... Руины казались мне такими же древними осколками первобытных эпох, как бохайская, не то чжурчжэньская каменная кладка, частично сохранившаяся в тайге на том же Аскольде.

В закрытом городе Большой Камень я с трепетом рассматривал нарезанные на гигантские ломти атомные подлодки. Их утилизировали на иностранные деньги, потому что у России не стало денег не только на строительство новых подлодок, но и на похороны старых.

В селе Галёнки, где стоят космические войска, я заходил в двухэтажное силикатного кирпича здание – то самое, откуда в 2001-м дали команду на затопление станции «Мир». Оно называлось буднично: «Техническое здание № 179», а внутри было набито устаревшей даже на мой дилетантский взгляд аппаратурой – ещё с бумажными перфолентами. Да и без них было понятно, какой эпохи эта техника – хотя бы по дизайнерским элементам. С помощью такой аппаратуры правда что – топить станции, а не запускать. В другом приморском селе неподалёку – Кремово – находится могила космонавта Нелюбова, второго дублёра Гагарина (первым был Титов). Нелюбов должен был стать космонавтом № 3, но из-за нелепой стычки с патрулём был переведён в далёкий дальневосточный авиаполк, безуспешно просился обратно и в итоге, в неполные 32, погиб под колёсами поезда – то ли случайно, поскольку находился в депрессии и пил, то ли намеренно. Это случилось в 1966-м. Ещё был жив ставший суперзвездой его товарищ Гагарин, и капитан Нелюбов ощущал себя жертвой кораблекрушения. Космонавт, так и не побывавший в космосе, – вот символ того, что происходило с нашей страной в конце XX века.

Книга спецназовского полковника была памятником. На другие памятники, материальные, я натыкаюсь ежедневно, перемещаясь по некогда закрытому Владивостоку. Заборы каких-то расформированных частей, бомбоубежища, в которых продают японские мокики, а то загадочные железные двери, ведущие прямо во внутренности сопки.

* * *

Нет смысла пересказывать книгу, но без упоминания нескольких поразивших меня историй не обойдусь. Каждая из них достойна романов и фильмов, которые, вероятно, никогда не будут сочинены и сняты.

Эмоциональным ядром книги был, конечно, «афганский» блок, из которого я узнал, что такое «царандой», «барбухайка» и много чего ещё. Но не только Афган и не только Чечня останавливали внимание в текстах ВВ.

Вот история Сергея Скольчикова – командира звена, в котором служил тот самый Виктор Беленко, в 1976 году взлетевший на истребителе-перехватчике «МиГ-25» с приморского аэродрома «Соколовка» у Чугуевки и на родину не вернувшийся. Он приземлился на Хоккайдо. Позже, заочно

приговорённый в СССР к расстрелу, осел в США. Старлей Беленко попал в звено капитана Скольчикова в 1975-м, полк как раз переучивался с «МиГ-17» на новейшие (секретные, естественно) «МиГ-25». Был не без странностей – то отказывался жить в одной комнате со звеном, так как единственный не курил, то всё свободное время просиживал в секретной библиотеке, то уклонялся от «встреч без шлемофонов». После побега подозрения пали на товарищей. «Генерал начал мне задавать вопросы: "Вот Беленко избегал с вами компании, а я лётчиков знаю! У вас не пьёт либо больной, либо предатель. А так как по здоровью вы все космонавты, значит, выходит второе?"» – вспоминал Скольчиков. Его убрали из истребительной авиации. С огромным трудом Скольчиков добился права летать на «Ан-2», потом стал командиром отряда «Ан-12». Тогда его судьба и пересеклась с уссурийской бригадой – спецназовцы прыгали с «Ан-12» с парашютом.

Вот подвиг Валентина Кудреватых, не менее впечатляющий, чем подвиг Маресьева. Проходили показательные прыжки. Опытнейший парашютист Кудреватых – мировой рекордсмен, многократный чемпион СССР – совершал свой 5555-й по счёту прыжок и зацепился за выступающий элемент конструкции вертолёт (вертолётчики пришли неподготовленными: с пилонов не успели снять блоки для НУРСов – неуправляемых реактивных снарядов). Парашютист мог сделать отцепку и приземлиться на запасном парашюте. Но он слишком хорошо знал, к каким последствиям это может привести. Он уже видел, как оставленный кем-то на земле раскрытый парашют намотало на лопасти заднего винта приземлявшегося вертолёта. Винт сорвало и отбросило, но катастрофу удалось предотвратить – вертолёт уже приземлился. «Эта картина встала у меня перед глазами, когда от удара о блок для НУРСов выбило парашют и меня стало болтать у задней балки. Я понял: если сделаю отцепку – парашют может намотаться на винт. Высота была больше 1000 метров, экипаж молодой, что я за бортом – лётчикам сообщили с земли. Увидели. Знаками показал, чтобы они спустились вместе со мной. Начали спускаться», – рассказывал Кудреватых. Он висел на основном парашюте, пока на высоте 50-70 метров десантника не сорвало вниз. Кудреватых переломался весь. Восемь дней – в реанимации, три месяца на койке, потом заново учился ползать, ходить и – прыгать. Он совершил ещё 445 прыжков, завершив карьеру с круглой цифрой 6000 в должности начальника парашютно-десантной службы Белорусского военного округа.

Другой современный Маресьев – майор Андрей Простакишин, потерявший в Чечне обе руки, когда в них разорвалась мина «МОН-50». Неизвестно как, но он сумел остаться на службе и проводил занятия по стрелковому делу. «Я лучше задачу поставлю Простакишину, чем кому-то с руками и ногами, и буду уверен на 100%, что задача будет выполнена качественно и в срок. Это лучший офицер в батальоне», – слова его командира.

А трагическая история Константина Илющенко – спецназовца, «афганца», которого уже в новое время перевели в МВД, назначив командиром СОБРА приморской милиции? Назначение человека со стороны было неслучайным: говорили, что СОБР слишком тесно сросся с криминалитетом. Для майора Илющенко, начавшего наводить в отряде порядок, назначение стало роковым. В 1999-м в Дагестане подчинённые, недовольные командиром, выстрелили ему в затылок из бесшумного пистолета, а потом подорвали под головой гранату, чтобы не нашли пулю. Но пулю от патрона «СП-4» нашли. В 2003-м капитан-собронец, кавалер двух орденов Мужества, был осуждён за убийство.

Неожиданно для себя я зачитался историей о Якове Курьсе – последнем комбриге советского периода. Здесь уже не было романтики, а был военный перестроечный быт. Курьсе командовал бригадой с 1987 по 1992 год. Человек непростой, жёсткий, любовью не пользовавшийся – его называли «машиной по отрыванию голов». И вместе с тем – требовательный, принципиальный, грамотный командир. После путча-1991 в бригаде случился свой «путч». Командир симпатизировал ГКЧП, заявившему о намерении сохранить СССР. Группа офицеров на общем собрании выразила командиру недоверие. Курьсе сказал в сердцах: «Я с такими сам служить не буду!» – и действительно написал рапорт, хотя уже было готово его представление на генеральскую должность. Служба в армии для него на этом закончилась, несколькими годами позже кончилась и жизнь.

В этом рассказе по-другому проявился и сам ВВ. Внешность brutального человека-горы, деревянного по пояс спецназовца, мат-перемат через слово, оказалась только внешностью, под которой был человек умный, тонкий, нежный, даже немного сентиментальный.

Ещё картинка из 1991 года: на последнем партийном собрании части рассматривали два вопроса. Сначала объявили коммунистам о том, что КПСС больше не существует. Потом решили отдать собранные за последние месяцы партвзносы на лечение сына одного из офицеров...

В книге не хватало одной главы – о самом ВВ. Себе он уделил лишь абзац в монологе Александра Лихидченко, командовавшего бригадой в 90-е годы, а в 80-е служившего вместе с ВВ в Афганистане. Тогда ВВ был капитаном, заместителем командира десантно-штурмового батальона. «С Виталием мы жили в одном модуле в Кандагаре и неплохо узнали друг друга. С учётом афганской специфики (много раненых, больных) он сам зачастую возглавлял на боевых действиях роты, – рассказывал Лихидченко. – В одном из боёв в апреле 1984 года рота, где был капитан В.В. Тюрин, попала по вине мотострелкового подразделения в засаду и понесла большие потери. 10 человек погибли и 12 было ранено – роту расстреляли почти в упор. Командир растерялся...». Только своевременное вмешательство ВВ в управление ротой в бою не привело к ещё большим потерям, сказал Лихидченко. «Таких случаев было много, – добавил он. – Этот офицер достоин самых высоких наград, но прямолинейность не всегда шла ему на пользу».

* * *

ВВ не хотел ставить точку, желая рассказать обо всём и о каждом. К захватывающим историям добавлялись малоинтересные. ВВ не слушал нас с Игорем, когда мы, козыряя профессиональными терминами, убеждали отказаться от каких-то совсем уж мутных фотокарточек, на которых не было видно ровным счётом ничего. «Других-то нет!» – объяснял ВВ.

Других и правда не было – в Афгане любительская фотосъёмка не поощрялась. Но иногда попадались очень интересные. Помню туши погибших при перехвате каравана верблюдов; цветные фото, изъятые у убитых моджахедов – они любили позировать у подбитой советской техники.

Чтобы мы с Игорем не расслаблялись, ВВ регулярно нас «взбадривал» – его словечко. Звонил, иногда и приезжал из Уссурийска к нам во Владивосток с очередными «цзу» на той самой ископаемой «девятке» с буквами ПК. Он был, я ощущал это даже своими штатскими органами чувств, хороший командир – с врождёнными качествами и приобретённым опытом. Энергичный, упёртый, с привычкой лично разбираться во всём, он вникал

во все полиграфические и дизайнерские нюансы. Поначалу передавал очередные указания почему-то на бланке армейского «боевого листка» 1981 года выпуска с пометкой «Из части не выносить». Потом освоил электронную почту – больше не было нужды звонить или приезжать из Уссурийска. Перестал распечатывать каждый файл, приучившись читать и править с экрана. Был маниакально точен в отношении фамилий и названий. Привлёк к работе художника, потому что не на все истории хватило фотографий. Тот по дальневосточной привычке умудрился нарисовать военный «газик» с правым рулём, за что ВВ долго его «взбадривал», но, кажется, в итоге мы просто отзеркалили иллюстрацию при вёрстке.

Работа продолжалась в вялотекущем режиме. Звонки ВВ находили меня в самых разных местах. Иногда я ездил к нему в Уссурийск. Ел добросовестные пельмени на кухне, рассматривал военную форму Великой Отечественной и книги, которых в его доме было много. Вёрстка, как ни трудно было в это поверить, приближалась к завершению, но тут грянул финансовый кризис, и отыскивающиеся были спонсоры поскучнели. ВВ исчез.

Полковника Квачкова тем временем оправдали и освободили в зале суда. Генпрокуратура обжаловала решение, дело направили на новое рассмотрение, но его фигуранты теперь уже оставались на свободе. Квачков активно мелькал в прессе. Иногда казалось, что полковник «гонит» – то ли от тюрьмы, то ли от славы. В 2009-м он объявил о создании «Народного ополчения имени Минина и Пожарского» и не без юмора выдал: «В обращении Минина и Пожарского было написано: в Кремле сидят шведы, поляки и жида. У нас задача упрощается, так как ни шведов, ни поляков в Кремле сейчас нет».

...Ещё недавно оба эти полковника были очень нужны их стране.

* * *

ВВ появился примерно через год. Это было кстати, потому что у меня не было денег. Приходилось таксовать по вечерам, экономить на пакетах и выискивать на городских окраинах оптовые базы с дешёвыми продуктами.

– Ты, наверное, меня уже из списков части вычеркнул? – зарокотал в мобильнике командирский уверенный басок.

Я не вычеркнул – перегорел. Заниматься книгой смертельно не хотелось. Но пришлось – и магия невыдуманных подвигов захватила меня вновь.

ВВ привёз нам гонорары в бело-красных конвертах со звездой и надписью «Воинская корреспонденция», и мы с Игорем продолжили работу. Новый спонсор нашёлся где-то на западе, кажется, в Одессе. ВВ собрался в дорогу, нам нужно было расставить последние запятые и «залить» готовый макет книги на диски.

Диски я отвёз полковнику прямо в аэропорт – он находится посередине между Владивостоком и Уссурийском. Возвращаясь из аэропорта в город, вдруг почувствовал, что очень ему благодарен. Не за гонорар – за эти его тексты, маниакальность, «взбадривания» и даже отчаянно корродировавшую «девятку», которая в итоге, кажется, всё-таки умерла, и в последние разы ВВ приезжал во Владивосток на электричке. За уверенность в том, что есть вещи важнее денег и машин.

В августе 2010-го коллегия присяжных снова оправдала Квачкова, а сколько-то времени спустя вернулся из Одессы ВВ с только что отпечатанными книгами. Мы встретились с ним у вокзала. Книги похожи

на авторов, как собаки на хозяев; эта напоминала ВВ – габаритами, увесистостью, убедительностью. Ею можно было убивать врагов или качать мышцы. Употребимое в таких случаях слово «кирпич» было бы для книги уничижительным, потому что она оказалась гораздо больше и тяжелее кирпича.

Той же ночью мне приснился ВВ. Он говорил, что надо всё переделать и выпустить второе издание. С ужасом я понял, что не могу отказаться.

Р. С. В 2010-м Квачков объявил о создании «Народного фронта освобождения России». Вскоре силовики вскрыли дверь его московской квартиры на Бережковской набережной. Неугомонного полковника, которому было уже за 60, арестовали по обвинению в попытке вооружённого мятежа. Он якобы хотел двинуть из владимирских лесов на Москву отряд тольяттинских мужиков, вооружённых арбалетами.

Р. Р. С. В 2012-м я узнал, что бригады спецназа ГРУ в Уссурийске больше нет и не будет.

Non-fiction

Николай ФОРТУНАТОВ

Родился в 1931 году в Волгограде. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. Работал учителем русского языка и литературы, старшим преподавателем и доцентом, заведующим кафедры русской литературы Нижегородского государственного университета, где преподаёт в настоящее время. Профессор, доктор филологических наук.

Член Союза писателей России. Публицист, критик, литературовед. Живёт в Нижнем Новгороде.

Из книги

НЕЧАЯННАЯ СЛАВА

Жизнь и труды Павла Ивановича Мельникова – Андрея Печерского

От автора

Так случилось, что эта история о П.И. Мельникове, известном читателям под его прославленным псевдонимом – Андрей Печерский, уже имеет свою историю, причем совершенно неожиданно сложившуюся прежде всего для меня самого, ее автора.

О ней надо сказать хотя бы коротко, иначе будет непонятно, почему вместо того, чтобы начать ее, как заведено в таких случаях, с самого начала, скажем, с детских лет будущего великого писателя, она вдруг начинается если не с конца, то откуда-то прямо с середины. Что за странность?

Но ничего странного здесь нет. С жизнью ведь не поспоришь, у нее свои резоны. Событиям же суждено было развернуться так, как они развернулись. В 1997 году в Нижнем Новгороде появился литературно-художественный журнал, так и названный – «Нижний Новгород». Издателем и главным редактором его был В. И. Седов, бизнесмен и писатель, работавший исключительно в жанре короткого рассказа, нередко с острым, увлекательным, захватывающим криминальным сюжетом. Я в это время как раз занимался творчеством Мельникова-Печерского. Собрал все свои черновые наброски, привел их в порядок, и вдруг стал вырисовываться какой-то странный жанровый неологизм: то ли наблюдения филолога-аналитика, то ли документальная повесть. Несколько завершённых глав отнес в редакцию, они получили благожелательный прием – и стали печататься с первого же номера журнала! А в конце года я был объявлен его лауреатом. Я, неопит в писательском ремесле, и вдруг такой успех, это было почти чудо.

Но затем дело застопорилось. Мельников оставался для меня загадкой. Бог дал ему громадные силы, щедро наделив разносторонними дарованиями, не дал только одного, чисто отрицательного, свойства – некоторой узости, способности

сосредоточиться на чем-то избранном, умения обуздать себя, и он умудрился всю жизнь свою проспорить – с самим собой. Историк; писатель-беллетрист; педагог (преподавал в Нижегородской гимназии); краевед (основатель научного краеведения, до него пробавлявшегося вольными импровизациями); ближайший соратник Даля в работе над Словарем, прекрасный знаток языка Поволжья и Сибири; один из глубоких исследователей старой религиозной распри – Раскола. Но он был к тому же еще и крупный чиновник, тянул ляжку в Министерстве внутренних дел, никогда не вызывавшем у русских людей симпатии, да еще занимался по роду своей службы преследованием раскольников, что оказывало ему недобрую услугу в глазах тех, кто знал об этой стороне его деятельности.

Однако самым загадочным был финал его жизни. Разными путями, но он все-таки пришел в последний момент к одной цели. Смертельно больной: неотвратимо наступал паралич, он не мог двигаться, рука не держала не то что перо, а простой папиросы, речь была затруднена, немногие понимали его, а ему уже давно приходилось диктовать свои тексты, писать не мог. И все-таки каким-то невероятным усилием воли, умирая, он закончил, как оказалось, главный труд всей своей жизни – диологию «В лесах» и «На горах». И сразу же вошел в Пантеон русских классиков, как равный среди равных. А у него были достойные соперники – Салтыков-Щедрин, Толстой, Достоевский. Это была и в самом деле нечаянная слава, но добытая тяжелейшим, упорным писательским трудом, о котором не подозревали его современники и не догадываются нынешние его читатели.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», – пословица эта, которая у всех на языке, права, но только в одном случае: если сказка, о которой она твердит, – всего лишь болтовня, россказни, легкое, пустое плетение словес. Настоящее художественное дело требует усилий, времени, раздумий, таланта. Шахразада, пока рассказывала свои сказки султану, спасая себе жизнь, потому что этот суровый чудак имел странное обыкновение убивать молоденьких девушек, наложниц первой ночи, – вместо того, чтобы благодарить их, – успела подарить ему трех сыновей. Сказок же оказалось совсем немного для «1000 и одной ночи».

Пока у меня оставалась надежда хоть что-то сказать о великом художнике, о котором ничего или почти ничего в то время почему-то не было сказано, работа продолжалась. Труд великого мастера – всегда тайна, она требует доказательств, анализов, размышлений. На одном из ученых собраний коллег-филологов, я случайно оказался рядом с исследовательницей зарубежной литературы и вдруг услышал, коротко обмолвившись о Мельникове: «Это удивительный писатель! Когда мне тяжело, я открываю диологию или что-то из его вещей, «Старые годы», например, и мне становится легче, он словно берет на себя мой стресс и мою усталость...»

Может быть, и разговор о нем, если продолжить его, даст повод читателю взять в руки какую-нибудь книгу этого автора. Он не просто гордость русской литературы, хотя этого уже достаточно для повышенного интереса к нему, он нижегородец по рождению, по своей жизни и по своему творчеству. Здесь он вырос, здесь началась его писательская карьера, здесь возник его прославленный псевдоним, несущий в себе отголоски мест старого города, который был ему так дорог. Москва и Петербург остались для него всего лишь биваками, его всегда тянуло на родину, он то и дело возвращался сюда в бесконечные странствия по Нижегородской губернии и, наконец, вернулся, чтобы умереть и стать частью истории России – неподражаемой, оригинальной страницей великой русской классической литературы в великую эпоху ее расцвета середины-конца XIX столетия.

Он оставил нам и нашему городу частицу своей славы. Мы в долгу перед ним. Ведь не иваны же мы, не помнящие родства, хотя и расточительны сверх всякой меры: забываем о том, о чем нельзя забывать, и не ценим того, что вообще не имеет цены – русский гений, русский ум, русский характер.

А теперь в путь, читатель! После этого по необходимости второго предисловия. Время летит стремительно. Тот, кому захочется восстановить начало книги, может легко найти его в любой городской библиотеке (напомню координаты: «Нижний Новгород», 1997, №№ 1–4). Часть первая называлась «Рассветные огни» и заканчивалась пермской ссылкой молодого Мельникова.

Пользуюсь случаем выразить сердечную признательность редактору журнала Олегу Рябову за публикацию фрагмента из части второй книги («Поиск»).

Учитель истории

Вскоре после злополучного происшествия в Казанском университете: о том, что произошло на студенческой вечеринке, в которой принял участие Мельников, до сих пор не знает никто. Сам он хранил упорное молчание о ней, не проговорившись ни словом. Известно лишь, что попечитель университета М. Мусин-Пушкин, отличавшийся крутым нравом, пришел в бешенство, приказал арестовать Мельникова и тут же отправил его в ссылку в заштатный городок Шадринск под конвоем университетского солдата. Но вскоре одумался и сменил гнев на милость, правда, относительную: ему уже в пути было разрешено остаться в Перми; хоть и далекий город, но все-таки губернский, с гимназией, где и должен был отныне преподавать опальный кандидат. Звание кандидата присваивалось выпускникам университета, показавшим особенно высокий уровень подготовки. Им давалось право – даже казеннокоштным студентам, как Мельников, т. е. получившим образование за государственный счет, – продолжить научную деятельность, заняв вакантное место по той или иной кафедре в родном или в каком-нибудь другом университете. В выпуске Мельникова было шесть кандидатов, среди них он; трое впоследствии стали профессорами Петербургского университета. Мельникову прочили блестящую карьеру в Казанском университете, одном из лучших тогда университетов России, и хотя ему не исполнилось и восемнадцати лет, он готовился к поездке за границу и к экзамену на звание магистра. Специализироваться он должен был по кафедре славянских наречий.

Неожиданная катастрофа все смешала. Пермские впечатления еще более запутали ясную перспективу. Молодой учитель гимназии увлекся исследованием истории и быта сибирского края. К тому же он, никому дотоле не известный автор, стал печататься в «Литературной газете» А. Краевского и в его журнале «Отечественные записки»! Было от чего закружиться голове. Но его не забывали и в Казанском университете. Спустя некоторое время М. Мусин-Пушкин, следивший за его успехами, предложил ему вернуться в университет, но он отказался.

В этот момент и произошло еще одно, как выяснится значительно позже, судьбоносное для него событие. Уже после начала сотрудничества с Краевским он был переведен из пермской гимназии в нижегородскую, в родной свой город, в мае 1839 года.

Это был результат случайного стечения обстоятельств. Неслучайными стали последствия этого неожиданного события. Из Нижнего ему сообщили об открывающейся вакансии. Некто, вполне посредственный преподаватель истории, которого не жаловали ни ученики, ни гимназическое начальство, ни попечители, захворал, а затем подал в отставку. Этим воспользовались – и пригласили нового учителя истории

и статистики Мельникова, возложив на него задачу «исправить все недостатки преподавания».

Вновь делопроизводство шло через Казанский учебный округ, вновь прошение, написанное рукой Мельникова, было в руках Мусина-Пушкина. Как-то распорядится он на этот раз? Не придется ли снова поминать его лихом?

Министерство Народного Просвещения. Департамент. От попечителя Казанского учебного округа. В Казани 25 мая 1839 г.

Господину директору училищ Нижегородской губернии.

По представлению Вашему, милостивый государь мой, от 8 минувшего апреля, я увольняю старшего преподавателя истории и статистики вверенной Вам гимназии Толубеева, согласно прошению его, вовсе из учебного ведомства с 1-го будущего июля, и вместе с тем, уважая ходатайство директора училищ Пермской губернии и прошение учителя истории и статистики тамошней гимназии Мельникова, я назначаю его на место Толубеева, старшим учителем означенных предметов во вверенную Вам гимназию.

К этому нужным считаю присовокупить, что я о сем дал знать директору Пермских училищ, предписав отправить Мельникова к новому месту служения после 1-го будущего июля.

Попечитель Казанского учебного округа,

Тайный советник М. Мусин-Пушкин

Ещё раз грозный попечитель вспомнил о нем, одном из студентов-кандидатов выпуска 1837 года, и свое столкновение с ним, – и дал согласие удовлетворить его просьбу. Он был великодушен, незлопамятен, да и гнев давно прошел, осталась только досада на то, что блестящий выпускник ушел из университета и где-то сам торит себе дорогу. Он мешать ему не станет. Достаточно и того, что когда-то наставлял отечески на путь благонравия и благопристойности молодого человека, как помнится, довольно легкомысленного. Ах, молодость, молодость! У неё часто ветер в голове, вместе с умом и знаниями. Впрочем, как-никак, а выпускник Казанского университета. Он, Мусин-Пушкин, высоко поднял престиж университета на Волге, едва ли не лучший сейчас в России. И мешать своим выпускникам не намерен. Нижний Новгород, так Нижний Новгород! И к Казани ближе: быть может, одумается и постучится в двери *alma mater*, вакансии для такого, как он, всегда могут открыться.

До окончания гимназических экзаменов Мельников оставался в Перми. На выпускном акте ему было поручено произнести речь. Это была большая честь для начинающего педагога. Он простился с учениками, простился с городом, который дал ему приют на трудный год, первый год его самостоятельной жизни: он хотя бы пришел в себя после неожиданной беды, которая разразилась над ним, встал снова на ноги. У него почти закончена внушительного объема рукопись, никто об этом не знает. Отдаст ее Краевскому в «Отечественные записки», лучший российский журнал. Да и другие замыслы просятся на перо, многое осталось в набросках еще с последнего года жизни в Казани.

А сейчас – снова Нижний! Снова те же гимназические классы, которые он так хорошо знал, только теперь уже не ученик, а учитель Мельников, притом старший учитель! Снова родной город. Как-то сложится в нем его судьба? Будет жить он теперь не на Мистровской улице, пересекающей Варварку, где когда-то жил подростком, учась в гимназии, а недалеко от нее – на Черном пруду, отличное место, в доме Белокопытовых, там можно остановиться.

В последних числах сентября он уже приступил к работе, а лишь месяц спустя в ноябрьской книжке журнала Краевского появились первые очерки его «Дорожных записок. (На пути из Тамбовской губернии в Сибирь)». Это была настоящая сенсация в Нижнем. Каков новый преподаватель истории в гимназии! О нем заговорят и в Казани: выпускник университета, кандидат! Он будет сразу же взят на заметку: одними с воодушевлением, другими — с тихим, сдержанным раздражением.

Но литературный дебют, бесспорно, удался. Какой наблюдательный, цепкий взгляд! Здесь чувствуется рука историка и этнографа, но великолепно владеющего пером... Кто этот Мельников? Как, учитель Нижегородской гимназии?! Давно ли? Не сын ли Ивана Ивановича Мельникова? И еще не женат?! О, это новость. Надо сообщить Марье Ивановне. Это так важно... для ее дочки.

Между тем молодому учителю не до матримониальных забот. Молодой учитель истории полон идей. Нужно продолжить «Дорожные записки». Он твердо обещал Краевскому и выполнит обещание. Уже готова статья дня него же о раскольниках, об их сектах, о скитах, хоронящихся в глухих лесных уголках Нижегородской губернии. Затем, пора отдать переписчику «Исторические известия о Нижнем Новгороде», отрывок из исследования о Владимиро-Суздальском княжестве, самое время достать из-под спуда эту рукопись, оставшуюся ещё от подготовки в Казани к магистерскому экзамену. Нужно поскорее собрать сведения о Минине и по истории Нижнего Новгорода после 1612 года. Не предложить ли Краевскому рассуждение «О первоначальном расселении людей», концепция статьи уже составила, даже есть черновые наброски? Кроме того, в черновиках лежит провинциальный очерк «Ивановская красавица».

Нужно сделать еще «трактат», тоже для Краевского, о мелях волжских, об их причинах и о средствах если не истребить их совершенно, то, по крайней мере, задержать дальнейшее их увеличение. У него готовы свои соображения на этот счет. Дело не только в истреблении лесов, как думают в Академии. Есть и другая причина, он ее заметил первым, а наблюдения делал в своем имении* на берегу Волги, и они подтвердили его догадки. Но об этом позднее, в самой статье.

Что еще? Что он еще может предложить Краевскому? Статью о Нижегородской ярмарке – это в «Отечественные записки», а в «Литературную газету» – о музыкальных вечерах и концертах в Нижнем Новгороде, ведь напечатана же там статья о Харьковском театре. Почему бы не сказать о своем городе? Если угодно, он может прислать еще описание одной библиографической редкости, почти чудо – книга, напечатанная в Амстердаме в 1705 году на русском, голландском, французском, немецком, английском, латинском, итальянском и испанском языках. Важна же она в особенности тем, что в ней в 1705 году Петр Великий называется императором, провозглашен же он императором России в 1721 году. Пророческая ошибка! Эта редкостная книга принадлежит Нижегородской гимназии, он сам сумел ее раскопать.

* О каком имении он писал Краевскому, остается загадкой. Скорее всего, это ещё одна из его мистификаций, какие он не раз предлагал Краевскому, чтобы повысить интерес к самому себе. У него у него после смерти отца остался лишь маленький клочок земли, но в Семеновском уезде, песок да лес, с 32 душами крепостных, которые не то что давали доход барину, а едва-едва сводили концы с концами. Ему приходилось из своего жалованья прикупать им семена для посева. Но поразительная интуиция! У него и правда будет имение на берегу, только не Волги, а Оки и значительно позднее, о чем он сейчас даже не мог и помыслить.

Так... Еще что? Провинциальный очерк или лучше – рассказ «Звезда Троеславля», почти все герои списаны с натуры! Это только начало большой вещи, которая будет состоять из шести подобных же частей. Уже готовы наброски, черновые эскизы. Провинциальная жизнь сама просится на бумагу. Что бы еще придумать Краевскому? Впрочем, достаточно и того, что есть. Дай, Господи, выполнить хотя бы это!..

Только молодая самоуверенность может так широко размахнуться в планах на ближайшее будущее, на один только текущий год. Самое удивительное не то, что он обещал сделать, а то, что он выполнил всё или почти всё, что обещал. Но едва не надорвался под непосильной ношей.

Из рапорта директору училищ Нижегородской губернии:

Честь имею донести Вашему Высокоблагородию, что я по расстроенному своему здоровью едва ли буду в состоянии приготовить к 15 декабря текущего года какое-нибудь сочинение, для представления ученого округа. Но чтобы не подать начальству мнения о моей не деятельности, я принимаю на себя честь донести Вашему Высокоблагородию, что я в продолжение девяти с половиной истекших месяцев настоящего 1840 года занимался следующими учеными трудами.

И затем называются эти труды, не включая сюда списка беллетристических его вещей, над чем он, как мы знаем, тоже усердно работал. Один только перечень того, что было сделано учителем истории всего лишь за несколько месяцев, занял несколько рукописных страниц! Он закончил «Дорожные записки», сверх того начал три крупных работы: «История Владимиро-Суздальского Великого княжества», «Империя и варвары», «Персия при Сасанидах» (девять глав, 13 приложений и более 180 примечаний), статьи по нумизматике, по истории России и Европы. В это же время начато «Статистическое описание Нижегородской губернии» – труд, который займет многие годы его жизни. Причем все это – по большей части уже опубликованные работы. И где опубликованные! В «Отечественных записках» и «Литературной газете» Краевского, в «Маяке современного просвещения». Поистине этот молодой человек неутомим сверх всякой меры, труженик великий и талантлив к тому же. Однако гимназические правила неумолимы. Учитель гимназии обязан в конце года представить ученое сочинение по своему предмету не позднее 15 декабря, оно пройдет затем экспертизу в Казанском учебном округе и будет представлено автором на публичных чтениях. Таковы обычные требования к учителю гимназии. И от них никуда не уйдешь.

И все-таки нет правил без исключения. Несколько месяцев преподавательской деятельности, и такой результат! Это труд, который нельзя не оценить по достоинству.

Казань 21 дек. 1840 г. От попечителя. Господину Директору Нижегородских училищ

На представление Ваше, Милостивый Государь, от 13 текущего декабря даю Вам знать, что я читал некоторые статьи старшего учителя Мельникова, в различных журналах помещенные, всегда с особенным удовольствием, и что мне весьма было бы приятно если б г. Мельников прислал некоторые статьи свои для помещения в ученых записках Казанского университета.

Попечитель — Тайный советник Мусин-Пушкин

Снова Мусин-Пушкин, снова Казанский университет шлет привет своему бывшему студенту и кандидату. Никто не догадывался, кроме самого Мельникова, что это – жест примирения, прощения, более того – признания своей неправоты, своей горячности, несправедливости по отношению к нему, и кого же? Самого Мусина-Пушкина, грозного попечителя, так жестоко распекавшего молодого человека, выбросившего когда-то его из университета, сломавшего ученую карьеру.

Это вторая попытка Мусина-Пушкина каким-то образом снять с себя вину, загладить последствия своего, по всей вероятности, и в самом деле несправедливого решения. Первым шагом к примирению было его приглашение учителя Пермской гимназии вернуться в Казанский университет с тем, чтобы продолжить подготовку к экзамену на степень магистра. Участие в ученых записках – это лестное предложение, и Мельников, в душе которого не осталось ни гнева, ни раздражения, принимает его с благодарностью.

Первые шаги нового гимназического учителя невольно удивляют. Что это – исключительная одаренность или редкое трудолюбие? Или какая-то особая предрасположенность к научной деятельности? И то, и другое, и третье. Но есть еще одно обстоятельство, едва ли не решающее.

Казанский университет давал своим выпускникам отличную подготовку. Двадцатилетний Мельников однажды со стыдом признается в своем невежестве: он до сих пор еще не выучил немецкого языка. Кроме древних (латинского и греческого) он знает только французский, английский, итальянский, персидский, немного арабский и монгольский. Немецкие же тексты он лишь читает – значит, языка не знает. Добавьте к этому навыки творческой работы, умение искать и находить то, что нужно найти, – и вы получите не тип исключительности, а скорее характеристики, свойственной старому университетскому образованию.

Уже в значительно более позднее время ученики учеников Мельникова, преподаватели русских гимназий, в том числе и нижегородских, совсем не хватавшие, как он, звезд с неба, активно пополняют ряды советской профессуры и советских академиков. Они были прекрасно подготовлены – вот в чём дело. Настоящая же катастрофа для наших гуманитарных вузов и факультетов наступит тогда, когда на смену труженикам-ученым придут мученики общественной работы – профсоюзные и комсомольские студенческие функционеры, из которых рекрутировалась наука. Они были невежественны, потому что им просто некогда было заниматься в студенческие годы, как занимался в свое время Мельников, и они были мало талантливы или совсем бесталанны, потому что одаренность вполне заменяли изворотливость и практичность. Наконец, несмотря на чтение ими фундаментальных вузовских курсов, они были совершенно лишены общей элементарной культуры. Так появились косноязычные философы, ворочающие языком и мыслями, словно жерновами, филологи, бессильные высказать сколько-нибудь оригинальное суждение, искусствоведы, психологи, методисты, превратившие разговор о своем предмете в птичий язык, в жаргон, недоступный для посторонних. Это поколение псевдоученых всё же ушло. Но свое недоброе дело они успели сделать: каждый из них подготовил нескольких себе подобных. Процесс возвращения к старой русской университетской гуманитарной науке, которую представлял учитель гимназии Мельников, будет и долгим и болезненным. Здесь врачует время: нужно, чтобы весь этот шлак исчез, а он обычно забивает все поры общественного организма. Не скоро еще мы увидим Мельниковых в школьных и гимназических классах или за кафедрами вузов. Это случится

только тогда, когда у нас перестанут возвращать циничную, как говорится, «пробивную» посредственность, движущуюся к цели где ползком, где шажком, где наушничеством, где интригами, а где почти открытым плагиатом, и дадут дорогу истинному таланту, истинному трудолюбию и знаниям. Но только когда это будет?

Мельников вспоминал о своем приятеле по университету Васильеве. На студенческой скамье он занимался монгольским, тибетским и китайским языками, затем выдержал экзамен на магистра монгольской словесности и отправился на десять лет в Пекин с миссией, в качестве чиновника, оплачиваемого университетом, с целью занять потом кафедру тибетского и санскритского языков. Так отбирали и готовили студентов-кандидатов в Казанском университете к ученому поприщу. Мудрено ли, что Васильев станет через некоторое время первым профессором-синологом Петербургского университета?

Спустя год после того, как Мельников подал рапорт о первых своих научных трудах, произойдет значительное для него событие. Он будет удостоен звания корреспондента Археографической комиссии. Это было большой честью, которой искали многие. Ему же в это время шел всего лишь двадцать второй год. Дело было даже не только в опубликованных трудах молодого ученого. Он уже сейчас занимался тем, чем до него никто не занимался, — преимущественным изучением Нижнего Новгорода, и Нижегородского края. Мельникову пришлось прокладывать еще никем не проторенную дорогу: собирать древние рукописи, которых никто не знал, исследовать архивы, которых никто не касался. Работа и без того не легкая оказывалась вдвойне тяжела, так как ему приходилось преодолевать сопротивление чиновников, затруднявших доступ к источникам. Несколько интересных найденных документов были посланы им вместе с его публикациями в Археографическую комиссию. Они-то и обратили внимание на нижегородского учителя в министерстве народного просвещения. Управляющий департаментом, академик, председатель российской Археографической комиссии князь П.А. Ширинский-Шихматов готов хоть сейчас присвоить ему высокое звание действительного члена Археографической комиссии («чиновника», как тогда говорили). Но он не вправе этого сделать, так как не может миновать некоторые необходимые формальности. И снова свое слово в пользу Мельникова произносит все тот же граф Мусин-Пушкин, попечитель Казанского округа.

Господину Директору училищ Нижегородской губернии

На представление Ваше, Милостивый Государь мой, от 8 текущего января, о дозволении старшему учителю вверенной Вам гимназии Мельникову обратиться с прошением к князю Ширинскому-Шихматову о занятии им должности чиновника археографической комиссии, даю знать, что для меня весьма приятно будет, если археографическая комиссия удостоит г. Мельникова звания своего чиновника.

Все так. Казанский университет гордится своими выпускниками, Мельников же пока что единственный, кто добился в его возрасте такой чести. В апреле 1841 года, после рекомендации Мусина-Пушкина, он утвержден в звании корреспондента Археографической комиссии. Перед ним открываются архивы, которые прежде ему были недоступны. Это было осуществление его давней мечты, которой он не чаял, как добиться. Скажи ему год назад, что так случится, он не поверил бы.

Из письма к А.А. Краевскому 23 июня 1840 года:

Научите-ка меня, Андрей Александрович, как бы попасть в архивы, нельзя ли как-нибудь примкнуть к Археографической комиссии, в виде чиновника, как Матвеев в Астрахани. Больно бы хотелось порыться, а не знаю, как попасть.

Теперь же, с начала нового 1841 года, перед ним, как по волшебному слову из сказок «Тысяча и одна ночь», распахиваются двери тех самых драгоценных архивов, куда невозможно было проникнуть частному лицу, не члену Археографической комиссии.

Вообще в жизни Мельникова, если внимательно присмотреться к ней, существует какая-то странная символика чисел. Во всяком случае, в молодые его годы она точно есть. Четыре, пять лет — вот это магическое число, с ним связаны и радости и неприятности, взлеты и падения. Впрочем, крайности здесь всегда уравниваются, они оказываются соразмерными, тоже словно по какому-то волшебству.

В 1829 году он поступил в Нижегородскую гимназию. В 1833 году — двойная жестокая выволочка по поводу мнимого посягательства на государственные основы власти, хотя это были невинные театральные представления, устраиваемые подростками в полуразвалившихся романтических башнях Нижегородского кремля, а спустя год он закончит гимназию одним из первых ее учеников. В 1834 году он зачислен в Казанский университет, а в 1838 году снова гроза бушует над его головой, да еще какая! Крушение всех надежд — и ссылка. А счастье было так возможно, что еще тут скажешь! Но спустя четыре года после этих драматических событий появляются нашумевшие публикации его первых опытов историко-этнографического толка, и он, недавний опальный кандидат, проштрафившийся выпускник университета, утвержден корреспондентом Археографического общества! Это было раннее научное признание его трудов. А ведь он совсем еще молод, впереди целая жизнь.

Отныне вместе с одобрением и восхищением рядом с ним пойдут рука об руку зависть, недоброжелательство, интриги — верные спутники чужого успеха, особенно сильные в среде пишущей и ученой братии. Чего стоил один только профессор Иванов в Казанском университете. Он постоянно интриговал против Мельникова, мстительно срезал его учеников, поступавших в университет из Нижегородской гимназии. И все из-за того, что его самого не утверждали членом Археографической комиссии, как он ни старался. А министр внутренних дел Валуев, всякий раз судорожно хватившийся за карандаш и начинавший править статьи Мельникова, полагая, что сам написал бы не хуже, еще и поумнее? А чиновники рангом пониже, кромсавшие его блестяще написанные служебные отчеты, не смущаясь тем, что нетвердо держали в руках перо и были не в ладах с грамматикой? Но самомнение, спесь — это большая движущая сила, и дюжинная посредственность бестрепетно вступала в соперничество с талантом, стремясь во что бы то ни стало подверстать его под общую мерку.

А сановные аристократы — как они пытались оттеснить его от наследника престола, когда тот, знакомясь с Нижегородской ярмаркой и путешествуя по Волге, восхищался его глубокими знаниями края и его мастерством рассказчика...

Но это литературная и научная деятельность Мельникова, а он все-таки был учителем гимназии. Так каким же он был учителем?

Каким учителем был Мельников

Сведения на этот счет очень противоречивы. Говорили, что вначале он энергично принялся за работу, но по неопытности слишком много требовал от учеников. Кое-что из его записок, использованных им для уроков, тогда же было опубликовано в «Литературной газете»: о падении Римской империи, персидская история в эпоху Сасанидов – это было чересчур тяжело и слишком учёно даже для хорошо подготовленных гимназистов. Он посмотрел, посмотрел на них, да и махнул рукой. В педагогическую рутину не впал. Он просто прошёл мимо неё и предоставил заниматься ученикам во время классов тем, чем им хотелось заниматься. Кто был увлечен историей, тот получал от него много полезного, кто отбывал повинность, получал ровно столько, сколько хотел получить, и не более того. Он прекрасно знал дефекты своего преподавания, но ничего не делал, чтобы их исправить. «Мои ученики, — говорит он, — вследствие того, что я обращал внимание только на особенно хороших и давал волю учиться или не учиться, были двух родов: или прекрасно знали предмет, некоторые так, что хотя бы на кандидата экзамен держать, или ровно ничего не знали и отвечали на экзаменах вроде того, что Александр Македонский был великий князь Новгородский, а Мохамед основатель королевства Английского. Середины у меня не было. Не знавшие истории вовсе не поступали в университет, а которые знали и поступали, те оказывались лучшими».

Одни ученики вспоминали, что обычный порядок урока у Мельникова был таким: придя в класс и наскоро спросив, что было задано, он садился на подоконник и начинал рассказывать то, что составляло содержание темы, которую ученики должны были подготовить к следующему уроку.

Другие утверждали прямо противоположное: Мельников неохотно говорил в классе, но стоило к нему обратиться с интересным вопросом, как он загорался, и слушать его в такие моменты было наслаждением. А если он замечал, что кто-нибудь из учеников интересуется историей, то готов был беседовать с ним часами, звал к себе на дом, давал книги, спрашивал о прочитанном, толковал вместе с ним, как с ровней, то есть всячески поддерживал интерес к предмету. Говорил же он всегда превосходно, книги выбирал так, чтобы они могли увлечь ученика и быть ему полезны. Его любимцы отвечали в классе не затверженный урок, а то, что прочли по теме, которая была задана всем, но прочли в рекомендованных им книгах или в тех, которые сами нашли.

Третьи же свидетельствуют в своих воспоминаниях, что он не слушал ответов в классе, занятый своими мыслями. Обычно задаст вопрос и начинает ходить по классу, не обращая внимания на то, что говорит ученик. Эта слабость его была известна, и дело не обходилось без шалостей на которые подростки всегда горазды. Один на спор посреди ответа товарища обещался громко произнести фразу по ходу рассказа, что-нибудь вроде: «А у Эвениуса на дворе дрова стоят», — и вполне успевал в этом, потому что Мельников ничего не замечал. Другой, дойдя до половины заданного ответа, начинал сначала. Мельникову кажется, что он слышит что-то знакомое. «Вы как будто уже говорили это?» — спрашивает он. — «Нет, я продолжаю», — отвечает шутник. «А, ну хорошо, говорите». И тот спокойно под веселые взгляды товарищей заканчивал повторение едва ли не слово в слово.

Эти подробности могли бы сойти за анекдот, если бы не передавались людьми, в точности слов которых не приходится сомневаться.

Но есть и другие и тоже бесспорные свидетельства. Мельников не относился спустя рукава к делу, а делал его так, как мог и как считал нужным

делать. Во всяком случае, он не был равнодушен к тому, чем занимался. Например, вспоминают, что он был безжалостен к бестолковым ученикам и в особенности к лентяям и преследовал их своим постоянно повторяющимся при неудачных ответах вопросом: «А дальше?» Это бесстрастно-ироническое «а дальше» вконец запутывало вруна и совершенно ставило его в тупик, так что он в итоге нередко разражался слезами.

Почему остались такие противоречивые суждения о педагогических приёмах Мельникова? Да потому, что он и здесь был многолик. Каждый видел в нем то, что видел, или хотел, или мог видеть. Сам же он, не боясь прослыть чудачком, делал то, что трудно переоценить, — он учил гимназистов творчеству, а не долбне, способности самостоятельно мыслить, а не повторять чужие мысли, то есть он учил их тому важнейшему, чему и должна учить школа, но чему она, к величайшему сожалению (за очень редкими исключениями), не учит.

Это особенно ясно стало сейчас, при плачевном состоянии разрушенного нашими веселыми реформатами едва ли не до основания отечественного (когда-то довольно высокого) школьного образования. Тестовые принципы пресловутого ЕГЭ сделали свое дело в гуманитарных дисциплинах (и не только в них): дети за эти годы потеряли способность творчески мыслить и, что не менее страшно, утратили тягу к чтению, а то и другое — зловещие признаки деградации нации. Мы уже потеряли по крайней мере три-четыре поколения молодых людей, и невосполнимые потери будут только увеличиваться.

Так что уроки Мельникова-учителя по-прежнему полезны, о них стоит вспоминать. Он не стремился к тому, чтобы его ученики или сделались книжными червями, или умели отбарабанить в хронологическом порядке названия важнейших исторических событий, или затвердили бы назубок даты древних сражений. Любопытно, что во всех ревизиях гимназии отмечалось, что «учитель Мельников обладал обширными историческими познаниями и умел передать их своим слушателям», но нередко при этом появлялось замечание, что ученики его порой не крепки в хронологии. Он изгнал долбню из своих занятий, зная бессмысленность таких усилий. Он учил своих воспитанников проявлять творческую волю, знакомясь с историей, постигать жизнь прошлую и на основании ее — нынешнюю. Но не только со слов учителя, чтобы потом ему же их повторять. Мельников радовался проявлению оригинальности, самостоятельному, увлечённому подходу к теме.

Вот почему он был совершенно равнодушен к повальным педагогическим увлечениям, подобных эпидемиям, когда вдруг все бросались вводить по приказу начальства из Казанского учебного округа те или иные правила в преподавании, хотя в них было больше нелепостей и бессмысленных затрат труда, чем пользы.

Словом, Мельников давал право ученикам быть самими собой, а тем, кто мог, — даже стать более чем собой, потому что он работал с ними, не жалея времени, учил тому, что знал, давал им творческие импульсы, которые те могли самостоятельно развернуть.

Старший учитель истории нижегородской гимназии, несмотря на молодые годы, был достаточно мудр, чтобы усвоить старую истину: насильно мил не будешь никому и никого не вгонишь в рай дубиной, даже если этот рай — система излюбленных твоих педагогических и исторических идей.

Тупицы оставались у него тупицами, рачительные ученики знали, что нужно знать, увлекавшиеся предметом, благодаря его же влиянию и помощи, шли блестяще, вызвали восхищение своими ответами, участием

в диспутах, и никакие интриганы не могли сбить их даже самыми каверзными вопросами.

Один из его лучших учеников, Ешевский, сменил в Казанском университете профессора Иванова, того самого, что преследовал Мельникова и его питомцев едва ли не открытой ненавистью. Другим его учеником был известный русский историк Бестужев-Рюмин, профессор Петербургского университета, академик, основатель первого высшего женского учебного заведения в России, получившего название по имени его учредителя — Бестужевские курсы.

Короче, Мельников был одним из самых известных преподавателей гимназии, хотя его самого, видимо, беспокоило то, что он отдавал этому роду деятельности только то, что оставалось у него от его собственных занятий историей, литературой, поглощавшими всё его свободное время. Его настоящая жизнь все-таки шла вне гимназических стен, здесь он скорее отбывал повинность.

Но с эффектом, добавим, о котором его коллеги могли только мечтать. Он готовил интеллектуальную элиту, так можно сказать, а это немалая заслуга и немногим по плечу. Посредственность, несмотря на все своё усердие, такого просто не в состоянии осилить. Здесь нужен талант, ум, оригинальность, одержимость, здесь нужны воля и труд.

Он это знал и лучшие его ученики тоже это знали.

Из воспоминаний П.И. Мельникова:

Каков я был учитель — не знаю, как сказать. Самому о себе трудно судить, но отзывы тогдашних моих начальников, прошедших семинарскую премудрость, в литературе не признававших, после Державина и Карамзина, ни одного таланта (Пушкин, по их мнению, пустомеля, не имеющий изящного вкуса, и притом вольнодумец, Лермонтов — мальчишка, которому необходимы розги, Гоголь — сальный марака, а Белинский — сумасшедший человек, который сам не знает, что пишет), — отзывы таких людей, для меня не совсем благоприятные, я и тогда не ценил высоко.

Полагаюсь более на отзывы бывших моих учеников, например, Московского университета профессоров М.Я. Китарры и С.В. Ешевского, а также Константина Николаевича Бестужева-Рюмина, теперь одного из замечательных знатоков русской истории. Они говорят, что для массы учеников я был плохой учитель, но для тех немногих, которые хотели учиться, очень полезен. Дело в том, что мне скучно было биться с шаловливыми и невнимательными мальчиками, и, за их невнимательность к предмету, я сам оставлял их без внимания... Лучшие ученики мои занимались у меня, как студенты, писали сочинения по источникам, как например, Ешевский «О местничестве», и публично защищали с кафедры свои тезисы, как бы магистранты. На таких диспутах бывали и губернатор, и губернский предводитель дворянства, и архиерей, и дамы, всего человек по пятидесяти и более.

Вот так, читатель! Человек пятьдесят, и среди них главные персоны города бывали на выступлениях учеников Мельникова по вопросам русской и всеобщей истории. Диспуты напоминали защиту магистерских работ при большом стечении публики и с нелегкими вопросами, неизбежными в таких случаях, а докладчики — всего лишь подростки-гимназисты — демонстрировали обширные знания и глубокую трактовку предмета, избранного для публичного обсуждения, и блестящую манеру изложения, — потому что кто же придёт добровольно слушать скуку?

Собственные же выступления Мельникова собирали громадную по тем временам для провинциального города аудиторию в 100–200 человек. Он способствовал сплочению нижегородской интеллигенции, ввёл публичные чтения в традицию, дал обществу возможность хоть как-то осознать себя, подняться на ступеньку выше и взглянуть на себя из прошлого времени, чтобы понять время нынешнее, свое время, а вместе с ним и самих себя.

Таков был учитель истории и статистики нижегородской гимназии Мельников.

Из речи директора нижегородской гимназии на акте 1846 года:

Особенно отличалось преподавание русской истории, под руководством человека опытного и глубоко изучившего этот предмет, бывшего старшего учителя истории г. Мельникова. Запас знаний, высказанных Ешевским и Бестужевым-Рюминым, его учениками, на некоторых литературных беседах, служит лучшим доказательством истины моих слов.

Глагольная форма прошедшего времени в отношении Мельникова использована здесь потому, что именно в 1846 году он покинул гимназию, избрав для себя, как это случалось с ним не раз, новый род деятельности.

История с историей Козьмы Минина

Все в жизни Мельникова, даже с его необычайным разнообразием интересов, как-то сложно взаимосвязано и сведено воедино. Одно увлечение задевает другое, то, в свою очередь, цепляет третье, и постепенно, а часто довольно стремительно возникает новое движение и с годами все более набирает силу. Первые толчки могли быть случайны и появиться между делом, но любой такой шаг оказывался в результате необходим и целесообразен. Ничто в его жизни не пропадало бесследно, всё шло в ход.

Каждая из ступенек в служебной лестнице, которая шаг за шагом вела его наверх, к высоким местам в табели о рангах, была подготовлена им самим, но как бы и помимо его воли.

Он не был сосредоточен на достижении очередной цели, а напротив, разбрасывался и занимался несколькими делами разом. Правда, с годами стал осмотрительнее. Но, странное дело, все его попытки строить карьеру, заранее планировать каждый свой шаг заканчивались, как правило, неудачей, очередным провалом, а то, что выходило непреднамеренно и случайно, оказывалось самым эффективным и влияло на успех.

Еще в Казанском университете, перепробовав несколько тем при подготовке магистерского экзамена, он останавливается на изучении Владимир-Суздальского Великого княжества, потом оставляет эти изыскания. Спустя некоторое время они вдруг понадобятся ему, когда он вплотную займется историей Нижнего Новгорода.

Оказавшись в Перми, в гимназии, вместо солидного университетского места ученого, он примется за этнографию, а она вдруг откроет ему страницы «Отечественных записок» и обратят на него внимание министра народного просвещения графа Уварова, и вскоре он — корреспондент Археологической комиссии. Знакомство с директором Нижегородской ярмарки графом Д.Н. Толстым, отчаянным, как и он сам, любителем русской древности, образованнейшим человеком, приведет его к изучению раскола, и он постигнет его впоследствии в таких подробностях и с такой глубиной, что будет признан лучшим специалистом в этой области.

Уже с начала 40-х годов, выбиваясь из сферы научной деятельности, и в то же время благодаря именно ей, не отказываясь от службы в гимназии, но часто изменяя ей ради увлечения литературным делом, он незаметно для самого себя входил в новые отношения с властью, с нижегородским военным генерал-губернатором.

По высочайшему повелению, то есть по распоряжению царя, нижегородскому губернатору было дано поручение: сделать разыскания о потомках Минина. К Мельникову губернатор вынужден был обратиться лишь спустя долгое время, получив нагоняй от самого графа Бенкендорфа. Случай этот в высшей степени характерен. В нем отразилась вся пирамида власти с ее вершины, где восседал державный правитель России, до подножья, где копошилась мелкая сошка, но тоже с большими амбициями и со своим норовом и своими кровными, не всегда порядочными интересами.

История этого поручения, как её вспоминал сам Мельников, была следующей. В октябре 1834 года в Нижний Новгород приехал император Николай I. Прежде всего он посетил кафедральный Спасо-Преображенский собор. Шел дождь. На непокрытой паперти императора встретил архиерей Амвросий с крестом и длинной речью. Император должен был слушать многословного владыку, между тем как осенний дождь обильно орошал его голову, начинавшую уже лысеть. После обычного молебна преосвященный Амвросий повел императора в склеп под собором, где покоились тела великих князей нижегородских и прах Минина.

Вход был низким. Преосвященный, идя перед императором во всем облачении, счел долгом предупредить августейшего посетителя, и, не выучившись в семинарии и духовной академии придворным тонкостям, сказал спроста: «Ваше величество! поберегите голову!» Разгневанный длинной приветственной речью владыки и долго падавшим на венценосную голову холодным осенним дождем, император ответил: «Сами, преосвященный, поберегитесь, чтобы с вас митра не свалилась». Митра не свалилась, но преосвященный Амвросий был переведен вскоре после того в низшую епархию, в Пензу.

В склепе император поклонился до земли перед гробницей Минина и, обратившись к губернатору Бутурлину (тому самому, который принял Пушкина за путешествовавшего инкогнито в 1833 году по тайному распоряжению, чтобы фиксировать прегрешения провинциальных властей, и дал ему невольно сюжет для гоголевского «Ревизора»), спросил: «Остались ли потомки после Минина?» Бутурлин, два месяца приготавливавшийся бойко и с ловкостью военного человека отвечать на всевозможные царские вопросы, подобного вопроса как раз не предугадал и чрезвычайно сконфузился. Император, заметив смущение губернатора, коротко сказал: «Отыскать. Если остались, я награжу за службу предка».

После отъезда императора, Бутурлин немало ломал голову над тем, кому поручить исполнение высочайшего повеления. «Отыскать» — велел государь. Кому же отыскивать? Разумеется, тому, кто отыскивает в городе всякий люд: беглых, беспаспортных, мошенников и прочих темных личностей, что дается очень нелегко и требует специальных навыков, то есть полицмейстеру. Бутурлин так и сделал. Полицмейстером был тогда Махотин — фигура в высшей степени колоритная. Он был популярен в Нижнем, о нем ходило множество слухов. Добрый человек, но совершенно гоголевский полицмейстер: брат — брал, зато осетрами кормил. Во время ярмарки у него с утра до ночи был накрыт стол, разумеется, для избранных: стояли разные кушанья, вина, фрукты; всякий приходи и ешь на здоровье. Славные были кулебяки. Шампанское же было аховое — откровенная самодель-

щина. Покупал он у армян чихирь, из него и выделялось «шампанское». Ходили слухи, что бутылка такого шампанского обходилась полицмейстеру копеек в шестьдесят. Главный сбыт же этого вина был в многочисленные (в то время около восьмидесяти) публичные дома Канавина, содержательницы которых обязаны были покупать махотинское шампанское уже по 8 рублей за бутылку, продавали же они его своим «гостям» по 14 и 15 рублей. Торг выгодный для всех, кроме покупателей. Деньги, и немалые, оседали в кармане полицмейстера.

Махотин был бравым служакой, под Бородином потерял правую руку, но отлично играл в карты левой. Грамотный солдат, пройдя лестницу чинов низшей военной иерархии: капрала, ефрейтора, фельдфебеля, — он получил офицерство, дослужился до майора, вышел в отставку и в конце двадцатых годов сделан был нижегородским полицмейстером. На этом месте он пробыл до 1843 года, переведен был в Рязань, где, прослужив год, получил генерала при отставке и возвратился в Нижний Новгород. Здесь он и дожил свой век нижегородским помещиком с 500 душ крепостных и почетным опекуном дворянского банка. Так делалась карьера и составлялись состояние и общественное положение.

Что касается до взяток, то это было тогда в порядке вещей. Для характеристики необходимо упомянуть вошедшую впоследствии в пословицу в Нижнем Новгороде фразу о тамошних полицмейстерах: «Прежде полицмейстер брал одной рукой, потом двое двумя, а один и лапу запустил»^{*}.

Этому-то Махотину губернатор Бутурлин и поручил отыскать потомков Минина. Не имея решительно никакого образования и ещё менее зная русскую историю, безрукий полковник семь лет отыскивал «потомков» и нашел их целую кучу в среде купцов, мещан и даже крестьян и кантонистов^{**}. Публика получилась пестрая, и ей уже мерещились богатые царские милости.

Слухи о полицмейстерских поисках родни Минина между тем разползались по Нижнему, вызывая все новых самозванцев с самыми фантастическими претензиями, порой анекдотического свойства.

Из письма Мельникова к А.А. Краевскому. Июнь 1841 года:

Кстати о Минине. Вот вам свеженькая нижегородская новость: одна здешняя мещанка, называющая себя происходящею от Минина и живущая в дрянном домишке близ церкви Похвалы, где сначала был погребен Минин, вдруг начала распускать слухи, что к ней является он, говорит с нею и требует, чтобы на месте ее дома построили церковь во имя Александра Невского, потому что на этом месте Минин был похоронен и хотя кости его положены были после в соборе, но «его прах нетленный» лежит под ее подпольем. Весь город сбегался к ней слушать рассказы ее и смеяться над тем, как она говорила, будто Минин сказал ей: «А коли церкви не построят тебе мои нижегородцы, так пусть домишко каменный, двухэтажный тебе выстроят».

Позднее Мельников использовал эпизод, который сам наблюдал, в «Исторических заметках», опубликованных в 1850 году в «Москвитяине». «Являлись люди, — писал он, — которые, в припадке сумасшествия, толковали, будто им являлся Минин в ночном видении и приказывал

^{*} Острая и веселая нижегородская пословица была игрой слов, но имела в виду конкретных лиц: сменявших друг друга в Нижнем полицмейстеров. Одной рукой бравший взятки — однорукий Махотин; двумя — Львов и Зенгбуш, а лапу запустил — Лаппо-Старженецкий.

^{**} В те времена кантонисты — солдатские дети, которым необходимо было нести военную службу.

на том месте, где было положено тело его, поставить церковь... Имя незабвенного человека сделалось вывескою обмана – и где же? – на том месте, где он благовестил спасение России... Бредни, распущенные, кажется, единственно для того, чтоб иметь даровой дом». И иронически добавил в примечании: «Те, которым являлась тень Минина, говорили, будто она приказывает нижегородскому градскому обществу построить дом и подарить его тем, кого она удостоила своим появлением. Какое выгодное посещение замогильного гостя!»

Наконец, составленную с таким трудом родословную отправили в Петербург. Как и следовало ожидать, она оказалась никуда не годной и возвратилась в Нижний весной 1842 года с краткой резолюцией, начертанной высочайшей рукой и обращенной к Махотину: «Дурак».

Продолжение розысков было спешно поручено Мельникову, который к этому времени был уже известен как знаток нижегородской истории и своими занятиями в нижегородских архивах, да еще как действительный член Археографической комиссии. Работа была знакома ему, она была не то что трудная, но «мешкотная», как говорили в Нижнем.

Он читал ревизские сказки, «нырял», по его словам, в омут писцовых книг; ходил по церквам с их архивами – в итоге простудился и слег в постель и не бывал даже в гимназических классах, хотя для этого нужно было только спуститься по лестнице. Здание, где размещались квартиры учителей гимназии, после перестройки вплотную примыкало к центральному корпусу, в котором проходили занятия. Он работал, как это бывает у русского человека, что называется, запоем, не щадя себя. Так случилось, когда он надорвался над делами Археографической комиссии в 1841 году, так будет повторяться и впредь. Это был стиль его работы, лишенной педантизма, но очень напряженной и движущейся порывами, толчками. Он ничего не делал вполсилы, медлительный, рассчитанный по минутам труд – это было не в его характере.

То, на что расторопному нижегородскому полицмейстеру с подручными потребовалось семь лет, он сделал за одну-две недели, опираясь не на сбивчивые слухи и шальные фантазии мнимых потомков Минина, а на документы нижегородских архивов. Его донесение графу Бенкендорфу уместилось всего лишь на десяти листах. Впрочем, впечатление о быстроте и легкости его работы обманчиво, как всегда. Он уже давно шел к цели, еще не поставленной перед ним, и уже давно приступил к необходимым для этого изысканиям. Еще до того, как весной 1841 года был утвержден в звании корреспондента Археографической комиссии. В одном из писем князю Ширинскому-Шихматову он сообщал, что готов доставить для публикации в трудах Археографической комиссии сведения о роде Мининых.

Подвергнув свой отчет литературной обработке, Мельников поместил в «Отечественных записках» 1842 года его фрагмент в виде заключительного раздела статьи «Исторические заметки», так и назвав его: «О родственниках Козьмы Минина».

Он знал, что документы, относящиеся к Минину, находились не только в архивах, но и в частных руках, и потому обратился ко всем обладателям таких старинных актов с настоятельным советом напечатать их, а не хранить под спудом. «Бумаги о подобных вещах, – писал он, – не частная собственность: это достояние нации».

В отличие от бравого нижегородского полицмейстера Мельников не отыскал потомков Минина по самой простой причине: их не существовало. Единственный сын Козьмы Минина, стряпчий Нефед Минин, умер бездетным и пожалованные его отцу имения были взяты на государя. Но,

занимаясь делом, порученным ему генерал-губернатором, Мельников открыл несколько совершенно новых сведений о Минине и вообще об эпохе 1612 года, чем впоследствии воспользовался в своих работах, а в одной купчей крепости отыскал, что Минина звали не Кузьма Минин, а Козьма Захарьич Минин-Сухорук. Свои находки, которыми очень гордился, он отправил Погодину, и они появились в его журнале «Москвитянин» в 50-х годах, и в Археографическую комиссию.

Как всё-таки причудливо порой переплетаются писательские судьбы! Островский, приступая к первой своей пьесе-хронике, использовал архивы Археографической комиссии, где были материалы об эпохе смуты, представленные Мельниковым, и назвал своего героя так, как следовало, по Мельникову, его величать, дал полное его имя своей пьесе – «Козьма Захарьич Минин, Сухорук».

Но это случится в начале 60-х годов, а в начале 50-х Островский, бедствуя и кое-как сводя концы с концами, трудился как раз в «Москвитянине», выполняя большой объем редакционной работы: держал корректуры, правил рукописи, вел переписку с авторами. Вполне вероятно, что через его руки прошла статья Мельникова о Нижнем бурного XVII века, и было брошено зерно будущего замысла, которое прорастет лишь спустя десять лет. В годы студенческой молодости Островский слушал в Московском университете лекции Погодина по истории древней Руси; Мельников ещё раньше, студентом Казанского университета, знал его работы, а через три года после выпуска свёл с ним близкое знакомство уже в Нижнем и в Москве; оба они оказались страстными собирателями и знатоками древних рукописей и старопечатных книг.

А литературные дебюты Островского и Мельникова? В 1850 году в журнале Погодина появился знаменитый «Банкрот» («Свои люди – сочтемся»), принес автору громкую популярность и накликав на его голову самые жестокие гонения, заставившие его надолго замолчать, а спустя два года там же, в «Москвитянине», будет опубликован первый рассказ Андрея Печерского – «Красильниковы» и сразу же выдвинет его в число лучших русских беллетристов и обратит внимание читателей на странное имя автора, которое со временем будет греметь по всей России. Но сам автор вдруг тоже замолчал надолго, не из-за цензурного запрета, как это случилось с Островским, а из чувства неуверенности в себе: круг подписчиков «Москвитянина» был невелик, Мельников (уже Андрей Печерский) и верил и не верил своему успеху.

Нет, что ни говорите, а пути писательские неисповедимы. Здесь тоже право некая высшая сила. Нам не дано предугадать не только, как наше слово отзовется, но и свой же собственный следующий шаг.

Работа, выполненная в короткое время, да еще в связи с высочайшим повелением, исследования о Нижнем Новгороде, о нижегородских древностях, появившиеся в 40-х и 50-х годах в известных журналах, читаемых в столицах и в провинции («Отечественные записки», «Москвитянин», «Русский инвалид»), обратили на скромного учителя истории нижегородской гимназии внимание генерал-губернатора Нижнего Новгорода князя М.А. Урусова. Кому как не ему, этому деятельному молодому человеку, владеющему пером и уже известному литератору, да к тому же с его глубокими познаниями о прошлом и нынешнем состоянии Нижнего Новгорода и Нижегородской губернии, кому, как не этому энергичному человеку можно было бы поручить редактирование неофициальной части «Нижегородских Губернских ведомостей», чтобы поднять их престиж и влияние?

Ему, только ему!

Редактор

Мельников принимает предложение губернатора. Ему за короткое время удастся сделать многое. Достаточно сказать, что это были единственные провинциальные губернские ведомости, которые выходили не один раз в неделю, как обычно, а два раза. В них появилось с легкой руки Мельникова множество исторических, статистических и этнографических сведений, большей частью они были составлены и написаны им самим. На «Отечественные записки» и «Москвитянина» уже не хватало времени, все поглощала новая работа. Нагрузки росли. Появляются дополнительные обязанности, он их не отвергает, а напротив, охотно берется за них. Мельников старается быть на виду и везде успеть. Это трудно, однако для него не невозможно.

Вялая, сухая, бессодержательная газета, наполненная случайными объявлениями и разным вздором вроде рецептов, как сохранять мясо от порчи, солить огурцы, содержать сушеные и каленые орехи (не газета, а пособие кухаркам), быстро преобразилась под рукой нового редактора. Газета-объявление, газета-реклама и газета-сплетня стала выполнять серьезную просветительскую роль. С особенным постоянством, отражая интересы Мельникова, в ней регулярно появлялись разнообразные исторические сведения о Нижнем Новгороде и о губернии, перепечатывались обширные фрагменты из древних актов, разысканных им в архивах, в монастырских хранилищах.

Когда он успевал все это делать? Бог весть. Это был дневной и ночной (чаще всего ночной) труд.

Князь Урусов был энергичен, предприимчив сам и ценил эти качества в других. Мельников с его обширными знаниями Нижнего Новгорода и Нижегородской губернии был ему нужен. Он получал не просто расторопного, деятельного, а главное – умного исполнителя, что в русском государстве всегда было большой редкостью. И он, присмотревшись к редактору «Нижегородских губернских ведомостей», предложил Мельникову новый род деятельности, круто изменивший всю его судьбу.

В 1847 году (за год перед тем он уже оставил гимназию) Мельников был приглашен князем Урусовым на место чиновника по особым поручениям при нижегородском губернаторе. Всё приходилось начинать заново.

Валентина ЧИРИКОВА

Валентина Евгеньевна Чирикова родилась 15/27 февраля 1897 года в г. Минске. Её отец Евгений Николаевич Чириков был в то время уже известным писателем, мать, Валентина Георгиевна Чирикова, будущая актриса Йолшина, делала первые шаги на театральной сцене. В 1914 г. Валентина с золотой медалью окончила в Санкт-Петербурге женскую гимназию Е.И. Песковской, затем поступила в университет на филологический факультет. Когда грянула война, Валентина добровольно записалась на медицинские курсы и после их окончания была направлена на передовую сестрой милосердия.

В феврале 1920 г. Валентина и её старшая сестра Людмила покинули родину. Их вывез из Новороссийска друг семьи художник И.Я. Билибин. Начались скитания по свету: Египет, Болгария, Чехословакия, Франция, Алжир, Югославия, снова Чехословакия... В 1948 г. Валентина Евгеньевна с двумя дочерьми вернулась в СССР.

Главной ее мыслью по возвращении на родину было вернуть русскому читателю имя её отца, писателя Е.Н. Чирикова, произведения которого были запрещены в советские годы. Она участвовала в издании его книг, писала воспоминания.

Валентина Евгеньевна Чирикова скончалась 3 февраля 1988 г. в возрасте 91 года и была похоронена в лесной части Стригинского кладбища Нижнего Новгорода.

Помещенная здесь статья о жизненном и творческом пути ее отца, писателя Евгения Николаевича Чирикова, написана Валентиной Евгеньевной в 1974 г. и публикуется впервые.

К 150-летию со дня рождения Е.Н. Чирикова (1864-1932)

«Я – КАК ЩЕПКА В МОРЕ, В ЭТОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ...»

Когда открываю книгу отца и вижу его портрет, то пытаюсь взглянуть на него глазами современных ему читателей. Они называли писателя Чирикова «певцом юности», «певцом Волги», «певцом души русского народа».

Он много писал о юности, как о весне жизни, о юной любви с её радостями и страданиями, о порывах отдать всю свою жизнь счастью Родины, счастью человечества.

Многие герои Чирикова или живут у Волги, или к ней возвращаются. Волга вызывает в них или светлую радость, или тихую грусть. Радость – когда жизнь впереди и зовет их к благородным свершениям, и грусть – когда молодость позади, мечты отошли в прошлое или побеждены окружающей пошлостью, и стареющие люди, проезжая на пароходе мимо знакомых с юности берегов, беседуют со своей душой.

Певец юности, певец Волги... Этим не исчерпывается творчество Чирикова. Это – только лирическая и поэтическая его сторона. Но лирика идет от самого автора, она – его автопортрет.

Вот он смотрит с бесконечной любовью на Волгу. Взгляд его уходит за горизонт и обнимает этой любовью всю Родину. А Родина – это и природа,

и старина, как связь с прошлым, и люди – ближние и дальние. В его взгляде на ближних – задушевность и шутливая улыбка. К дальним направлена его вера в силу и талант русского народа.

В его описаниях природы – левитановская воздушность и мечтательность, недаром Левитан был его любимым художником, а места около Плеса и Васильсурска были и для Чирикова, как он говорил, «мои места»: «Сады по откосам приволжских гор наводят на мысли о красоте человеческого творчества, о том, что без фантазии невозможно показать правду жизни». И – «если срубить лес, то останутся одни дрова».

Но не меньше Чириков хорошо знал и любил кипучую жизнь трудовых волгарей и очень почитал художника Репина, все творчество которого было ему очень близко своим революционным демократизмом. Сближали их также общие черты характера: искренность, правдолюбие, юмор. Однажды мой брат Евгений получил от краеведа из Плеса письмо с вопросом: соответствует ли действительности сообщение одного старожила Кинешмы, что Чириков вел трудовую жизнь волгара и был капитаном. Эта фантазия была создана читателем Чирикова, но она весьма показательна.

Произведения Чирикова во многом автобиографичны. Один из сборников рассказов так и называется: «Цветы воспоминаний». Автобиографичен и даже документален рассказ «Судьба», где описаны студенческие волнения в Казани, сходки, уличный бой, арест. Автобиографичен роман-тетралогия «Жизнь Тарханова». В этом признается сам автор в дарственной надписи Леониду Андрееву: «Другу Леониду от одного из героев».

Чириков не был создателем нового направления в литературе. Он был приемником предшествующих писателей: Щедрина, Лескова, Островского... Он вошел в плеяду современных ему писателей критического реализма, включавшую Чехова, Вересаева, Бунина, Куприна, Андреева, Се-рафимовича, Найденова... В 1968 году газета «Неделя», публикуя письмо Горького к Чирикову, писала: «Большой популярностью пользовались произведения Евгения Николаевича Чирикова. Романы, повести, рассказы писателя привлекали внимание всей читающей России, его пьесы шли на сценах лучших театров». На то, что Чириков занимал значительное место в общественной и литературной жизни, указывает его тесная связь со всеми выдающимися современниками.

Чириков не стал писателем социалистического реализма, но Горький называл его одним из лучших беллетристов и привлекал к участию во многих своих замыслах.

Петр Пильский писал: «Литературную деятельность Чирикова не вычеркнешь из истории русского общества и литературы. Чириков занимает определенное место в художественном отображении русской жизни предреволюционного периода, мыслей и чувств, волновавших тогда интеллигенцию» и далее: «Приближаясь больше всего к Чехову по своей тональности, Чириков сохранил свою творческую индивидуальность. Требование уважения к человеку, внимания к его положению и переживаниям, осуждение жестокости, борьба чистоты с грязью, правды с ложью, живого духа с тленом, ангела с дьяволом – индивидуальные мотивы его творчества».

Чирикова читали больше Куприна и Бунина. Об этом при мне говорил представитель Московского книгоиздательства, предлагавший отцу повторные издания. Это свидетельствует о том, насколько он нужен был современному ему читателю и как велики были его влияние и роль в борьбе с социальной несправедливостью на огромных просторах русской провинции.

Насколько Евгений Николаевич был внимателен ко всем людям, чувствуется по его произведениям. А те, кто встречался с ним в годы его юности, знали его как темпераментного оратора и зажигательного запевалу студенческого хора. Он перекрывал всех своим баритональным тенором и в конце концов сорвал голос. На собраниях знали его как увлекающегося спорщика. На литературных встречах и дружеских вечеринках многие испытывали на себе его меткий юмор и шутливую иронию. Стремление к правде иной раз превращало его в обличителя, в результате он наживал врагов.

Сам же он больше всего ценил в людях искренность и внутреннюю честность. Для него самого неискренность была просто неестественна. Он мог обманывать только шпииков и жандармов. Бабушка очень смеялась над тем, как отец продавал пьянолу. Нужно было только вертеть ручку, и пьянола играла музыкальные произведения. Когда пришедший по объявлению покупатель был готов купить инструмент, отец начал его отговаривать: «Если хотите – покупайте, но я не советую: она скоро вам так надоеет, как и мне надоела». Купил пьянолу в конце концов трактирщик.

Евгений Николаевич умел любить и уважать человека любого сословия и национальности. На реке Кудьме любимыми спутниками отца были деревенские охотники и рыболовы. Не только он с ними, но и они с отцом чувствовали себя на одной ноге. Когда в 1910 году крестьяне жгли дачи, они не тронули дачу Чирикова.

Евгений Николаевич ценил и уважал женщину. Во многих произведениях его героиня – наследница «тургеневской женщины». Часто она оказывается сильнее мужчин. А в повестях «Именинница» и «Марька из Ям» такими же сильными показаны женщины из народа. Этот мотив еще сильнее звучит в «Волжских сказках», где он говорит о русской женщине, «такой прекрасной в красоте духа своего, такой верной своей правде и такой сильной в своем подвиге». В «Монастырском сказании» и в сказке-мистерии «Красота ненаглядная» образ женщины уже приближается к иконе и стиль старинного сказа связывается с древним иконописным изображением.

Отношения между Евгением Николаевичем и его женой, Валентиной Георгиевной, были необыкновенно светлы и устойчивы. Валентина Георгиевна в трудные годы после Октябрьской революции и в годы эмиграции показала себя мужественной женщиной, никогда не высказывала сожаления об утраченных благах жизни и всего имущества. В 20-м году, оставшись в Крыму совершенно одна со своей больной матерью – моей бабушкой – на руках, она чуть не утонула в горном потоке во время одного из своих походов по татарским селам в поисках пищи на обмен.

К нам, своим детям, Евгений Николаевич относился так, что мы научились дорожить своим достоинством. Единственный раз, и нужно сказать – последний, отец позволил себе шлепнуть мою сестру за то, что она разрисовала нужный ему документ. Когда сестра сказала ему: «Ты про хорошее в книгах пишешь, а на самом деле дерешься», он даже растерялся, а потом, рассказывая об этом, смеялся.

Отец никогда ничего не запрещал, он только говорил: «Вот эту книгу не советую тебе читать. Знаешь, всё тебе таким плохим покажется, испортится настроение». И этого было достаточно: нам даже не приходило в голову заглянуть в эту книгу...

Всю жизнь Евгений Николаевич помогал своей матери Феокисте Степановне и сестре Варваре до её замужества. А мать и бабушка Валентины Георгиевны жили в семье Чириковых до самой смерти. Имея своих пятерых детей, отец два раза был готов принять в свою семью несчастного

ребенка. Моя мать на это не соглашалась, но не отказывала в материальной помощи. Дочери прачки Серафиме Хазиной отец нанял репетитора, который подготовил её для поступления в гимназию, и потом помогал ей в учении, посылал деньги в Казань на жизнь, пока она училась, брал к нам гостей на летние каникулы. Потом она окончила бухгалтерские курсы и стала зарабатывать сама.

В другой раз, побывав на судебном процессе, на котором выяснилось, кто убил слепого старика-нищего, отец привез к себе мальчика-поводыря и предложил его нам в братья. Мать воспротивилась, искренне соизволив, что она не сможет его любить как своего ребенка и он будет это чувствовать. Тогда отец устроил мальчика в благотворительное учреждение.

Евгений Николаевич понимал и ценил молодежь. Он дружил с молодыми Рождественскими Геннадием и Виктором – детьми известного присяжного поверенного в Нижнем Новгороде. Два московских студента гостили у нас на Кудьме. Они были не нашими, а папиными товарищами. Один из них как-то писал в письме: «В вашей семье царят свобода, равенство и братство». И это касалось всех взрослых большой семьи Чириковых и Григорьевых.

В маленькой квартире моей бабушки по материнской линии Анны Михайловны Григорьевой на Больничной улице в 1889 году поселился высланный в Нижний её сын Михаил и его товарищ по Казанскому реальному училищу и Федосеевскому кружку Лалаянц.

В 1891 году в её квартире уже на Островской улице Михаил Григорьев организовал первый в Нижнем Новгороде марксистский кружок.

Чириков никогда не отказывался от участия в благотворительных вечерах и культурных мероприятиях, состоял членом Литературного фонда и оказывал всякого рода помощь нуждавшимся собратьям по перу, прочитывал много рукописей начинающих любителей, много исповедей от неудачников и писем от несчастных женщин. И всех их он старался как-то поддержать.

При такой большой семье, отзывчивости, активной общественной работе у Чирикова не было возможности критически отрабатывать свои рукописи. Он писал много и быстро, а издатели, пользуясь его популярностью, брали все, что он ни напишет. Отсюда неравномерная художественная ценность его произведений. В иных излишняя растянутость, незначительность содержания. Современному читателю местами мешает сентиментальность, теперь устаревшая. Если бы Чирикова не печатал вещей незначительных по содержанию, удельный вес его произведений был бы значительно больше.

После общей характеристики Евгения Николаевича пройду по канве его жизни и творчества.

Чириков родился 24 июля 1864 года в Казани. Его отец, веселый и легкомысленный подпоручик, отказался от своей части земельного наследства в Симбирской губернии и взял свою долю деньгами. Вскоре он вышел в отставку и женился на дочери чиновника Феоктисте Степановне. Жили они в Казани широко и богато. Пока отец развлекался, мать проводила время за роялем или читала до самозабвения. К тому времени, когда у них было пять человек детей, всё из наследственных денег оказалось прожито. Николаю Андреевичу Чирикову пришлось взять место помощника исправника. Служба заставляла его часто менять место жительства. «До десятилетнего возраста, – пишет Евгений Николаевич в своих воспоминаниях, – я прожил частью в селах, частью в маленьких городах Казанской и

Симбирской губерний на Волге. ...Нашим первоначальным воспитателем и педагогом были не специалисты этого дела, а матушка-Волга, улица, общение с детворой всех классов и сословий».

Когда дети подросли, Феоктиста Степановна переселилась с ними в Казань, а отец остался служить в провинции. Очень скоро он привык к холостой жизни и перестал помогать семье. Мать, как описывает Чириков в рассказе «Сказка», со стойкостью переносит семейную катастрофу и бьется изо всех сил, взвалив себе на плечи заботы отца. Она «служит тапершей в маленьком клубе... играет с вечера до рассвета польки, вальсы, кадрили». Феоктиста Степановна была мягкой и одновременно мужественной женщиной. Много лет спустя она просит Евгения помочь одинокому старику: «Ведь все-таки, несмотря ни на что, он – твой отец, ведь все-таки жалко его».

Мой отец никогда не говорил о нашем дедушке ни плохого, ни хорошего. Только однажды он рассказал при нас о своем прощании с отцом перед его смертью и как тот сказал ему: «Простишь ли ты мне мою бестолковую жизнь?»

О своих гимназических годах Чириков писал: «Уже в пятом классе гимназии мы все были народниками, а в старших классах мы уже имели связи со студенческими тайными кружками и иногда были у революции «на побегушках»».

В студенческие годы Чирикову приходилось поддерживать семью. Он давал уроки, переписывал лекции. Все жили впроголодь.

В 1886 году казанская газета «Волжский вестник» напечатала рассказ студента Чирикова «Рыжий» о нищем ребенке. Это был его первый опыт в прозе, и дату его опубликования Чириков отныне считал началом своей литературной деятельности.

В 1887 году, когда Чириков перешел на четвертый курс физико-математического факультета Казанского университета, Федосеев был исключен из последнего класса гимназии за политическую неблагонадежность. Вместо кружка 1886 года, целью которого было самообразование, он организовал тайный марксистский кружок. Чириков поддерживал связь с кружком Федосеева. Посещал он и лавку Деренкова, где хранилась библиотека запрещенной литературы и по вечерам собирались студенты для обсуждения книг и событий. Этот студенческий клуб посещали и развитые рабочие.

В Казани стало известно о волнениях в Московском университете, закончившихся репрессиями со стороны правительства. Заволновалось и казанское студенчество. 3 декабря 1887 года состоялась тайная сходка представителей от землячеств. Они составили петицию на имя ректора для передачи правительству требований студенчества. В этом участвовал и Чириков. Петиция выражала протест против циркуляра министра народного просвещения Делянова, провозгласившего, что университеты – не для «кухаркиных детей», и протест против нового университетского устава, который сделал из профессоров шпионствующую инспекцию. Бурный день общей сходки и подачи петиции 4 декабря 1887 г. сопровождался репрессиями со стороны полиции и жандармов и даже уличными боями.

В книге Волина «Студент Владимир Ульянов» (изд. 1959 г.) приведена выдержка из воспоминаний Чирикова об этом событии. Там же напечатана фотокопия списка студентов, исключенных из Казанского университета, в котором Чириков значится третьим среди главных зачинщиков беспорядков и самых опасных по своему влиянию на других студентов.

Чириков был арестован, а затем сослан в Нижний Новгород под надзор полиции. «В Нижнем Новгороде этого времени, – вспоминает он, –

обосновались не имевшие права жительства в столицах и университетских городах писатели: Анненский, недавно вернувшийся из Сибири Короленко, Каронин, Елпатьевский, критик Богданович, журналист Дробышевский». Принятый семьей Каронина, Чириков быстро перезнакомился со всеми писателями и местными общественными деятелями. «Волжский вестник» предложил ему через Каронина продолжать сотрудничество. Но через неделю, 18 января, ночью – вдруг обыск в квартире Каронина и арест Чирикова. Он был посажен в башню № 2 Нижегородского острога по обвинению в сочинительстве сатирической оды Александру III, которую читал на собрании народнической интеллигенции. В тюрьме Чирикову было разрешено писать и читать книги, и он перечитал многих отечественных и иностранных классиков. Следствию не удалось установить авторства оды, и после двух с половиной месяцев тюремного заключения Чирикову дали три года ссылки. Сначала была назначена киргизская степь, потом её заменили городом Царицыном. Там он сделался смотрителем станции паровозно-нефтяного и керосинового товарищества «Нобель». В Царицыне Чириков познакомился с Горьким. Вспоминая это время, он писал: «Будущий Максим Горький, а тогда Алеша Пешков, служил весовщиком на железной дороге. Парень был и тогда занятый... сверкал неожиданно в своих суждениях и особенно в образном и красочном языке. Всё собирався идти на поклон к Льву Толстому».

Вскоре Чириков получил разрешение оканчивать ссылку в Астрахани. Там только что открылась «Астраханская газета» прогрессивного направления, и Чириков стал одним из членов редакции и постоянным сотрудником.

В то время в Астрахани жил на поселении писатель Чернышевский, недавно вернувшийся с сибирской каторги. Когда Чириков отрекомендовался, Чернышевский спросил его, не он ли автор рассказа, как мужик возил в город свинью продавать. «Только недавно хохотал, читая его в книжке «Недели»». И, узнав, что перед ним молодой его автор, похвалил: «Хорошо. Хорошо. Лучше начать со свиньи и кончить человеком, чем наоборот».

Чириков заговорил с Чернышевским о том, что так волновало молодёжь: что делать, чтобы помочь народу. Смысл ответа Чернышевского был такой: у всякого свои планы и способы этой помощи, но не всякая помощь пригодна и особенно та, в которой меньше всего нуждается народ. Этот свой ответ Николай Гаврилович выразил в форме примера из своей жизни. Однажды он захотел помочь дворнику внести вязанку дров на пятый этаж. Когда вязанка рассыпалась, мужик вместо благодарности обрушился на своего помощника с бранью: «Да черт мне с твоей жалости! Не смыслишь в этом деле, так нечего соваться». И Николай Гаврилович сделал строгий вывод: «Учиться, учиться надо, тогда и самому ясно будет, что делать».

В 1890 году Чириков был снова арестован в связи с процессом молодых народовольцев, отдан на поруки матери, а затем посажен в Казанскую тюрьму, где провёл 4 месяца.

В 1892 году он женился на Валентине Георгиевне, сестре Михаила Георгиевича Григорьева. За год перед этим она вернулась в Казань оканчивать гимназию, из которой была исключена за связь с «федосеевцами» и была вынуждена уехать с матерью в Нижний Новгород, куда был выслан брат Михаил.

В Нижнем Валентина Георгиевна посещала гимназию, и её лучшей подругой того времени была Надя Нелидова (в будущем жена наркома здравоохранения Семашко). Когда она вернулась в Казань, в Нижний с её рекомендацией в марксистский кружок Михаила Григорьева приезжал

студент Йолшин. Впоследствии Валентина Георгиевна взяла фамилию Йолшина как свой сценический псевдоним.

С 1893 по 1894 гг. Чириков работает счетоводом Общества Московско-Казанской железной дороги, с чем связаны многочисленные разъезды. Семья устроена в Алатыре. В архиве у меня есть адресованные Чирикову на Алатырь две визитные карточки Короленко, написанные им от руки.

Осенью 1893 г. после смерти первого ребенка Зои Валентина Георгиевна выезжает за матерью в Казань, и они едут в Нижний навестить Михаила Георгиевича. Оттуда она пишет Евгению Николаевичу: «Нас, оказывается, ждал весь Нижний... Павел Николаевич Скворцов был у нас в гостях. Мицкевич уехал еще до меня в Москву сдавать государственный экзамен. Была в «Волгаре» (нижегородская газета. – В.Ч.). Очень рады, если ты будешь корреспондировать. Познакомилась с Дробышевским. Он меня очень приглашал к себе... Иду на днях к жандармскому полковнику хлопотать за Михаила. Он занимается с двумя мальчиками в семье Ворониных и там же столуется. Он очень бы желал повидаться с тобой. Мы все так тебя любим, с такой любовью говорим о тебе».

Вскоре Чириковы переехали в Самару, полагая, не без содействия Короленко, который переписывался с редактором «Самарской газеты» и хотел, чтобы эта газета стала печатным органом Поволжья. В 1894 году Чириков уже сотрудник и член редакции «Самарской газеты». Михаил Георгиевич уже в следующем году приезжает и поселяется в одной квартире с Чириковыми.

Григорьев становится редактором первой марксистской газеты «Самарский вестник», организует в Самаре рабочий марксистский кружок. В «Самарском вестнике» сотрудничает и Чириков. Это было время наибольшего идейного сближения между ними; Чириков отошел от народничества и сблизился с социал-демократами. Но практическим политиком в революционном движении Чириков никогда не был и не стал. Признав идейную программную инвалидность народничества, он до конца своей жизни был проникнут его духом и видел в крестьянине, а не в рабочем воплощение народной души и её ценности. «И хотя, – как он говорил впоследствии, – мужик не оправдал надежд социологов-марксистов... всё, что есть прекрасного в русской литературе и в русском искусстве, – все пришло от народа, от народной души, из родной национальной стихии».

В Самаре завязалась на многие годы дружба Чирикова с Горьким. Встречался Чириков и с детской писательницей Бостром – матерью будущего писателя Алексея Толстого.

Чириковы вошли в круг друзей Якова Львовича Тейтеля (1851–1939) – единственного еврея, занимавшего в царской России должность судебного следователя. Запросто приходили к Тейтелю писатели Горький и Скиталец (Степан Гаврилович Петров (1869–1941), которого Тейтель вызволил из деревни, устроил в Самаре и, как говорится, вывел в люди. Скиталец женился на Елизавете – сестре моей тети, жены Александра Георгиевича Григорьева. На вечерах у Тейтеля, как он называл, «ассамблеях», бывали люди всевозможных взглядов: общественные деятели, политические ссыльные... Бывал у Тейтеля и Ленин, тогда помощник присяжного поверенного и земского деятеля Хардина. «Ленин, – рассказывал Тейтель, – тогда еще совсем юный, любил прислушиваться к спорящим».

Объединяющим центром на «ассамблеях» был председатель Самарского окружного суда Владимир Иванович Анненков, сын декабриста, родившийся в сибирской ссылке. Позднее душой собрания у Тейтеля стал писатель Гарин-Михайловский. Дружба между Чириковыми и супругами

Тейтель поддерживалась все последующие годы. Приезжая в Петербург, Тейтели останавливались у Чириковых. Во время Октябрьской революции супруги Тейтель были в Киеве, оттуда уехали в Англию. Вскоре после папиной смерти, в 1932 году Тейтель неожиданно появился у нас в Праге. Он уже потерял жену и был такой беспомощный, что нуждался в сопровождении. Он с любовью вспоминал и Горького, и Чирикова. На память он подарил моей маме книгу со своим автографом.

В Самаре Чириков получил предложение сотрудничать в большом народническом журнале «Русское богатство». Он очень обрадовался этому и воспринял приглашение как утверждение его в профессии писателя. Но вскоре случилась катастрофа. После статьи редактора Ашешова на смерть Александра III весь коллектив ушел из «Самарской газеты». Чириков остался без заработка, журнальные гонорары не постоянны. У Чирикова же, кроме своей семьи – заботы о матери, сестре и братьях... Среди поклонников хлестких чириковских фельетонов оказался главный контролер Самаро-Златоустовской железной дороги Григорович. Он и предложил Чирикову место своего секретаря, согласился взять его по вольному найму с условием, что Евгений Николаевич будет продолжать литературную деятельность. С переводом Григоровича в Минск пришлось вскоре перевестись туда и Чирикову. Контролер поспешил заочно зачислить его на государственную службу своим помощником, а затем втайне от Чирикова представил его к награде. Неожиданно для себя Чириков стал кавалером ордена Святого Станислава III степени.

Позднее, в 1903 г. на даче Малиновского на Моховых горах у Пешковых Шаляпин и Горький вспомнили это и устроили шуточную расправу над «социалистом его величества». Это было запечатлено на фотографии Янины Берсон, где Шаляпин старается распилить Чирикова, а Горький – растерзать ножом и вилкой.

С 1895 года Чириковы живут в Минске. Там у них родились дети Людмила, Евгений и я – Валентина. Чириков писал об этом периоде: «Пять лет жизни в Минске в личине чиновника и жителя черты еврейской оседлости обогатили меня запасом впечатлений и наблюдений над жизнью и бытом чиновничества и евреев, отразились в творчестве соответствующих рассказов и пьесы».

В минский период Чириков закрепляется в большой литературе. Его печатают в журналах «Жизнь» – органе, близком к марксизму, в беллетристическом отделе которого участвуют Чехов и Горький, и в народническом журнале «Новое слово», а в ближайшие годы и в «Журнале для всех» и в «Мире божьем».

В Минске Чириков переписывался с Чеховым и Горьким, встречался с Лесей Украинкой, семейно встречался и дружил с братьями Метлиными – нижегородскими «культуртрегерами». Потом они не раз гостили у Чириковых в Петербурге.

В 1901 году Чириков с радостью вышел в отставку и вернулся к своей любимой Волге. Поселился в Ярославле. Здесь у Чириковых родился сын Георгий. Для материальной базы взял работу в транспортно-пароходной компании «Надежда», связанную с частыми разъездами. Бывает он и в Нижнем, навещает Горького в Арзамасе, сотрудничает с «Нижегородским листком».

Чириков теснее сближается с Горьким, Андреевым и Шаляпиным. После закрытия журнала «Жизнь» Горький пишет Чирикову: «Ты, Андреев, я и Поссе – мы четвером могли бы здоровенный журнальчик создать». А в 1902 году они встречаются в Москве на чтении Горьким пьес «На дне» в

литературно-художественном кружке. Присутствует вся труппа Художественного театра. И в тот же день ими подписывается приветственная телеграмма Льву Толстому к 50-летию его литературной деятельности.

С осени 1902 года Чириковы уже живут в Нижнем. Семейно дружат с Пешковыми, часто встречаются с архитектором Малиновским, врачами Елпатьевским и Золотницким. У Горького происходят интересные встречи Чирикова с Шаляпиным, и все они трое иной раз весело отдыхают у Пешковых и Малиновских на Моховых горах.

В декабре 1902 г. Валентина Георгиевна читает стихи на благотворительном вечере, а в 1903 году участвует в спектаклях в пользу постройки Народного дома. О Народном доме Горький писал: «Мы его не хотим сдавать Басманову и думаем образовать паевую компанию, составить труппу и – ставить пьесы. Мы – это я, Чириков, Малиновские, Михельсон, Нейгарт».

Вся наша семья радовалась, когда приезжал писатель Горький со своей женой и сыном Максом. Макс был очень самостоятельный и придумывал интересные приключения в нашем запущенном, заросшем садике в доме на Телячьей улице.

Однажды мы все убежали на улицу, и Макс повез нас кататься на извозчике. По дороге нам захотелось семечек. Макс повел нас в лавку и купил большой кулек семечек. Подъезжая к дому, мы уже трусили, что нам достанется. И действительно, у крыльца дома нас встретили сердитые родители и взволнованная прислуга. Когда же они увидели большой кулек семечек, все стали смеяться.

Самая красивая елка бывала у Макса. Екатерина Павловна заботливо окружала каждого маленького гостя атмосферой уюта и ласки. После созерцания всех сказочных чудес на елке и веселой беготни тетя Катя уводила нас по одному в другую комнату, где были разложены игрушки, большие цветастые коробки, и предлагала нам каждому выбрать себе подарок.

В 1903 году Горький привлекает Чирикова в издательство «Знание», которое он делает объединением демократических писателей. В дальнейшем «Знание» выпустило 8 отдельных томов его сочинений. Первые сборники издательства были составлены из произведений писателей – членов литературного кружка – «Среды» Телешова. В него входили Бунин, Куприн, Вересаев, Андреев, Найденов, Горький, Скиталец, Чириков, Юшкевич, Серафимович. Почетными гостями на «Телешовских средах» были Шаляпин и Рахманинов, художники Васнецов и Левитан и писатели старшего поколения – Чехов, Короленко, Мамин-Сибиряк.

В конце 1904 года Чириковы переезжают в Москву. Валентина Георгиевна учится в драматической филармонии. Художественный театр ставит «Ивана Мироныча». Чириков бывает на репетициях. У него завязывается дружба с Книппер, Качаловым, Москвиным. Но литературные интересы отодвигаются событиями неудачной Японской войны. Атмосфера недовольства нагнетается, народ измучен, рабочие волнуются. Хотя Чирикову никогда не приходилось работать и жить в контакте с рабочими, отчего в его произведениях и нет героев-рабочих, он страстно встает на их защиту. Он совершенно потрясен кровавым воскресеньем 9 января.

21-го января 1905 г. он пишет Льву Толстому:

Лев Николаевич!

В газетах опубликована Ваша беседа с английским корреспондентом. На варварское избиение безоружных рабочих, идущих к своему царю

с крестами и хоругвями, чтобы заявить о своих нуждах, Вы нашли нужным снова сказать «не противьтесь» и высказали свою уверенность, что никакой свободы рабочим не надо, а следует заниматься самоусовершенствованием... Какая глубокая пропасть между сытым и голодным! Простите за прямоту: Вы оказались только барином... Вам непонятно, зачем голодный кричит о хлебе и зачем арестант хочет выйти на свободу... Вы всегда были на воле и на барских хлебах, и Вам ничего не оставалось делать кроме самоусовершенствования... Добрый барин!

Если бы Вас приковали к тачке подневольного труда, если бы Вас подольше поддержали в тюрьме, если бы нагайка самодержавия в разных видах и формах гуляла по Вашей барской спине, если бы Вы могли почувствовать весь позор, весь гнет борьбы за кусок хлеба и всю тяготу бесправия, произвола и издевательств сильного над слабым, тогда бы Вы, добрый граф, заговорили другим языком... Самоусовершенствоваться очень удобно в Ясной Поляне, с громким именем Льва Толстого, которого «не трогают» даже в тех случаях, когда обыкновенных людей вешают и сносят в тюрьмах...

Евгений Чириков

Мужицкие погромы пятого года, показавшие конец мужицкому долготерпению, сосредотачивают на себе внимание Чирикова. Он едет корреспондентом на полтора месяца в Черниговскую губернию на процесс по разгрому Терещенских владений, читает следственные материалы. Его статья об этом процессе опубликована в прессе. Пьеса «Мужики» написана под впечатлением от этого процесса.

О текущих событиях Евгений Николаевич пишет жене в Швейцарию: «Всюду разоблачается заговор реакционеров и охранного отделения, которые намеревались избиением евреев и интеллигенции показать, что Россия не хочет свободы... Целый ряд губернаторов, председателей дворянства около министерства иностранных дел, высшее духовенство – все это соединилось со шпионами, провокаторами, хулиганами и всякой сволочью... Вся злоба черной сотни направлена на студентов и рабочих. Громят евреев... Сами черносотенцы – пустяки, дрянь, но с полицией и кулаками – это, конечно, – сила страшная и злобная».

За связь с «Крестьянским союзом» Чирикову пришлось посидеть в тюрьме на Таганке. После выхода из тюрьмы сыщики вели слежку за Чириковым, и было даже покушение на него. Спас Чирикова революционер еврей Черняк. Он толкнул Чирикова за тумбу, а сам пошел на нападавшего с револьвером. Тот ретировался. С охранкой был связан и швейцар дома, где жили Чириковы. По правилам калоши оставлялись у швейцара. Чтобы усыпить бдительность, Чириков скрылся без калош. Затем он бежал с женой в Петербург. В дни Рождества мы, дети, остались с одной бабушкой, были напуганы обыском, видели из окон пожар на Пресне.

К весне отец и мать сняли дачу в Куоккале (Финляндия). Только тогда бабушка привезла нас к родителям. Наша дача стояла совсем близко от «Пенат» Репина, и Чириковы часто проводили вечера в «Пенатах». Репин даже набросал портрет Чирикова. Он был воспроизведен в журнале «Искусство» (№ 52 за 1906 г.) Когда Чириков был в эмиграции, Репин писал ему в Прагу и послал в подарок свой эскиз к картине «1905 год» и карандашный набросок Волги.

В конце 1906 года Чириковы переезжают в Петербург. Чириков как и прежде совмещает работу беллетриста и драматурга с работой публициста. В 1897 году в журнале «Жизнь» Чириков публиковал обозрения собы-

тий и нравов под названием «Провинциальные картинки». «Провинция... Да ведь это и есть Россия», – говаривал Чириков.

После первой революции его публицистика делается острее, борется с реакцией. Он пишет: «Быть может, мы топчемся, но назад все-таки не пойдем. Мы можем ждать только другой команды: «Вперед!»».

В период реакции Чириков с утра бросается с азартом читать вышедшую прессу. Все разговоры ведутся о последних событиях. Атмосфера так ими насыщена, что даже мы, дети, включились в текущую жизнь и играем в редакции враждующих газет.

Читатели стали забрасывать Чирикова письмами о своих местных провинциальных конфликтах, сообщали факты произвола властей, антигражданских и нечестных поступках со стороны лиц, занимающих руководящие посты. Из них Чириков уделял внимание наиболее значительному, отбирал наиболее типичные факты. В провинции даже пользовались именем Чирикова, как угрозой: «Вот сообщим Чирикову, он вам пропишет!»

Таким образом, Чириков стал пионером гражданской связи писателя с другими гражданами, обнародования темных дел и постановки возникающих в связи с этим вопросов на общественный суд.

В Петербурге Валентина Георгиевна вошла в труппу Нового драматического театра, где главные роли исполняла Комиссаржевская, а режиссером был Мейерхольд. Однако уже в 1908 году Комиссаржевская порывает с Мейерхольдом, не разделяя его стремлений к театру условному и говоря, что это есть театр кукол. Помню, как мать жаловалась на то, что Мейерхольд заставляет актеров быть настоящими акробатами. После Мейерхольда режиссером стал Санин. Он поставил пьесы Андреева «Анфиса» и «Анатэма». В «Анатэме» Валентина Георгиевна (Йолшина) исполняла роль Розы. В Новом театре в постановке Каркова шла «Белая Ворона» Чирикова. В сезоне 1908–1909 гг. Александринский театр ставил пьесу Чирикова «Марья Ивановна». В ней играли Савина и Ходотов.

Чириковы посещали вечера у Ходотова, на которые собирались служители всех искусств. Авторы читали свои новые произведения, выступали артисты и певцы, обменивались мнениями, блистали экспромтами. Эти вечера подходили на банкеты, были интересны и веселы.

Что касается Нижегородского театра, то в каждом сезоне с 1902 по 1911 г. там ставились по две-три пьесы Чирикова. В сезоне 1918–1919 гг. шла его пьеса «Дом Кочергиных», запрещенная к постановке в дореволюционное время.

Умение рассказывать часто встречается в среде писателей. Это, несомненно, признак артистического дарования. Чириков был хорошим рассказчиком и оказался незаурядным актером. Ходотов поставил в Новом театре «Ревизора» в исполнении писателей. Писательская постановка «Ревизора» в первый раз была осуществлена в 1860 году. Тогда Писемский играл Городничего, Достоевский – Почтмейстера, купцов играли Тургенев, Некрасов, Майков, Григорович, Кони.

В постановке Ходотова только Ревизора играл артист Озаровский. Остальные роли исполняли: Городничего – Фалеев, Землянику – Баранцевич, Ляпкина-Тяпкина – Найденов, Почтмейстера – Серафимович, купца Абдулина – Чириков, прочих купцов – Юшкевич, Гусев-Оренбургский, Скиталец. Жандарма играл Рославлев, дочку Городничего – Щепкина-Куперник, гостей – Андреев, Куприн, Блок, Ремизов, Сологуб, Бунин, Немирович-Данченко.

В постановке Яворской пьесы Горького «На дне» Чириков играл Луку, придав образу этого примиряющего утешителя хитрицы и практической

мудрости. О постановке Яворской пьесы «Плода просвещения» в пользу революционных организаций, в которой участвовали писатели, газеты писали: «Очень хорошо играл Чириков мужичка, который приехал к барину с жалобой: курёнка выпустить негде». Куприн играл повара. Репетиции проходили в большом зале нашей петербургской квартиры. Не раз устраивались здесь и благотворительные литературно-музыкальные вечера.

В 1910 году, в день чествования Чехова, писатели поставили миниатюру Саладина по чеховской «Ведьме». О Чирикове были следующие отзывы в газетах: «Чириков выказал недюженный комический талант в роли дьячка...», «Поразил всех Чириков в миниатюре «Ведьма», показав превосходно отделанный тип дьячка: положительно в Чирикове живет актер».

В период между 1907 и 1910 годами происходит разрыв Чирикова с изданием «Знание». Вместе с Куприным, Андреевым, Буниным он уходит из этого издательства. Горький осуждает их отход от героической действительности в область выдумок, обвиняет их в том, что они перестали видеть задачи момента. Чириков пишет несколько произведений-аллегорий в духе Эдгара По, которые Горький резко критикует. Поняв, что такое творчество по существу ему несвойственно, Чириков погружается в изучение русского фольклора, и фольклор делается для него источником нового вдохновения. Он пишет «Волжские сказки», легенды, монастырские сказания, драмы-сказки.

«Колдунья» ставилась в Киеве режиссером Морджановым. В 1908 году гастрольные постановки «Колдуньи» с участием Валентины Георгиевны в главной роли прошли с большим успехом в Харькове, Саратове, Ростове-на-Дону.

В эти годы Чириковы сближаются с художником Билибиным. Обоих объединяет любовь к русской старине и русскому фольклору. Билибин стремился взять на себя художественное оформление «Колдуньи» и был очень огорчен, что это не вышло из-за сроков. Но он подарил Валентине Георгиевне старинный сарафан, кичку и серьги из своей этнографической коллекции.

Затем Чириков возвращается к своим прежним темам, к своей молодости и пишет роман «Жизнь Тарханова». В нем он описывает жизнь политических ссыльных, столкновения народников с марксистами и более остро, чем раньше, ставит большой вопрос того времени – о расхождении интеллигенции с народом.

Чириковский дом на Петербургской стороне чаще других посещали Малченко, Щепкина-Куперник, Найденовы, сын Елпатьевского Владимир Сергеевич, Иорданские, артист Самойлов. Бывали режиссеры Мейерхольд и Санин, Демьян Бедный и Бонч-Бруевич, художники Билибин и наездами – Куликов и Гринман, подарившие Чириковым их портреты своей работы. В доме Чириковых была особая теплая аура, которая хорошо чувствуется в стихотворении Щепкиной-Куперник «Чириковскому дому»:

На Петербургской стороне
Есть дом приятный и уютный.
В нем отдохнуть приятно мне
От Петербургской жизни смутной.
В нем слышен спор, в нем звонок смех.
Семьею дружной созывая,
Он соединить умеет всех .

Пусть, ум с весельем сочетая,
Сходиться чаще будут в нем,
И пусть Мадонна пресвятая
Хранит прелестный этот дом.

Милым хозяевам 18 января 1907 г.

Однажды утром, в 1908 году, к отцу в кабинет прошел неловкий, тяжеловатый паренек с прямыми длинными волосами. Под локтем у него торчала толстая тетрадь. Вид у него был такой необычный, что мы с сестрой переглянулись. Когда паренек скрылся за дверью кабинета, сестра шепнула:

– Настоящий недоросль!

– Что ты! Это – деревенский самородок! – поправила я.

На другой день отец, выйдя из кабинета с толстой тетрадью вчерашнего «недоросля», взволнованно ходил и бросал фразы: «Замечательно написаны эти сказки... Если это не обработка материнских произведений, то ... Да ведь это рождение большого таланта».

Автором тетради был Алексей Толстой.

Вскоре моя мать получила от него следующее письмо:

Глубокоуважаемая Валентина Георгиевна!

Очень признателен Вам за хлопоты о моей книге, но, право, я так буду рад, если осуществится издание. Если по объему книга кажется малой, то летом я добавлю сказок 10 или 15, но сдаётся мне, что очень большой такую книгу выпускать не следует.

*Жму Вашу руку.
гр. А. Толстой.*

Привет Евгению Николаевичу

Такое же впечатление необычайного явления произвел на меня Горький, когда он, вернувшись из Италии, в 1913 году посетил моего отца. Его высокая угловатая фигура, скульптурная выразительность лица и жестов, образная речь говорили о своеобразии этого человека. Горький рассказывал об Италии. Это был то монолог, то импровизация, живописная и поэтическая. В его голосе звучала влюбленность в эту страну. Он рассказывал о её красоте, пропитанности солнцем, о легкости мироощущения, экспансивной жизнерадостности итальянцев, о контрасте с нашей родиной, в то время смутной и хмурой.

«В Италии все поет, – говорил Горький, – там люди трудятся и поют. Поют о счастье жить. Поет лодочник, поет грузчик, поет рабочий... Посмотришь на иного итальянца – худ, едва прикрыт лохмотьями, а улыбается и поет.»

Лето 1909 года Чириковы проводили в Финляндии на Черной речке (теперь Серово). Снимали дачу на её берегу, как раз напротив дачи Леонида Андреева. Переправлялись друг к другу на лодке. В один из этих дней приехал кинооператор Дранков и заснял их обоих. Один экземпляр этого фильма он подарил Андрееву. Этот фильм был увезен женой Андреева в Америку и, наконец, сын Андреева Вадим привез его из Франции в Москву. В 1964 году, накануне столетия со дня рождения Чирикова московские писатели смотрели этот фильм на экране.

У Андреева и Чирикова кроме общих литературных интересов было и общее «хобби» – увлечение фотографией. Оба они также любили охоту.

Отец мог предаваться этому увлечению только летом. Но иногда они с Андреевым ездили в Гатчину к Куприну на зимнюю охоту. Андреев кроме того увлекался плаванием на лодке в открытом море, воображая себя заправским голландским моряком. Подбивал Чирикова поехать в Амстердам.

Мне привелось несколько раз побывать с отцом у Андреева на Черной речке. Дом, выстроенный по замыслу и фантазии писателя, производил на меня большое впечатление. Правда, это не был средневековый замок, но что-то о нем напоминало. Он был массивен, окна на разном уровне и разной величины. Некоторые комнаты расположены на разных плоскостях и отделяются одна от другой двумя-тремя ступенями. В комнате, прилегающей к кабинету, я запомнила портрет Льва Толстого, копию Репинского портрета (возможно, работа Андреева). Он был вделан в нишу и задерживался шторой. Штора отдергивалась, когда хотелось побыть с Толстым. Под портретом стоял диван, под прямым углом переходя к другой стене. А внутри угла – стол. Здесь Андреев устраивал ночное чаепитие, на которое не раз жаловалась Анна Ильинична, его вторая жена.

Андреев был писателем ночного вдохновения. В кабинете, напротив входной двери – тяжелые гардины закрывали всю стену с окнами. Под ними – массивный письменный стол, на нем из темной бронзы – скульптурная копия Лоренцо Медичи. Длинные стены с обеих сторон делали кабинет удобным для прохаживания во времена обдумываний творческих замыслов. Одна сторона кабинета от пола до потолка – сплошной ряд огромных копий с картин Гойи – талантливая работа писателя Андреева. Эти философские и сатирические химеры тревожили воображение.

Другая сторона кабинета наглухо закрыта раздвижными фанерными дверями, за которыми скрывались книжные стеллажи. Открывались они, нужно думать, ночью.

Чириков был писателем дневного вдохновения. Его кабинет занимал угловую квадратную комнату окнами на две стороны. Стоявшие за стеклом книги и портреты писателей возбуждали желание думать и работать, смотрели открыто на входящего гостя, как бы приглашая его войти в мир знания, в мир литературы. Кабинет уютно уживался и со старинным клавишником, и с широким диваном, и с большим камином. На письменном столе – бронзовая статуэтка ухаря-паренька, танцующего вприсядку, – подарок Шаляпина.

Еще не расставаясь окончательно с кудьминской дачей, отец построил дачу в Финляндии. Мы проводили в Нейвола зимние каникулы, а когда отцу предстояла и летом литературная работа, то и лето. В 1913 году вблизи нас жили на летнем отдыхе Горький, Бонч-Бруевич, Иорданские, Станюковичи, Демьян Бедный. Конечно, Чириковы встречались с ними часто.

Еще в 1912 году Бонч-Бруевич заинтересовал Евгения Николаевича судебным процессом, на котором Бонч-Бруевичу предстояла защита сектантов. Чириков присутствовал на этом процессе. Он и раньше интересовался сектантами, видел в них искателей праведной и духовной жизни и объяснял устремления талантливых людей из народа в область религиозных исканий недоступностью для них образования и связанных с этим возможностей проявить иначе свою духовную активность. В 1912 году Чириков ездил на озеро Светлояр, тогда – в глухой лесной местности около Семенова. С этим озером, как известно, связана легенда о праведном граде, который во спасение от «татарвы» ушел под воду. К Иванову дню к нему ежегодно стекалась масса народа. Приходили издалека сектанты, почитатели евангелия, кающиеся грешники, обходили на коленях огром-

ное озеро. И днем и ночью велись беседы. Чириков ходил среди народа и слушал.

О своем впечатлении он писал: «Какая ненасытная жажда народная выйти из дремучих лесов темноты и тяжелой доли к светлой обители!»

Незадолго до первой мировой войны Чириков закончил русскую сказку – мистерию «Красота ненаглядная». Тема произведения – вот эта ненасытная жажда светлой красоты и чистой правды, которую он почувствовал на Светлояре. Эта мистерия написана так, что ее воспринимаешь как оперу, даже как симфонию. То слышишь в ней Римского-Корсакова, то Мусоргского, то все покрывается симфонией (Шостаковича?). Она ждет своего музыкального воплощения.

Тема народной души занимает большое место не только в беллетристике, но и в публицистике Чирикова. Закончив «Красоту ненаглядную», Чириков объехал несколько городов с лекцией «Душа народа». В заключение лекции он говорил и о своем мистерию, называя ее художественной иллюстрацией к вопросу о народной душе. «Красота ненаглядная» с предисловием «О душе русского народа» была издана в Берлине в 1924 году.

Расхождение Чирикова с Горьким началось с появлением в печати статьи Горького «Две души». Против этой статьи выступили и другие писатели. Во время Первой мировой войны Чириков занял оборонческую позицию и отказался от участия в журнале «Летопись», руководимым Горьким, ссылаясь на то, что журнал пораженческий. Затем Чириков критикует статью Тальникова, допущенную Горьким к публикации. «"Летопись" допустила молодому критику, – пишет Чириков, – сделать большую лоханку из Чехова и Бунина, наполнить ее дегтем подобранных специально для этого цитат, подлить злорадной отсебятинки и, взяв помело вместо пера, измазать с головы до ног безответного пока русского мужика».

Февральскую революцию Чириков встретил радостно и как закономерное событие: «выстрел аристократа Юсупова в Распутина не спас гнилую монархию, а показал, что дальше идти ей некуда и стал первым факелом революции».

Весной Вера Фигнер и шлюссельбуржец Морозов посетили Чирикова. С Верой Фигнер Чириков встретился как с давнишней знакомой. Она звала его приехать к ней в имение, где она уже развернула работу с местным населением.

Невозможность отапливать старинную квартиру с большими кафельными печами и голод, дававший себя уже сильно чувствовать в Петрограде, заставили Чириковых бросить все и поселиться у друзей в Москве с решением провести там всю зиму. И кто бы мог тогда подумать, что они никогда больше не увидят своего дома, который был потом разобран на дрова. Евгений Николаевич не только не вернется больше в Петроград, но вскоре покинет Родину и не увидит её до конца своих дней.

В октябрьские дни Чириковы были свидетелями всего того, что описывает Паустовский в книге «Начало неведомого века», оказавшись его соседями на Тверском.

Еще до Октябрьской революции Чириков писал в романе «Возвращение» (третьей части романа «Жизнь Тарханова») о расхождении народа с интеллигенцией: «Лев Толстой нашел средство понять друг друга: для этого нужно самому превратиться в мужика. Что ж, это очень близко от рецептов новых интеллигентов, предлагающих нам сделаться рабочими».

По всему тону этой фразы видно, что и то и другое Чириков считал разрешением большого вопроса. И тут же он объясняет причину этого:

«Между нами слишком глубока и широка историческая яма, которую вырыло народное невежество». Но в то время Чириков не сделал вывода, что может быть третий путь: сделать и мужиков, и рабочих интеллигентами. Но этот путь в Октябрьскую революцию, по своей сути невыполнимый в короткий срок, а тем более при нагромождении бесчисленных экономических задач, вызванных разрушением всех хозяйственных основ, среди социальных трагедий, вылившихся в гражданскую войну, – вот этот путь, принятый без отсрочки и расчета на время, был воспринят многими патриотами, как прыжок через пропасть. Поэтому Чириков был против немедленного разрушения всех основ жизни и разделял мнение Плеханова, что это «приведет к тяжелым последствиям и бесчисленным жертвам».

К. Федин в своем произведении «Города и годы» объяснил, что «неспособность передовой части интеллигенции пойти путем революции вытекала из неприятия гражданской войны». Это можно отнести и к Чирикову. Сочувствуя национализации земельных владений и предприятий, Чириков не одобрил массового психоза разрушения и мести, развернувшегося в деревнях и на фронте.

Еще в 1905 и 1906 годах, описывая в пьесе «Мужики» и в повести «Мятежники» ненависть крестьян к господам, даже к тем, кто старался облегчить их участь, Чириков не обвинял крестьян, считая их мстительную и часто бессмысленную жестокость историческим следствием их социального положения. Находя рабочих более развитыми, чем крестьяне, а ко времени Октябрьской революции уже ставшими организованным пролетариатом, зимой 1918 г. Чириков, попав в Коломне на собрание рабочих, стал беседовать с ними о неразумных разрушениях в городах и усадьбах. Он беседовал в шутилом тоне. Рабочие смеялись. А кто-то усмотрел в этом насмешку над Советской властью. Чирикова арестовали и угрожали расстрелом. Писатель Борис Пильняк, местный житель, у которого Чириков был в гостях, уладил это дело. Этот эпизод стал известен Ленину. Не считая Чирикова политиком, но уважая его прежние писательские заслуги в революционной борьбе, Ленин передал ему через Семашко записку, чтобы он уезжал. Чириков не принял Октябрьской революции с её колоссальными жертвами ради «создания новой исторической эпохи». «Страдал жалостью» и Горький. Он не раз хлопотал перед Лениным по просьбе обращавшихся к нему людей из прогрессивной интеллигенции. И Ленин помогал, несмотря на свою иронию над «добренскими» и над жалостью, которая «путается в ногах и мешает делать большое дело».

Помог Ленин и Чирикову. Только Горькому Ленин предложил отдохнуть и поспать в Капри, а Чирикову, как неизлечимо больному жалостью, посоветовал уехать.

Весной 1918 г. Чириковы перебрались в Крым на свою дачу. В очерке-предисловии к сборнику Чирикова «Повести и рассказы», изданному в Москве в 1961 году, литературовед Е.М. Сахарова оценила значимость слов Тарханова во второй части романа «Жизнь Тарханова» как мыслей самого автора: «Я впервые почувствовал, что я – как щепка в море, в этой исторической правде... Что ценность моей личности взвешивается на исторических, а не на моральных весах, а для весов этих мои взгляды и убеждения – ноль. Не потому ли все стремления сблизиться с народом потерпели крах?» Эти слова предопределили и будущую судьбу писателя.

В ноябре 1920 года Чириков покинул Родину. Жена писателя должна была остаться в Крыму из-за болезни матери. Мы, дети, были кто где. Старшая сестра Новелла – в Петрограде. Евгений пропал без вести, другого брата, Георгия, только что окончившего гимназию, вскоре после его

приезда в Крым прямо на улице Севастополя мобилизовали в Белую армию и чуть было не послали на Перекоп. Отец позже неожиданно встретился с ним на улице Константинополя. Я и другая моя сестра Людмила были в это время в Каире, куда попали из Новороссийска, где сваливший нас сыпной тиф отрезал от Крыма, а приближавшийся фронт заставил нас в феврале 1920 года сесть на пароход с эвакуирующимися семьями военных. Помог нам в этом художник И.Я. Билибин, сопровождавший нас и в Новороссийске, и по пути в Египет, и в Каире.

После встречи с сыном Георгием Чириков уехал с ним в Болгарию. В Софии он очень тосковал без семьи. Билибин установил связь с Чириковым, и вскоре я решила выехать к отцу в Софию. Этот длинный путь я проделала на свои трудовые деньги, заработанные в Египте, и не без приключений: во время остановки в Салониках для пересадки на поезд меня чуть не похитили и не увезли в Бейрут.

В конце сентября 1921 года по приглашению Президента Чехословацкой Республики Массарика, в числе известных представителей русской науки и культуры, покинувших Родину, Чириков переехал в Прагу. Очень радушно встретил Чирикова чешский писатель Карел Чапек. Через чешского консула в Константинополе отец устанавливает связь с женой Валентиной Георгиевной. В письмах он беспокоится спрашивает: «Кто – где? Что кому посылать?» Старшую сестру приютила у себя Мария Федоровна Андреева в Петрограде. Через эстонскую миссию в Севастополе и через гуверновскую Американскую администрацию помощи (АРА), оказывавшую продовольственную помощь европейским странам и Советской России, отец посылает жене и дочери продуктовые посылки. Он надеется на Семашко и Пинкевича, что они помогут всем оставшимся в России членам семьи собраться в Петрограде и выехать в Прагу. Он напоминает, что мать Валентины Георгиевны, Анна Михайловна Григорьева, когда-то прятала у себя в доме от полиции Владимира Ильича. И действительно помогли. Все оставшиеся члены семьи съехались в Петрограде, а затем получили заграничные паспорта для выезда в Германию. В марте 1923 года вся семья Чириковых (вместе с Анной Михайловной Григорьевой) соединилась в Чехии.

Первые годы жилось трудно в пригороде Праги. Вблизи Чириковых поселилась семья Марины Цветаевой. Она приходила к отцу читать свои творения. Отец ценил её талант и новаторство в области синтаксиса и создания квазинародного языка.

Затем Чириковы переехали в Прагу, в дом, отведенный чешским правительством русской эмигрантской интеллигенции, т.н. «Профессорский дом». Среди его жильцов помимо Чирикова были профессор Кизеветтер, Лапшин, Окунев, Завадский, Лосский и многие другие. Они читали лекции по своим специальностям на собраниях старшего и молодого русского поколения.

Книги Чирикова стали издаваться в русских заграничных издательствах и в переводах. Чешский издатель Велибек безоговорочно выплатил Чирикову авторские проценты от ранее переведенных многих томов сочинений Чирикова.

Чириков выезжал в Белград и Загреб с лекцией о творчестве Горького и Андреева. Летом 1926 года приехал в Париж. Случайно остановился в одном пансионе с Татьяной Львовной и Львом Львовичем Толстыми. Разговор зашел о семейной трагедии. Лев Львович горячо защищал мать. Татьяна Львовна с дочерью уехала в Италию. Там её дочь вышла замуж за итальянца-аристократа.

Из Парижа уже со мной и с братом Евгением (мы учились во Франции) родители проехали к берегу моря, сделали прогулку по всему Лазурному

побережью до самой границы с Италией. В 1931 г., когда отец был уже болен, мы все по наставлению врачей повезли папу в Далмацию в рыбачий поселок у самого моря.

Но сердцу Чирикова всего милее была русская природа, её леса, прибрежные заросли и раздольные луга. Своими руками он делал модели волжских пароходов и панораму: на холмистом берегу – городок. Как будто только отчалил от пристани и разворачивается белый пароход. На его палубе в разных позах – вылепленные отцом пассажиры: купцы, интеллигенты, батюшка... на корме – народ попроще. А на мостике, конечно, капитан. Небо и воду отец сделал из стекла, слегка подкрашенного масляной краской. Пароход – из фанеры. Холмистый берег из разных сортов мха, из живописных сучков, которые отец привез из Италии в 1925 году и таким багажом чрезвычайно удивил таможенников.

Поэт Игорь Северянин, посетив в том же году Евгения Николаевича в Праге, тут же, под впечатлением, пишет стихотворение, вошедшее потом в «Медальоны», посвященные Чирикову:

МОДЕЛЬ ПАРОХОДА
(Работа Е.Н. Чирикова)

Когда, в прощальных отблесках янтарен,
Закатный луч в столовую скользнет,
Он озарит на полке пароход
С названьем, близким волгарю: «Боярин».

Строителю я нежно благодарен,
Сумевшему средь будничных забот
Найти и время, и любовь, и вот
То самое, чем весь он лучезарен.

Какая точность в разных мелочах!
Я Волгу узнаю в бородачах,
На палубе стоящих. Вот священник.

Вот дама из Симбирска. Взяв лохань,
Выходит повар: вскоре Астрахань, –
И надо чистить стерлядей весенних...

Растроганный Евгений Николаевич дарит автору сонета свою книгу «Семья» с дарственной надписью: «Милому душе Игорю Северянину с искренним расположением. Прага. 1925 г.».

Свою панораму Чириков поместил под стекло в полметра высотой и полтора длиной. Она всегда стояла на этажерке Евгения Николаевича. Как будто о ней он сказал когда-то словами Тарханова: «...И мне смутно вспоминалась милая Родина, ненаглядная Волга, будоражащий её гладь пароход, зеленые горы, какой-то городок на горах с белыми колокольнями и синими куполами». После смерти отца панорама была передана нами в чешский Национальный музей.

Скучал Евгений Николаевич и по русской зиме и тоже сделал для себя её изображение на стекле: заснеженный лес со всех сторон и убегающую вглубь дорогу с лошадкой, запряженной в дровни.

Отец очень тосковал по Родине, однако та информация, что доходила до Праги, говорила о невозможности возвращения.

Чириков не входил за рубежом ни в какую политическую организацию. Штамп белоэмигранта был дан ему советской печатью. Многие современники в своих мемуарах обошли Чирикова. Нашлись и такие, которые показали его в смешноватом виде. При моем свидании с Телешовым в 1948 г., когда я вернулась из эмиграции, он признался мне, что часто ему трудно было обойтись без Чирикова. Он показал мне фотографию группы «Среда» в своей книге «Записки писателя» первого издания. Там вместо фигуры Чирикова на фоне шторы была одна только штора.

А между тем в Праге за роман «Зверь из бездны» Чириков подвергся настоящей травле со стороны белоэмигрантов. Петр Струве собирал подписи под обвинением Чирикова в неправильном изображении Белого движения. А Чириков называл себя во вступлении к этому роману не судьей и не историком, а свидетелем судебных человеческих. Он писал о Гражданской войне, описывая в ней и подвиг, и любовь к Родине, и случаи мстительной злобы как самодавяющие силы, трагически столкнувшиеся на арене истории и predetermined прошлым. Это произведение было написано в 1922 г., а издано в 1926 г. Автор называет его не романом, а «поэмой страшных лет» и предпосылает ему обобщенное вступление, в котором говорит: «Будущее строится на костях настоящего, и цемент на постройке – кровь людей... Только из будущего в прошлое можно смотреть с высоты орлиного полета, спокойно озирая прошлые судьбы человеческие».

В эмиграции Чириков продолжал активно работать. За границей были изданы: написанные еще в России четвертая часть романа «Жизнь Тарханова» «Семья» (1924 г., Берлин) и сказка-мистерия «Красота ненаглядная» (1924, Берлин) и сочинения эмигрантского периода романы «Мой роман» (1925 г., Париж), «Зверь из бездны» (1926 г., Прага), «Отчий дом» (1931 г., Белград), сборники «Девичьи слезы» (1927 г., Париж), «Между небом и землей» (1927 г., Париж), «Вечерний звон» (1932 г., Белград)...

Даря мне свою книгу «Вечерний звон» незадолго до своей кончины, отец дописал к заголовку: «потонувшего колокола». Таким потонувшим колоколом он чувствовал себя в эмиграции. И не потому, что у него не было читателей. Его переводили на чешский, болгарский, немецкий, датский, испанский, французский и английский языки. Читателей он имел, но он потерял связь со своим народом, участие в общественной жизни своей Родины. А между тем, как и в юности, когда он восклицал: «Родина! Я отдаю свою жизнь твоему счастью!», счастье Родины оставалось неизменной для него ценностью, а призыв к добру, правде и чистоте человека – целью писательского творчества.

Умирал отец тяжело – от рака желудка. Я приехала к нему из Люблины за три дня до его смерти. Его уже рвало кровью, он был очень слаб. И все же мою 4-хлетнюю дочку, которую он очень любил, он встретил шуткой: «Слон ужасно заболел. Сливу с косточкою съел».

В предсмертном бреду мучительно работала его мысль. Были уже сочтены удары его сердца, а он искал какой-то ответ, хватался за лоб, тер его пальцами. Наконец сказал: «Теперь я начинаю понимать Достоевского».

Умер Евгений Николаевич 18 января 1932 года. Отклики на его смерть были во многих странах.

Петр Пильский тогда написал: «Оставленное Чириковым литературное наследство не должно быть забыто, не может быть утрачено, его надо хранить».

Сергей ЧУЯНОВ

Родился в 1945 году в городе Бор Горьковской области. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. Работал в редакциях нижегородских средств массовых коммуникаций, директором дома культуры, в настоящее время – шеф-редактор художественного вещания Нижегородской государственной областной телерадиокомпании ННТВ. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Почетный гражданин г. Городец Нижегородской области.

Прозаик, публицист. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

Из книги

ДИВНАЯ РОЗА БАЛЕТА

Майя Плисецкая в фокусе времени

Букет хризантем

1971-й год... Март. Солнце ещё только начинает греть по-весеннему. Но в Москве снега, что называется, днём с огнём не сыщешь. Брежневская Москва, днём – оживлённая по-деловому, вечером оживает театрами, около которых загораются фонари и «тусуются» десятки жаждущих получить «лишний билетик».

Если он и появлялся, то дело могло дойти и до увечья охотников за ним. Доставалось и тому, кто робко на вопрос, «нет ли лишнего билетика» отвечал: «Есть». На него кидалась свора промёрзших на мартовском ветру страждущих, и десятки рук совали купюры с изображением Ленина, крича, что «сдачи не надо».

И, естественно, когда мой знакомый московский художник предложил мне пойти по контрамарке на концерт артистов Большого театра СССР в Кремлёвский Дворец съездов, я был на вершине счастья. К тому же я знал, кто будет выступать в этом концерте.

Кремлёвский Дворец съездов в Москве был ещё относительной архитектурной новинкой. Попасть туда было не так-то просто, потому что именно там проходили многие престижные концерты и спектакли.

«Контрамарка для тебя будет на имя Нины Тимофеевой, поэтому уж не жадничай и купи ей цветочков», – напутствовал меня мой приятель, умудрённый в традициях театрального этикета. Нина Тимофеева была одной из самых известных балерин того времени, выступавшая на сцене Большого театра. Она танцевала тогда в партию Эгины в балете «Спартак», совсем недавно удостоенном Ленинской премии

Я купил букет белых хризантем, которые в тогдашней Москве были огромной редкостью и, прямо скажем, роскошью, и явился задолго до начала концерта в КДС (так уже тогда называли Кремлёвский Дворец съездов).

Большой театр был и остаётся для меня одним из самых великих театров мира. За многие годы я побывал в знаменитых театрах многих стран, но Большой так и остался самым величественным и прекрасным. Именно в эти годы в Большом выступало целое созвездие выдающихся мастеров оперного и балетного искусства, которые составили славу Большому на несколько десятилетий вперёд.

В их числе была и та, ради которой я и рвался на этот концерт – тогда уже ставшая легендарной Майя Плисецкая. В этом концерте она должна была исполнять своего коронного «Лебедя» на музыку Сен-Санса. И хотя я уже видел её в спектаклях Большого театра, но её «Лебедя» смотрел только в кино и по телевидению.

Начался концерт.

...После того, как солист оперы Евгений Райков спел ариозо Германа из «Пиковой дамы» и русскую народную песню, в зале воцарилась тишина.

Акустика Кремлёвского дворца очень специфична. И даже тогда, когда в зале звучат очень «бурные аплодисменты», мягкое покрытие пола их как-то гасит и превращает в благопристойный «шелест», к которому трудно привыкнуть звёздам, слышавшим не раз на других сценах громоподобные овации, от которых в буквальном смысле этого слова сотрясались стены театральных залов.

Тишина воцарилась не случайно. Именно в ней торжественным голосом ведущая Д. Григорьева объявила: «Сен-Санс. Лебедь...» Дальнейшие слова – «Исполняет солистка балета, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии Майя Плисецкая» – уже тонули в этом «шелесте», превратившимся всё-таки в эманацию долгого ожидания именно этого номера концерта.

Зазвучала божественная музыка Сен-Санса. Луч света высветил часть сцены, и в него из крошечной темноты всплывал Лебедь Плисецкой. Позднее именно это начало номера я вспомнил на одном из озёр в Венгрии. Тёмная ночная бархатная гладь воды, и только в самом центре озера – сильный блик-отражение луны. Из темноты в него буквально всплывало голубое изваяние сначала лебединой шеи и головы, потом – и всей птицы. Минута, и птица, не спавшая этой ночью, исчезла опять в ночном мраке. Это было похоже на видение, в котором угадывалась какая-то значительность и в то же время тревога от неожиданности, скоротечности, загадочности и потрясающей красоты, той, что будит воображение и запоминается на всю жизнь.

В тот мартовский день я и не предполагал, сколько раз буду счастливым зрителем этого крохотного великого спектакля, который сотворила эта замечательная балерина. Мне и в голову не приходило, что через несколько лет состоится наше знакомство, а продолжится оно три десятилетия и в итоге появится эта книжка.

«Лебедем» заканчивалось первое отделение концерта. Как в тумане, я соображал, что надо всё-таки отдать цветы Нине Тимофеевой «за контрамарку». Оказавшись на одном из подземных этажей КДС (тогда такое «проникновение» ещё было возможно), я нашёл коридор, в который выходили гримуборные участников концерта. Нашёл дверь, на которой висел листок с её именем и постучал. Я не расслышал, что мне ответили из-за двери, открыл её и увидел... Майю Михайловну, которая переодевалась и, естественно, чуть ли не с гневом крикнула: «Сюда нельзя!». Я тотчас закрыл дверь.

Тимофееву я всё-таки нашёл, цветы ей вручил. Всё это происходило как-то механически. Я был весь во власти увиденного «Лебедя». Остаться

на второе отделение совершенно не хотелось, и я пошёл пешком по вечерним московским улицам в свою гостиницу.

Время это для меня было отнюдь не простым. Всего лишь год назад меня «по политическим мотивам» (в США была напечатана моя статья) лишили любимой работы. Долгое время после этого я не мог устроиться как «неблагонадёжный» вообще ни на какую работу. Многие коллеги в этой ситуации почти сразу же отвернулись от меня. Я стоял (и это – в 26 лет) на развилке своей судьбы. Пить водку, плакаться у каждого «забора» про свою горькую участь... или начать всё заново, продолжить и всё-таки попытаться подняться к вершинам профессии, но каким-то другим способом? Это было весьма нелегко, потому что нижегородское телевидение и радио наложили на меня табу, а газеты все как одна отказались печатать.

Потрясение от «Лебеда» не покидало меня ни в Александровском саду, где прогуливались влюблённые парочки, ни на Манежной площади, где у «Националя» «вываливались» из автобуса подгулявшие немцы, ни в метро с немногочисленными пассажирами.

Я ощущал в себе странное нарастание некоей энергии, силы, волевого напряжения. Умиравшая на сцене гордая красивая птица вдохнула в меня жизнь. Она с каждой минутой выпрямляла меня, будила человеческое достоинство, давала мощную духовную опору. Вдруг сильно захотелось жить, что-то предпринимать с выстраиванием своей судьбы, захотелось работать – ведь возможности писать об этом чуде искусства (даже пока не печатая нигде) у меня, слава богу, не отняли. «Лебедь» Плисецкой родил во мне мужество и полноту ощущения жизни, так необходимые мне в ту пору надвигающегося жизненного краха.

Только тогда не теоретически, а практически, въяве, я понял, как может быть велика сила искусства, как может оно воздействовать на волю, разум, чувства, характер человека. Это открытие дорогого стоит.

Плисецкая потрясла меня как балерина, как гениальная актриса. С тех пор я стал бывать на её спектаклях, творческих вечерах, собирать большой архив с вырезками из газет и журналов (наших и зарубежных), редких фотографий, рукописей, дневниковых записей, театральных афиш и программ, то есть всего, где стояло уже дорогое для меня имя.

Вторая встреча с Майей Михайловной в отличие от первой, полуанекдотической, была уже, что называется, настоящей.

В феврале 1977 года возле Горьковского театра оперы и балета имени появилась афиша, которая гласила: «8 и 9 февраля. Концерты артистов театра оперы и балета имени А.С. Пушкина с участием солистов балета Большого театра СССР – народной артистки СССР, лауреата Ленинской премии Майи Плисецкой и заслуженного артиста РСФСР Александра Годунова».

С Сашей Годуновым мы были уже знакомы. Я оказался в числе тех, кто встречал звёздную пару на перроне Московского железнодорожного вокзала. Как только Плисецкая и Годунов вышли из вагона, Майя Михайловна оказалась в центре всеобщего внимания, а мы поздоровались с Александром. «Как жизнь?» – спросил он. Я ответил: «Про жизнь – потом. Помогите мне сделать интервью с Плисецкой». Он обещал рекомендацию и слово своё сдержал.

(Кто знал тогда, что так трагично сложится жизнь Александра Годунова, который так и не приживётся в Америке. Но тогда был его звёздный час. Он был блестящим партнёром Плисецкой.)

К интервью я подготовился основательно, хотя волнение было велико. Ведь я был направлялся к балерине, имя которой гремело по всему миру.

Мы встретились в её гримборной. Пару моих вопросов она покритиковала, но беседа состоялась и была напечатана в газете. Долго я не мог решиться послать ей напечатанный материал, напуганный её высокими требованиями к профессионализму в каждой работе. По Москве ходили уже легенды о её взыскательности, неуживчивости и резкости в суждениях. Один из балетных деятелей мне так и сказал: «Смотри, если запятую не там где-то поставишь, она на тебя и в суд подаст».

Напуганный легендами, я тянул время. Но однажды, прочитав весьма слабое (со стороны журналиста) интервью с примой Большого, решил и послал ей вырезку из газеты. Боялся, естественно, потому что по вине редакции в её словах была допущена досадная опечатка: вместо сравнения Кармен с быком на пастбище («она – как бык на пастбище») получилось нелепое – в газете напечатали «как бы на пастбище», пропустив букву «к» в слове «бык».

Ответа долго не было. «Естественно, – думал я, – при её загруженности репетициями, спектаклями, гастрольями разве будет она отвечать на какие-то письма журналиста из провинции?»

Но оказалось всё не так. В один из сентябрьских дней я открываю почтовый ящик и обнаруживаю в нём письмо от Майи Михайловны: «Сергей Петрович! Только сейчас получила (в 2-х экземплярах) вашу статью. Вы молодчина. Всего Вам самого доброго. Майя Плисецкая. 28 сентября 77 г.»

Это была самая большая награда (потом были от неё и другие письма) и поддержка, которую я получил в жизни. Потом, когда довелось получать почётные звания, становиться лауреатом нескольких премий, я всегда вспоминал свою самую почётную награду в жизни – добрые слова и оценки своей работы, сделанные Майей Михайловной.

О Майе Плисецкой и её творчестве написаны тысячи заметок, очерков, статей. Отрецензированы все её премьеры и фильмы-балеты с её участием.

В наше время имя Плисецкой даже попало в «светскую хронику». Диапазон публикаций о ней велик: от участия балерины в показе мод знаменитого Пьера Кардена на Красной площади в Москве до «признаний» якобы брошенной в роддоме «дочери» балерины.

Перед ней склоняли головы президенты выдающиеся деятели культуры всего мира и великие политики. Ей рукоплескали миллионы так называемых «простых людей», мнением и впечатлениями которых она дорожит так же, как отзывами элитарной публики.

И в этом – её высочайший демократизм и аристократизм. Она из той породы людей, которые трезво смотрят на вещи и называет их своими именами, дают оценку людям такую, какую они заслуживают.

Она реально смотрит на мир, и в этом – честность её жизненной позиции. Однажды, увидев её за простым столом в маленьком артистическом буфете, где она дешевой алюминиевой вилкой (это после приёмов у королей и премьер-министров) ела квашеную капусту, я сказал что-то вроде: не могли, дескать, вас принять по высшему рангу. На это она мне ответила: «Серёжа, знаете, что самое трудное в жизни? Это жить достойно и на три рубля, и на три миллиона».

С новой силой споры вокруг личности Майи Плисецкой вспыхнули после выхода её книги «Я, Майя Плисецкая...» В чём только ни обвиняли балерину, которая безжалостно расставляла все точки над i! Годы копившееся напряжение она сняла, высказавшись до конца в книге, ставшей событием последних лет.

Почти весь XX век стал частью её жизни, а она – частью истории XX века.

Она вошла и век XXI-й, для искусства которого она «пробивала» дорогу своим творчеством, нервами, борьбой, победами, поражениями и верой в некую изначальную гармонию мира. В своём танце она утвердила пафос свободы и открытости миру, право личности на счастье и победу в этой подчас трагической и неравной борьбе.

Она презрела мишурные условности «искусствочка-искусства» (Б. Ахмадулина) и стала дивной розой балета, неземным драгоценным украшением нашего земного – безумного и дисгармоничного мира.

Победа Кармен

Плисецкая очень долго присматривалась и думала об образе Кармен. Героиня новеллы Мериме будила воображение, давала простор фантазии. У испанских хореографов она деликатно спрашивала их мнение о том, какой могла бы быть Кармен на балетной сцене.

В этих раздумьях и поисках рождалась новая Плисецкая. Она как бы предчувствовала то второе дыхание, которое открывалось у неё.

Уже после того, как была написана эта глава, я обнаружил в своём архиве публикацию двадцатипятилетней давности. О Плисецкой писал известный композитор Микаэл Таривердиев.

«Прозвучали будоражающие звуки увертюры, раздвинулся величественный занавес Большого – и на сцене забурилась уличная жизнь никогда мной не виденной Испании. Своевольная гитана, вопреки всем балетным приличиям поставившая ногу на всю стопу. Ну уж это движение Пушкин не описал. Помните «И быстрой ножкой ножку бьёт»? У Плисецкой не истоминская воздушность, здесь и не ножка – она ступает по земле твёрдо. Безудержная страсть, мгновенная смена настроений, верность себе – и смерть, плата за такую жизнь, и всё это уложено тем не менее в строгие рамки классического балета. Забыть не могу, как это меня тогда поразило!

Я всегда был влюблён в строгость классического балета, в изящество классики на балетной сцене – я никак не мог представить себе, что эта самая балетная сцена способна вместить в себя такую несдержанную страстность жизни. Более того: что таким образом чёткость и ясность балетной классичности окажется не зачёркнутой, а напротив, подчеркнутой.

Подлинным трагизмом жизни повеяло от сцены, высокой страстью пылал танец Кармен – Плисецкой.

Я не мог тогда знать, что вижу нечто более значительное, чем великолепный спектакль «Кармен-сюита», – это было рождение из увенчанной лаврами традиции Большого театра нового балетного театра Плисецкой».

Да, к этому времени было станцовано всё, что могла бы станцевать балерина на сцене главного театра страны.

Призрак Кармен к 1964 году уже не оставлял её ни на минуту.

В своей книге «Я. Майя Плисецкая...» она пишет: «Танцевать Кармен мне хотелось всегда. Ну не с самого раннего детства, разумеется, но так давно, что первый импульс я припомнить не могу. Разве что выдумать?.. Мысль о своей Кармен жила во мне постоянно – то тлела где-то в глубине, то повелительно рвалась наружу. С кем бы ни заговаривала о своих мечтах – образ Кармен являлся первым...»

Плисецкая начала искать композитора. Были «дипломатические» переговоры с Шостаковичем и Хачатуряном. Но ни тот, ни другой за работу не взялись. Даже для таких титанов гипноз музыки Бизе к опере «Кармен» был слишком силён.

Какой же силы должно было быть желание у Плисецкой осуществить свою мечту, если она буквально «атаковала» приехавшего в Москву балетмейстера Альберто Алонсо предложением поставить для неё этот балет, не имея ещё толком готового либретто, а самое главное – музыки?

Альберто Алонсо был в самом расцвете сил. Ему было 47 лет. К этому времени он успел даже поучиться у выдающейся русской балерины Ольги Иосифовны Преображенской, которая, уехав из России, где она когда-то царила на сцене Мариинского театра, содержала в Париже известную балетную студию.

Будучи в Париже, я разыскал одну из учениц этой студии Елену Александровну Лыжину, живущую на улице Гюго. Она-то и поведала мне о том высочайшем уровне преподавания, который царил в этой студии.

До этого Алонсо занимался в Лондоне у поляка Станислава Идзиковского. Кстати, сам Идзиковский принял эстафету классического балета от знаменитого Энрико Чекетти, учениками которого были Анна Павлова, Ольга Преображенская, Матильда Кшесинская, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Серж Лифарь и другие. Так что в этом смысле можно говорить о русских корнях кубинского балета. Это, если учесть, что именно Альберто Алонсо, Фернандо Алонсо и Алисия Алонсо создали тот балет («Национальный балет Кубы»), который к тому времени был уже известен во всём мире, не является преувеличением.

«Как художник Алонсо ни на кого не похож, – признавалась Плисецкая. – Я не могу привести ни одной мало-мальски подходящей аналогии. Он очень самобытен и оригинален. Даже всё то, что я видела раньше, – народные танцы в исполнении испанок-танцовщиц, балет Антонио – всё это иное. И среди балетмейстеров мне трудно подыскать сравнение с Алонсо. У него свой художнический почерк, собственное видение танца. На Кубе у него свой класс, свой метод обучения. Его танцевальный язык предельно индивидуален. Это классика, потому что это на пальцах. Сами же па так видоизменены, что им, по сути дела, надо давать другие названия. Никакой пантомимы. Очень выразительные движения и позы».

Такого ещё не было. Есть великолепная идея, есть балетмейстер (он согласился и прилетел в Москву) с концепцией спектакля, но нет... музыки.

Сегодня уже легендой стала история создания Щедриным своей транскрипции музыки Бизе.

Сначала репетировали на оперную музыку, но та совершенно не подходила к тому, что предлагал Альберто Алонсо.

Вот как описывает работу над музыкой к балету сам Родион Щедрин: «Выслушав новое либретто, написанное самим Алонсо, я обещаю Альберто, что следующим утром Майя придёт в театр с нотами. Набросав что-то мало вразумительное с несвежей ночной головой, я вдруг спасительно вспоминаю слова Шостаковича (его ответ на предложение Плисецкой написать музыку к балету. – С.Ч.): «Я боюсь Бизе...» Шостакович боится. А я нет? Надо сделать транскрипцию оперы (жанр тогда начисто забытый), повернув её на балетный лад. И для партитуры взять совсем иной состав. Далёкий от Бизе. Ну, скажем, струнные и ударные. И работа закипела. За двадцать дней я закончил всю партитуру, написав несколько номеров даже в Будапеште...

Партитура «Кармен-сюиты» поспела к сроку. И всё было бы хорошо, если бы не резкое официальное неприятие спектакля властями. И если бы не благожелательное отношение ко всей затее с «балетизацией» «Кармен» тогдашнего директора Большого композитора М.И. Чулаки, в том числе и к музыкальной стороне дела, красный свет на советском светофоре зажёгся бы куда раньше, чем на втором представлении балета».

Если бы собрать всё, что писалось в то время о музыке Щедрина к балету, это был бы не только театр идеологических, духовных, нравственных нравов (простите за тавтологию), но и показатель прессинга, который испытывали те, кто пролагал новые пути не только в советском, но и в мировом искусстве.

В журнале «Балет» уже почти через сорок лет после премьеры было опубликовано письмо одного из первых зрителей спектакля, которое выражало мнение очень и очень многих, воспринявших в штыки появление этого произведения Щедрина.

«Уважаемая товарищ Плисецкая! – писал ортодокс. – Неоднократно слушая и просматривая «Кармен-сюиту», поражаешься нескромности композитора Щедрина. Если серьёзно воспринимать слова, что музыка – это мелодия, то в музыке там, где идёт Щедрин, – нет мелодии. Мелодия только там, где Бизе! С уважением уважающий балет зритель Мизель».

Про оркестровую репетицию Плисецкая вспоминает, как про откровение: «Оркестр играл с непритворным увлечением. По физиономиям музыкантов, – а в верхней сцене ты сидишь почти над оркестром, вплотную, на возвышении, – было видно, что пьеса пришлась им по вкусу. Смычки старательно взлетали вверх-вниз, вверх-вниз, ударники лупили в свои барабаны, звонили в колокола, ласкали невиданными мною доселе экзотические инструменты, верещали, скрипели, посвистывали. Вот это да!.. Музыка целует музыку, как позже скажет о «Кармен-сюите» августейшая Белочка Ахмадулина».

Но не будем забегать вперёд.

Алонсо готовил нечто доселе не виданное на сцене Большого театра. Всё было необычным. Началось с замысла. Потом появилась музыка. И, наконец, смысл самого спектакля. Свобода Кармен! Самое главное и важное в жизни человека – свобода. Наперекор несвободному обществу, наперекор превратностям судьбы, наперекор рутинным устоям толпы.

Алонсо предлагал совершенно новую, экзотическую для отечественного балета пластику. Новыми были положение стопы, смелые и откровенные поддержки. Те восемнадцать артистов во главе с Плисецкой, которые репетировали спектакль, преодолевали немыслимые трудности. Такому танцу их не учили в балетной школе.

«Совершенно новая балетная лексика, – говорит балерина. – Всё равно как если бы вам в дополнение к родному русскому языку пришлось учить ещё и испанский язык. Надо было знать оба. И поначалу казалось, что ничего тут, очевидно, не получится. Постановщик балета Альберто Алонсо, главный балетмейстер Национального балета Кубы, показывал мне двадцать пять движений на пять тактов, мелодия проигрывалась, а я не успевала сообразить, как сделать верное па. Я никак не могла выучить. Движения оказались трудны потому, что сделать их, как просил Алонсо, было для нас невероятно сложно.

...Алонсо бился с нами. И только постепенно, постепенно, очень постепенно, дальше-больше мы привыкли, и за три месяца работы всё-таки что-то получилось. Не сразу...»

Художник Борис Мессерер сделал декорацией арену для корриды. На местах для её зрителей расположились Коррехидор (Александр Лавренюк) и (можно называть их по-разному) зрители, толпа, «общество». Они ждут наслаждений, зрелища. Их взгляды устремлены, «вперены» в центр сцены. Там – Кармен.

«Мне хотелось воплотить смелый, открытый, вольнолюбивый характер испанской женщины, – говорит она сразу после премьеры спектакля

в Большом театре, которая состоялась 20 апреля 1967 года. – Для меня воплощение такого характера – Кармен. Она притягивала меня всеми своими поступками, своими чертами, каждым мгновением поведения. Не терплю никакой неволю. Это – личное. Но это, разумеется, не значит, что я такая, как она».

Её взгляд исподлобья – пролог к её монологу. Она начинает его, свой – программный для балета. Это танец-вызов, танец-манифест. Почти по Маяковскому: нате! Часто меняющиеся резкие изгибы корпуса чередуются с выразительнейшими зафиксированными позами: выставленная вперёд нога, согнутая в колене и вонзившийся в пол носок ступни.

Её резко выкидываемая вперёд нога ассоциировалась с диковинным оружием, из которого она «отстреливалась» от закосневшей в ханжеском панцире толпы.

То вдруг она ступала на пол сцены всей ступнёй, а потом, опираясь на пятку, вдруг поднимала её под косым углом. Кстати, именно к этим па почему-то привязались адепты традиционного классического балета и обвиняли Плисецкую во всех смертных грехах.

Ни грамма (так и хочется сказать – оперной, но это было бы несправедливо по отношению к жанру) слащавости. Всё резко, динамично и эффектно.

В конце монолога Плисецкая резко вскидывала вверх руки. Победа!

Над кем? Над некоей душителной силой, которую воплощает Корехидор.

Плисецкая вспоминала: «Он (Алонсо. – С.Ч.) хочет, чтобы мы прочли историю Кармен как гибельное противостояние своевольного человека – рождённого природой свободным – тоталитарной системе всеобщего рабства, подчинённости, системе, диктующей нормы вражеских взаимоотношений, извращённой, ублюдочной морали, уничижительной трусости...»

В спектакле звучит зловеще-трагическая тема в музыке. Выходит Корехидор. Алонсо поставил его пластический монолог скупыми выразительными средствами.

Прогибы корпуса вперёд с остающейся в вертикальном положении головой давали полное ощущение, что он всматривается, вглядывается, подозревая что-то неладное. Эта поза сменяется позой победителя, диктатора. Он – воплощение власти. И даже его «гусиный» шаг тоже навевал кое-какие ассоциации.

В сцене первой встречи Хозе (Николай Фадеечев) и Кармен она влетает вихрем на сцену и смотрит прямо и бесстрашно навстречу Судьбе.

Их дуэт построен на контрастах. Она обольстительна. Её танец – парад женственности, тайной неги, знойной страсти. Он смущён, закован в панцирь условностей. Её это только разогревает, и она пускает в дело все свои чары.

Позднее в интервью «Московским новостям» она скажет: ««Кармен-сюита» явилась настоящей революцией. Кроме всего прочего, «Кармен» раздражала откровенной чувственностью. Вы замечали, тоталитарные системы всегда предпочитают пуританство. Наверное, потому что в сексе, в страсти есть что-то неподконтрольное».

Толпа оживает по жесту-знаку Корехидора. Она – как свора гонимых перед командой профессионального охотника. Жест его (поднятая рука) красноречив. Это жест приказа и начала погони. Машина давит и на Хозе, но он встроен в неё.

«Меня особенно поразило его решение сцены с толпой, – рассказывала Плисецкая. – Когда Алонсо сказал, что толпа эта по сути своей серая: безликие мужчины, безликие женщины, и они хотят, чтобы я – Кармен –

стала такой же безликой, как они, – мне стало чуточку страшно... И, пожалуй, не столько за свою Кармен, сколько от грандиозности и масштаба конфликта, увиденного балетмейстером».

Толпа расположилась вокруг арены на стульях с высокими спинками, откинув в стороны ноги, которые похожи на иглы, готовые вонзиться в тело Кармен. Каменные лица застыли в ожидании. Это – стена, это – бетон, это – ненависть.

И вдруг – появление Кармен. Она – полный контраст толпе. Это – скорость, энергия, взрыв.

Любовная игра с Хозе – это тоже контраст. Сначала он такой же «твердокаменный», часть этой толпы. Она же даже в пластике – сама гибкость и пластичность.

У каждого – своя роль в этой драме. Коррехидор с «воинством» – на страже общественной «морали» и государственных устоев.

Любовь победоносна. Она вдруг достаёт, как из заветного ларца, из Хозе человеческую его сущность. В их любовном дуэте кардинально меняется его пластика: из «машинообразной» она становится человеческой, наполненной страстными порывами. Апофеоза это достигает в его монологе – потрясении от сильного чувства любви к Кармен.

В 1976 году балерина сказала в интервью «Литературной газете»: «Я бы хотела, чтобы «Кармен» существовала и дальше... после меня... Поэтому я мечтаю найти балерину, которая по-своему исполнит Кармен, показав понимание того, что поставил Алонсо и что заложено в партитуре новой оркестровки, специально сделанной Щедриным. Танцам подобного рода в школе не учат, именно поэтому они так трудны. Как видите, всё это далеко-далеко не просто...»

Прошла четверть века, и к «Кармен-сюите» обратилась балерина Анастасия Волочкова. Она показала спектакль на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, где ни одна балетная труппа не обращалась у балету Алонсо – Щедрина.

Сразу после показа появились отклики на трактовку образа Кармен Волочковой.

«У Волочковой – мелодрама, – писала критик Л. Абызова. – ...Кармен Волочковой – ласковая, нежная девушка, искренне жаждущая любви. Она запуталась в чувствах к двум равно достойным мужчинам – Хозе (Евгений Иванченко) и Тореро (Денис Матвиенко). Такая уж выпала несчастливая судьба. Рок. И зрители плачут...»

За этой язвительностью – точная оценка той разницы, которая существует между образом шекспировского масштаба, который создала Плисецкая, и тем, что показала в Санкт-Петербурге Волочкова.

«Кармен» продолжается?

Балерина Майя Плисецкая и балетмейстер Альберто Алонсо гениально совпали в понимании замысла своего шедевра. Он гениально «примерил» драматургию балета именно на Плисецкую, а Плисецкая точно, как великий художник, воплотила это на сцене. И не только воплотила, но и внесла в спектакль всю мощь своего темперамента, талант балерины-актрисы и умение вести диалог не только со временем, в котором она живёт, но и с вечностью.

Гимн женщине

Интересно, что сразу после премьеры «Кармен-сюиты» не появилось такого количества рецензий и отзывов в прессе, как после премьеры балета «Анна Каренина».

К 1970 году страсти по «Кармен» уже улеглись и все с нетерпением ждали «Анну Каренину». Но начинались страсти новые: «Не трогайте Толстого!», «Как это Анна будет танцевать?»

Сама Плисецкая много раз перечитывала роман Толстого, находя в нём сотни пластических подсказок из толстовского текста. («Я вдруг увидела: то, что написал Толстой, подходит только к балету. Толстой пластичен как никто, он пишет, как надо танцевать Анну».)

В фильме «Анна Каренина» режиссёра А. Зархи Плисецкая сыграла роль Бетси Тверской. Её желание исполнить драматическую роль не было неожиданностью. Во всех своих партиях она не только великолепная балерина, но и драматическая актриса, которая одухотворяет каждую роль. Именно поэтому один за другим выходят балеты с её участием, в основе которых лежат великие произведения классиков русской литературы.

Музыка, написанная Щедриным к фильму Зархи, легла в основу музыкальной партитуры балета «Анна Каренина».

Позднее сама Плисецкая будет не раз возвращаться к полемике вокруг их обращения к роману Толстого в балетном жанре.

«Часто спрашивают, даже возмущаются – мол, зачем «переводить в балет» великие литературные произведения? – говорила она. – Они от этого обедняются, да и авторам постановки нелегко втиснуть великое содержание в свои балетные па.

Что касается «нелегко»... А разве легко было Льву Николаевичу втискивать живое в пусть даже широкие, но всё-таки рамки литературного языка? Из истории создания романа известен эпизод, когда ему никак не давалась сцена прихода Анны в свой прежний дом к сыну Серёже. И лишь после многочисленных переделок писатель с удовлетворением сказал: «Вошла».

Но самое главное – мы не «переводили в балет», то есть, наша работа – это не то же самое, но рассказанное другим языком. Такие «переводы» в искусстве вообще невозможны. Художник, например, слышит какое-то музыкальное произведение и пишет о нём картину. Или наоборот: композитор, вдохновившись картиной, сочиняет музыку. Что это такое? Мысли одного художника по поводу работы другого, выраженные присущим ему языком. Я – балерина и «читаю телом». И моё прочтение литературы – это предложенное зрителю пластическое дополнение к ней. Ведь ни в книге, ни в кино, ни в театре нельзя увидеть чувства, их движение, и, быть может, такое видение обогатит хоть малостью ощущение от самого романа?...»

В постановочную группу спектакля вошли дирижёр Ю. Симонов, балетмейстеры-постановщики М. Плисецкая, Н. Рыженко и В. Смирнов-Голованов. Художником стал В. Левенталь. А либретто для балета написал Борис Александрович Львов-Анохин. В своё время он любезно разрешил мне познакомиться с этим либретто. По-моему, это была машинописная рукопись на 70 или 80 страниц.

Плисецкая потом скажет: «...Толстой при всей его неприязни к балету сам изумительно пластичен: чуть ли не на каждой странице он пишет о лёгкой походке Анны, о том, как она держала голову, руку, он подробно описывает одежду. Словом, он даёт почти готовое либретто. Грех было не взяться!»

Пройдёт несколько лет после премьеры, и Плисецкая не раз вернётся к размышлениям о том, как и почему родился этот балет.

«...С «Анной» все думали, что я потеряла голову... Как – Анна и Вронский, Анна и Каренин танцующие! Не пародия ли на Толстого? Не испарятся ли вековые проблемы, поднятые в великом романе?

...Защищая свою «Анну Каренину», я защищаю Толстого, я убеждена, что он со мной был бы согласен. Потому что могла быть такая героиня – он же её тоже придумал, она привиделась ему: в его воображении промелькнул обнажённый локоть, потом плечо, это было началом, первыми мгновениями его работы над романом, он вглядывался в видение, и появилась шея и затем лицо с пронзительно глядевшими на него глазами. Ему привиделась пластика. Первая загадка, которую надо было решить, была загадка пластики, она не отпускала его, преследовала дни и ночи и заставила взяться за перо».

Действительно, в либретто Львова-Анохина было вкраплено множество цитат из романа, что только подтверждало слова Плисецкой.

Создатели спектакля взяли, естественно, одну сюжетную линию романа: Анна – Вронский – Каренин. Я бы добавил сюда ещё и Свет, то есть светское общество, которое тоже не фон, а действующее лицо в спектакле.

У меня сохранилась программа одного из первых спектаклей «Анны Карениной», в котором чёрным по белому ясно написано «Художник В.Я. Левенталь». Но всему белу свету было известно, что костюмы для Плисецкой делает Пьер Карден, знаменитый французский кутюрье, с которым Плисецкая недавно познакомилась на Авиньонском фестивале во Франции. Но упоминания об этом в программе нет.

Позднее в своих мемуарах она напишет: «Сегодня из Парижа успел прилететь оповещённый нами Пьер Карден со своей японской спутницей – секретарём Юши Таката. Он приехал в театр прямо из аэропорта. Я должна показать ему на себе его великие костюмы. Прежде чем увидит публика. Не рассердится ли только Пьер, что имени его в программке не будет? Об этом директор Муромцев и слышать не захотел. Министерство наотрез оказалось...»

Кстати, как ни парадоксально, но как только я узнал о готовящейся постановке балета, то сразу же подумал: в каких костюмах будет танцевать Анна? Во времена, в которые происходит действие романа, светские дамы носили длинные в пол облегающие платья. А уже знаменитые турнюры сзади! Это, поди, несколько килограммов материи, да ещё довольно плотной и тяжёлой.

В «Иллюстрированной энциклопедии моды» (Прага, «Артия», 1966) читаем: «Юбка с турнюром – сзади от пояса отстающая юбка, снизу посаженная на каркас из проволочных обручей, китового уса и др. Сверху пышно декорированная воланами или лентами. Мода около 1880 г.»

Я подумал, что обязательно посмотрю, как сделаны костюмы. Но я так и не «проанализировал» их конструкцию. Так органично и точно они стали частью балета, частью образа, который создавала на сцене Майя Плисецкая, что я забыл о своём намерении.

Как почти всё у Плисецкой, спектакль прошёл непростой путь от замысла до премьеры.

«На первый прогон «Анны» под оркестр внезапно нагрянула министерская комиссия, – вспоминала Плисецкая. – С ними сама Фурцева. Мелькают знакомые лица художественного совета Большого театра.

...Сразу после конца в кабинете директора Муромцева начинается обсуждение увиденного. Общий тон голосов мрачный. Попытка не удалась, роман Толстого танцевать нельзя, всё сыро, неубедительно, музыка шумная. Анна Каренина валится в неглиже на Вронского: опять эротика (об эротике печётся, как всегда, Фурцева)».

Плисецкой и Щедрину пришлось в буквальном смысле биться за «Анну». Помог секретарь ЦК КПСС Пётр Демичев.

Премьера состоялась в 1972 году. Осторожная «Советская культура» сначала опубликовала рецензию не кого-то из известных балетных критиков, а доктора искусствоведения М. Тараканова. Это была рецензия на музыку балета. «Хочется сказать ещё об одном свойстве музыки балета – о её насыщении звучащей пластикой, – писал музыковед. – Танец, бег, ходьба, бешеная скачка и даже движение поезда – всё это находит ритмо-звуковой эквивалент, расцветиваясь красками богатой палитры великолепного мастера оркестра. Но это не становится самоцелью, не превращается в иллюстрацию, поражающую ловкостью звукоподражания! Пластические ритмы музыки насыщены экспрессией выражения, он отражают состояние героев, сливаясь с ним или противостоя ему».

В музыке Щедрина к этому балету есть постоянное напряжение драмы и предчувствие трагедии. И не только в сценах на вокзале со станционным мужиком. Эти музыкальные краски есть даже в, казалось бы, «безоблачных» балах и даже в лирических дуэтах Анны и Вронского.

На балу появляется Анна. Широко разведённые руки – метафора открытой жизни души. Кажется, что она – в общем танце, кажется, что она – из этой же «породы», из этого же общества, но только кажется...

Дуэт с Вронским – рождение глубокого чувства. Оба сразу же (и это подчеркнуто пластически) «выламываются» из общего «хоровода».

Годунов (Вронский) реализует в дуэтах с Анной весь накал своих страстей. Пластический рисунок троих персонажей построен на контрастах. У Анны и Вронского – прыжки и вращения, у Каренина – статика под ритм заведённой машины.

В проходке Анны с Карениным по сцене – важная окраска. Она как бы «подгоняет» свою походку и движения к ритму его походки, его шага. И в этой подчинённости, подневольности спрятана адская пружина, которая должна взорвать эту фальшь отношений изнутри.

Сцена в салоне Бетси Тверской – важная и серьёзная часть завязки этой драмы. Чета Карениных появляется как часть этого света, который рисуется постановщиками в чопорных, «приличных» для светского ритуала танцах.

Сцена встречи Анны с Вронским наполнена психологическими нюансами, полутонами во взглядах, жестах, движениях, которые причудливо сочетаются со всполохами и вспышками страсти.

«В каждом выходе и уходе Плисецкой-Анны, в каждой её позе, повороте головы, взгляде нет ничего от блистательной, прославленной прима-балерины, – писал балетный критик Ю. Тюрин. – Благородная строгость, самоуглублённая сдержанность, полное артистическое растворение в материале роли, редкая драматическая напряжённость жизни на сцене».

В сцене салона Бетси Тверской впервые появляются поддержки – одно из самых выразительных па во всех лирических дуэтах в отечественном и мировом балете.

Сцена греховного «падения» Анны – апофеоз всего балета. Сложнейшие и разнообразнейшие поддержки чередуются с экспрессивным бегом по диагонали сцены... Всё это символизирует динамику и напор чувств. Есть в русском языке метафоры, которые стали классическими для определения состояния и в том числе героини этого балета: «рвётся душа», «разрывается сердце». С этого момента Анна полностью в плену у стихии огромного чувства, заполонившего её сердце и душу. Ей уже ничего не страшно.

Одна из самых эффектных и изобретательно поставленных сцен балета – сцена скачек. И опять – контрасты реалий и ощущений. Шум, яркие краски, маршевая музыка, фанфары, одним словом – «праздник жизни». И как прорыв к настоящему чувству – мимолётная встреча Анны с Вронским, а затем – открытое страдание Анны после падения Вронского.

Встреча в парке – последний глоток любви. Закинутые назад руки Анны, которые держит Вронский, – символ неволи.

И вот уже «свет» отворачивается от Анны. Чего стоит мизансцена, когда безликие дамы и кавалеры выбрасывают вперёд руки с кистями, согнутыми под прямым углом. «Нет!» – как бы говорят они Анне.

Разлучение с сыном и отчуждение Вронского – начало развязки, которая наступит на рельсах под колёсами поезда на Николаевской железной дороге.

Действие подогревает сцена в итальянской опере, которая окончательно расставляет все точки над *i*. Именно там созревает роковое решение.

А Вронский уходит в «свет». Он не может достичь олимпийских вершин чувств Анны.

В этом спектакле мы вновь увидели новую Плисецкую. Она всегда очень жёстко как бы забывает, что делала до сих пор. Эта безжалостность по отношению к себе, как это ни парадоксально, и позволяла ей постоянно двигаться вперёд на протяжении нескольких десятилетий.

Вульф, увидевший в США Плисецкую в балете «Федра» сказал: «Да только за то, чтобы увидеть, как она выходит на сцену, надо брать с публики по 200 долларов». И в «Анне Карениной» все её выходы и, казалось бы, самые простые движения полны необычайно ёмкого смысла. Порою даже забываешь, что ты смотришь балет: нет никакой крикливой мишуры балеринских выходов, нет дежурных «балетных» улыбок. Всё – по-настоящему.

Конечно же, автор либретто Б.А. Львов-Анохин, знаменитый режиссёр драматического театра, во многом помог постановщикам выстроить вот этот от минуты к минуте нарастающий накал действия. В чередовании сцен «страстных» и сцен «спокойных» была своя логика.

Я, например, не согласен с теми, что бледным получился дуэт Анны и Вронского в сцене «Италия» и «скромность выразительных средств здесь граничит с лексической бедностью». Давайте вспомним, после чего в спектакле идёт эта сцена. После того, как свет дружно и гневно фарисейски отвернулся от Анны.

В Италии они одни. Нет ни света, ни Каренина. Оба просто устали бороться за свои чувства. И именно здесь, под южным солнцем, наступает некая безмятежность, желанные гармония и умиротворённость. Иногда танец дуэта даже напоминает рапидную съёмку, лишний раз подтверждая, что это – часть драматургического замысла постановщиков.

Балетный критик Наталия Аркина, которая постоянно писала о творчестве балерины, как бы подытожила поиск Плисецкой в этом балете.

««Анна Каренина», – писала она, – это громко и страстно заявленная потребность Майи Плисецкой сказать на языке своего искусства о великой любви, о женской душе – трагической и непонятной. Это фантазия на тему великого романа. В танце Плисецкой живут многие трагические женские судьбы, и, может быть, поэтому её танец драматичен с самого начала».

Эпоха Кардена

В 1971 году Плисецкая знакомится со знаменитым на весь мир Кутюрье Пьером Карденом. Это происходит на Авиньонском фестивале во Франции.

Прежде чем говорить об этом знакомстве и его творческих последствиях, скажем о самом Авиньоне и фестивале, который проходит в нём.

Мы подъехали к Авиньону поздним августовским вечером, почти ночью. Комплекс Папского дворца был подсвечен. Он напоминал неприступную крепость.

Именно здесь с 1309 по 1377 годы пребывали римские папы. В Рим их не пускали почти 70 лет. Один из них, Бенедикт XII, понял, что это надолго и построил огромный Папский дворец.

Глубокой ночью площадь Курантов пуста. Публика уже насладились роскошными провансальскими розовыми и белыми винами и поживает, убаюканная запахами лаванды и медоносных трав.

Ещё месяц наза здесь было ну не вавилонское, но театральное столпотворение – точно. Каждый год (уже более полувека) здесь проходит Авиньонский фестиваль. Его знают во всём мире и знают его открытость самым неожиданным и порою экстравагантным явлениям театрального искусства да и всех других искусств тоже.

Именно здесь суждено было встретиться Майе Плисецкой с Пьером Карденом.

Пьер Карден – легенда XX века. Его жизнь пролегла от увлечения маленького итальянца Пьетро (он родился недалеко от Венеции) театром и куклами до триумфальных побед в области дизайна одежды и много чего другого.

Сначала 24-летнего Кардена замечает и привечает знаменитый поэт Жан Кокто, потом его приглашает Кристиан Диор, у которого он становится ведущим дизайнером. И, наконец, он открывает свой Дом моды, ставший впоследствии империей моды от Пьера Кардена.

В 50-е годы XX века его модели имеют бешеный успех у самой взыскательной публики. В его империи – 8 тысяч магазинов, два театра, рестораны. Как пишут комментаторы, «он превратил моделирование одежды в искусство».

Клиентами Кутюрье стали Эва Перон, Софи Лорен, Марлен Дитрих.

Карден обожает Россию и сделал для нашего отечественного искусства столько, сколько не делал никто за рубежом.

Авиньонский фестиваль 1971 года был юбилейным. Он отмечал четверть века своего существования. Газеты сообщали о том, что впервые в фестивале примет участие балет Большого театра, который покажет 2-й («Лебединый») акт балета «Лебединое озеро» и впервые во Франции – «Кармен-сюиту». Кроме этого, в программе были «Прелюдия» Баха и «Умиравший лебедь» Сен-Санса. «Умиравший лебедь» был посвящён памяти Жана Вилара. Звёзды труппы – Майя Плисецкая и Николай Фадеечев.

После выступления артистов Большого театра газеты захлёбывались от восторгов, а деятели культуры выбирали самые восторженные эпитеты к искусству Майи Плисецкой и Николая Фадеечева. С этого времени и начинается сотрудничество Плисецкой и Кардена. Он делает костюмы для её балетов «Анна Каренина», «Чайка» и фильма «Фантазия».

О своей первой встрече с Плисецкой Карден вспоминал: «Я страстный поклонник балета, и мне довелось видеть другие постановки и других исполнительниц роли Кармен. Кармен Плисецкой отличалась необыкновенной силой в своей чувственности и своём бунтарстве. Этот спектакль порывал с традициями русского балета. «Кармен» была своего рода предупреждением миру танца. От русской традиции оставались очень сдержанные костюмы. Но уже здесь угадывалось то огромное влияние, которое окажет на развитие балетного искусства Майя Плисецкая».

После окончания спектакля Надя Леже (вдова художника Фернана Леже. – С. Ч.) представила мне хрупкую женщину, такую воздушную, что, казалось, будто при ходьбе она не касается земли. Сразу возникла взаимная симпатия, переросшая в длительное сотрудничество, поскольку я рисовал костюмы к пяти её балетам. На сцене, как и в жизни, Майя обладает природжѐнным изяществом и производит впечатление существа почти нематериального. Но за внешней хрупкостью нетрудно угадать редкий по силе характер».

Они начали сотрудничество с «Анны Карениной». Карден очень часто (почти во всех своих интервью) вспоминает об этом балете и работе с Плисецкой.

«Сначала я слушал музыку, проникался ею, пытался представить, к какому моменту романа она может относиться, – говорил он. – А Майя танцем, жестами, движениями рассказывала про «свою» Каренину. Не произнеся ни слова, она передала всё. Я смотрел на неё, и в моём воображении рождались костюмы для спектакля».

7 января 1998 года в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге и 9–10 января в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Москве состоялось представление «XX век. М. Плисецкая – П. Карден. Мода и танец». В фойе обоих залов была развѐрнута выставка театральных костюмов Кардена, которые он создавал для Плисецкой к её балетам «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» и фильму «Вешние воды». (Кстати, чёрное бархатное платье, которое Плисецкая впервые надела на своё 70-летие, – тоже, образно выражаясь, дело рук Кардена.)

Сразу же откликнулись на это событие столичные хроникѐры: «На шоу в Москву Карден привѐз ретроспективную коллекцию своих платьев, начиная с 50-х годов, которые продемонстрировали санкт-петербургские манекенщицы с полным отсутствием пластики. Последнее платье – «платье будущего» (его Карден после шоу подарил Плисецкой) представила сама Майя. Этот золотисто-белый наряд, украшенный маленькими зажжѐнными фонариками, не произвѐл авангардного впечатления. Наоборот, он даже несколько напугал зрителей, напоминая саван из фильма Копполы «Дракула»».

Карден уже «свой» в России. Он даёт многочисленные интервью, принимает участие в эффектных проектах. Сам он признаѐтся: «С закрытыми глазами могу сделать костюм любой эпохи, национальности, профессии. Поэтому и не совершаю ошибок в моде».

Плисецкая, приезжая в Париж, очень часто останавливается в доме Кардена. К этому времени он открыл в замке маркиза де Сада домашний театр и Театр «Эспас Карден», который и сегодня существует в Париже. Он постоянно «баловал» Плисецкую своими новыми моделями. Тем не менее потом она оплатила почти все наряды, предоставленные ей кутюрье.

Своѐ 80-летие Плисецкая отмечала в Москве, Токио, Мадриде и Лондоне. Торжества продолжались в Париже, в театре Кардена.

Праздник был ослепительно-великолепным, как это всегда умел делать Карден. Публика (было свыше 700 гостей) ломилась в театр. Это были «сливки» не только Парижа. В гала участвовали звѐзды мирового балета, среди которых были Светлана Захарова, Ульяна Лопаткина, Илзе Лиепа, Ирма Ниорадзе, Андрей Меркурьев, Илья Кузнецов, Марк Перетокин, Мари-Клод Пьетрагалла, Джиджи Качуляну, Жозе Мартинес и другие.

Интересно признание Кардена после их 35-летнего знакомства. О Плисецкой он заговорил как кутюрье: «Я не побоялся бы назвать её эталоном

безупречного вкуса, причѐм не только на сцене, но и в повседневной жизни, вообще в любом своём проявлении. Если пользоваться терминологией кутюрье, она – идеальный манекен, ибо немедленно входит в тот образ, который должен воплотить, примеряя на себя платье, костюм, ансамбль со всеми аксессуарами. Поскольку всё это создано исключительно для неё, она, если воспользоваться теперь уже театральной терминологией, играет саму себя – так органично, словно водила моей рукой, а я диктовал ей, как надо пользоваться нашим общим творением».

«Это – мой балет!»

«Побывав летом 1974 года один день в Дубровнике – там шѐл большой фестиваль, – я ненароком попала на балетный вечер, – вспоминала Плисецкая. – Душка Сифниос танцевала бежаровское «Болеро». Это было невообразимо хорошо. Я сошла с ума. Бредила. «Болеро» должен стать моим. Пускай я не первая. Я стану первой. Это – мой балет. Мой!..»

Теперь уже Плисецкую нельзя было остановить. Она пишет письмо Бежару, ждет ответа, не получает его и вдруг...

Пред тем, как продолжить рассказ, давайте вернёмся к истокам создания самой музыки «Болеро».

Знаменитая балерина Ида Рубинштейн не случайно обратилась к музыке этого композитора. Она как истинный художник почувствовала в его музыке то, что она хотела реализовать как танцовщица. И все исследователи творчества Равеля подметили в нём это же. «Гармония Равеля... имеет ярко выраженную жанровую основу, особенно танцевальную», – замечает музыковед Ю. Холопов. И. Мартынов пишет о частом использовании форм и ритмов классических танцев.

Итак, великолепная Ида Рубинштейн заказывает Равелю эту музыку. Роскошная танцовщица, блиставшая в партиях Клеопатры и Зобеиды, была украшением «Русских сезонов» Дягилева. Фокин поставил для неё танец Саломеи, которым она сводила с ума театральную публику Петербурга, Парижа и Лондона.

И вот в 1928 году для неё Равель пишет «Болеро». Созданию музыки предшествовал разговор композитора с балериной в Париже.

Кстати, в письме Равеля к испанскому композитору Нину проскальзывает и намѐк для будущего постановщика «Болеро». «...Нет формы в собственном смысле слова, нет развития, – писал Равель, – нет или почти нет модуляций; ...ритм и оркестр».

«Болеро» стало одним из известнейших произведений не только Равеля, но и всего европейского искусства XX века, – писал И. Мартынов, автор монографии «Морис Равель», – он оказался создателем музыки, доступной для самого неискушѐнного восприятия самого неискушѐнного слушателя. Никто не устоит перед красотой спокойно развѐртывающейся мелодии, стальным ритмом и неуклонным динамическим нарастанием. На поверхностный взгляд этим и исчерпывается содержание «Болеро». Однако в действительности сила воздействия музыки связана не только с тем, что лежит на поверхности.»

Магия музыки «Болеро» состоит в том, что она завораживает слушателя с первых тактов. Звучание её похоже на некий магический ритуал. В её начале уже зреет экстаз невиданной силы.

Все законы испанского искусства (музыки и танца) использованы Равелем в «Болеро»: постепенное нарастание силы звука, угрожающе медленное раскручивание эмоциональной «пружины» музыкальной драматургии.

Современники Равеля говорили о том, что мелодию «Болеро» можно было услышать «на всех перекрёстках, насвистываемую и напеваемую всюду на улицах Паприжа и провинции, в коридорах отелей за границей, в метро, повсюду». Тональное «однообразие» околдовывало, властно подчиняло себе слушателя.

Непрерывное crescendo пьесы Равеля возьмёт потом в основу Бежар, создавая свой балет.

Принцип нарастания звучности будет положен и в основу принципа нарастания звучности хореографической.

Интересно заметить, что танцевальную природу этой музыки подметил, правда, в духе времени и современных ему параллелей, поэт Н. Заболоцкий, писавший:

Танцуй, Равель, свой исполинский танец,
Танцуй, Равель! Не унывай, испанец!
Вражай, история, литые жернова,
Будь мельничихой в грозный час прибоя!
О, болеро, священный танец боя!

Среди отзывов на музыку Равеля критиками находим утверждения, что это «звуковой образ зла», выражение «мрачного беспокойства», «навязчивая идея кошмара».

«Разве не ужасно нарастание темы «Болеро», – пишет Ж. Катала, – упрямо, с методичной точностью метронома повторяющей себя, но так и не способной вырваться на волю? Разве не напоминает она узника, мечущегося по камере и безуспешно пытающегося разбить головой каменные стены?»

Феномен успеха «Болеро» у широкого слушателя начали изучать уже после премьеры 1928 года. Звуковые краски народной музыки вдруг обрели в новых сочетаниях и соединениях, интерпретациях и использовании новых музыкальных инструментов необычные очертания, свежую звуковую палитру.

Всем постановщикам премьеры спектакль виделся по-разному. Ида Рубинштейн и Бронислава Нижинская придумывали хореографию, Александр Бенуа – сценографию, а Равель фантазировал по поводу того, что «в декорацию надо было включить... корпус завода, с тем, чтобы рабочие и работницы, выходящие из цехов, постепенно вовлекались в общий танец».

Завод этот у композитора в какой-то степени ассоциировался с табачной фабрикой из «Кармен». Это учёл в своей постановке Серж Лифарь, которую он осуществил в «Гран Опера» в 1938 году.

Кроме Лифаря, «Болеро» ставили Антон Долин, Аврелио Милош...

Как только Бежар поставил «Болеро», он сделал его объектом постоянных творческих поисков. Сначала в этом танце-ритуале действовали балерина и группа мужчин-танцовщиков (именно в этом варианте балет репетировала Плисецкая). Потом он выпустил на подиум вместо балерины свою звезду Хорхе Донна. Заменял окружение женщинами и даже... оркестрантами (последнее решение, наверняка, снижало эмоциональный накал танца-ритуала).

Для партии танцовщицы в центре подиума он придумывал движения рук и ног, которые отсылали нас к выразительным средствам восточных танцев.

На сцене – большой круглый подиум. Вокруг него – группа мужчин. Солистка в центре круга начинает свои ритуальные движения. Они услож-

няются по мере нагнетания накала в музыке, пароксизм действия (если таковым его можно назвать) начинается с более активных движений «окружения» (синхронные выбросы вверх сцепленных рук).

Для солистки Бежар выбирает в кульминационный момент четвертую позицию для ног (ступни, направленные в разные стороны, параллельны друг другу) и строит движение на повторяющемся плие. Всё это похоже на движения орлицы, собирающейся взлететь ввысь. В этом рождается сильнейшая энергетика, которая заряжает танцовщицу в середине подиума.

Окружение дышит желанием, а танцовщица источает своими движениями манящий дурман эротического соблазна.

Плисецкая не зря почувствовала в «Болеро» (да ещё в постановке Бежара) свою тему. Ведь ещё Равель намекал в своей музыке на сюжетность «Кармен». Какой же путь надо было пройти самому намёку на сюжет от постановки «Кармен» Ролана Пети (с восхитительной Зизи Жанмэр) до «Кармен-сюиты» с Плисецкой? Постановку Пети даже запретили в Канаде «из-за некоторых слишком откровенных хореографических сцен». И почти в каждой постановке «Кармен» фигурируют то «стена сидящих зрителей» в таверне, то зрителей над ареной для боя быков. Может быть, не без этих предшественников родился у Бежара замысел его «Болеро»?

«"Болеро", – говорила Плисецкая, – невозможно запомнить, даже имея фантастическую память. Я её как раз не имею, я рассеянная. Если не знать музыки Равеля досконально, то кажется, что всё время идёт одна и та же тема, шестнадцать проведений. В Брюсселе, где я тогда находилась, мне снился танец, я вскакивала ночью, начинала делать движения, а запомнить порядок не могла. Это было что-то страшное. Перед тем, как выступать, я сказала Бежару: «Морис, вы знаете, я так и не выучила, я буду путать все комбинации». Он ответил: «Не можете же вы вернуться в Россию, не станцевав "Болеро"»?

...Я исполняла его более сорока раз в разных странах мира. В Москве, к сожалению, я танцевала «Болеро» всего один раз».

Спустя некоторое время после выступления Плисецкой в «Болеро» на торжествах, посвящённых 100-летию со дня рождения Равеля, балерина признавалась: «...Главная проблема для исполнительницы «Болеро», конечно, заключена в необходимости найти верную эстетическую (и эстетичную!) трактовку замысла Бежара. Хореографическая канва, сочинённая им, поразила меня своим, я бы сказала, ритуальным, магическим характером, строгой возвышенностью, очищенностью от всего мелкого, украшательского, от той ложной испанщины, с какой нередко связываются обыденные представления о постановке «Болеро» на балетной сцене».

Она репетировала днём и вечером. Ночью мозг давал сигналы к повторению уже выверенных движений.

«Выучить» (и всё же – выучить) такой хореографический текст за неделю могла, наверное, только Плисецкая. В процессе работы над спектаклем Бежар и к ней применил свой нехитрый, но проверенный приём. «Мы условились, – вспоминала Майя Михайловна, – что каждое движение будет иметь определённое название – «краб», «кошка», «желудок» и т. д. Когда в музыке шёл отыгрыш, я в упор смотрела на Бежара, а он мне условно показывал, что делать дальше».

Позднее Плисецкая скажет, что «Болеро» Бежара – «это гениальное произведение, одна из сияющих вершин мировой хореографии».

По силе эмоций, по накалу страстей такого балета у неё уже больше не будет.

Подношение Айседоре

«Когда я послала с ближайшей оказией Морису (Бежару. – С. Ч.) целый реестр своих предложений, он выбрал «Айседору». Айседора была идеей Щедрина. Мы по очереди тогда запоем читали жгучую книгу Дункан «Моя исповедь», ходившую в Москве ротапринтной копией с давнего рижского издания двадцать седьмого года».

Американская танцовщица Айседора Дункан родилась 27 мая 1877 года. Её имя связывают с появлением танца модерн. Она пропагандировала полную раскрепощённость тела в танце. Её высказывания в адрес классического танца граничили с эпатажем.

«Я враг балета, который нахожу лживым и возмутительным, пожалуй, даже считаю его лежащим за пределами искусства вообще», – писала она в своих мемуарах «Моя исповедь».

Тем не менее, далее она пишет: «Несколько дней спустя (после просмотра спектакля с участием примы императорских театров Матильды Кшесинской. – С. Ч.) у меня была прелестная Павлова, и я снова была приглашена в ложу, чтобы посмотреть эту балерину в очаровательном балете «Жизель». Несмотря на то, что эти танцы противоречили всякому артистическому и человеческому чувству, я снова не могла удержаться от аплодисментов при виде восхитительной Павловой, воздушно скользившей по сцене. За ужином в доме Павловой... я впервые познакомилась с Сергеем Дягилевым и вступила с ним в горячий спор об искусстве танца, как я его понимала, противопоставляя его балету».

Потом Айседора присутствовала на репетиции Павловой с Мариусом Петипа. «Три часа подряд, – вспоминала она, – я провела в состоянии полнейшего изумления, следя за поразительными упражнениями Павловой, которая, казалось, был сделана из стали и гуттаперчи. Её прекрасное лицо стало походить на строгое лицо мученицы, но она не останавливалась ни на минуту. Весь смысл этой тренировки заключался, по-видимому, в том, чтобы отделить гимнастические движения тела от мысли, которая страдает, не принимая участие в этой строгой мускульной дисциплине. Это как раз обратное всем теориям, на которых я поставила свою школу, по учению которой тело становится бесплотным и излучает мысль и дух».

Айседора танцевала в греческой тунике босиком. Пантомима, прыжки, бег на полупальцах, выразительная пластика – вот её палитра, с помощью которой она создавала свои спектакли-импровизации.

Дункан много выступала в Европе, и в России она появилась уже знаменитой артисткой.

В 1921 году в Москве она организовала свою школу танца. Этому предшествовало её письмо наркому образования правительства Советской России А.В. Луначарскому, в котором она писала: «Я ничего не хочу слышать о деньгах в обмен на мою работу. Я хочу студию-мастерскую, которая бы стала домом для меня и для моих учениц, простую пищу, простую одежду и возможность создавать наши танцы... Я хочу танцевать для масс, для рабочих людей, которым нужно моё искусство и у которых не будет денег, чтобы прийти на мои концерты... Я хочу танцевать для них бесплатно... Если вы принимаете меня на этих условиях, я приеду и буду работать для будущего Российской республики и её детей».

Рассказ об этой стороне жизни и творчества Айседоры Дункан необходим для точного понимания и восприятия спектакля, поставленного Бежаром для Плисецкой.

Айседора Дункан погибла в Монако. 14 сентября 1927 года она села в машину, из которой крикнула своим приближённым: «Прощайте, друзья, я отправляюсь к славе!»

«Шарф Айседоры, – пишет её биограф Фредрика Блайер, – попал в ось колеса и, затянувшись, сломал ей шею и раздавил гортань. Обезумевшая от горя Мэри вскочила в машину и помчалась с неподвижной танцовщицей в больницу Сент-Рош. Там врач сказал ей то, что она боялась услышать: Айседора Дункан была мертва».

Одноактный балет «Айседора» – это своеобразный портрет танцовщицы. Где-то мы угадываем переключку с рисунками современников, запечатлевших танец Дункан. Где-то танец создан по многочисленным мемуарам людей, видевших Айседору на сцене.

«Плисецкая и Бежар не цитировали её танцы, – пишет в своей книге «Прикосновение к идолам» Василий Катанян, – они решили передать новаторский дух и внутреннюю красоту великой американки. И новаторство Дункан подвигло на новаторство Плисецкую: в «Айседоре» мы впервые услышали её голос. Она вообще не раз говорила, что будущее балета в диффузии жанров: «Иногда я чувствую, что пора крикнуть: «хватит!» всей этой неоклассике и попытаться создать нечто совершенно новое – современный танец. Я продолжаю любить классику, ведь она сделала меня тем, что я есть. И без неё нельзя идти на эксперимент. Искать новое нелегко, ибо очень силен стереотип восприятия, но публику надо приучать к новому, каких бы трудов это ни стоило».

Мне пришлось увидеть этот балет на творческом вечере Майи Плисецкой 23 мая 1978 года.

В программе вечера было 2-е действие балета «Лебединое озеро». Её партнёром (Принц) был Александр Богатырёв. Уже во втором и третьем отделениях вечера мы сидели с ним рядом в партере. Он смотрел балеты «Айседора» и «Болеро».

Перед вечером Плисецкая (как она рассказывала сама) ходила по сцене с молотком и забивала гвозди, потому что «у нас это делать некому». Известно, как артисты балета смертельно боятся этих самых гвоздей. Не дай бог – и травма на всю жизнь.

Хореографическая сюита «Айседора» была поставлена на музыку Р. де Лиля, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса и А. Скрябина.

Бежар, по словам Плисецкой, гениально воссоздал сам стиль Дункан и всей её эпохи.

Я навсегда запомнил начало этого спектакля.

Из левой кулисы в белом хитоне появлялась Айседора – Плисецкая. Лучи прожекторов сосредотачивались каким-то адским фокусом на её фигуре. Вокруг шеи был обмотан шарф. Актриса медленно двигалась к центру сцены, а шарф какой-то бесконечной длины всё больше и больше натягивался и становился похожим не то на удавку, не то на какой-то фантастический саван, который отмерял последние секунды её жизни. В кульминационный момент этого трагического пролога раздаётся металлический скрежет, и наступает темнота.

Спектакль вобрал в себя все ощущения жизни и танца, которые были присущи Айседоре Дункан и оказались такими близкими Плисецкой. Это – полнота ощущения жизни, умение радоваться гармонии и красоте, видеть их в вещах самых простых, но по библейским меркам великих.

Вдруг мы видим её патетическую, пафосную «Марсельезу», пластические образы которой переключаются с барельефами Триумфальной арки

в Париже. Непосредственность и открытость Айседоры миру переданы в эпизоде «игры в камушки». А когда на сцене появляются маленькие девочки, зал однозначно воспринимает их как легенду о московской студии танца Айседоры. Они как цветы в поле жизни, по которому идёт, бежит, летит Айседора – Плисецкая. Для нас это уже – «бег времени» (как у Ахматовой), но и вечность как категория измерения нетленности высокого человеческого духа. Неистовость соседствует здесь с лиризмом, высочайшая трагедийность с переливающейся через край радостью.

Газета «Франс Суар» после премьеры «Айседоры» в Монако писала: «Майя позволила нам прикоснуться к гению. В облике легендарного персонажа она сияла словно истинный алмаз чистейшей воды».

«Айседору» смотреть было непросто и ещё потому, что, как всегда, Плисецкая не «сжигала мосты», а прокладывала новые пути. Она «собирала камни», которые разбросало время. И среди них – бриллианты, которые родились в горниле таланта великой Айседоры Дункан.

Замечательный театральный критик Наталья Крымова вспомнила о том, что после гибели двоих маленьких детей Айседоры великая актриса Элеонора Дузе прислала танцовщице телеграмму, в которой было всего четыре слова: «Дорогая, дорогая, дорогая Айседора».

«Плисецкая в своей «Айседоре», – писала Крымова, – танцевала нечто, связующее разные времена и судьбы. Лёгким движением она листала страницы чужой жизни и воскрешала эту чужую жизнь: читала строки Есенина, верила в народ и в революцию, создавала балетную школу для детей, любила русского поэта, и всё это – зная, что прекрасная утопия кончается страшной петлёй какого-то слишком длинного шарфа, запутавшегося в колёсах автомобиля. Конец Айседоры Дункан (как и смерть Есенина) – это смерти XX века, гибель прекрасных утопий, выразительная смесь европейской цивилизации с тем, что есть Россия. Потому по ходу спектакля и всплывают слова: дорогая, дорогая, дорогая Айседора...»

Бежар придумал так, что в конце спектакля одна из маленьких девочек-учениц подаёт Плисецкой букет полевых цветов. Из зала было видно, что в нём были ромашки и васильки.

Балерина принимала этот букет, а потом поворачивалась к залу и бросала эти цветы в партер зрителям...

Цветы эти символизировали сердце, душу, творчество и жизнь Айседоры Дункан. Жест этот в исполнении Плисецкой становился «автобиографичным». Это она в образе Айседоры отдавала нам своё великое искусство, которому посвящена вся её жизнь.

Последний подарок Бежара

В 1992 году молодой хореограф Джиджи Качуляну поставил в парижском театре Пьера Кардена балет «Безумная из Шайо» по мотивам драмы Жана Жироу.

Музыку к балету написал Родион Щедрин.

«Щедрин и Плисецкая, – писала об этом спектакле театральный критик Наталья Крымова, – наделены снайперским ощущением цели. На сцене в странную толпу, где есть и мусорщик, и жонглёр, и какие-то «члены комиссии по нефтяным ресурсам» (что грозит гибелью всему Парижу), вступает женщина с кошелёком и чёрным зонтиком в руках. В конце концов эта «безумная» вершит то, что следует сделать, когда в силу людской глупости или корысти прекрасный город вот-вот погибнет. «Видите, как всё было

просто. Достаточно, чтобы нашлась одна здравомыслящая женщина, и безумие, охватившее мир, сломало себе об неё зубы. « (Ж. Жироу. – С. Ч.). Этих слов, разумеется, нет в балете, но, что важно, Плисецкая играет и смысл этих слов и ещё нечто другое. Поверх текста и над ним она идёт, как всегда к трагедии, к высокому смыслу одиночества всех «безумных». Той жизни, которая держит эту женщину на земле, поистине нет конца. Она сидит в кресле, зажата подлокотниками. Внезапно смолкает музыка. И в полной тишине продолжают жить руки, живёт всё тело, глаза – с кем-то говорят, о чём-то молят, зовут, негодуют. Так, в абсолютной тишине, медленно уходя в темноту, сопротивляясь всякой тьме и продолжая жить в ней, Плисецкая кончает свой спектакль».

«Безумную» Плисецкая показала на сцене Большого театра на своём творческом вечере, который проходил в условиях комендатского часа (события октября 1993 года) 10 октября 1993 года.

На этом же вечере под аккомпанемент виолончели Мстислава Ростроповича она танцевала своего «Умирающего лебедя».

А «Айседора» и «Кармен-сюита» стали важнейшими компонентами творческого портрета балерины периода последнего десятилетия XX века.

Она и в свои 68 лет осталась выдумщицей, неутомимым в своём творческом поиске человеком.

«Две Кармен (и два Хозе) вышли на сцену в сценах из любимого ею балета, – писала газета «Культура». – «Вынужденный» этот приём стал потрясающей находкой. Кармен – молодая испанская балерина начинает танцевать. Кармен – Плисецкая смотрит на неё, сидя на стуле в знаменитой позе, – одна нога отведена далеко назад, другая поставлена на пальцы, рука, согнутая в локте, подпирает голову. Сколько планов возникает сразу – содружество (и соперничество) двух балерин, поединок героини с возможной соперницей, соперничество Кармен с самой собой... Но исход поединка с «другой» предрешён. Возможно ли «сопернице» выдержать её взгляд? Возможно ли зрителю перевести свой взгляд с неё, даже сидящей, на ту другую, что танцует? «Кармен-сюита» – замечательный балет, но это не тот балет, когда Кармен танцует другая. И подумать только – какое нужно мужество, чтобы вот так выйти на сцену и, подперев голову рукой, посмотреть в глаза своему прошлому и бросить ему вызов...»

Майя Михайловна подробно описала подготовку к своему вечеру, посвящённому 50-летию творческой деятельности в своей книге «Я, Майя Плисецкая...»

«Я готова, – завершает она свою книгу. – Стою в кулисе на мужской стороне. Фанфарные, ликующие звуки «Раймонды» громогласно озаряют театр, за спиной у меня одна из моих лебедей в сороковой раз привстаёт на пальцы, разминая ступни перед па-де-бурре.

Мгновенных пятьдесят лет, долгих-долгих-долгих пятьдесят лет я ожидаю своего выхода в последней кулисе на мужской стороне.

Может, сегодня – мой звёздный час?...»

20 ноября 1995 года состоялся юбилейный вечер Плисецкой в Большом театре.

Он начался полонезом с участием всех артистов программы вечера. Она выходила в своём чёрном бархатном платье от Кардена. В этот момент в зале (как, впрочем, и после каждого её выхода и выступления) творилось что-то невообразимое. Крики «браво!», скандирование, громоподобные аплодисменты, от которых покачивались жирандоли в ложах Большого.

В программу вечера Плисецкая включила как выступления мастеров балета, так и номера в исполнении совсем молодых артистов.

В честь балерины танцевали артисты Русского Имперского балета, «Нью-Йорк сити балет», Театра оперы и балета Висбадена, Пражской консерватории, Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Опера де Пари, Литовского театра оперы и балета...

Но главным были, конечно же, балеты (балеты!) в исполнении юбилера, отмечавшей своё 70-летие! И, прежде всего, – «Лебедь» Сен-Санса. Плисецкой пришлось два раза исполнить эту миниатюру. Взрыв аплодисментов сопровождал поклоны балерины.

Одноактный балет «Айседора». Однажды Плисецкая сказала: «Танец – прекраснейшее, наивыразительнейшее искусство. Считается, что в начале было слово. А я думаю, в начале был жест. Потому что слово не все понимают. А жест – все».

Публика с восторгом воспринимала каждый фрагмент этой потрясающей хореографической сюиты: игра с камушками, «Марсельеза», сцена с детьми.

Вечер завершался одноактным балетом «Курозуки» («Оборотни»), поставленным Морисом Бежаром.

Вот как сама Майя Плисецкая комментирует содержание спектакля.

«Основа сочинения Бежара – древняя японская легенда. Моя героиня, а может, мой герой – существо двуполое. Поначалу я – юноша-путник, к концу же превращаюсь в смерть несущую ведьму».

В спектакле участвуют Майя Плисецкая и солист Опера де Пари Патрик Дюпон. Мрачная фигура человека-паука (Дюпон), одетого в женское платье. Жуткий выразительный грим. Инферальность этой фигуры подчеркивается замедленными движениями, изощрённой пластикой. Существо находится как бы в засаде в предвкушении реализации своей тайной жестокости и кровожадности. При всей суетности отдельных движений, в том числе и мелких шажков, которыми существо пересекает сцену, в нём есть что-то самурайское, резкое и непредсказуемое.

На сцене появляется фигура путника (рядом слуга несёт чемоданы). Под зонтичной шляпой, надвинутой на лицо, нельзя увидеть, кто это.

Начинается танец человека-паука перед незнакомцем(кой). Некий бесполый дух грациознейшими восточными движениями совершает странный ритуал, страшные пляски. Он пластически гипнотизирует незнакомца (Плисецкую), превращает путника в сомнамбулу. Перед этим идёт их поединок.

Он побеждает, замораживает жертву, зомбирует её и убивает.

Звучат звуки барабана. Лежащая на земле фигура оживает и начинает свой танец.

Спектакль в спектакле продолжается тем, что Плисецкая сидит и медленно гримируется за гримировальным столиком.

Паук-людоед уже без ритуальных балахонов, палатков и густого пастозного грима продолжает свой танец. Агрессивная, полная сатанинской экспрессии пластика провоцирует путника (Плисецкую) на поединок.

В духе японского условного театра путник (Плисецкая) облачается в огромное, царственное кимоно и наказывает паука-людоеда. Он погибает.

«...Работе над «Курозукой», – говорила Плисецкая о Дюпоне, – он отдавал себя без остатка. Чутко внимал превосходнейшей музыке современного японского композитора Маядзуми. Мне кажется, что Дюпон сам чувствовал, что эта роль станет одной из самых запомнившихся в его репертуаре».

Более пяти часов длился ещё один юбилейный вечер Плисецкой, который состоялся в ноябре 2000 года.

Специально к этому вечеру Бежар сделал свой последний подарок великой балерине – балет «Аве Майя!».

Но обо всём – по порядку.

Перед этим вечером Белла Ахмадулина написала своё эссе, посвящённое Плисецкой.

«Как я люблю... как я люблю этот голос – трагедийный, нежный, всезнающий, незащищенный, иногда преодолевающий непроницаемое всемирное пространство, утешающий мою и многих, многих ночную тревогу и печаль. Кто-нибудь, сущий или предполагаемый, волен спросить: почему – голос? надобно ли соотносить его с предполагаемым совершенством образа, пленяющего, ранящего, чарующего, вознаграждающего наши влажнеющие зрачки не только при взгляде на Неё, но и при мысли о Ней? Из объёма дара, ниспосланного свыше и воплощаемого как невесомо надземный и многотрудный земной подвиг, нельзя вычестить ни одной черты. Каждое движение, каждый шаг, каждый звук голоса – изъяснения и действия души, их нерасторжимость не подлежит излишнему разъяснению, остаётся тайной влажнеющих глаз. Сколько раз я видела это!»

...Я заведомо, заранее, прикрыв повлажневшие глаза, вижу Её в счастливый день, на Её любимой сцене, вижу неисчислимые цветы, с которыми не смею сравнить мои слова, но пусть и они вместе с цветами все падают и падают к Её ногам».

Это было поздравление, которое можно было бы поставить эпиграфом ко всему юбилейному (три четверти века!) вечеру Плисецкой.

Зрители называли этот вечер «признанием Родины», «полной победой Майи Михайловны». И не потому, что президент Путин самолично вручал ей орден «Заслуги перед Отечеством» 2-й степени, но и потому, что стало реальностью то, что существовало всегда. Лучшие люди этой нашей Родины всегда понимали, кем является Плисецкая не только для отечественной, но и для мировой культуры.

В программе вечера были не только выступления звёзд балета самых разных стран, но и, например, балет «Кармен», поставленный Матсом Экком.

Сюрпризом вечера стал номер «Аве Майя» на музыку Баха – Гуно, последний подарок Бежара Плисецкой.

«Это Морис Бежар меня так поздравил с юбилеем, – сказала в одном интервью Плисецкая. – Как известна всем «Аве Мария», так и Бежар сделал «Аве Майя». Морис поставил номер на три минуты, маленький балет. Но «Умирающий лебедь» длится три с половиной минуты, так что разница невелика».

Получилось настоящее стихотворение в танце.

Она стоит спиной к зрителю. В руках у неё – два веера, они трепещут, как крылья большой, совершившей долгий и трудный перелёт птицы.

Руки с веерами то взлетают вверх, выражая устремление к небу, то устало падают вниз.

В этой трёхминутной миниатюре – вся жизнь и всё подвижничество балерины: надежды, открытость миру, утраты, преодоление, победа и грусть расставания. Она поднимается над суетой жизни, мелкими и большими предательствами, алчностью, вероломством.

И хотя танец происходит на крохотном пятачке сцены, кажется, что птица-грусть парит над миром. Каноны библейской мудрости заключены в каждом жесте, каждом душевном послании балерины.

В конце она медленно движется к рампе, ритуально складывает наземь веера-крылья и застывает в долгом прощальном поклоне.

Три вечера. О жизни и о себе

В год своего восьмидесятилетия Майя Михайловна появилась в Нижнем Новгороде.

Накануне творческого вечера Щедрина мы встречаем её и Родиона Константиновича на Московском вокзале.

Подходит поезд. Они едут в четвёртом вагоне. Поезд останавливается, и в проёме выхода появляется сияющая Майя Михайловна. Помогаем ей спуститься с высокой вагонной лестницы. Следом за ней появляется Родион Константинович.

Тут же она даёт интервью журналистам новостийных выпусков местных телеканалов.

Потом вместе с директором Нижегородской филармонии О.Н.Томиной они садятся в машину и едут в гостиницу «Волжский Откос», где им отведены апартаменты №360 на третьем этаже отеля.

На следующий день приезжаю со съёмочной группой в филармонию. Здесь надо сделать небольшое отступление.

За несколько лет до этого я собрался делать фильм о балерине.

Она с готовностью приняла моё предложение и посоветовала переписать плёнки хорошего качества с её выступлениями в спектаклях тридцати и сорокалетней давности. Я уже было договорился с обладателем этих плёнок. Была даже договорённость об оплате этой работы, деньги согласился дать нижегородский предприниматель. Посредником в переговорах с обладателем плёнок стала друг семьи Плисецкой и Щедрина Александра Борисовна Ройтберг.

Беседу с Майей Михайловной мы планировали записывать в Мюнхене, где Плисецкая и Щедрин снимают квартиру.

Но ... Один за другим случаются события, которые повлияли на то, что работа по подготовке к съёмкам этого фильма была мною приостановлена.

В автомобильную катастрофу попадает семья спонсора, а в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве в августе 2000 года погибает Александра Борисовна Ройтберг.

В своей книге «Тринадцать лет спустя» Плисецкая рассказала об этой истории.

«Вместе с тётей Родиона Диной Алексеевной Щедриной Шура шла по Тверской, неся сумку с щедринскими партитурами. На углу Пушкинской площади Шура сказала Дине, что боится движения автомобилей и спустится в переход. Позвала Дину последовать её маршруту. Та наотрез отказалась:

– Я перейду улицу здесь и буду ждать вас на той стороне у выхода из перехода.

Женщины поспорили, какой путь надёжнее. Но обе заупрямились и пошли через Тверскую врозь. Каждая выбрала свою судьбу. Было 6 часов вечера, 8 августа 2000 года. Дина уже перешла на другую сторону улицы, когда раздался взрыв.

...Войдя в дом, первым делом включила телевизор. Что говорят про взрыв? Какие убийцы его сотворили? И вдруг увидела в хроникальных кадрах распластанное ничком тело в хорошо знакомых штанах в полоску. Тех самых, в которых была Шура в свой последний земной день на углу Тверской. Сомнений не было. Шура погибла. Утрата для всех нас была горька и невосполнима.»

После этого один умный человек мне сказал: «Чуянов, остановись. Где первый, второй, там и третий».

Прошло несколько лет, и я вернулся к идее съёмок трёхсерийного фильма о Майе Михайловне.

Название пришло как-то само: «Майя Плисецкая о жизни и о себе».

Самое лучшее было не ехать ни в Мюнхен, ни в Москву, ни в Вильнюс, а использовать её приезд в Нижний Новгород на творческий вечер Родиона Щедрина, который должен был состояться в апреле 2005 года в Кремлёвском зале Нижегородской филармонии.

Репетиция в зале филармонии уже началась, но Плисецкой в зале не было. Директор филармонии Томина предлагает позвонить ей в гостиницу. Звоню.

– Доброе утро, Майя Михайловна !

– А-а... Доброе утро, Серёженька!

– Как отдохнули?

– Всё хорошо.

Предлагаю ей свой план съёмок большой беседы, которая войдёт в основу трёхсерийного фильма. Она как-то вяло отговаривается, что, дескать, во второй половине дня состоится их с Щедриным пресс-конференция в пресс-центре филармонии. «Что же, там будут те же вопросы?», – резонно спрашивает она меня. «Нет, – говорю я, – у меня будут совсем другие вопросы. Там соберутся люди, которые вас не очень хорошо знают, а я буду задавать вопросы человека, который вас знает очень давно».

Кажется, действует, и она даёт согласие на отдельную встречу в номере гостиницы.

Дверь в номер мне открыла и тут же вышла горничная, которая прибиралась в нём.

Вижу издали, как Майя Михайловна наносит «последние штрихи», стоя у зеркала. Она – в жакете прямого покроя и узких брючках. Очень благожелательна и весела.

Студийный оператор «разматывает» свою аппаратуру, устанавливает штатив для видеокамеры. Пока он готовится к съёмкам, Плисецкая говорит о том, что её юбилей (возраста она не скрывает) хотят отметить в Японии, Большом театре, и к этой дате готовится и Пьер Карден.

– Вот всё-таки Большой театр – мой театр. Я ему отдала пятьдесят лет своей жизни. Недавно вошла в него и думала: «Вот это – мой театр». Я танцевала во многих театрах, но всё-таки именно Большой остаётся моим театром.

Я спрашиваю её, с какого года она знакома с Пьером Карденом. Она отвечает, что с 1971 года.

– А мы с вами знакомы с 1975 года, – говорю я.

– О, у нас с вами тоже юбилей, – смеётся Майя Михайловна.

Наш разговор начался с темы, которая, казалось бы, не имела никакого отношения к искусству.

– Как вы относитесь к деньгам?

– В каком смысле?

– Считаете ли вы, что их должно быть у человека много или что их должно быть столько, сколько есть? Или их надо зарабатывать больше и больше?

– Всё, что вы сказали, всё годится. Когда деньги есть, это очень хорошо. Но так получается, что есть деньги – плохо (их надо куда-то потратить), нет денег – тоже плохо. Всё время из-за той и другой ситуации возникают проблемы и заботы. Нет денег – это очень жалко. Надо, чтобы они были. Никто и не знает, сколько их надо. Потому что когда деньги есть, хочется

что-то на них сделать, а если их нет, то, естественно, делать что-то не на что. А если всё-таки ответить однозначно, то хорошо, когда они есть.

– Можно сказать, что вы – деловая женщина?

– Я на сто процентов неделовая!

– У вас столько забот, столько дел... Или вы в это понятие вкладываете нечто другое?

– Я никогда не делаю «дела», потому что я это, к сожалению, не умею. И если у меня что-то получается, то это только потому, что мне помогают.

– А организация концертов, спектаклей, поездок?

– Я к этому не имею ровно никакого отношения.

У нас так привыкли, так приучили – надеяться на государство. А ведь девяносто девять процентов всего, что творится на свете, – это всё частное. До революции были частные театры. Государственными были только Императорский Большой театр в Москве, Мариинский в Санкт-Петербурге и Малый театр в Москве. Это были императорские театры. А другие театры – в том числе, например, театр Зимина – были частными.

Знаете, когда государственное – это всегда получается хуже. Это было сорок и тридцать лет назад. Та же самая ситуация и сегодня. В Англии на мой вопрос, почему это – плохо, мне отвечают: «Потому что – государственное».

Человек везде одинаковый. Это только считается, что тут он – один, а там – другой. Ничего подобного.

И театры тоже должны быть частными, потому что государство не может всё содержать. В Японии всё работает, всё прекрасно функционирует, потому что там – всё частное. В маленьких городах, почти деревнях с населением в 80–100 тысяч человек работают колоссальные театры, в которых можно ставить оперы Вагнера. Там огромные декорации. И таких театров сотни. В каждом маленьком городе частным образом построен большой театр.

В Америке труппа Баланчина всю жизнь жила на деньги Форда. На них созданы все спектакли этого театра. А мы всё ждём, что государство нам сделает. У нас вот такое воспитание. Мы сидим и ждём, что кто-то должен прийти, кто-то должен нам сделать.

– В Лувре целое крыло, которое занимало Министерство финансов, освободили и дали дополнительные площади под экспозиции величайшего музея мира. У нас же наоборот – новые ведомства плодятся и забирают для себя старинные особняки. Это идёт от бескультурья наших чиновников?

– Конечно, присутствует и бескультурье, и алчность. Никуда не денешься от этого. Всё зависит от людей. Даже не от системы. Просто человек – честный или нечестный, плохой или хороший. Система здесь ни при чём.

– Были ли в вашей жизни обстоятельства, которые оказывались сильнее вас?

– Конечно, были, когда меня КГБ не выпускал за границу. Эти обстоятельства сильнее меня намного.

– А о чём вы в это время думали? Что наступит время, когда будут выпускать и я подожду?

– Никто не ждал, что будут выпускать. Никто не ждал, что советская власть лопнет. Это свалилось на нас как снег на голову. Мы не думали, что такое может быть. Даже в голове не было мысли, что всё это произойдёт.

Разрешили – не разрешили, разрешили постановку, разрешили поехать, разрешили открыть рот – вот так и жили. Мы и не думали, что всё это закончится.

Но человеку угодить нельзя. Сейчас можно всё: поезжай, куда хочешь; говори, что хочешь, а кричат, что нет свободы слова. А что ещё человеку

надо? Я не понимаю. Срабатывает и жадность. Всё мало: давай это, давай то, подари это.

Когда-то мне Лиля Брик сказала: «У меня есть сестра Эльза. Если ей подарить весь земной шар, она скажет: давай ещё и Луну». То есть угодить человеку, удовлетворить его, видимо, нельзя. Конечно, не всех, но в общем – это так.

– Люди вступали в конфликт с властью. Скажите, много ли сегодня людей, которые могут сказать: «А я остался чистым в этих ситуациях»? А ситуации эти были трудными и подчас требовали от человека почти невозможных компромиссов.

– Кристально чистый человек – Щедрин, мой муж. Он прошёл через всё кристально. Но его обхаивают. Он всё равно плохой. Он сделал массу добра, и это забывают. Он через всё прошёл чистым, но всё равно – «запятнанный». Все умирают от зависти. Это – самое страшное, что есть, и самое реальное. Людьюми движет зависть.

– Родион Константинович много работает по заказу. Как это отражается на самом творческом процессе?

– Все великие композиторы работали по заказу: Моцарт, Бах, Гайдн... Наверное, именно поэтому они так много и сделали. Бах должен был каждую неделю выдавать новую вещь. Хочешь не хочешь, больной или здоровый, в настроении или нет – всё это не играло никакой роли. Он был обязан к сроку написать новый опус.

У Щедрина в эти последние 10–12 лет было много заказов, и он их все выполнил. Это всё очень серьёзно, трудно, требует большого напряжения. У него болят глаза. А ещё этот его каллиграфический почерк. Иногда говорят «Найтие должно быть». Всё это непрофессионально.

– Знакомо ли вам честолюбие, и входит ли оно в число двигателей творческой личности?

– Честолюбие есть абсолютно у всех. У кого-то больше, у кого-то меньше. Другое дело, что иногда у людей нет самолюбия, но это – совсем другое. У каждого артиста, у всякого творческого человека честолюбие должно быть.

– Вы вступили на страницах газеты «Культура» в полемику с театроведом Виталием Вульфом. Многие считают, что это ниже вашего достоинства, а вы всё-таки это сделали. Это для вас принципиально?

– Я должна была ответить Вульф, потому что он не менее десяти лет «кусал» меня везде. Я понимала, что если не «дать по зубам», то он не заткнётся. Я говорю абсолютно точным языком. Было четыре публикации, и они у вас есть. Они тоже могут фигурировать в вашей книге. Это тоже о чём-то рассказывает, и это не только моя биография.

Вы знаете – помогло.

У меня это не первый раз. Я ответила Васильеву, и он тоже отстал. Он трижды выступил против меня по радио, и я ему ответила в «Аргументах и фактах». Он отстал.

Есть такой модельер Зайцев. Он врал, врал, а я сказала, что он – Хлестаков. И он тоже отстал. Значит, так надо. Молчишь – тебя будут по голове бить.

– Азарт и творческая страсть – это для вас одно и то же? Мне кажется, что вы – творчески страстный человек и азартный одновременно. Или азарт – это своего рода спортивный параметр без духовного наполнения?

– Я совсем не азартный человек. Когда мы играли в карты в «дурака», мне было всё равно, проигрываю я или нет. Вот сходить с ума, что надо выиграть любую игру – это азарт.

Кстати, и на сцене бывает темперамент, а бывает азарт. Это не то же самое. Я знаю азартных артистов, у которых совсем нет темперамента. Когда нужен темперамент, его нет. Это – от природы.

У меня нет азарта, у меня есть артистичность. Когда я была маленькая, балетмейстеры занимали меня в своих постановках, потому что я была артистична. Когда мне было 9–10 лет, я в этом ещё ничего не понимала. Это шло изнутри. Когда идёшь изнутри, я это чувствую, и это передаётся в зал. Если зал холоден, значит я ничего не дала изнутри. Это объяснить нельзя. Это дыхание в зал идёт или не идёт, берёт за горло или не берёт.

– **Что вас привлекает и что отталкивает в людях? Это всегда интересно, потому что говорит о человеке, раскрывает шкалу его ценностей.**

– Ценностей у меня много. Меня отталкивает враньё, неискренность, не говоря уже о подлости и зависти. Люди идут на всё из зависти. Вообще, я думаю, что главное, что есть плохого в человеке, это – завистливость. Каждый считает, что если ты сделал что-то, а он – нет, то ты у него отнял, хотя ты к этому никакого отношения не имеешь.

Причём завистливые люди есть не только в твоей профессии, но даже совсем незнакомые люди, не имеющие совершенно никакого отношения к искусству, ненавидят кровно. Я уже не говорю о коллегах. Люди, в общем, движимы тщеславием.

– **Как происходит у вас творческий процесс, когда у вас бывают потери и ошибки?**

– Досадую, как сумасшедшая, если я делаю ошибки, и в этот момент не просто плохо отношусь к себе, а даже ненавижу себя. Глупо, необдуманно, безобразно злюсь на себя.

– **Это вам помогает собраться?**

– Ничего не помогает. В какой-то момент – да, а в следующий раз происходит опять что-нибудь.

– **Какова цена ваших жизненных и творческих побед? Она – высокая, или Бог даёт, и всё получается?**

– Я не скажу, что за свои победы я заплатила какую-то адскую цену. Ничего подобного. Я счастлива тем, что занимаюсь любимым делом. Я вообще считаю, что человек, который занимается любимым делом, – счастливый человек.

– **Иногда говорят, что без страданий, без преодолений, творческая личность не может состояться...**

– Без страданий, без переживаний жизни не бывает. Они бывают большими, малыми, по пустякам, по-серьёзному. Кому-то эти страдания придают силу, если есть большая внутренняя энергия. А других они ломают. Один от такой жизни сломается, а другой выстоит. Характер – от природы.

– **Как вы относитесь к бытовому комфорту?**

– Хорошо, если он есть. Но не надо никаких излишеств, они утомляют. Я люблю, чтобы было всё, что надо, а излишества совершенно необязательны.

Мы живём на три дома: Москва, Тракай, Мюнхен. И везде – минимум. Самое роскошное наше жилище – в Тракае, но тоже – без излишеств. Это наш дом. Там всё красиво, чисто убрано, никаких ценностей, за которые можно дрожать, что их украдут. Слава Богу!

В Мюнхене мы снимаем дом. Раньше о таком жилье говорили: «меблированные комнаты». У нас там всё хозяйское – стол, тарелки, шкаф, кровать. Всё – неудобное, но хозяйское, не наше. Захотели уехать – собрали свои вещи и уехали. Всё чужое, но это – лучше.

В Москве мы живём нормально, но почему-то если кто-то приходит, то говорит: «Ой, как скромно...»

Вот этот номер, где мы с вами разговариваем. Он шикарный. Может быть, даже не нужно столько комнат. Что в них делать? Вот, например, есть стол. Очень хорошо было бы, как во всех гостиницах, что-то написать, но бумаги здесь нет. Это не излишества, а необходимость. Сегодня хотела что-то написать, но бумаги здесь нет. Надо, чтобы было элементарное, что может понадобиться человеку. Скажите, а вот эта тысяча бокалов зачем? (Показывает на сервант, уставленный бокалами разной величины. – С. Ч.)

– **У вас – имидж смелого человека, идущего с открытым забралом навстречу многим жизненным проблемам. Но вы всё-таки чего-то боитесь или вы философски относитесь к сложным жизненным ситуациям?**

– Можно сказать, что боюсь. Я боюсь за здоровье Щедрина. Мне больше ничего не надо. Это самое дорогое, что у меня есть. А за самое дорогое, получается, что боишься.

– **У вас есть свой зритель. Каким вы его видите? Каким знаете его многие годы?**

– Мой зритель – добрый и не очень добрый. Мой зритель требует от меня максимум отдачи. Я вам скажу, что не могу обижаться на зрителя всего земного шара. Я не знаю, кому отдать предпочтение. У меня был просто фантастический успех в Аргентине. Там просто как на футболе кричат. После «Кармен» одна балерина включила магнитофон с часовой кассетой. Она закончилась. Значит, овации длились более часа: орали до хрипоты, и был фантастический успех. Я могу сказать, что 4 раза на «бис» я танцевала в Лиссабоне в Португалии. Можно было, наверное, и ещё, но я не знала, что делать, потому что выходила из разных кулис, делала другим номер... Я не люблю повторять одно и то же. По три раза я танцевала на «бис» в Москве и Токио.

– **Когда вы в дороге, как вы себя чувствуете? Вы спокойно спите в самолёте или поезде?**

– Насчёт «спите» – это очень трудно. Я сплю всё время с какой-то помощью. Всю жизнь я пила снотворное. Сейчас, между прочим, это сделать легче. Сейчас есть такие ярко-голубые немецкие таблетки (это концентрат валерианы). Две таблетки я принимаю и сплю. Не всегда, но они помогают.

Конечно, сейчас приходится обращаться к врачам чаще, потому что надежды на себя стало меньше. Раньше я думала: «А, ладно, пройдёт...» Сейчас уже, может быть, и не пройдёт. С возрастом появилась осторожность.

– **Когда вы встречаетесь с кем-то, сразу ли вы понимаете, что за человек перед вами?**

– Иногда это случается с первого взгляда. В прошлом (2004-м. – С. Ч.) году я упала в Риме и «порвала» коленку. В Риме я была председателем жюри конкурса и отправилась награждать победителей. В Риме много старинных мостовых, мощёных булыжником. Одна из таких мостовых была мокрая. Поехала моя нога, вторая – наверх, и – всё. Был треск. Я сразу поняла, что порвала колено. Не надо было никакого рентгена.

Меня через разные аэропорты отправили в Вильнюс. Даже где-то везли на тачке.

Приехали в Вильнюс, и Щедрин в полном отчаянии позвонил в течение дня всем медицинским светилам Мюнхена. Там действительно замечательные врачи. Там есть потрясающие спортивные врачи, которые ставят на ноги травмированных футболистов.

В Вильнюсе мне сказали, что у них тоже есть хорошие врачи. Назвали имя профессора Порванияцкаса. Но надо поехать, сделать рентген, посмотреть. Он может сделать хорошо такую операцию.

Я просто посмотрела прямо ему в глаза и сказала: он будет делать операцию. Я осталась там. Никакие светила, а именно он замечательно сделал мне операцию.

– **Вы верите в приметы?**

– Я не верю, но не знаю, как расценивать несколько событий в моей жизни.

Однажды я танцевала в Каире «Лебединое озеро». На следующий день сгорела Каирская опера – знаменитая опера, где была премьера «Аиды».

Потом я танцевала «Анну Каренину» в Испании. Там есть знаменитый оперный театр, который сгорел на следующий день.

На сцене знаменитого театра «Метрополитен Опера» давали заключительный концерт артистов Большого театра. Я тогда танцевала «Дон Кихот» и «Умиряющего лебедя». Исаак Стерн аккомпанировал мне на скрипке. Был огромный успех. На следующий день прогремел взрыв. Просто после меня как потоп, получается такое, что больше уже ничего нет на ровном месте.

Хотя я вообще-то не суеверный человек. А вот Щедрин верит во все приметы.

Но какие-то вещи бывают просто загадочными и странными. У нас Сталин не ходил на балеты. Единственный балет, который он посещал, был балет «Пламя Парижа», потому что там изображалась революция.

Медведевы написали книжку «Последние дни Сталина». Это очень интересная книжка и советую вам её почитать, если интересуетесь. И там написано, что 27 февраля 1953 года Сталин был на «Лебедином озере».

Я говорила, что это чушь, мы бы это знали. Этого совершенно не могло быть. Когда он бывал в театре, мы из-за пазухи доставали пропуска, потому что весь театр был наводнён «людьми в штатском». Это всем и всегда было известно.

А потом я посмотрела свой старый дневник, где было написано: «Вчера (то есть 27 февраля) танцевала "Лебединое озеро" с Лёней Ждановым». Мама мне сказала, что это был один из лучших моих спектаклей. Просто у меня это записано моей рукой. А на следующий день, как известно, со Сталиным случился удар. Опять он не выдержал меня. Я не знаю, что это такое.

– **Вы – роковая женщина...**

– Я сама боюсь...

– **Конечно, трудно говорить публично о самом близком человеке, но как вы оцениваете человеческие качества Родиона Константиновича Щедрина?**

– Он невероятно творческий, умный и бескорыстный человек. Он себе сделал столько плохого, сколько ни один человек на Земле себе не сделал. Он никогда не думает о последствиях. Он людям говорит в лицо то, что думает. Я считаю, что это безобразие, потому что они ему потом мстят так, что не отмоёшься.

Это – его сущность, и здесь ничего не поделаешь. При этом он очень помогает людям. Мне-то он вообще сделал всю жизнь.

Он очень быстро выполняет замечательные вещи. Например, он совершенно потрясающе по заказу филармонии Нью-Йорка сделал изумительную оперу «Очарованный странник». Но у нас завидуют, у нас ничего не хотят делать.

Я считаю, что то, что сделано здорово, не пропадёт. Мы, исполнители, – это сегодняшний день, а созидатели – это завтрашний и послезавтрашний день.

Конечно, есть термоядерный талант. Работа художника, композитора, скульптора – это остаётся. А вот ты попробуй докажи, какой ты была на сцене... Да, теперь снимают на видео, но всё-таки это не то. Пролежала 52 года симфония Шуберта, и её нечаянно нашли. Не взял тлен шедевр. Это уже сделано.

В этот же день в Нижегородской филармонии прошла пресс-конференция Родиона Щедрина и Майи Плисецкой. Майя Михайловна говорила мало. Запомнилась её оценка современного состояния балета:

– Сегодня танцуют прекрасно. Внешне даже форма лучше у артистов балета, внешность лучше, фигура лучше, шаги огромные и отличная техника. Всё двинулось вперёд. Это как в спорте: старые рекорды уже побиты.

Теперь появляется много нового и интересного. Есть новые хореографы. Вот, например, Посохов из Большого театра. В своё время, когда он понял, что здесь ему в жизни ничего не светит, он уехал в Сан-Франциско нелегальным путём. А теперь он – один из лучших хореографов в мире. Сейчас его балет выдвинут на «Золотую маску». Вот такая эволюция произошла: было ничего нельзя, теперь – всё можно. Всё-таки здорово, что мы до этого дожили.

Сейчас он показал этот балет. Он замечательно поставлен, и это ни на что не похоже. И в то же время – это новая классика. Балет имеет успех у публики, а публику, наверное, трудно обмануть. Ей только можно внушить: «Не нравится? Наверное, ты ничего не понимаешь».

Если подействовало, значит, это хорошо и эмоционально.

Новый брэйк-данс... Просто изумительно, что они вытворяли. Я как член жюри не имела права им аплодировать, но я им аплодировала. Восемь мальчишек завязываются узлом. Они это не просто так делают, а стильно и артистично. Это всё новое, что развивается. Вся дешёвка с плохим вкусом не прививается. А если есть настоящий вкус и здорово исполнено, давайте кричать «браво!»

Классика тоже исполняется замечательно. Одна может быть претензия, что не слушают музыку и не очень считают, что нужно делать образ. Открутил 32 фуэте – и что? Пошёл человек домой после спектакля, и про него забыли, а надо оставить впечатление. Фуэте не оставит впечатление. А эмоциональное впечатление артист должен оставить обязательно.

...После разговора мы едем в концертный зал филармонии. Репетиция вечера Щедрина идёт полным ходом. На сцене маэстро Александр Скульский дирижирует симфоническим оркестром. Репетируют «Кармен-сюиту».

Майя Михайловна садится в пустом зале одна.

В зале – всего несколько человек.

Она – одна сзади всех. Прямая спина, шея чуть-чуть подалась вперёд. Она очень внимательно слушает музыку.

Вечером публика буквально неистовствует после каждого исполнения. Весь вечер проходит с огромным успехом. «Стихира» Щедрина потрясает своим богатством образных ощущений и ассоциаций. В музыке рождается образ Русского Севера с его безмолвным спокойствием, напряжённой и величественной тишиной сумрачных хвойных лесов, неторопливым течением студёных северных рек и покоем, непостижимой сакральностью северных монастырей – крепостей.

Я вдруг вспомнил, слушая «Стихиру», как плыл на небольшом судёнышке по Белому морю, и передо мной вставали стены Соловецкой обители.

Валуны, из которых были сложены его башни и стены формой своей, своими очертаниями перекликались с серыми со свинцовым отливом волнами холодного сурового моря.

Звуки «Стихиры» передавали почти физическое ощущение морских капель, летящих стрелами прямо тебе в лицо. Мне показалось – и тогда, в далёкие шестидесятые годы, над этим студёным морем под тяжёлыми осенними тучами звучали эти же звуки старинных русских роспевов. Вода обжигает почти с такой же силой, как сполохи огня в пламени русской истории. Вот это я почувствовал в четырёх стенах зала Нижегородской филармонии, где звучала «Стихира» Родиона Щедрина.

...После окончания «Кармен-сюиты» в центре оркестра начали «расчищать» от пюпитров площадку. Публика не знала, какой сюрприз ей преподнесут в этот вечер.

Наконец, гаснет свет, а потом он вспыхивает с новой празднично-великолепной силой.

На крохотной площадке стоит спиной к зрителю Майя Плисецкая. Звучит музыка, и она начинает свой танец «Аве Майя».

В зале люди утирают слёзы, потому что понимают – это прощание со сценой великой актрисы XX и XXI века.

Литпроцесс

Кирилл АНКУДИНОВ

Литературный критик, поэт. Родился в 1970 году в Златоусте. Окончил Адыгейский государственный университет, там и преподаёт в настоящее время на кафедре литературы и журналистики. Кандидат филологических наук (диссертация «Русская романтическая поэзия второй половины XX века»). Публиковался в журналах «Октябрь», «Москва», «Литературная учеба», «Новый мир», «День и ночь» и др. Живёт в Майкопе.

ПОЭТ И ТОЛПА

(Поэзия и «массовая культура»: соприкосновения)

В моём городе Майкопе есть различные «книжные точки».

Есть старые магазины с советским прошлым (они славятся хорошей букинистикой).

Есть уличные крытые книжные павильоны (они открылись два-три года назад, но нынче – сходят на нет, закрываются). Есть «тематические лавки» – «по христианству» и «по эзотерике». Специфических «магазинов интеллектуальной книги» (как в Москве) у нас, конечно, не имеется. Зато есть «крупные торговые пункты неместных сетей», «книжные супермаркеты». Сначала было два таких супермаркета, затем они закрылись; сейчас у нас появился новый магазинчик «супермаркетного типа». Пока он жив.

В «супермаркетах» выбор современной литературы относительно неплохой: встречаются и рафинированные современные прозаики – такие как Иличевский, Терехов или Лена Элтанг.

И в «старых магазинах», и в «павильонах», и в «супермаркетах» – существуют отделы или полки поэзии. Они наполнены книгами исключительно трёх категорий (если вычесть сборники местных авторов):

1. Классика (чаще всего, в подарочных сериях). Вплоть до Иосифа Бродского (который сейчас – тоже классик).
2. Синкретика. То есть – поп-поэзия, бард-поэзия и рок-поэзия.
3. Юмористика разного рода.

Современной неместной поэзии, которая была бы несинкретической и (или) неюмористической, в «книжных точках» Майкопа нет. Вообще.

Вот они – очевидные границы между «высокой культурой» и «массовой культурой» в современной поэзии. Эти границы безотносительны к тому, что многие поэты хотели бы их пересечь в одну или в другую сторону. Если современные стихи «не поются и не смеются» – значит, их автору место за пределами майкопских «книжных точек» (будь он хоть сверхтрадиционалист).

Что поделывать: реки текут по тем руслам, по которым им удобнее течь.

Когда Николай Некрасов уповал на то, что мужик «...не милорда глупого – Белинского и Гоголя с базара понесёт», он забывал, что «Белинскому и Гоголю» как культурному явлению – два десятилетия от роду. А «милорду глупому» – тысячелетие по минимуму, поскольку «милорд глупый» вышел из Византии (а, возможно, из Древнего Рима или даже из Древней Греции).

И стихи тоже – были «песнями и шутками» задолго до того, как они стали «лирическими собеседниками избранного читателя».

Стихи помнят о своём давнопрошедшей жизни и всегда готовы вернуться к ней.

Поэт – как бы он ни бежал «в широкошумные дубравы» – неизменно связан с «толпой». То есть – с массовой аудиторией. Он пребывает между двумя полюсами – между «полюсом попсы» и «полюсом графомании». Попсовик – тот поэт, стихи которого потребляют все. Графоман – тот поэт, стихи которого не потребляет никто. В той мере, в какой поэт – не графоман, поэт не может не учитывать свою (возможную) аудиторию. А поэт, живущий в XXI веке, не может не учитывать массовую аудиторию и массовую культуру.

В Древней Греции, в Древнем Риме и в Византии института «массовой культуры» не было, потому что там не было института «высокой культуры». Две культуры тогда были едины. Они были едины даже в XIX веке – по крайней мере в России. Теоретически русская «массовая литература» могла бы сформироваться в 30-е годы XIX века – на базе позднего романтизма. Но Белинский убил эту перспективу в зародыше. Первая русская «массовая вербальная письменная культура» (а именно «массовая журналистика») появилась только в восьмидесятые годы XIX века (как следствие отмены крепостного права и пореформенного расширения слоя грамотных людей) – с «Московским листком» Н. И. Пастухова и прочими «городскими листками». В начале XX века «массовую культуру» пополнил синемаграф (тогда никто не подозревал, что в будущем кино сможет стать элитарным жанром искусства). В те же годы дала о себе знать русская массовая литература: Чарская, Вербицкая, Брешко-Брешковский, «псевдо-Холмсы» и «псевдо-Пинкертоны» неизвестного авторства (см. обзоры молодого Корнея Чуковского – первого отечественного комментатора «масскульты»).

А как обстояло дело с поэзией «серебряного века»?

Трудно сказать. Стихи Вячеслава Иванова – не «массовая культура» безусловно (несмотря на то, что Вячеслав Иванов уповал на массовость грядущей «соборной культуры»). А стихи Константина Бальмонта и Игоря Северянина – очевидная «массовая культура» (Бальмонт, пожалуй, в этом не отдавал себе отчёта, а Северянин – прекрасно это понимал). Индивидуалист Александр Блок ненавидел всё буржуазное (а «массовая культура» – буржуазное явление); но творчество Блока местами соприкасается с «массовой культурой» (не случайно питерские проститутки именovali себя «незнакомками»). Несомненная «массовая культура» – ранняя Ахматова со всеми её гламурными «сероглазыми королями». И Гумилёв – близок к «мужскому гламуру»; однако Мандельштам (даже периода «Камня») – не «массовая культура». С кубо-футуристами не легче, не яснее, чем с акмеистами. Кубо-футуристы – это «панки серебряного века»; «жёлтая кофта» Маяковского – знак и приём поп-арта; стало быть, кубо-футуризм раннего Маяковского и Бурлюков – панк-поп-арт, то есть – «массовая культура». Но Велимир Хлебников – хотя бы по устройству собственной аутической личности – никак не мог принадлежать к «массовой культуре».

Вообще «серебряный век» не вполне сознавал себя в этом вопросе. Кое-что улавливал Николай Гумилёв. Вот что он сказал, рецензируя «Громокопийный кубок» Игоря Северянина в «Аполлоне»:

«Уже давно русское общество разбилось на людей книги и людей газеты, не имевших между собой почти никаких точек соприкосновения. Первые жили в мире тысячелетних образов и идей, говорили мало, зная, какую ответственность приходится нести за каждое слово, проверяли свои чувства, боясь предать идею, любили, как Данте, умирали, как Сократы, и, по мнению вторых, наверное, были похожи на барсуков... Вторые, юркие и хлопотливые, врезались в самую гущу современной жизни, читали вечерние газеты, говорили о любви со своим парикмахером, о бриллиантине со своей возлюбленной, пользовались только готовыми фразами или какими-то интимными словечками, слушая которые каждый непосвящённый испытывал определённое чувство неловкости. Первые брились у вторых, заказывали им сапоги, обращались с официальными бумагами или выдавали им векселя, но никогда о них не думали и никак их не называли. Словом, отношения были те же, как между римлянами и германцами накануне великого переселения народов.

И вдруг – о, это «вдруг» здесь действительно необходимо – новые римляне, люди книги, слышали юношески-звонкий и могучий голос настоящего поэта, на волапюке людей газеты говорящего доселе неведомые «основы» их странного бытия».

Гумилёв, отметив важное общественно-культурное явление, всё же не додумал свою мысль до конца. Он не осознал, что разделять общество на «людей книги» и «людей газеты» – методологически неточно. Книга и газета – не более чем информационные инструменты; книга может быть массовой, а газета – элитарной. И Гумилёв не предвидел, что сам он – с его «изысканными жирафами» и «капитанами» – послужит будущей «массовой культуре», что его стиховедческие теории и ратные подвиги забудутся, а в памяти потомков он останется – прежде всего – «золотом с кружев, с розоватых брабантских манжет».

Формирование «массовой культуры» осуществляется по мало предсказуемым путям-траекториям. Особо закрученными эти траектории становились в условиях советского социума: государство ставило на пути рек культуры – плотины и прочие искусственные преграды, а реки всё равно текли по тем руслам, по которым им было удобнее течь, – но с прибавлением фактора «государственных плотин и прочих искусственных преград».

...В конце 50-х – начале 60-х гг. XX века к советским читателям явилась «большая четвёрка поэтов» – Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Роберт Рождественский (иногда «четвёрку» дополняют синкретиком-бардом Булатом Окуджавой, что неправомерно – Окуджава принадлежал к старшему поколению, испытывавшему другой жизненный и социальный опыт). В шестидесятые годы слава поэтов, составлявших «большую четвёрку», была почти невероятной: достаточно сказать, что эти поэты на *самом деле* собирали тысячные стадионы слушателей. Такого явления никогда не было в истории поэзии, и некоторые причины популярности «четвёрки» крылись во внелитературных факторах социального и культурного свойства.

Пятидесятые–шестидесятые годы XX века – время формирования западной поп-культуры с её «индустрией кумиров»; в «шестидесятые годы» XX века в англосаксонском мире свершает становление рок-культура. Не полностью информационно отделённый от «капиталистических стран»

Советский Союз отставал от них на десятилетие как минимум: «культовые поп-звёзды» (к примеру, Алла Пугачёва) возникли в СССР только в семидесятых годах, а «русская язычная рок» вышел из подполья лишь в начале восьмидесятых годов. «Большая четвёрка» отчасти восполнила временно пустовавшие в СССР вакансии от поп-культуры и рок-культуры, заняла роли и места Элвиса Пресли и Джона Леннона – хотя заняла их ненамеренно, по исторической случайности, по принципу смежности и взаимного дополнения культурных явлений.

Можно ли отнести «поэзию большой четвёрки» к проявлению «массовой культуры»? Попытки такого рода производились. В 1980 году литературный критик Вадим Кожин, принадлежавший к идеологическим противникам «поэтов-эстрадников», в предисловии к сборнику «Страницы современной лирики» разграничил «лёгкую поэзию» («стихотворчество») и «серьёзную поэзию» («собственно поэзию»). К «серьёзной поэзии» он отнёс творчество «тихих лириков», а к «лёгкой поэзии» – стихи Андрея Вознесенского и прочих «эстрадников». Однако эта попытка ценностного разграничения поэзии не получила одобрения, а Вадим Кожин был обвинён оппонентами в субъективизме и в «волевом воздействии» на читательскую аудиторию. Дело в том, что в Советском Союзе была своя парадигма «советской массовой литературы» – она ограничивалась совокупностью «жанровых литератур» – милицейского детектива, научной фантастики, приключенческой литературы, «сатиры и юмора» – и занимала маргинальное место в поле официальной литературной оптики (но не в читательских предпочтениях). «Эстрадная поэзия» к этой парадигме, конечно же, не относилась.

Однако некоторые социальные и культурные роли «советская эстрадная поэзия» играла не случайно, а осознанно. Так, поэзия Евгения Евтушенко заменяла «журналистику колумнистского типа», недостаточно развитую в СССР, в отличие от «Запада». Журналистский текст отличается от литературного текста тем, что всегда отталкивается от конкретного социального значимого факта (или явления), тогда как литературный текст (за редкими исключениями) возрастает на вымысле. Поэтические тексты Евгения Евтушенко (почти всегда) – являются реакцией на социальную конкретику, и поэтому они – не что иное, как «журналистика в рифму».

«Журналистскую составляющую» поэзии Е. Евтушенко легко продемонстрировать на примере получившего в своё время известность колоритного стихотворения «Интеллигенция поёт блатные песни» (1978).

Интеллигенция поёт блатные песни.
Поёт она не песни Красной Пресни.
Даёт под водку
и сухие вина
про ту же Мурку, Енту и раввина.
Поют
под шашлыки и под сосиски,
поют врачи,
артисты и артистки.
Поют в Пахре писатели на даче,
поют геологи
и атомщики даже.
Поют,
как будто общий уговор у них
или как будто все из уголовников.

С тех пор
когда я был ещё молоденький,
я не любил всегда
фольклор ворья,
и революционная мелодия –
мелодия
ведущая
моя.
И я хочу без всякого расчёта,
чтобы всегда алело высоко
от революционной песни что-то
в стихе
простом и крепком, как древко...

Этот текст Е. Евтушенко написан не для того, для чего пишется лирика (скажем, лирика Пушкина или Блока), он написан для того, для чего пишется газетная статья. Этот текст – *журналистский* по базовой установке авторской задачи. В структурно-жанровом отношении он близок к «публицистическому комментарию», а точнее – к его конкретной разновидности – к «колонке» (к «колумну»). Автор текста берёт некое социально значимое явление и оценивает его – этим текст Евтушенко идентичен «публицистическому комментарию» как жанру. С поджанром «колумна» данный текст сближают две характерные особенности: во-первых, комментируемое явление пропускается через чётко выраженное авторское («евтушенковское») «Я», во-вторых, текст Евтушенко полемичен. При этом привкус полемичности тексту придан не идеей, а тематикой. Будучи ортодоксальным в идейном плане, текст Евтушенко сообщает о том, о чём в СССР не было принято говорить открыто (по крайней мере, в стихах). Этот текст одновременно – «правильный» (в идейном отношении) и «неправильный» (в тематическом аспекте). Евтушенко вообще был склонен к освещению запретных тем в ортодоксальной интерпретации – так в главе поэмы «Братская ГЭС» «Большевик» герой-повествователь инженер-гидростроитель Карцев, угодивший в сталинские лагеря, рапортовал не без мазохистского пафоса: «А мы рекорды били. Мы плевали, / что не снимали нас, не рисовали / и не писали очерков про нас». «Я» Евтушенко безусловно было связано с советской государственной идеологией – но не жёсткой функцией «профессионального пропагандиста», а гибкой социально-культурной ролью амбивалентного «журналиста-колумниста».

В советской журналистике 60-х–70-х гг. были «протоколумнисты» – политические либо социально-нравственные обозреватели; некоторые из них вели в газетах собственные колонки. Но всем им не хватало личностного начала, потому что они были взаимозаменяемыми «солдатами советской идеологии». Евгений Евтушенко претендовал на роль «советского Арта Бухвальда», колумниста с чётко выраженной, узнаваемой «авторской персоной» и с «собственным мнением» по каждому общественно значимому поводу. Советская журналистика не могла дать Евтушенко такую возможность – не потому что Евтушенко оппонировал государственной идеологии, а потому что социально-культурная ниша «советского Арта Бухвальда» была избыточно личностной. Советский Союз строил свою идеологию на установке «общего равенства»; появление «звёзд колумнистики» поколебало бы иллюзию равенства. И тогда Евгений Евтушенко реализовал себя не в журналистике, а в поэзии – в том сегменте культуры, где автору позволялось больше, поскольку избыточную

личностность (или иные не одобрявшиеся интенции) было возможно замаскировать «вольным лирическим порывом». Такой же «звездой журналистики в поле поэзии» был и Андрей Вознесенский. Если Евтушенко ориентировался на «колумнистику», то Андрей Вознесенский – на смежную ветвь западной журналистики – на «светскую хронику» (которой в СССР почти не было).

Деятельность Андрея Вознесенского и Беллы Ахмадулиной заполняла ещё одну культурную нишу – а именно нишу того типа «массовой культуры», который можно определить как «поп-арт». Не случайно Андрей Вознесенский нашёл общий язык с представителями интернационального левого поп-арта шестидесятых – такими как Ален Гинзберг или Энди Уорхолл; также не случайно тот же Вознесенский занялся опытами в области «визуальной поэзии» («изопами», «видеомами») – а ведь эта область принадлежит «поп-арту» (а не собственно литературе). «Эстрадные поэты» впрямь были «больше чем поэтами»; они были арт-персонами. Общество жадно интересовалось не только их творчеством, но и их одеждой и аксессуарами (клетчатыми костюмами Евтушенко, шейными платками Вознесенского, шляпками Ахмадулиной), их скандалами (притом не только общественно-политического свойства), перипетиями их личной жизни. Можно сказать, что эти поэты предвосхитили «эпоху культурной интерактивности».

Странная популярность «большой четвёрки» возникла не от хорошей жизни. Она была связана с противоестественным отсутствием в советском обществе некоторых социально-культурных явлений, которые *должны были быть* там и пришли-таки контрабандой «под видом поэзии». В постсоветских условиях прежних препон к осуществлению объективных культурных процессов больше нет; ныне мы видим реальных поп-звезд, рок-певцов, журналистов-колумнистов, арт-деятели; уже не существует необходимости маскировать их социально-культурные роли «поэзией». Дмитрий Быков – единственное частное исключение из ситуации, он работает на заброшенном социально-культурном поле Евгения Евтушенко по личным причинам – из избытка творческой активности (и этим, на мой взгляд, вредит себе как лирику). Ещё один нынешний «политический поэт» Всеволод Емелин – вообще вне «массовой культуры»: его творчество – продолжение «приговской линии» русского концептуализма.

Вообще «массовая культура» даёт не так уж много перспектив для поэзии – в структурно-типологическом отношении. При количественном обилии «масскультажных поэтических текстов» налицо концептуально-жанровая скудость «масс-поэзии». Слова поп-песен, слова песен низовых субкультур («русский шансон») и разнообразная юмористика в стихах – этим нелирическим (либо псевдолирическим) набором доселе ограничивались возможности «масс-поэзии». Не так давно появилась новая «точка взаимосвязи» поэзии с «массовой культурой». «Лирическое эстрадное ревю» было распространено в Европе и в США с давних пор; в нашей стране это явление получило популярность только на рубеже XX и XXI веков (в связи с театральными проектами Евгения Гришковца). Тогда же стали широко известны стихи-миниатюры Веры Павловой. Веру Павлову можно назвать предтечей отечественной «лирической эстрады»; однако звездой этого жанра стала её тёзка Вера Полозкова. Профессиональный статус Веры Полозковой можно определить как «фрилансерство», то есть независимую творческую деятельность, связанную с Интернетом. Личный дневник (блог) Веры Полозковой в июне 2013 года собирал около тридцати тысяч читателей, и в этом смысле поэтесса превзошла достиже-

ния «поэтов-шестидесятников», исполнявших свои тексты на стадионах; Интернет предоставил ей огромные возможности для творческой реализации. Вера Полозкова едина в трёх социально-культурных ипостасях: она – поэт, эстрадный исполнитель и блогер.

Поэзия Веры Полозковой раскрывает психологический мир нашей молодой современницы, погружённой в искусственную и фальшивую среду «гламура», но, в то же время, способной на подлинное чувство. «Гламурная эстетика» неотделима от поэзии Полозковой, однако в этой поэзии всегда присутствует пронзительный эмоционально-лирический импульс (он несёт в себе некоторую эстрадную обобщённость, но в его искренности сомневаться не приходится). Вера Полозкова для своих целей использует интонационные и стилистические достижения, разработанные «элитарной поэзией» девяностых годов, притом в самом закрытом её цехе – в среде авторов «Вавилона». Сложилась узнаваемая «полозковская интонация», неотличимая от интонации, скажем, ранней Полины Барсковой. Слияние «массовой поэзии» и «высокой поэзии» для Полозковой проявляет себя в единстве «масскультажного содержания» (высшего качества) и изысканной формы (постмодернистского происхождения). Вера Полозкова заставила лабораторный постмодернизм служить читательским массам, «национализировав» его.

Вот показательное стихотворение Веры Полозковой «Бернард пишет Эстер» (2013).

Бернард пишет Эстер: «У меня есть семья и дом.
Я веду, и я сроду не был никем ведом.
По утрам я гуляю с Джесс, по ночам я пью ром со льдом.
Но когда я вижу тебя – я даже дышу с трудом.
Бернард пишет Эстер: «У меня возле дома пруд,
Дети ходят туда купаться, но чаще врут,
Что купаться; я видел все – Сингапур, Бейрут,
От исландских фьордов до сомалийских руд,
Но умру, если у меня тебя отберут».
Бернард пишет: «Доход, финансы и аудит,
Джип с водителем, из колонок поет Эдит,
Скидка тридцать процентов в любимом баре,
Но наливают всегда в кредит,
А ты смотришь – и словно Бог мне в глаза глядит».
Бернард пишет «Мне сорок восемь, как прочим светским плешивым львам,
Я вспоминаю, кто я, по визе, паспорту и правам,
Ядерный могильник, водой затопленный котлован,
Подчиненных, как кегли, считаю по головам –
Но вот если слова – это тоже деньги,
То ты мне не по словам».
«Моя девочка, ты красивая, как банши.
Ты пришла мне сказать: умрешь, но пока дыши,
Только не пиши мне, Эстер, пожалуйста, не пиши.
Никакой души ведь не хватит,
Усталой моей души».

В виду этого текста возникает вопрос о модусе подлинности его содержания. Этот модус парадоксально двулик. Бернард, состоявшийся во всём, атрибуты его обеспеченной жизни – и, в то же время, ненависть Бернарда к себе, его любовь к Эстер – всё это и подлинно, и одновременно

фальшиво. Образы вроде «красивая, как банши» пребывают на грани вкуса, сигнализируя, что персонажи текста – не настоящие, а выдуманные. За кричащей сомнительностью «переписки Бернарда с Эстер» высвечивается авторское «Я» с несомненной жадой любви. И эта несомненность обеспечена психологической точностью картины, которую выстраивает авторское «Я». Можно сказать, что Вера Полозкова пишет о фальшивых, фантомных объектах, но именно в этом – правдивость её письма. Рассказывая о куклах «Бернарде и Эстер», она рассказывает о себе, о собственной кровотокающей душе – притом делает это убедительно, честно и тонко.

Существует ещё одна точка соприкосновения между «массовой культурой» и лирикой. Это – новоромантическая балладная поэтика, возникающая на скрещении акмеистической формы (в её «гумилёвском изводе») и фэнтезийного или (и) обобщённо-исторического содержания. Это явление настолько интересно и сложно, что требует отдельного подробного разговора.

Пожалуй, я отложу эту тему до следующего раза...

Андрей РУДАЛЁВ

Родился в 1975 году в городе Северодвинске Архангельской области. Окончил филологический факультет Поморского государственного университета, два года работал там же на кафедре литературы. После был охранником в ночном клубе, замредактором в рекламной газете, корреспондентом «Северного рабочего», пресс-секретарем Совета депутатов Северодвинска.

Участник Форумов молодых писателей в Липках. Лауреат литературной премии «Эврика!» (2006 г.). С критическими заметками выступает во множестве периодических изданий.

АННА АХМАТОВА: ЯВЛЕНИЕ ЧУДА

23 июня 1889 года родилась Анна Ахматова

Чтобы показать гениальность Пушкина достаточно одной его хрестоматийной строчки: «Мороз и солнце; день чудесный!» Соединение несоединимого производит чудо. Чудо нового дня, новой жизни. Через это чудо в стихотворении преодолевается замкнутость пространство и все наполняется светом. Гармонию чуда в простом, привычном, которая примиряет противоречия и поднимает над обыденной реальностью. Чудо разливается по всему Божьему миру и человеческому существу. Только гений мог вывести такую очевидную и в тоже время сущностную формулу. Гениальность стремится к синтезу, к созиданию мира и миров, к преодолению ограниченности и односторонности, к созданию из хаоса противоположностей нового космоса.

Пушкин – безусловный гений. Легкая проникновенность в суть, в малом, как зерне заключено многое, – пушкинская космогония.

Чтобы осознать значение и гениальность Анны Ахматовой, которой в этом году исполняется век и еще четверть, достаточно прочесть стихотворение «Молюсь оконному лучу», открывающее ее первый поэтический сборник «Вечер». Анна Андреевна написала его в двадцать лет.

На первый взгляд – обычная любовная лирика молодой девушки. Однако по этим тринадцати строчкам можно сделать вывод о укорененности поэтессы в отечественной православной культуре, об особом инстинкте веры, который проявляется в стихе. Это стихотворение тесно связано с традицией православной святоотеческой литературы и, в частности, с трудами святого Григория Паламы – одного из основоположников ведущего направления в религиозной мысли Византии XIV века, получившего название исихазм, которое оказало огромное влияние как на культурную, так и духовную жизнь России.

Конечно, не стоит думать, что молодая Ахматова зашифровывала в любовные строки православные образы и идеи. Здесь надо говорить именно об инстинкте веры – сопричастности поэта, его включенности в традицию, которая прорастает через поэзию. Как Пушкин не разумом, а прочувствованием дошел до формулирования чуда, так и Ахматова еще в достаточно

юном возрасте оказалась в состоянии обозначить стихом то, что передавали мистическими трактатами и молитвенными практиками многие века до нее. Такое живое ощущение реализма религиозного, сопричастности с ним:

Молюсь оконному лучу –
Он бледен, тонок, прям.
Сегодня я с утра молчу,
А сердце – пополам.
На рукомойнике моем
Позеленела медь.
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть.
Такой невинный и простой
В вечерней тишине,
Но в этой храмине пустой
Он словно праздник золотой
И утешенье мне.

Лирическая героиня молится, но ее молитва не совсем традиционна. Ее объект – луч. Причем луч не солнечный, а грубо материальный, овеществленный – «оконный». Он будто острый, режущий предмет, кинжал, разрубающий сердце пополам. Если солнечный луч дарует тепло, свет и в итоге жизнь, то «бледный, тонкий» луч здесь несет страдания, душевную боль.

Героиня находится в пустой комнате, единственный видимый выход за пределы замкнутого пространства – окно, которое в то же время выступает в качестве преграды, преломляющей луч. Преграда – окно указывает на двойственную природу луча: истинное, божественное (за окном), ложное, иллюзорное (восприятие внешнего мира через окно).

Окно, возникшее в качестве преграды луча, сильно деформирует, разрушает его, становится источником личной трагедии героини («сердце пополам»). Травмировав свое сердце, разбив его, привнеся в душу разлад из-за неразделенной любви, героиня находит душевный покой в переориентации своего искреннего любовного чувства к Жениху – Богу.

С преодолением пространственной разъединенности изменяются и свойства луча, он превращается в свет. Наполнение комнаты светом приводит «праздник».

«Луч» как бы превосходит себя, происходит процесс его обожения, а вместе с ним собирания и обожения всего человека. Свет, который наполняет мир, с аксиологической характеристикой «золотой», выступает как результат его действия. «Луч» у Ахматовой находится в состоянии преобразования: вначале «бледный, тонкий, прямой» он становится «невинным и простым». Эти определения луча можно отнести к указаниям на его божественную сущность. Бог в христианской традиции прост. «Простой» по Священному Писанию значит «несложный», неделимый на части. Эпитет «простота» у святого Иоанна Синайского (Лествичника) часто соотносится с понятием «сердце»: «простота сердца». Луч «простой» может мыслиться как дошедший до сердца, соединенный с ним. Этот образ можно интерпретировать в духе исихастской концепции человека, согласно которой луч, с одной стороны, указание на двойственную природу «ума» в человеке (различение сущности и энергии ума у Григория Паламы), где сочетается тварное, человеческое с аспектом богоподобия, божественно-

го. С другой стороны, – указание на обоюдонаправленный, синергийный процесс восприятия благодати: это и «ум» и «благодать» одновременно.

Функция света – синтезирующая, собирательная, по словам Дионисия Ареопагита, свет «все совокупляет и собирает рассеянное». Свет есть один из атрибутов Бога. Созерцание этого Света дарует воспринимаемому человеку радость – «весело глядеть», приводит страдающую его душу из состояния хаоса в гармонию. Свет соединяет возлюбленных, человека и Бога, низ и верх, производит праздник в душе человека. В соединении со светом, лучом, сама душа человека становится «светом», обретает особую светоносность.

В своей логике, в своей интуиции религиозного Ахматова практически дословно повторяет слова Отцов и Учителей Церкви. При сопоставлении стихотворение «Молюсь...» с видением Божественного света, описанным Симеоном Новым Богословом, создается ощущение того, что перед нами описание одного и того же явления. Поэт в начале XX века очень точно уловил основные моменты христианской мистической практики, которые сформулировал преподобный XI века:

Ты внезапно явился вверху гораздо большим солнца
И возсиял с небес (даже до сердца моего).
Все же прочее стало казаться мне как бы густою тьмою.
Светлый же столп посредине, разсекши весь воздух,
Прошел с небес даже до меня, жалкого.
Тотчас же забыл я о свете светильника,
Выпустил из памяти, что нахожусь внутри жилища,
А сидел я в мысленном воздухе тьмы,
Даже и о самом теле я совершенно забыл.
Я говорил Тебе и ныне говорю из глубины своего сердца.

Если проследить динамику луча по ахматовскому стихотворению, то можно увидеть особое круговое движение, которое совершается им: взгляд вовне – далее вовнутрь, героиня как бы вводит его в сердце, и снова исходит вовне, производя преобразующее действие. В качестве высшей стадии действия «ума» у Ахматовой показано причащение Святому Духу – Духу Параклиту – Утешителю.

Святой Григорий Палама использует формулу Дионисия Ареопагита о «круговом движении ума». Вначале «ум нужно вводить внутрь тела и сдерживать его там» – это есть процесс собирания человека, преодоления дурного рассеяния ума, который завершается в сердце. Затем собранный воедино человеческой состав уже выходит сам из себя, превосходит себя и направляется на соединение с божественной благодатью.

Действие ума изменяет, преобразует всю человеческую природу. Преображенный через ум и действие благодати, человек приобретает у Паламы эстетические характеристики, он наполняется «сиянием высшей красоты». У Ахматовой изменяется сам характер воспринимаемого луча от «бледного», невидимого, до «золотого».

Ум собранный, очищенный от страстей представляет собой «свет». Этот «свет – ум» как раз и есть образ Божий в человеке. Высшая стадия действий ума есть не что иное, как соединение с Божеством, где человек, превосходя свою собственную природу, уже не является самим собой. Он вживается в Бога, причащается Святому Духу.

Григорий Палама развивает учение о символичности человека. Отсюда познание и созерцание Бога может происходить путем рассмотрения

внутреннего мира, внутреннего существа человека: «Человек представляет собой экран, на котором проектируется символически весь план мироздания».

В стихотворении Ахматовой центральную роль играет образ «сердца». Он разрабатывается посредством триады: «сердце – рукомойник – алтарь», которая образно реализует процесс очищения сердца – иллюстрация процесса внутреннего домостроительства человека, его духовно-мистической практики. По словам Григория Паламы: «сердце есть сокровенная храмина ума». Таким образом, по аналогии с телом, которое есть храм, дом души, сердце – предстает в качестве сосуда для приятия луча и вместе с ним благодати. «Сердце» Ахматова в полном соответствии с христианской традицией воспринимает как центр человека.

«Сердце» – важный символ у Паламы. Он – посредник между человеком и Богом, через него человек приобщается к Богу. Если тело у Григория Паламы часто сравнивается с храмом, то сердце предстает в качестве самого священного места в нем – алтаря, «престола благодати».

В стихотворении будто совершенно невзначай возникает образ «рукомойника». Акмеисты, а молодую Ахматову к ним вполне можно причислить, изображали свои сокровенные душевные переживания посредством образов вещного мира. Сердце – рукомойник: условное сходство по форме, и то и другое есть некий сосуд, связанный с символикой воды/крови, а значит крещения, очищения. В комнате ничего кроме рукомойника нет, он является ее образным центром, таковым же, как и сердце в человеке. Когда комната – человек у Ахматовой становится «храминой пустой», т. е. очищенной, подготовленной для восприятия благодати – «праздника золотого», это соответствие становится еще более очевидным. Если обратить внимание на православную традицию, то появление образа «рукомойника» уже не будет восприниматься случайным. Рукомойник использовался во время приобщения Святых Тайн. Образ «рукомойника» или «умывальника» часто использовался в святоотеческой традиции и связан с символикой очищения.

Образ «сердца», как мы уже сказали, проходит большую эволюцию в стихотворении. Сначала через умаление (кенозис): сердце-рукомойник. Далее идет его обожение, возвышение – алтарь. Образ «алтаря» вообще в стихотворении не явлен, он как бы растворен в его пространстве, имплицитно присутствует в нем. Алтарь здесь – не есть что-то положенное в пространстве, неизменный элемент храмовой постройки. Образ «алтаря» распространяется на весь мир, который пребывает в состоянии праздника, момента причащения святых тайн. В этом прослеживается и элемент жертвенного служения героини. Разрубленное напополам, разделенное сердце, а позже излеченное, собранное лучом, затем со-растворяется со всем миром. Становясь светом, оно изливает его целиком без остатка, уже прекращая быть самим собой, обретая новое качественное состояние. Момент жертвенного рассеяния света выражен в образе «праздник золотой». Сам факт преображения, обретения нового качества представлен в последней строке стихотворения: «И утешенье мне».

Русский философ Павел Флоренский в своем главном труде «Столп и утверждение истины», который вышел в свет в 1914 году, практически точь-в-точь повторяет описание мистического акта общения с Богом, представленного Ахматовой в стихотворении: «Очищение сердца дает общение с Богом, а общение с Богом выпрямляет и устрояет всю личность подвижника. Как бы растекаясь по всей личности и проникая ее светом Божественной любви, освещает и границу личности, тело, и отсюда излучается во внешнюю для личности природу».

В стихотворении Ахматовой происходит очищение сердца-рукомойника лучом, после чего сам человек превращается в храм Божий, исполненный света, становится «домом Божиим» по Григорию Паламе. Именно поэтому и появляется образ «храмины».

Архиепископ Фессалоникийский считал, что тело человеческое отнюдь не тюрьма души, а «храм», Храмина – это дом, кровля, темница, тюрьма; храм, церковь; убежище, защита, хижина, покров. В древнерусском языке слово «храмина» также входило в набор понятий, обозначающих человека: «храмина земная» – тленное тело человека (2 Кор. 5:1; Иов. 4:19), «храмина или скиния нерукотворная» – тело духовное, которое человек обретет при своем воскресении.

Очищение, благодатное преображение человека происходит при помощи молитвы. Молитва «соделывает нас храмами Божиими...» – говорится в наставлении патриарха Каллиста и инока Игнатия, приведенном в «Добротолюбии». Солнечный луч не только преображает рукомойник, но и заполняет его пустоту, как и пустоту комнаты, пустоту человеческой души. Жизнь без этого света – пустая жизнь без любви в известном стихотворении Пушкина: «Без божества, без вдохновенья, без...».

Человек воспринявший во внутрь себя свет становится как бы прозрачным, об этом же говорит и Ахматова, описывая очистительное действие луча на рукомойник. По словам Иоанна Синайского (Лествичника), молитва есть «зеркало» человека, которое показывает его внутреннее «устройство». «Прозрачный» человек по Василию Великому – «духоносный» человек, он будто светильник распространяет свет, благодать Духа во вне.

С указания на действие «молюсь» начинается своё стихотворение «Молюсь...» Ахматова. В стихотворении соблюдаются основные требования, которые предъявляют к молитве исихасты: молитва непрестанная (с утра до вечера) и тихая («я молчу»). Здесь мы видим процесс двунаправленного синергийного действия: лирический герой посредством молитвы подготавливает себя к восприятию благодати, которая, в свою очередь, также производит действия, направленные ему в помощь («но так играет луч на нём»). Во время молитвы Господь вселяется в сердце человека в виде Своей энергии – луча.

Лирическая героиня стихотворения в процессе стяжания благодати (луча) как бы духовно преображается, преодолевает свою внутреннюю ограниченность, ощущает сродство с измененным под его воздействием миром, космосом («с утра молчу» – «в вечерней тишине»). Обретает возможность не только видения божественного Света, но и единения с Ним («утешенье мне» – Утешитель, Параклит в православной традиции есть определение третьего лица Святой Троицы – Святого Духа).

Образ «Утешителя» чрезвычайно важен для стихотворения «Молюсь...» и для творчества Ахматовой в целом. Он связан как с мистическим ощущением Божественного всеприсутствия, так и с любовно-эротическими переживаниями лирической героини.

В результате своей молитвы лирическая героиня Ахматовой и достигает того, что Григорий Палама обозначал при помощи термина «феория» – восхождение к сверхъестественному через мистическое созерцание. Тело становится храмом – сакральной величиной, человек преодолевает собственную раздробленность и множественность тварного мира, сливается с ним в духовное единство – праздник и становится способным воспринимать не только Бога в Его энергиях, но и достигает видения его Сущности – Святого Духа, Утешителя.

Стихотворение Ахматовой – это интуиция единого мистического акта общения и единения человека с Богом, который реализовался, благодаря искренней силе любовного переживания. Художественная интуиция поэта основана на инстинкте веры. Глубокая связь стихотворения с христианской традицией вовсе не отличительная черта творчества только лишь Анны Ахматовой. Мир, воспринимаемый под углом зрения религиозных координат, – объективная реальность великой русской литературы. С полным основанием можно говорить о духовно-культурном единстве, своеобразной интеллектуальной ноосфере, которая держится на таком понятии как «культурная память». Относительно России эта память имеет преимущественно религиозное основание.

Стихотворение молодой Ахматовой «Молюсь оконному лучу...» – одно из доказательств того, что для художника вера не воспринималась как что-то далекое, экзотическое. Это то, к чему через тернии сомнений, страданий, многочисленных трудностей он, так или иначе, подходил. Этим достигался и реализм письма, который вовсе не подражание, не оттиск действительности, не создание эффекта правдоподобия, а реализм в смысле искреннего раскрытия непреложных истин, попытки правдивого утверждения устоявшейся в культурном слое системы ценностей.

Уже молодая Анна Ахматова была причастна к этой особой отечественной культурно-духовной ноосфере. Через ее строки являлось то же чудо, что и в стихотворении Пушкина. А это особая печать – мета гения.

Переводы

Николай СИМОНОВ

Родился в 1950 году в городе Горьком. Работал слесарем на авиационном заводе, служил в армии. Почти сорок лет проработал судосборщиком на заводе «Красное Сормово».

Его произведения публиковались в нижегородских и столичных изданиях, вошли в антологии: «Русская поэзия. XXI век», «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово», изданные в Москве в издательстве «Вече».

Автор восьми поэтических сборников, Н. В. Симонов – неоднократный победитель городских и областных литературных конкурсов. Призёр и участник шести Всероссийских фестивалей «Русский смех» в городе Кстово.

Член Союза писателей России. С 2004 года возглавляет Сормовское литературное объединение «Волга». Живёт в Нижнем Новгороде.

Гильем IX, герцог Аквитанский, Граф де Пуатье (1071–1127)

Дед герцогини Алиеноры Аквитанской, бывшей замужем сначала за французским королём, потом за английским. Прадед короля Англии Ричарда Львиное Сердце.

Хронологически первый из известных трубадуров, считается родоначальником не только провансальской, но и европейской поэзии. Жизнеописание XIII века сообщает: «Граф Пуатье был одним из самых куртуазных людей на свете, и одним из самых великих обманщиков дам, и был он добрым рыцарем, галантным и щедрым; и хорошо сочинял и пел...» Участвовал в крестовом походе и в междоусобных феодальных войнах. За избиевание епископа в соборе города Пуатье, был отлучён от церкви папой Римским. Замаливал грехи в паломничестве.

Поэтическое наследие Гильома IX весьма разнообразно.

Помещенная здесь баллада Гильема Аквитанского из соображений пристойности публиковалась обыкновенно только в оригинале. На русском языке печатается в первые. Автор перевода озорного стихотворения старался не выходить за рамки приличий.

В моей жизни очень много неприглядных было дел...

*Companho, tant ai agutz d'avols conres
Qu'ieu non puec mudar no-n chan y que mo-m pes:
Enpero no vueill c'om sapcha mon afar de maintas res.*

*E dirai vor m'entendensa, de que es:
No m'azauta cons gardatz ni gorcs ses peis,
Ni gabars de malvatz homes c'om de lor faitz non agues*

Guilhem de Peiteus

В моей жизни очень много неприглядных было дел...
О своих делишках, братцы, непременно я бы спел,
Но чтоб вы о них узнали я не очень бы хотел.

В лес без дичи, в пруд без рыбы не суёмся мы проста,
Грустно нам, коль под замками женщин тайные места,
И стараемся не пачкать хвастовством свои уста.

Пояс верности придумал или евнух, или тот,
Кто, как сторож, днём и ночью свою донну стережёт,
Но влюблённый рыцарь больше пользы даме принесёт.

Вот кухарка трёт посуду и до дыр её протрёт,
По закону женской плоти, будет всё наоборот
Коль ей пользоваться чаще, плоть пышнее и цветёт.

Ну а если мне не верит недоверчивый народ,
В чаще дерево срубите, приходите через год,
И признайте мою правду – пять деревьев там растёт.

Лес зелёный, прорежённый, будет гуще зеленеть,
Так и женщинам не надо о поступках сожалеть,
Ведь осталось всё на месте, лишь пышнее будет впредь.

О потере без убытков – не рыдать, а песни петь!

Генрих ГЕЙНЕ
(1797–1856)

Лорелея

*Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
das ich so traurig bin;
ein Märchen aus alten Zeiten,
das kommt mir nicht aus dem Sinn.*

Heinrich Heine. Lorelei

От тоски иль от рейнвейна
Что-то давит грудь...
Старая легенда Рейна
Не даёт уснуть.

Лишь над Рейном заалееет
Пламенный закат,
Жду: вдруг песни Лорелеи
Дивно зазвучат.

Может, просто люди брешут?
Нет, дружок, постой:
Вон – русалка косы чешет
На скале крутой!

У неё, в лучах заката,
Ослепляя взгляд,
Как старинные дукаты,
Волосы блестят.

Льётся песня надо мною,
Плещется меж скал...
А рыбак скользит волною,
Он грести устал.

Проникает песня в душу,
Разрушает тишь...
Эй, рыбак, её не слушай!
В омут угодишь!

Георг ВЕЕРТ
(1822–1856)

Песня подмастерьев

*Unter den bluhenden Kirchbaumen
Wir fanden Unterschluß selbst,
Unter den bluhenden Kirchbaumen
In Frankfurt gefunden.*

Georg Weert. Song Geselle

Во Франкфурте-на-Майне,
Где вишни зацвели,
Четыре бравых парня,
Мы кров себе нашли.

– Не принимаем вшивых! –
Нам говорит корчмарь.
– Заткнись, урод плешивый,
И нам мозги не парь!

Ты не смотри на платье,
Неси скорей вина,
За деньги, что мы платим,
Напьемся допьяна!

Вино твоё плохое,
Покрепче поищи,
Неси к нему жаркое
И пива притащи!

Поджаренное мясо –
С душком, не лезет в рот,
А пиво из Эльзаса
Мочою отдаёт...

Пошли мы по постелям, -
Всяк голоден как волк...

Нас чуть клопы не съели,
Их был там целый полк.

Теперь нам стало ясно,
Спешим вам доложить:
Во Франкфурте прекрасном,
Не так прекрасно жить!

Франсуа ВИЙОН
(1431–1463)

Катрен, сочинённый в ожидании казни

*Je suis Francois, don't il me poise
Ne de Paris empers Pontoise,
Et de la corde d'une toise,
Scaura mon col que mon cul poise.*

Francois Villon. Quatrain

Неуравновешенный рифмач,
Франсуа, чьё имя судей бесит...
Длинная верёвка и палач,
Навсегда меня уравновесят.

Шарль БОДЛЕР
(1821–1867)

Альбатрос

*Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.*

Charles Baudelaire. L'albatros

Труден путь моряков сквозь лихие шторма,
Между скал и ледовых торосов.
Чтобы в штиль не сойти от безделья с ума,
Часто ловят они альбатросов.

Сын лазури, что смело взмывал в небеса,
С ураганом боролся без дрожи...
Были в небе крыла его, как паруса, —
Крылья пленника с вёслами схожи.

Принц небес стал в неволе смешным и хромым,
Будто не был вовек альбатросом...
И пускают из трубок в глаза ему дым,
И смеются, и дразнят матросы.

Так поэт не боится ни бурь и ни стрел,
Если в вольной стихии витает,
Но не так он силен, и не так уж он смел
Средь толпы, — ему крылья мешают.

Сверкающий звон

*La tres chere etait nue, et, connaissant mon coeur,
Elle n'avait garde que ses bijoux sonores,
Dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur
Qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des Mores...*

Charles Baudelaire. Le Bijoux

Обнажись и меня красотой удиви,
Но оставь украшения на сладостном теле,
Чтобы ярче названивал песню любви
Мне сверкающий звон ювелирных изделий.

Слух мой радостен, взор упоён допьяна,
Перемешан звон злата и блеск самоцветов...
Как прекрасно ты, милая обнажена:
Вся одежда — лишь серьги, кольцо да браслеты.

Танец тела, сверканье и звон: то всерьёз,
То волшебный экстаз, то нирвана тумана...
И к тебе я стремлюсь, как волна на утёс,
Ты глядишь на меня, улыбаясь с дивана.

Пылкий взгляд укрощённой тигрицы ловлю...
Вдруг сбылись сто мечтаний моих сокровенных:
В твоих позах картинных я видеть люблю
Целомудрие с похотью одновременно.

Взгляд на миг отведу, снова тянет взглянуть,
Как спина изогнулась лозой винограда,
Как твой гладок живот, как кругла твоя грудь,
Будто это плоды из волшебного сада.

Каждый твой поцелуй будет мною воспет...
Моё сердце в груди трепетало и пело,
И подрагивал лампы мерцающий свет,
И лицо твоё ярким румянцем горело.

И в своих зеркалах отражала стена
В полусумраке наши с тобой силуэты...
Как прекрасно любимая обнажена:
Вся одежда — лишь серьги, кольцо да браслеты.

Рядом явь и мечта — только я, только ты!
Ты в постели играла, звенела, блестела...
И я понял: прекраснее нет красоты,
Чем сверкающий звон обнажённого тела.

Поль ВЕРЛЕН
(1844–1896)

Сентиментальное объяснение

*Dans le vieux parc solitaire et glace
Deux formes ont tout a l'heure passe.
Paul Verlaine. Colloque sentivalent*

В старинном парке дует снеговой...
Два призрака бредут среди аллей...

Безглазы, рты шевелятся едва,
И ветер мне доносит их слова.

Старинный парк. Деревьев бел наряд.
Два призрака о прошлом говорят:

– Ты помнишь ли восторги наших встреч?
– Их вечно буду в памяти беречь!

– Когда твоё произношу я имя,
Я жив воспоминаньями своими.

– Я помню каждый миг счастливых дней,
Все поцелуй в памяти моей.

– Была мечта и небо голубое...
– Надежды нет, лишь ночь для нас с тобою...

В поля, где лишь нескошенный овёс,
Холодный ветер голоса унёс...

Вехи памяти

Виктор ЛИСТОВ

Виктор Семёнович ЛИСТОВ родился в 1937 г в Москве. Окончил Московский государственный историко-архивный институт. Специалист в области отечественного кино. доктор искусствоведения, профессор РГГУ. Автор ряда монографий и статей по истории и теории экранных искусств.

В область его научных и художественных интересов входят сценарии неигровых фильмов (реж. М. Голдовская, В. Лисакович И. Калядин и др.), а также исследования творчества и биографии А.С. Пушкина. Живет в Москве.

ГРОЗА 14-го ГОДА

Из заметок киносценариста-документалиста о начале
Первой мировой войны (1914–1918)

От автора

Из глубины веков пришло в наш язык народное прозвище: Иван, не помнящий родства. Так, бывало, называл себя тот, кто не ладил с законом и обычаем, стремился забыть своё прошлое. Перемена имени, забвение рода-племени, почитались тяжкими грехами – самозванством, оскорблением предков.

Даже известную пословицу произносили встарь не так как сейчас – полностью: Кто старое помянет, тому глаз вон; а кто старое забудет, тому оба глаза вон!

Начало прошлого века – как раз начало забвения. Революционная пропасть отделила в сознании народа Первую мировую войну от всего, что было раньше, и от всего, что случилось потом, в XX веке. А была долгая, кровавая война, унесшая миллионы жизней; и вроде как ее не было. Тусклая скороговорка советских и постсоветских учебников отводила глаза следующих поколений от народного подвига, от великой национальной трагедии.

...Лет двадцать тому назад, бродя по заснеженным тропинкам царскосельского парка, я наткнулся на странное сооружение – не то терем знатного псковича, как-то перенесенный из Средневековья под Петербург; не то модерн начала XX века, стилизаторская попытка кого-то из зодчих, склонных возрождать древнерусские архитектурные формы. Что бы это могло быть?

Искусствоведческие формальности обнаружились без труда. Сооружение называлось «Ратная палата», построено в 1916 году по проекту архитектора С.Ю. Сидорчука на деньги благотворителей. Среди них – Елена Андреевна Третьякова из семьи известных московских меценатов. Но всё это мало говорило о назначении теремного дворца и ничего не сообщало о его истории. На то время здание стояло заброшенное и забытое.

Потом мы – режиссёр Виктор Лисакович и я – взялись делать неигровой фильм о «Ратной палате», построенной для Музея Первой мировой войны ещё в ходе её. Не буду пересказывать содержание картины – её действующими лицами стали и герои далёкой войны, и современные мастера, взявшиеся за возрождение старой постройки. Скажу только, что мы на долгие годы погрузились в материал

забытых битв, в подробности великой исторической трагедии. Руины в царско-сельском парке, оказалось, помнили выходы августейших особ, визиты крупных полководцев, посещения дипломатов, голоса писателей, художников. Например, здесь читал свои стихи служитель военного госпиталя Сергей Есенин.

Картина «Ратная палата» (Компания «Совинфильм, продюсер А. Суриков, 2010) была завершена и показана. Но история народной трагедии всё не выходила из сознания, из памяти режиссёра и драматурга. В конце концов, к 100-летию Первой мировой войны мы сделали документальную дилогию «Гроза 14-го года». Фильм первый – «Высокая ставка»; фильм второй – «Мы не подписывали договора в Версале». Последняя лента получила премию за лучший полнометражный фильм на Всероссийском кинофестивале в Екатеринбурге (2013).

Предлагаемые заметки – лишь малая часть того, что вошло и не вошло в документальный сериал «Гроза 14-го года».

Люди, не обладающие обширным и глубоким воображением, склонны думать, будто крупное историческое событие происходит только однажды, и дата его начала – известна. Вот, извольте: Первая мировая война разразилась 1 августа 1914 года. Оно бы и верно, но только не так всё просто. В глобальную катастрофу были втянуты миллионы людей, и каждый отдельный человек вступал в военный ад сам – по-своему и в своё время.

Не удивлюсь, если окажется, что первым русским человеком, ясно ощутившим ужас происходящего, стал директор кредитной канцелярии министерства финансов Леонид Фёдорович Давыдов. 19 декабря 1913 года он в составе представительной делегации, возглавляемой премьер-министром В.Н. Коковцовым, присутствовал на официальном завтраке в Потсдаме. Хозяином на этой встрече явился сам кайзер Вильгельм Второй. Своего собеседника за столом Вильгельм почему-то избрал не по рангу, и Леонид Фёдорович выслушал следующее:

– Я должен сказать вам прямо: я вижу надвигающийся конфликт двух рас – романо-славянской и германской – и не могу не предvarить вас об этом. Вы предполагаете, что германизм первым начнёт враждебные действия. Если война неизбежна, то я считаю совершенно безразличным, кто начнёт её. Я очень озабочен событиями и говорю вам совершенно определённо, что война может сделаться совершенно неизбежной. Поверьте, я ничего не преувеличиваю.

Давыдов остро почувствовал лёд в глазах кайзера и металл в его голосе. Ни того, ни другого чиновник не сумел донести до сознания премьера Коковцова. А тот, в свою очередь, спокойно представил мнение кайзера в своём докладе Николаю Второму. Царь вяло откликнулся на доклад своего министра. Что-то вроде:

– Но это же Вилли... Он сумасшедший. Было бы своевременно посадить его в «желтый дом».

Можно сказать, что Леонид Давыдов уже вступил в войну. А Коковцов и царь – нет...

В конце лета 1914 года калужская дворянка Татьяна Аксакова-Сиверс (из семьи известных славянофилов Аксаковых), проводив мужа в армию, приехала из имения в губернский город. В позднейших записках она отметила «своё» начало войны – в Калуге.

«6 августа, по старому стилю, мы всей кампанией наблюдали солнечное затмение, которое было особенно хорошо видно с висящей над Окой террасы городского сада. Лето 1914 года было насыщено знаменами небесными». Именно в то же день, день затмения 6 августа, были убиты

близкие друзья Аксаковой-Сиверс – братья Михаил и Андрей Катковы. Как было не вспомнить «Слово о полку Игореве», где – плохая примета! – солнце тоже затмилось в самом начале похода русской рати.

Не все и не сразу поняли войну как народную и личную трагедию. В воинских эшелонах, следовавших на запад, господа офицеры, покуривая в тамбурах, предвкушали близкую победу над «насильниками-тевтонами». Даже и пари заключали: мы войдём в Берлин к Рождеству или к Пасхе? Пари выиграли бы те, кто поставили бы на вступление во вражескую столицу лет через тридцать. Но таких прозорливцев, понятно, не находилось.

Многострадальная история российская по какому-то неизъяснимому закону скапливала и предъявляла народные бедствия в начале каждого следующего столетия. Век XVII-й отмечен «смутным временем»; XVIII-ый – кровавой революцией Петра Первого; Отечественная война против Наполеона настигла нас в 1812 году. И вот теперь – снова в начале века – на российской равнине снова загрохотали пушки. С трудом преодолевая свою деликатность и застенчивость, Николай Второй выступал с балюстрады Зимнего дворца, называл новую войну «Второй Отечественной» и клялся не складывать оружия до полной победы. Откуда ему было знать, что всего шесть лет спустя другой оратор, другой национальный лидер, будет звать соотечественников на другую войну и – опять до победного конца. Только война будет с капиталистами и помещиками Антанты, Польши, Финляндии и Венгрии, а оратор будет носить имя Владимир Ленин.

Но это – потом. А пока царское министерство внутренних дел устанавливает местонахождение эмигранта Ульянова-Ленина в Кракове и его арест там австрийскими властями – как русского подданного. Следует министерская телеграмма командующему юго-западным фронтом генералу М.В. Алексееву; просьба не отказать в распоряжении об аресте одного Ленина и препровождении его в Петербург. Русская охранка всегда опаздывает. Её чины не только не достигают вождя большевиков на юго-западном фронте, но и ещё и нарушают недавний царский указ, коим столица империи переименована: она теперь не Петербург (это ведь по-немецки), а Петроград.

Ставка Верховного Главнокомандующего русской армии с начала войны находилась в белорусском местечке Барановичи. Назначение Верховным Главнокомандующим получил дядя царя великий князь Николай Николаевич. В следующие месяцы император и его свита много раз посещали Барановичи, и каждый приезд царского поезда ставил великого князя в неловкое положение, раздражал. Деловая работа штаба существенно нарушалась; ставка начинала отчасти напоминать Питер с его дворцовыми интригами, развлечениями, сплетнями. С другой стороны, дядя старше августейшего племянника на двенадцать лет; он помнит царя мальчиком, наследником. Николай Николаевич, пожалуй, не без оснований, опасается некомпетентных вмешательств государя и особенно свиты в вопросы стратегии и военного управления. Страна всё глубже втягивается в милитаризацию, и Ставка неизбежно начинает соперничать с императором в гражданской сфере.

В Барановичи с докладами к Верховному приезжают министры и промышленники, церковные иерархи и общественные деятели, дипломаты и знатные иностранцы. При дворе и в столичных салонах самого великого князя – о, совершенно неофициально, конечно – начинают называть императором Николаем Третьим. Дядя и племянник о том знают, и это не улучшает их отношений. На одном фотографическом снимке тех дней запечатлены беседующие – царь и великий князь. Мы не знаем, о чём идёт

речь, но композиция весьма выразительна: Верховный – гигант, нависающий над скромным императором, одетым в простую офицерскую шинель.

Великий князь терпеть не мог военного министра Владимира Сухомлинова, считал его бездарностью, пособником германских шпионов, бабником и подхалимом. В свою очередь царь держал Сухомлинова в министрах по совету императрицы Александры Федоровны, почти бессознательно полагая в нём противовес влиянию штаба в Барановичах.

В самой Ставке тоже веяли противоположные стратегические ветры. Профессионалы старшего поколения, как правило, придерживались военных доктрин прошлого, XIX века. Для ветеранов в высоких чинах, некоторых носителей генеральских погон, война по-прежнему состояла в основном из локальных сражений, длившихся несколько часов, максимум несколько дней каждое. Наподобие «битвы народов» под Лейпцигом (1813) или разгрома под Седаном (1870). Другой основной формой ведения войны считалась осада крепостей – с архаическим поднесением победителю ключей от городских или замковых ворот.

Офицерская молодёжь в Барановичах в частных беседах подсмеивалась над стариками: совсем отстали, не понимают, что в XX веке захваты крепостей и территорий сами по себе ещё не означают прочной военной победы. Куда важнее уничтожить живую силу и военную технику неприятеля. А мы? Обоснованным стратегическим планам предпочли захват австрийских крепостей Лемберга (Львова) и Перемышля, которые вскоре пришлось оставить. Среди господ офицеров ходила такая шутка:

– Слышали? За взятие Львова генерал Рузский получил Георгиевский крест.

– Да. Только, видите ли, это крест на всех наших разумных планах.

Под покровом ежедневной служебной рутины (доклады, сводки, телеграммы, разговоры по прямому проводу) в Ставке вскипали извечные человеческие страсти. То вдруг в Барановичи просился старец Григорий Распутин («помолиться о победе русского оружия») и получал от великого князя решительный отказ. То приходила скорбная весть из Вильно: от раны, полученной в бою, скончался князь императорской крови Олег Константинович, молодой человек, поэт, ревнитель и исследователь Пушкина. То календарь подсказывал: исполняется ровно двадцать лет от восшествия на престол государя императора – скромный праздник по условиям военного времени.

Иван Бунин. Из рассказа «Последняя осень» (1916).

Молодой мужик Мишка; приехал с фронта на побывку. Рассказчик беседует с Мишкой за гумном:

– Бабы на деревне всё дивятся, что вот вас, небось, на войну не берут. Вы, мол, откупились. Господам, говорят, хорошо: посиживают дома.

– Не все посиживают. И господ не меньше вашего перебили.

– Да я-то знаю. Я-то там нагляделся. Но вот скажи, чем мы немца выгонять будем? У нас и пушек нет, одни шестидюймовые мортиры. А крепостную артиллерию возить не на чем.

– А что ж немцы?

– А то, что немец рельсы проложил, везёт и везёт... Войско наше из ополчения какое? Привезут их на позицию, а они и разбегутся. Подтягивай портки потуже да драло. Верное слово вам говорю.

Бунин и сам предчувствует наступление «окаянных дней» и возражает солдату слабо, без убеждённости. Особенно насчёт «господ», которые на войну не идут.

Лидер кадетов в Думе Павел Милюков потерял на фронте сына Сергея, талантливого студента-агрия, потом офицера. О павшем родственнике царя князе Олеге – сказано. Военные кладбища полны были могилами дворян, студентов, врачей, чиновников, полковых священников

Шли, шли на войну «господа».

Но бунинский Мишка знал, что говорил, когда риторически спрашивал: чем же мы немца выгонять будем? Список дефицита в действующей армии простирался от крепостной артиллерии и патронов – до сапог и спичек.

Военного министра Сухомлинова в конце концов отдали под суд, но это не улучшило положения.

Провинциальное местечко Барановичи в довоенные времена, конечно, не видывало таких высоких гостей, какие нахлынули с осени 1914 года. На улицах нередко вспыхивал магний фоторепортёров, проезжали военные автомобили, тянули свои кабели связисты. Военные агенты стран-союзниц не афишируют своих шагов, но постоянно следят за ходом событий.

Как раз к первой военной осени относится малоизвестное, но, кажется, чрезвычайно важное событие, которое могло бы оказать едва ли не решающее влияние на всю последующую историю. О подробностях судить трудно. По-видимому, существовал секретный документ, регулирующий отношения между союзниками по Антанте в возможных чрезвычайных обстоятельствах. След этого документа и краткое его содержание находим в протоколе допроса адмирала А.В. Колчака в Иркутске в январе 1920 года. Сам по себе эпизод следствия и суда над Верховным правителем России не тема этих заметок, но приводимый фрагмент имеет прямое отношение к грозе четырнадцатого года.

Напомню основное обстоятельство. К середине зимы 1919–1920 года Колчак терпит поражение и попадает в руки своих врагов – большевиков, эсеров, представителей других левых партий. Его расстрел предрешен. Но победители всё же назначают чрезвычайную следственную комиссию, которая ведёт допрос адмирала. На заседании комиссии 23 января допрос ведёт видный эсер А.Н. Алексеевский.

Вот интересующий нас фрагмент протокола допроса

«Адм. Колчак: Общая точка зрения была такова, что продолжать войну [с немцами] необходимо, что мы связаны такими обязательствами с союзниками (...).

Алексеевский: Было ли вам известно тогда или после, что существует узкое соглашение, заключенное 9-го сентября 1914 г. между Россией, Францией и Англией, относительно того, что при известных условиях, каждое из этих государств, несмотря на то, что в открытом тексте сказано, что никто не может [заключить] отдельного мира, – может заключить отдельный мир? В отношении России этим условием была революция.

Адм. Колчак: Я в первый раз слышу об этом.

Алексеевский: Слышали ли вы, что товарищ министра иностранных дел Нератов перед большевистским переворотом увёз с собой некоторые документы министерства иностранных дел? Он оставался в министерстве при первом и втором правительстве и был главной работающей силой в министерстве иностранных дел, потому что ни Милюков, ни, в особенности, Терещенко, не были достаточно подготовлены для руководства ведомством иностранных дел. Документ, о котором я говорю, Комиссия в руках не имела, но я слышал от лица, заслуживающего доверия, состоявшего (в близких отношениях) с министерством иностранных дел, что такой документ существует. В отношении Франции таким обстоятельством,

разрешавшим заключение отдельного мира, являлось взятие Парижа, в отношении Англии высадка германского десанта на островах и у нас – революция.

Адм. Колчак: Я с Нератовым не встречался и о существовании такого соглашения не слыхал».

На допросе неожиданно всплыли обстоятельства, относящиеся к самому началу мировой войны. Если действительно у России было международно признанное право выйти из войны, то этим правом могло воспользоваться легитимное с точки зрения Запада Временное правительство – сразу после февральского переворота 1917 года. Скрыл ли А.А. Нератов скандальный документ? Возможно. Дело в том, что большевики после своего прихода к власти опубликовали множество разоблачающих документов из архива МИД о закулисных деталях подготовки и ведения войны всеми ее участниками. Но документы эти, в основном, бросали тень на свергнутое царское правительство, рисовали хоть и близкую, но всё же историческую картину. Здесь же речь шла о политике Временного правительства, о моральной позиции Львова и Милюкова, Керенского и Терещенко. Оказалось бы, что они могли законно вывести Россию из мировой войны, сберечь тысячи жизней соотечественников. Но не сделали этого.

Дипломатический крах потерпели бы и союзники – Франция и Англия. Они на всех международных перекрёстках трубили, что Россия якобы досрочно и самовольно вышла из войны, изменила общему делу Антанты. Поэтому-то её, Россию, и не допустили к дележу пирога победителей на Версальской мирной конференции. Если бы секретный протокол от 9 сентября 1914 года увидел свет через три года, все пропагандистские ухищрения союзников рухнули бы как картонный домик. Пришлось бы сказать правду: мы, Антанта, в корыстных и эгоистических целях исключили из числа победителей Россию, вынесшую на себе основную тяжесть войны.

Но было так, как было.

Кресло представителя России на Версальской мирной ассамблее пустовало. Председатель конференции, французский премьер Жорж Клемансо демонстративно отказывался разговаривать с русскими. И не только с большевиками и другими левыми, но и с «обломками империи», посланцами Колчака, царскими министрами, военачальниками. Клемансо не нашёл времени, чтобы принять дядю расстрелянного царя Николая Второго – великого князя Александра Михайловича. Отпрыск императорской фамилии беседовал в версальских кулуарах с мелким клерком-секретарём. Ах, нет, объяснял клерк, Франция истощена и не может помочь – вот разве блокадой Советов. Как! – удивлялся великий князь, – Франция, так часто спасаемая Россией во время войны, возьмёт на себя ответственность за голод и болезни русских детей, женщин, стариков? «Я видел, – писал князь, – что они решили поставить резкую грань между прошлым и будущим. Я встал и вышел».

Но вслед за секретным протоколом 1914 года мы забежали далеко вперёд; вернусь в Барановичи, к началу войны. Уже на ее первом году стало ясно: патриархальные нравы государства российского, разгильдяйство, взяточничество и воровство, ставят победный исход войны под угрозу.

«Беречь патроны» – стало первой заповедью окопного солдата уже в 1915 году.

Следовали тревожные запросы депутатов в IV Думе: по какой причине не хватает боеприпасов? Почему не ремонтируют паровозы? Откуда перебои с хлебом в провинциальных городах? Кто ответит за срыв поставок фуража для кавалерийских частей? И так – до бесконечности.

Кризис настигал страну в разгар войны.

Летом 1915 года более половины депутатов Думы объединилось в так называемый «Прогрессивный блок». В него вошли – без различия партий – все, кто видели пропасть между властью и народом, все, кто понимали: государство стремительно падает в эту пропасть. Блокеры требовали от царя создать «министерство доверия», правительство, ответственное перед Думой. Они настаивали также на частичной амнистии политических заключенных, изменения аграрной политики, восстановления распущенных профсоюзов и других назревших реформ.

Лидерами блока стали кадеты П.Н. Милюков и А.И. Шингарёв, октябрист С.И. Шидловский, националист В.В. Шульгин, другие видные думцы. Военные поражения постоянно подогревали страсти. Газеты выходили с большими пробелами в тексте – цензура не пропускала критику власти, содержащуюся в думских отчётах. Не пропущенные речи распространялись в публике в рукописных экземплярах.

Осенью 1916 года думская сессия напоминала извержение вулкана. Перечисляя по пунктам промахи правительства, Милюков каждый раз спрашивал: «Что это – глупость или измена?»

Развал власти, «министерская чехарда», привели к тому, что многие державные функции – налаживание военного производства, снабжение фронта и тыла продовольствием, оживление транспорта и многие другие – в существенной части взяла на себя общественность. Уже в 1915 году многие земства и городские думы озаботились нормированием продовольствия, ввели карточки. Возник Союз земств и городов – Земгор. Преодолевая косность министерских чиновников, Земгор работал на нужды воюющей страны. Председатель Земгора князь Г.Е. Львов говорил: «Мы делаем государственное дело». Продолжая его мысль, кадет Милюков утверждал: «Львов мог бы сказать: «Мы заменяем государственную власть»».

Так и было.

Кампания 1915 года складывалась трудно.

Русские войска оставили Галицию, Польшу, часть Прибалтики. Угроза нависла над Ставкой Верховного Главнокомандующего: в Барановичах уже слышались отдалённые залпы германских пушек.

Было принято решение – перенести Ставку в Могилёв.

При дворе, в окружении императрицы, ответственность за военные неудачи возлагали на великого князя Николая Николаевича. Тогда царь принял решение: сместить Верховного и самому вступить в главное командование русской армией. То была ещё одна ошибка в цепи ошибок. Теперь вина за поражения на фронте ложилась прямо на плечи самого государя.

Вспоминая об удачах на русском фронте, германский генерал Эрих Людендорф отметил: «Мы сделали новый большой шаг к разгрому России – великий князь, человек твёрдой воли, был смещён, и царь стал во главе армии».

В Могилёве, при государе, штат Ставки вырос втрое: она обрела все черты «нормального» неповоротливого бюрократического учреждения. Для самого царя отъезд из Петрограда в Ставку стал отдыхом от столичных интриг, дразг и истерик императрицы. Государь ходил на охоту, совершал

дальние прогулки, посещал сеансы кинематографа, играл с наследником Алексеем, наезжавшим из Царского Села.

Реально руководил военными действиями генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев.

В Могилёв с докладами и отчётами потянулись министры, сановники, вельможи. На полтора года захолустный Могилёв обрёл статус столицы России.

Роль «послов» здесь приняли на себя главы военных миссий союзников – французский генерал Жанен и английский адмирал Филимор. По поручению своих правительств они изо дня в день внушали государю, что войска Антанты на Западном фронте на грани краха – надо, не считаясь с потерями, наступать на Востоке, спасти союзников.

На самом деле на грани катастрофы уже была Россия.

Оставлю в стороне подробности кампании 1916 года. Скажу только: прорыв на Юго-Западном фронте и контрнаступление в районе озера Нарочь сильно остудили наступательный порыв немцев под Верденом.

Но – то были едва ли не последние успехи.

Уже в городах стояли огромные «хвосты» у хлебных лавок. Уменьшались выдачи по карточкам. В центральных губерниях многие поля оставались не паханными, не засеянными: мужики воевали. Резко росло число «больных» паровозов. Десятки тысяч беженцев из западных губерний наводнили Москву, Петроград, провинциальные города. Нормальное течение жизни прервалось, как оказалось, на долгие годы.

В окопах и в тылу, почти не таясь, говорили об измене, о Распутине, новом Гришке Отрепьеве и его дружбе с императрицей-немкой; о премьер-министре Штюрмере – тоже из немцев, тоже окружен шпионами. Слухи об изменах и шпионаже были, что называется, сильно преувеличены, но хоть как-то объясняли явное неустройство державы.

Осенью 1916 года царь решил сместить Штюрмера.

Но кого назначить на его место?

«Прогрессивный блок» думцев в Петрограде, земские деятели, либерально настроенные офицеры в самой Ставке сходились на кандидатуре боевого адмирала И.К. Григоровича, морского министра. И государь одобрительно отнёсся к такому назначению.

Григорович, ещё ничего не знавший о новом назначении, ожидался в Ставку.

Морской офицер Александр Бубнов выехал из Могилёва, чтобы на промежуточной станции встретить будущего премьера, предупредить его о высоком назначении. Узнав, что его ждёт, он, после долгого раздумья, решил возглавить правительство; перекрестился на образ, висевший в купе правительственного поезда.

Аудиенция адмирала у императора продолжалась долго; Ставка с надеждой ждала результатов. Однако Григорович вышел от царя смущённый – монарх был необычайно любезен, долго говорил о делах второстепенных, знакомил с наследником-цесаревичем Алексеем. Но – ни словом не обмолвился о новом назначении собеседника.

Оказалось, ещё накануне государь говорил по телефону с Царским Селом, с императрицей, которая сказала – нет. Григорович слишком либерален. Понятно: ее устами говорил Распутин. Государь отступил.

Правительство возглавил Александр Федорович Трепов. Императрица и старец не возражали.

Так, бывало, решались дела при дворе и в правительстве. До падения монархии оставалось меньше четырёх месяцев.

В разгар Февральской революции последний манифест государя, манифест об отречении от престола писал императору Н.А. Бицили, начальник дипломатической канцелярии Ставки. Документ начинался словами – «В дни великой борьбы». Царь отрекался потому, что не хотел внутреннего междоусобия во время войны.

* * *

«Россия пошла ко дну в самом конце войны, перед победой, когда мирный берег был уже виден» – так считал сэр Уинстон Черчилль. Тот самый Черчилль, который сначала требовал от союзной страны чрезмерных, губительных усилий, а потом устраивал блокаду России.

Между революционным Февралём 1917-го и выходом России из войны по Брестскому миру прошёл ровно год. Но мир подписывала не царская и не демократическая Россия, а – большевистская.

Революционные события этого года – хорошо известны. И я не буду на них останавливаться...

Елена ВЕСЕЛОВА

Журналист, живет в Нижнем Новгороде

К 100-летию Аркадия Фёдоровича Николаева, конструктора, профессора, доктора технических наук, впервые в мире в 1958 году покорившего Полюс недоступности Антарктиды

РУССКИЙ АНТАРКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«...Материк – по площади почти равный Южной Америке, внутренние области которого нам известны фактически меньше, чем освещённая сторона Луны».

Ричард Бэрд об Антарктиде. 1947 год

14 декабря 1958 года над Полюсом недоступности Антарктиды взвился советский флаг. Отряд наземного транспорта 3-ей Антарктической экспедиции под руководством Аркадия Николаева впервые в мире достигли самой высокой точки ледового купола южной земли на высоте 4000 метров над уровнем моря, недоступной до этого ни одному живому существу.

Русские идут

1957–1958 годы были объявлены 3-м Международным геофизическим годом, под эгидой которого учёные более тридцати девяти стран начали одновременное всестороннее изучение природы планеты Земля, а двенадцать государств по программе года приступили к научным исследованиям в Антарктиде. Что на самом деле находится под её панцирем? Этот вопрос волновал всех. И особенно – русских.

1-я Советская антарктическая экспедиция была организована ещё в 1955 году. Тогда под руководством доктора географических наук, Героя Советского Союза Михаила Сомова была основана обсерватория Мирный и станция Пионерская. Обнаружили русские и оазис Бангера, основав там станцию Оазис.

В начале ноября 1956 года на шестой континент направилась 2-я Советская антарктическая экспедиция во главе с бывшим начальником дрейфующей станции «Северный полюс-3», академиком АН СССР Алексеем Трёшниковым. Она продвинулась ещё дальше и выше, основав станцию Восток-1, Комсомольская и, наконец – в 1410 км от Мирного, на высоте 3500 м над уровнем моря – станцию Восток.

Но на этом планы не заканчивались. Следующая, 3-я Советская антарктическая экспедиция во главе с известным полярником, Героем Советского Союза Евгением Толстиковым должна была совершить подвиг мирового значения: впервые в истории достигнуть самой удалённой относительно береговой линии точки ледового купола – Полюса недоступности Антарктиды.

Любой ценой советский отряд наземного транспорта должен был дойти до него, основать станцию, построить аэродром, принять самолёты и провести исследования этого района.

Нельзя сказать, что на роль начальника наземного транспорта не было кандидатур – они были в избытке. Десятки достойных специалистов мечтали вырваться из обыденного круга и первыми в мире привести людей на макровку антарктического ледового купола.

Но было решено, что отряд возглавит 43-летний Аркадий Фёдорович Николаев – способный конструктор и испытатель, не раз решавший сложные проблемы в нестандартных условиях. На тот момент он руководил единственным в стране опытно-конструкторским бюро по механизации разработки льда, снега и мёрзлого грунта – ОКБ «РАЛСНЕМГ», основанном им при Горьковском политехническом институте в 1947 году.

До появления бюро вечная мерзлота Советского Союза знала только ручной труд – выдолбленные кирками заключённых подземные хранилища, взорванные динамитом траншеи для кабелей и построенные вручную на дрейфующих льдинах аэродромы.

С появлением же ОКБ вековые твердыни узнали бурильные и фрезерные машины, кабелеукладчики, машины для оковки судов во льду и строительства дорог на глубоком снегу. Всё это создавалось под руководством Аркадия Николаева и выходило из недр мастерских, расположенных в центре города Горького, рядом с институтом, в старинном здании бывших конюшен – памятнике архитектуры XIX века.

Был у Николаева и опыт работы в полярных широтах – в 1956 году на дрейфующей научно-исследовательской станции «Северный полюс-6» он проводил испытания первого отечественного автомобиля для строительства аэродромов на многолетних льдах, разработанного в ОКБ на базе ГАЗ-69.

По этим причинам руководство покорением вершины Антарктиды было поручено ему.

Команда правильных ребят

Машинами и людьми Николаев комплектовал свой отряд лично.

На предприятиях Харькова, Ленинграда, Челябинска и других городов за короткий срок были подготовлены 10 мощных 24-тонных тягачей с 400-сильными дизельными двигателями, оснащёнными нагнетателями воздуха для работы в условиях разреженной атмосферы. Ещё для внутриконтинентального перехода предназначались 5 16-тонных вездеходов «Пингвин» с утеплённым кузовом, рассчитанным для жилья на шесть человек, и двигателем в 240 сил, 14 100-сильных тракторов и 55 металлических саней. Гусеницы тягачей, тракторов и вездеходов были расширены для снижения давления на снежный покров.

Но ещё более Николаеву нужна была надёжная команда. О том, как он её собирал, стало известно из рассказа его сына, Андрея Николаева, в прошлом полярника.

– Отец ездил по воинским частям, изучал характеристики военнослужащих, которые должны были демобилизоваться, и лично с ними беседовал. Так он выбрал тех, с кем ему предстояло идти к Полносу, – все они были особо проверенные, надёжные люди.

Крепкие и, как говорят, правильные ребята составили ударную силу отряда.

«Мозг» команды образовали специалисты – инженеры Ленинградского Кировского и Сталинградского тракторного заводов, а также штурманы.

В отдел «золотых рук» вошли начальник передвижной механической мастерской, токарь, сварщик и кузнец.

Таким образом, набралось 37 человек. Все они написали завещания – это требовали правила – и в сентябре 1957 года отряд прибыл в Калининградский порт, где уже ждал трансконтинентальный научный корабль дизель-электроход «Обь».

Трюмы поглотили 10 доставленных спецпоездом тягачей и 14 тракторов. 42 стальных саней замерли на палубе рядом с флюзеляжами разобранных самолётов. Вспомогательную технику – 5 вездеходов «Пингвин» и ещё 5 саней приготовили к отправке на отплывающем следом теплоходе «Кооперация».

27 сентября «Обь» отчалила под звуки бодрого марша. Толпы людей стояли вдоль берега и махали платками.

Участников экспедиции провожали как на войну.

Через Атлантику

Из Балтийского моря в Северное «Обь» вышла через Кильский канал. Слева меняли друга огни голландских, бельгийских и, наконец, французских маяков. Когда проходили Ла-Манш, сквозь завесу тумана были видны огни Англии. Судно обогнуло Испанию, зашло в Средиземное море и 6 октября встало на стоянку в Генуе, где учёные приняли участие в работе V конгресса транспортных коммуникаций. Он осмотрели достопримечательности Генуи, посетили домик мореплавателя Христофора Колумба и возложили венок от имени Советской антарктической экспедиции. Заход дизель-электрохода вылился в миссию дружбы и паломничество – за несколько дней на борту «Оби» побывало несколько тысяч итальянцев.

Корабль отчалил 11 октября. Шли дни. Вода океана становилась всё синее, температура – выше. Солнце стало вставать точно слева по борту корабля и точно справа заходить на западе. 16 декабря «Обь» пересекла экватор и вошла в южное полушарие. Знакомые созвездия скрылись. Впереди по курсу встало крупнейшее созвездие нижней половины Земли – Южный Крест, указывающее путь к берегам Антарктиды. «Обь» шла вдоль берегов Африки и держала курс на её южную оконечность, в порт Кейптаун.

24 декабря «Обь» встала там на 16-часовую стоянку и, забрав необходимое количество пресной воды, горючего, свежих овощей и фруктов, покинула порт и вошла в ревущие сороковые широты – десятиградусный пояс, охватывающий всё южное полушарие. Нет нигде на земле другого места, где волны могли бы развиваться на таком просторе, а ураганные ветры дуют непрерывно. Море в ревущих сороковых никогда не бывает спокойно, а в бурные осенние и зимние дни высота волн достигает здесь 20 м.

И, хотя «Обь» пересекала ревущие сороковые широты в наиболее благоприятную часть года – летом, уже в первую ночь судно так перекадывало боковой волной с борта на борт, что пришлось не раз менять курс.

Вскоре появились признаки близости Антарктиды. Сначала северо-западный ветер сменился на юго-восточный. Затем вокруг корабля всё чаще и чаще стали взмётываться фонтаны – стада гигантских 150-тонных китов бродили в поисках пищи. Иногда поверхность воды рассекал серповидный плавник зубатого кита – касатки. Всё чаще и чаще стали встречаться айсберги. Их размеры были колоссальны. На одном из них – шириной 30, длиной 90 км и высотой 40 м – мог бы разместиться целый город. Это был четвертый по величине гигант, встреченный в XX веке.

Всё говорило о том, что Антарктида была уже рядом.

Битва за груз

17 ноября 1957 года «Обь» подошла к Антарктиде в районе станции Мирный. Три дня она пробивалась в разрезанном трещинами припайном льду, стремясь подойти к береговой линии как можно ближе и начать разгрузку. Но за сутки удавалось продвинуться не более, чем на 300 метров. Наконец, в 33 километрах от Мирного решили разгружаться.

Аркадий Николаев лично отправился разведывать безопасную трассу до посёлка на тракторе – он не мог допустить гибели людей на припайном льду, как это происходило уже дважды. 21 января 1956 года здесь погиб двадцатилетний Иван Хмара. Желая спасти трактор товарища, провалившийся в трещину кормовой частью, он вскочил в кабину, дал полный газ и включил гусеницы. Но трактор, содрогнувшись всем корпусом, мгновенно ушёл под лёд на глубину 72 метра, увлекая прицеплённые сани. А через год при схожих обстоятельствах погибли два участника 2-й Антарктической экспедиции Буромский и Зыков – рухнул снежный барьер, на который выгружали технику.

Стараясь не повторить их ошибок, 21 ноября 1957 года начали разгрузку. Тракторы тащили в Мирный гружёные сани, осиливая лишь 50 километров за 10 часов. Они постоянно застревали и вытягивали друг друга на буксире.

А тем временем «Обь» продолжала пробиваться, уменьшая расстояние до посёлка. Когда же на лёд уже были выгружены самолёты и тяжёлые тягачи, Антарктида показала характер. Внезапно налетел ураган, и ледяная поверхность начал ломаться как мокрый сахар. С трудом удалось поднять обратно на борт трактор С-100А и самолёт Ли-2. Самолёт же АН-2, трактор С-100 и 6 саней оказались плавающими на отдельных льдинах.

В секунды весь наземный транспорт мог сгинуть в ледяной воде, и тогда экспедиция закончилась бы, так и не начавшись. Осознав это, Аркадий Николаев принял решение выводить тягачи из зоны разломов своим ходом. Высунувшись по пояс из люка, в непроглядной пелене пурги, по ломающимся льдинам он привёл тягачи в Мирный.

Когда стихия успокоилась, команда вернулась в зону катастрофы, где на кусках растерзанного льда плавала техника. Но попытки спасти её оказались неудачными – у всех на глазах самолёт, трактор, и сани соскользнули с льдин и сгинули в тёмной воде.

Когда 20 декабря весь груз с «Оби» всё же переправили в Мирный, подошёл теплоход «Кооперация», разгрузка которого оказалась ещё более опасной. Лёд утратил прочность, количество трещин увеличилось, колея трассы заполнилась водой, и тракторам с гружёными санями приходилось ехать вброд.

В итоге водитель Востухин на тракторе с пустыми санями провалился в трещину. Решив обойти глубокий брод стороной, он едва не повторил

участь Ивана Хмары – лишь случайно машина удержалась санями на поверхности. Её едва вытащили четыре трактора, причём ходовая тележка развернулась на 180 градусов вокруг оси бортовой передачи. В безопасном месте её удалось поставить на место, и своим ходом трактор вернулся в Мирный.

Битва за груз продлилась один месяц и восемь дней. Все были замучены тяжёлой работой. А между тем, это было только начало.

Вглубь материка ещё не было сделано и шага, а лица люди уже загорели, как на отдыхе жарких странах, став почти коричневыми – на поверхность ледяной щеки Земли поступает летом примерно столько же тепла от солнца, сколько на поверхность раскалённых песчаных пустынь Средней Азии. Его количества там хватает для выращивания под парниковыми рамами любых овощей. Нигде на Земле облучение ультрафиолетовыми лучами не бывает столь интенсивно, как в Антарктиде. После нескольких часов работы даже в тени губы участников экспедиции начинало нестерпимо жечь, они сильно распухали, трескались, покрывались волдырями, переходящими в язвы.

У всех началась перестройка организма. В первые дни появились головные боли, одышка даже во время покоя, тошнота, кровотечения из носа, сердцебиение и удушье по ночам. Пульс участился, работоспособность снизилась.

Но всё это были лишь мелкие издержки мягкой летней погоды побережья. Всю жестокость антарктического лета внутри континента людям ещё предстояло узнать.

«Надеюсь вернуться»

25 декабря 1957 года поезд из 10 тягачей, каждый из которых тащил за собой пару 30-тонных гружёных саней, вышел из Мирного. Сотни тонн техники, бочек с соляжкой, научного оборудования и продовольствия двинулось вглубь Антарктиды.

Тягачи шли на первой передаче со скоростью 5 км/ч и расходовали 10 л топлива на один километр пути, пробираясь по заранее разведанному и обозначенному вехами коридору между трещин, по зоне зарождения айсбергов, месту, где откалываются и медленно сползают с купола в океан огромные площади ледового панциря. Трещины были ловушками преисподней – брошенные в них пустые бочки, падая, стукались о её тёмно-фиолетовые от преломленного солнечного света ледяные стенки до тех пор, пока ухо не переставало улавливать звук. Было очевидно, что тем, кто провалится в эти закрытые снежными мостами разломы, уже не будет обратной дороги.

Но едва отряд преодолел опасный участок, как в 250 километрах от Мирного попал в район заструг – твёрдых снежных двухметровых наносов.

Преодоление антарктических горok выматывало людей не меньше морского шторма. Рвались сцепные серьги. Тягачи и сани застревали. Водители тягачей, вытаскивая машины лебёдками, выматывались. Крепления гружёных бочками с топливом саней разбалтывались. Внутри тягачей и ехавших на санях жилых домиках падали вещи и посуда. О приготовлении пищи во время движения не могло быть и речи – кастрюли с супом опрокидывались на пол. Про сон пришлось забыть. И всё же отряд шёл по графику – двенадцать часов движения, затем четырёхчасовой перерыв на обед и смена водителей.

Всё ещё более усложнил разыгравшийся ураган с ветром 30 метров в секунду. Видимость исчезла. Отряд, оказавшись в пелене мелкой пыли, плотной как молоко, шёл по приборам. Переговоры велись по радию. В довершение трудностей от перегрузок сломался главный фрикцион тягача № 13. В итоге встреча Нового, 1958 года, предполагавшегося на станции Пионерская, состоялась в пути при 45-градусном морозе с пургой.

Тягач взяли на буксир, и 2 января добрались до Пионерской. Переждав непогоду, которая бушевала 5 дней, после короткого отдыха и ремонта отряд взял курс на станцию Комсомольская, расположенную в 900 километрах от Мирного на высоте 3500 метров над уровнем моря. Дышать становилось всё труднее. Температура ещё более понизилась, и уже не выдерживал металл – постоянно ломались пальцы траков гусениц. Их меняли в пути, забивая кувалдой, и после каждого удара людям приходилось отдыхать по двадцать минут, восстанавливая дыхание. Сцепные серьги постоянно рвались, их запасы уже были исчерпаны, и вторые сани пришлось перевести на гибкие сцепные устройства из тросов. Тягачи часто буксовали, проваливаясь в рыхлом сыпучем снегу, и их приходилось вытягивать усилиями двух тягачей. Начались трудности с приготовлением пищи – ни рис, ни мясо не удавалось сварить даже за 5 часов, потому что разреженная атмосфера вызывала ранее кипение воды.

17 января поезд прибыл на Комсомольскую, доставив 120 тонн топлива, продовольствия и всего необходимого для работы станции и полярников в течение всего года.

Затем предстояло завезти 150 тонн грузов на станцию Восток-1, расположенную в геомагнитном полюсе на расстоянии 600 км в юго-восточном направлении от Комсомольской. Часть отряда занялась ремонтом техники, а 22 человека на 7 тягачах с прицепными санями под руководством Николаева вышли к цели, оставляя в качестве ориентиров на своём пути высокие горы из пустых бочек. Два тягача с санями были умышленно оставлены в пути как промежуточные топливные базы. 26 января 5 тягачей с прицепными санями прибыли на станцию Восток, обеспечив её всем необходимым, а 31 января все семь тягачей благополучно вернулись на Комсомольскую.

Там 2 февраля Аркадий Николаев встретил свой День рождения – ему исполнилось 44 года. Получив огромное количество поздравительных радиogramм от родных, друзей и коллег, он сам написал в тот день ответную радиogramму своему коллеге по работе в Горьковском политехническом институте Сергею Владимировичу Рукавишникову.

Вот отрывок этого письма из Антарктиды:

«Был на геомагнитном полюсе, 1600 км от Мирного. Сейчас на ст. Комсомольская, последние часы и уходом в неизведанный район Антарктиды к Полюсу недоступности, по компасу, там должны организовать станцию Советская. Везём с собой более 100 тыс. тонн различных грузов. Здесь на станции высота 3800 метров, давление 467 мм. Мало воздуха, очень трудно дышать, а там будет выше... Не знаю, успеем ли до больших холодов, пока около 45 градусов, а ожидается до 80 градусов... Надеюсь всё-таки вернуться».

3 февраля 8 тягачей и 10 саней, гружённые пятью тёплыми домиками и топливом, вышли в юго-западном направлении и продолжили подъём на купол. Атмосферное давление понизилось до 460 мм ртутного столба, а столбик термометра упал до минус 50 градусов.

Перед отъездом в Антарктику специалисты предупреждали – южнее Комсомольской снег по сыпучести напоминает коноплю, засыпанную

в трюм парохода. И если в такой трюм попадает человек, то он проваливается в коноплю до дна. Это предупреждение не было лишено оснований. При движении поезда слышались глухие громы падающего куда-то вниз снежного покрова, а тягачи проваливались на глубину до 1,5 метров. Несколько машин прилагали невероятные усилия, чтобы их оттуда извлечь.

Высота над уровнем моря ещё более увеличилась, давление понизилось, а температура воздуха уже достигла минус 60 градусов, когда сломался главный фрикцион тягача № 12. Ремонт, который, по сути, был возможен только в заводских условиях, пришлось вести в пути.

Никто уже не выходил из тягачей без масок из тонкой кожи на кротовом меху, искусно сшитых, аккуратно простроченных, с прорезями для глаз и губ. Чтобы избежать ожога лёгких, люди дышали с помощью гофрированных трубок, концы которых прятали под верхнюю одежду.

10 февраля, достигнув точки с координатами 78 градусов 24 минуты южной широты и 87 градусов 35 минут восточной долготы на расстоянии 1510 километров от Мирного, было решено организовать станцию Советская.

Пять жилых домиков поставили в каре, образовав помещение площадью около 50 кв. м. Его начали застраивать тёплым полом, потолком и тамбурами. Тягачи приступили к строительству аэродрома, уплотняли полосу длиной 2,5 км и шириной 50 метров, а затем укатывали её деревянной, обитой железом, привезённой из Мирного гладилкой.

А между тем, температуры падали, кончалось антарктическое лето, морозы доходили до минус 70. Приходилось торопиться, и люди работали почти круглые сутки.

Металл стал хрупким. Сцепные серьги начали разлетаться на мелкие куски, а обух топора при ударе раскалывался как стекло. К тому же, сломался главный фрикцион двигателя тягача № 17. Чтобы его отремонтировать, машину пришлось накрыть брезентовым тентом и по специальным рукавам подавать в этот импровизированный бокс горячий воздух при помощи авиационной подогревательной лампы.

Смазка загустела, а солярка превратилась в тестообразную массу. Чтобы запустить двигатели тягачей, их по 5 часов разогревали специальным пусковым котлом, а затем больше часа с обоих бортов отогревали двумя лампами АПЛ, чтобы тронуться с места.

За шесть суток напряжённой работы станция Советская была построена. 16 февраля 1958 года на радиомачте подняли государственный флаг Советского Союза и передали в эфир первые сводки научных наблюдений.

На следующий день при всё более понижающейся температуре воздуха поезд вышел в обратный путь.

Последний рывок

Всё время до следующего антарктического лета ушло на капитальный ремонт техники и подготовку к беспримерному историческому переходу к Полюсу недоступности.

Легендарный лётчик Перов уже достигал этой самой удалённой точки южного материка, но не мог сделать посадку из-за отсутствия аэродрома. Его и предстояло построить бойцам Аркадия Николаева.

23 октября 1958 года 21 человек на 7 тягачах и 7 гружёных санях вышли из Мирного.

Отряд заново преодолел всё – и зону трещин, и заструги, и пургу, и нехватку кислорода, и ремонт техники в пути. В условиях разреженной атмосферы люди потратили целых два дня на восстановление аэродрома на станции Восток-1, чтобы принять самолёт с топливом и грузом, – гусеницами тягачей разбивали твёрдые заструги, а затем укатывали полосу гладилками. Границы полосы длиной 1350 метров и шириной 50 метров обозначили пустыми бочками. Но труды пропали зря! Самолёт ждали четыре дня, и он прилетел, но из-за плохой видимости не сел и вернулся в Мирный.

Когда отряд достиг станции Советская, 30 ноября туда прибыл на самолёте Евгений Толстик, чтобы пройти вместе со всеми последний, самый тяжёлый отрезок пути. Этим же самолётом пришлось отправить в Мирный заболевших горной болезнью механика-водителя Милова и взрывников Бузова и Воробьёва. У всех троих было нарушение сердечной деятельности со значительным истощением организма.

Другие участники похода тоже были не в лучшей форме. Но люди не сдавались – им оставалось сделать последний рывок.

3 декабря 18 человек на 4 тягачах и 3 санях отправились в путь. Через 160 км они впервые увидели отлогую гористую местность. Поезд резко пошёл на подъём, достигнув самого высокого места – 4000 м над уровнем моря, где редко дуют ветры, и выпадает мизерное количество осадков. Температура понижалась до минус 80 градусов. Давление не превышало 407 мм ртутного столба. Было очень трудно дышать.

14 декабря 1958 участники 3-й Советской антарктической экспедиции впервые в истории достигли Полюса относительной недоступности Антарктиды. Здесь, в координатах 82 градуса южной широты и 55 градуса восточной долготы они основали станцию Полюс недоступности.

В первый же день была установлена 16-метровая радиомачта, установлен жилой домик, а на его постаменте водружён бюст Ленина. После короткой речи Толстикова на радиомачте был поднят Государственный флаг СССР, и первые сводки научных наблюдений посланы в эфир. В память о подвиге полярников Аркадий Николаев своими руками изготовил на станции мемориальную доску.

Вот как рассказывает об этом эпизоде сын Аркадия Николаева, Андрей Николаев.

– Когда они пришли на Полюс недоступности, у отца не было заранее заготовленной доски. Но как человек, смотрящий далеко вперёд, он подумал: «Ну как же я не оставлю какой-то памятной вещи о том, что мы первые пришли?» В одном балке у них была походная мастерская. Отец взял гибкий вал спидометра, приделал к нему электромоторчик, сверло, и этим сверлом на листе дюралю выгравировал список всех, кто пришёл на полюс. Фамилию Толстикова он написал первой – всё-таки он был руководителем экспедиции, ну же его не написать? Правда, Евгений Иванович потом говорил: «Это вы дошли, зачем же меня писать первым?»

За два дня люди приготовили посадочную полосу, и 18 декабря на станции Полюс недоступности впервые сел самолёт Ли-2 под управлением пилота Школьников.

Когда все научные работы были закончены, станцию законсервировали и оставили в работоспособном состоянии с запасом топлива и продовольствия, достаточного для жизни трёх-четырёх человек в течении нескольких месяцев. В жилом домике была оставлена записка с инструкцией по запуску электростанции, радиостанции, с планом размещения склада топлива, продовольствия и словами тёплых приветствий для всех, кто когда-либо придёт к этому Полюсу.

26 декабря тягачи вышли в Мирный. На обратном пути были законсервированы станции Советская и Пионерская в связи с окончанием их работы.

На протяжении всего пути учёные неустанно исследовали плотность снежного покрова, производили замеры атмосферного давления, температуры на поверхности и на глубине нескольких метров, измеряли толщину ледяного покрова с помощью сейсмической аппаратуры при взрыве небольших зарядов в заранее пробурённых скважинах.

Всё это позволило сделать вывод о том, что шестой континент – материк, а не архипелаг. Под ледовым панцирем были обнаружены неизвестный до этого рельеф. Именно в этом походе были открыты горы Гамбургцева, горы Голицына и равнина Шмидта.

С открытием Полюса недоступности Антарктиды в изучении планеты Земля открылись новые, неизвестные двери.

Стихи по кругу

Юрий МАТВЕЕВ

г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область

Пирамида

Строю свою пирамиду.
Каменотёс и раб.
Это я только с виду
Слаб.

Камень кладу на камень.
Много и много лет.
Моя пирамида – память.
След.

Скажет один – гордыня.
Скажет другой – чудака.
Третий увидит имя.
Знак.

В храме

Старинный храм. Иконы. Лики.
Лампадки. Свечи. Тишина.
И от свечей на стенах блики.
И жизнь мирская не слышна.

Там лето. Жарко. Здесь прохлада.
Еще до службы далеко.
Зайдет старушка. Все как надо
Она проделает легко.

Она все знает. Все знакомо.
Свечной огарок уберет.
Она в своем и в Божьем доме.
И Бог ее убережет.

Такая умиротворенность,
Такая вера у нее.
Такая легкость в ней и юность.
Все в ней ликует и поет.

Я замер. Я люблюсь ею.
Как эта старость хороша!
Так верить, может, не сумею,
Но, как встревожена душа!

Мечта

Если сбудется мечта –
Ах, как грустно тотчас станет.
И магический кристалл
Неожиданно растает.

Столько трепетно растил.
Любовался каждой гранью.
Он тебя с ума сводил –
Тот кристалл многострадальный.

Не дарил. Не доверял.
Ночкой темною лелеял.
Будет? Страстно вопрошал.
Ну, конечно, будет – верил.

Воплотилась мечта.
Отчего так грустно стало? –
Твой магический кристалл,
К сожалению растаял.

* * *

Все было так же, как вчера.
Все было рядом – губы, плечи.
И ты сказала: мне пора.
И я сказал: ну, что ж,
До встречи.

Все было так же, как вчера.
Но нет, не так все это было.
Сегодня ты не так ушла.
Не так, как прежде
Уходила.

Все было так же, как вчера.
Все было рядом – губы, плечи.
И ты сказала: мне пора.
Прощай, – подумал. Вслух:
– До встречи.

Валентина КОРОСТЕЛЁВА

г. Железнодорожный, Московская область

Просто-напросто

Незаметно годы тают,
Ярче светят образа...
А меня к земле не тянет,
Мне по нраву небеса.

На земле – и злость, и зависть,
Неоправданная круть...
Потому иду, касаясь
Тротуара только чуть.

Пусть свои дела у тела,
Да и выходы свои, -
А душа всегда хотела
Просто-напросто любви

От природы, что безмолвна,
От родных – вблизи, вдали,
От того, кому не ровня,
И от матушки-земли.

Смутна русская дорога:
То большак, то тёмный лес,
Но зато так неба много –
Никакой не выест бес.

Этот нежный букет хризантем

Мы с тобой не такие, как прежде,
Мы планеты двух разных систем, -
Только будит былые надежды
Этот пышный букет хризантем.

...Наша встреча в ликующий полдень,
Пара слов – мимо лет, мимо тем...
Он сегодня о многом напомним –
Этот нежный букет хризантем.

Отметёт и печали, и беды,
Будто снова мы в мире одни,
Он расскажет, какие рассветы
Мы встречали в те летние дни,

Как мы звёзды на песни меняли...
Не о том ли сегодня и речь,
Что мы счастье в лицо не узнали,
А узнав, не смогли уберечь...

Россыпи

...А в памяти – даты и годы,
Событий осенняя рябь...
Задумалась даже природа,
Встречая ненастный октябрь.

Как будто экзамены снова –
Лелеет судьба тишину.
За сутью, за праведным словом
Уходит душа в глубину.

Подёрнуты дымкою дали,
И роща, и озера круг, –
Но листьев кленовых медали
Рассыпаны щедро вокруг...

Святое имя

Всё у меня о России...

В. Соколов

Кряхтит избёнка под замочком ржавым,
Но в сердце не уменьшилось любви.
Нас воспитала мощная держава
И в ивняке шальные соловьи.

Мы берегли её святое имя,
Творила чудо главное любовь.
И что твоё, что Родины любимой –
Не разберут ни сердце и ни кровь.

Как никогда ясна дорога к Богу,
Уходит на задворки века грусть,
И лишь не гаснет на сердце тревога –
Что станет с тобой, родная Русь?

Юрий ПРЯДИЛОВ, Павлово, Нижегородская область

Времена

Времена изменяются так:
Где бессильны и власть, и законы,
Если раньше и крали пятак,
То сегодня упрут миллионы.

Начал дело – и вечный должник.
Как не жми свои кровные гроши,
Честный бизнес загонит в тупик
И согнёт непосильною ношей.

Сколько сгинуло душ молодых
На бескрайних просторах России!
Олигархи их били под дых,
Их крутые подонки косили!

И неважно, что чистым нутром
Презирал ты шальную копейку:
Если пущена совесть на слом,
Из гнилого копытца попей-ка!

А напьёшься – и станешь козлом,
Деловитым, упёртым, богатым.

И навеки забудешь о том,
Что в подобном обличии – гад ты!

Повезёт – будешь счастлив и рад,
Если крупно кого облапошишь.
Усмехнётся в душе твоей ГАД
На проклятом прокрустовом ложе.

Обидно

Обидно, как видно дела наши плохи.
Что пишут поэты на чистом листе?
В их новых твореньях не слышно эпохи,
Всё охи да вздохи, как дань суете.
И даже известный, маститый художник,
При жизни прославивший имя своё,
Касается темы, но так осторожно,
Как будто бы в руки берёт остриё.
Конечно, он вспомнит былые заслуги
Могучих героев великих времён,
Но мысли его не кипят от натуги,
Он временем новым не обременён.
А где-то гремят бесконечные войны:
Они же не рядом, они далеко
И нас не коснулись – так спите спокойно
И будьте довольны, живите легко.
Я тоже не против спокойствия жизни:
Что бурная бездна, что тихая гладь...
Да вот не пришлось бы на траурной гризне
Просчёты да промахи наши считать.
Утрачены цели и координаты
В бездушном пространстве продажных времён.
Течение жизни уносит куда-то,
Где нет ни побед, ни великих имён.

Пожелание поэту

Поэзия, как ветер –
Промчался и затих.
Живёт пока на свете
Нерукотворный стих.

Под звук лесных мелодий,
Под шум дождя, листвы
О внутренней свободе
В стихе сказали вы.

Возможно, не услышат,
Возможно, не поймут.

Для вас живёт и дышит
Нерукотворный труд.

На перекрёстке мглистом
Печалей и забот
Ваш стих, простой и чистый,
Поможет и спасёт.

Пусть из сердечной боли
И из проблем глухих
Вас выведет на волю
Нерукотворный стих.

Ирина УСОВА, Москва

* * *

Ненадолго, на чуть-чуть
(Памяти – не сложно)
В дали детства заглянуть
Осторожно можно.
Заметенный вижу дом,
Папин стул у печки,
Речку, скованную льдом
И себя у речки.
Прошлогодний черен стог,
Резкий дух еловый;
Мамин на плечах платок
Серенький, пуховый.
И с картошкой пирогов
Тот, особый, запах;
Кот соседский – мышелов
На большущих лапах.
И течет из-под иглы
Тоненькая строчка...
«Ох, а руки-то голы,
Ведь замерзла, дочка?
На-ко!» – и уже на мне
Тот платочек серый.
Помнит сердце в тишине
Ту любовь без меры.
Мир велик и мир жесток.
Холодно ли, больно –
Вспомни мамочкин платок
И душе – довольно.

* * *

Как хорошо, когда душа – крылата!
Парит, легка, и солнце ей – за брата,
Она глотает отблески заката
И тем, вне разумения, жива.
Что времена? Они всегда – лихие.
Что власть толпы? Подобие стихии.

Подняться сквозь проклятия чужие
Порою не способна голова.
Смешное трепыханье? Не скажите.
Извечно вьет тоска стальные нити,
И кажется фатальной цепь событий.
И зыбкость «завтра» навевает страх,
Взмах крыльев...

Все!!!

И – выше самосуда!

И мир велик, и жить в том мире – чудо.
И счастье нам положено на блюдо
За просто так, с улыбкой на устах.

Сергей УТКИН, Кострома

* * *

Ночь, облитая хладно Невы водой.
Стой!
На мосту фонарей выводок.
На постой
Корабли прибывают к порту.
Ночь
На подошвах ботинок стертых
Толочь
Ты идешь. И, разбитые судном смело
В пух и прах,
На воде кромки льда забелены,
Словно страх
Опрокинуться в отраженный
Эрмитаж.
В город, памятью побежденный.
И не наш.

* * *

Закрой шторой жизнь, законную грязь!
Закрой себя здесь, запакуйся!
Ты можешь продлить себя, в тишь затворясь,
И даже позволить буйство.

Но там, за окном, где безудержен день,
Где жизнь в металлических звонах,
Ты – путник, дорогою стёртый в тень,
Оставленный средь перронов...

* * *

Привалился вечер к облакам,
Солнце прислонилося к горизонту,
Пес из лужи небо все лакал,
Словно прибирая из сторон ту,

На которой никогда не быть,
Но в которой Солнце светом лает,
И при луже все мечты отбыв,
Фырчал пес на жизнь, в неё вмерзая...

Лариса БУХВАЛОВА, Павлово, Нижегородская область

* * *

Моя бабушка уголь грузила
на вокзале, у края судьбы.
От него она черпала силы
на труды от звезды до звезды.

Под косынкою прятала косы,
утирала ладонью слезу -
как гудели в ночи паровозы,
словно шёл эшелон на войну.

И, с лопатой щербатой своею
На плече шла домой, как солдат.
Всех чертей преисподней чернее.
Только зубы белы да глаза.

До сих пор этой чёрною былью
полон вдовый очаг до краёв.
Пахнет потом да угольной пылью
от щербатой лопаты её.

Цикорий

Смерти-то нет. И плохое не в счёт.
Всё потому, что цикорий цветёт.
Будто колышется синее море -
самый простой придорожный цикорий.
Словно спустилось небесное в дол,
пятнами сини на мамин подол -
мама с серпом замерла у ворот.
А вдоль дороги - цикорий цветёт.
Мама цикорий тот сжать пожалела -
так вот стояла и молча глядела -
словно вдоль дома — небесный прибор.
А у приборя — соседка с козой.
- Жнёшь, Валентина?... Бог помощь тебе.
И уступает дорогу козе.
Ну, а козе — благодать, как в раю —
тянет к цикорию морду свою.
Мама ни слова не может сказать.
Небом плывёт, мимо них, благодать.

Смотрит — как цветень рогатая рвёт,
как натянулась верёвка её...
Будто душа прикоснулась огня.
«Съела цветы. И пошли от меня.
Я ж пожалела — не трону цветки...
Было — не стало - одни стебельки.»
Светел небес запредельный цикорий.
Жизнь истончилась с подобных историй.
Мамы три года, почти, уже нет.
А вдоль дороги — лазоревый цвет.
Будто на небо лазейка иль дверца.
Напоминанье для детского сердца.
Мама цветы за красу пожалела...
Уж не тогда ль её синь приглядела?..

* * *

(По фото «г.Павлов н/Оке. Весной 1932г.»)

Павлово. Весна. Тридцатый год.
Лодочка по городу плывёт.

У разлива сила велика.
Да поболее сил у мужика.

Лодочка, как зыбочка, плывёт.
И один за семерых гребёт.

И не ясно — что там впереди.
Только - говорят ему — гребь.

Ты гребь, наш неизменный Ной.
И гребёт, плывя вперёд спиной.

Много лет минуло, много зим,
а гребец на лодочке — один.

И гребёт, гребёт, поди уж век.
И плывут на ней семь человек.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Олег Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Дмитрий Бирман

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Приволжскому федеральному
округу ПИ № ТУ 52–00924
от 20 февраля 2014 г.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Кирилл Анкудинов (Майкоп)

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Нина Зверева

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Роман Сенчин (Москва)

Евгений Эрастов

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «Издательство «КНИГИ»

Рукописи принимаются
по электронной почте:
zemlyaki-nn@yandex.ru
или по адресу:
издательство «Книги»
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2.
Тел. (831) 412-16-04

Редакция не вступает в переписку.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Ответственность
за достоверность фактов несут авторы
материалов. Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.
При перепечатке материалов ссылка
на журнал «Нижний Новгород»
обязательна.

Подписано к печати 9.08.2014
Тираж 1000 экз.
Цена свободная

12+

Отпечатано в типографии «Растр НН»
603024, Нижний Новгород,
ул. Белинского, 61